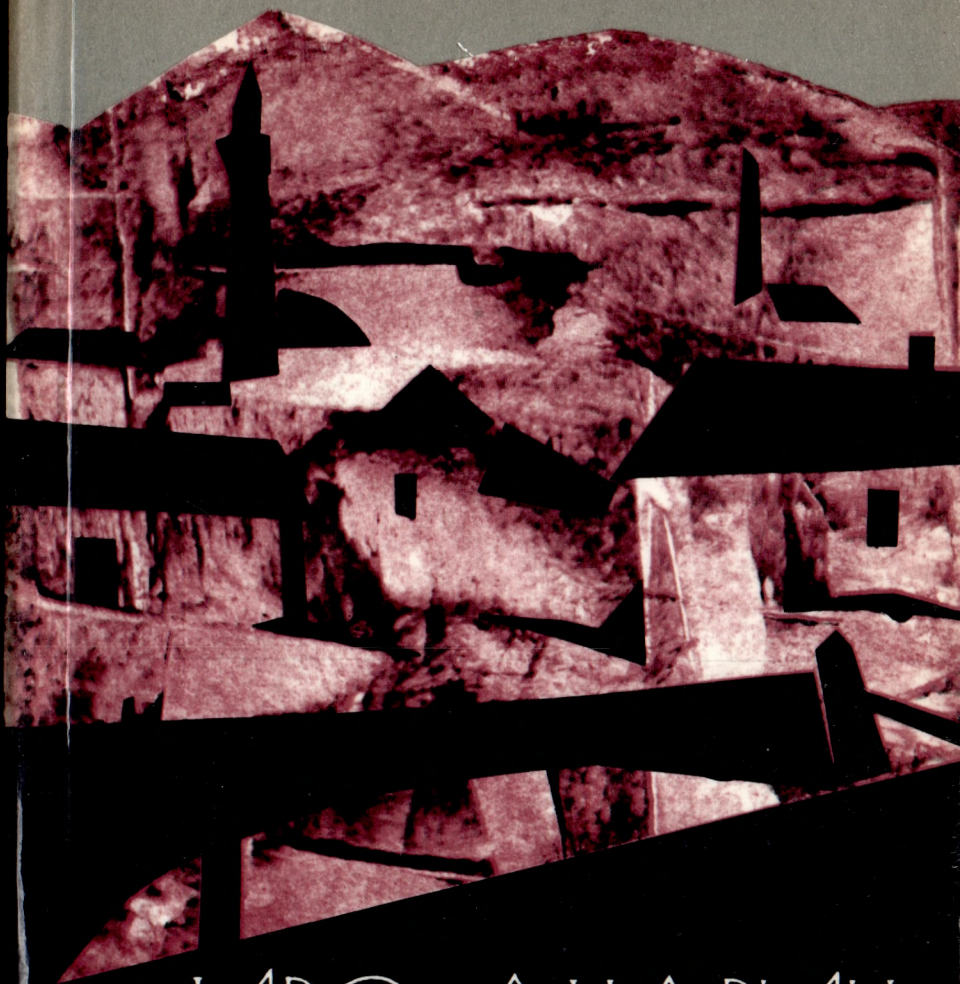


ИВО АНДРИЧ МОСТ НА ДРИНЕ



ИВО АНДРИЧ

МОСТ
НА ДРИНЕ

ИВО АНДРИЧ

**МОСТ
НА
ДРИНЕ**

•

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**



ИВО АНДРИЧ

**МОСТ
НА
ДРИНЕ**

•

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

•

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1985

84.4 Ю
А 65

Перевод с сербско-хорватского
Составление, послесловие, примечания
А. Д. Романенко

А $\frac{4703000000-1034}{080(02)-85}$ 1034—85

© Издательство «Правда». 1985.
Составление. Послесловие. Примечания.



**МОСТ
НА
ДРИНЕ**

РОМАН



I



Очти на всем своем протяжении река Дрина течет узкими ущельями в горах или теснинами мрачных каньонов между отвесными скалами. Лишь кое-где расступаются горы, давая простор веселым долинам, и тогда то на одном, то на обоих берегах реки возникают ровные или холмистые пределы, пригодные для обработки и жилья. Одна такая вольная долина открывается и здесь, под Вышеградом, в том месте, где Дрина, делая крутой поворот, стремительно выносит свои воды из глубокой расселины, образованной откосами Бутковых скал и Узавницкой гряды. Излучина так крута, а неприступные стены утесов так близко подходят друг к другу, что, кажется, река вырывается из каменной груди угрюмого сплошного массива. Но тут внезапно горы раздвигаются неправильным амфитеатром, чей поперечник, измеренный мысленно проведенной по воздуху прямой, не превышает пятнадцати километров.

Там, где Дрина всей тяжестью своей зеленой и вспененной водной лавины извергается как бы из сомкнутой стены отвесных черных гор, стоит большой каменный мост строгих пропорций с одиннадцатью широкими пролетами. От этого моста, точно от основания, расходится веером холмистая долина с Вышеградом, его предместьями и деревушками в ложбинах между холмов, лоскутной пестротой пашен, выгонов и сливняков, прихотливой сетью межей и оград, узорной россыпью перелесков и отдельными купами лиственных деревьев. И если на долину посмотреть из самой ее глубины, то так и чудится, будто из-под широких арок белого моста вытекает и разливается не только зеленая Дрина, но и весь этот благодатный цветущий край со всем, что на нем есть, и сводом южного неба над ним.

На правом берегу реки, непосредственно примыкая к мосту, сосредоточилось основное ядро города с площадью и торговыми рядами, расположенное частью на равнине, частью на отрогах гор. По другую сторону моста, вдоль левого берега реки, протянулось Малухино поле, разбросанное предместье на дороге, ведущей в Сараево. Так, соединяя два конца сараевской дороги, мост связывает город с его предместьем.

Впрочем, слово «связывает» в данном случае такая же условность, как и утверждение о том, что солнце всходит по утрам для того, чтобы людям было светло и они могли заниматься своими делами, и заходит к вечеру, чтоб дать им возможность выспаться и отдохнуть после дневных трудов. Ибо этот каменный мост, бесценное строение непревзойденной красоты, какого не имели и несравненно более зажиточные и бойкие города («таких мостов в империи всего раз-два и обчелся», — говорили в старину), был единственной постоянной и надежной переправой на всем среднем и верхнем течении Дрины и необходимым звеном той дороги, которая связывала Боснию с Сербией, а через Сербию — с прочими провинциями Турецкой империи, вплоть до самого Стамбула. Город же со всеми своими предместьями был всего лишь поселением, естественно и неизбежно возникающим на узловых перекрестках караванных путей и по сторонам важных и больших мостов.

Лепясь к оконечностям моста, разрастался со временем и Вышеград. Порожденный мостом, он поднимался рядом с ним, питаясь соками его животворящих корней.

Чтобы полнее представить себе картину города и природы его отношений с мостом, необходимо иметь в виду, что в городе был еще один мост и еще одна река. Это — Рзав с перекинутым через него деревянным мостом. Рзав впадает в Дрину на самой окраине города, так что его центр, как и вся основная часть, не выходит за пределы песчаного клина, ограниченного двумя реками — большой и малой, сливающимися здесь воедино, а его распыленные предместья простираются по ту сторону мостов, на левом берегу Дрины и правом Рзава. Город на воде. Однако несмотря на существование второй реки и второго моста, выражение «на мосту» ни в какой мере не относится к рзавскому мосту, простому деревянному сооружению без всякой истории и красоты, не имеющему ни

какого иного предназначения, кроме как служить переправой местным жителям и скоту, — а исключительно и единственно к каменному мосту на Дрине.

Двести пятьдесят шагов составляют примерную длину моста и десять — ширину, почти удвоенную в самой середине за счет двух одинаковых балконов, симметрично расположенных по сторонам проезжей части. Это место получило название «ворот». Два выступа, покоящиеся основанием своим на среднем опорном столбе, расширяющемся кверху, пластично и смело вынесенные за общую линию моста, висят над шумящей в глубине зеленой водой. Выступы эти имеют пять шагов в длину и столько же в ширину и, оставаясь открытыми сверху и со стороны проезжей части, обнесены такой же каменной оградой, как и весь мост на всем своем протяжении. Правый балкон — если идти от города — называется диваном. К нему ведут две ступени, обрамлен он сиденьями, спинками которым служит ограда, и весь, вместе с приступками, скамьями и оградой, как бы отлит из одинакового светлого камня. Левый балкон на противоположной стороне моста в точности такой же, только без сидений. В середине ограда поднимается выше человеческого роста; в нее, на самом верху, вмурована белая мраморная плита с высеченной на ней витиеватой турецкой вязью — тарихом, — где в тринадцать стихах сообщается миру имя того, кто поставил мост, и дата завершения постройки. Из ограды внизу под плитой бьет тонкая струя воды, выпускаемая пастью каменного змея. На этом балконе расположился содержатель кофейни со своими джезвами, филджанами, незатухающим мангалом и мальчиком, подающим кофе гостям на диване через дорогу. Таковы ворота.

На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним, течет и развивается, как мы увидим, жизнь обитателей городка. Хроника событий личного, семейного и общественного характера изобилует ссылками на мост. И в самом деле, дринский мост — место первой прогулки и первых игр всей здешней детворы. Дети христиан с левого берега Дрины в первые же дни своей жизни проделывали путь через мост, ибо в ближайшее воскресенье их несли крестить в церковь. Но и все другие дети тоже, и те, что родились на правом берегу, и дети мусульман, вообще не знающих обряда крещения, по приме-

ру дедов и отцов, большую часть детства проводили возле моста. У моста они удили рыбу или ловили голубей в его отдушниках. Совершенная гармония этого величественного сооружения из белого ноздреватого, непогрешимо точно ограненного камня с младенческих лет привычна их взгляду. Дети наперечет знали все его искусно вытесанные выпуклости и изгибы, так же как и все поверья и легенды, связанные с историей его возникновения и создания и представляющие собой диковинный и нерасторжимый сплав воображаемого и действительного, истинного и невероятного. Знали все это с рождения, бессознательно, как бы с ними придя в мир. Знали, как знают молитвы, невесть когда и от кого впервые услышанные.

Знали дети, что мост воздвиг великий визирь Мехмед-паша, чье родное село Соколовичи находится неподалеку от моста за одной из окрестных гор. Да и кто же, кроме визиря, мог обеспечить всем необходимым сооружение этого бессмертного творения из камня. (Детскому воображению визирь рисуется как нечто сияющее, могучее, страшное и неясное.) Поставил же его Раде Строитель, который должен был бы жить не одну сотню лет, чтобы возвести все то прекрасное и вечное, что есть на сербских землях, легендарный и воистину безымянный зодчий, какого только и может признавать толпа, не любящая обременять свою память многими именами и чувством благодарности, пусть даже и посмертным. Знали дети также и то, что русалка, хозяйка реки, воспротивилась строительству моста, как спокон веков противятся неведомые силы всякому строительству, — и ночью рушила воздвигнутое днем. Так продолжалось до тех пор, пока Раде Строителю не был голос из воды и не дал ему совет сыскать двух новорожденных близнецов, брата и сестру, Стою и Остою, и замуровать их в средние опорные быки. Тотчас же по всей Боснии начались поиски близнецов. Тому, кто их найдет и доставит зодчему, назначена была награда.

В конце концов в одном глухом селении стражники отыскали двух близнецов, грудных младенцев, и силой визиревой власти отняли их у матери; но мать ни за что не хотела расстаться со своими детьми и, стеная и плача, не обращая внимания на ругань и побои, приплелась за ними следом в Вышеград. И здесь каким-то образом пробила к Раде Строителю.

Младенцы были замурованы, ибо иначе быть не могло, но Раде Строитель, по преданию, сжалился над матерью и оставил отверстия в опорных столбах, через которые несчастная могла кормить грудью своих принесенных в жертву детей. Слепые отдушины изящного рисунка, узкие, подобно бойницам, где ныне гнездятся дикие голуби, и есть те самые отверстия. Как память о давно минувшем, вот уже несколько сотен лет из этих отверстий струится материнское молоко. В одно и то же время года из плотно пригнанных швов стекают по камням белые тонкие струйки, оставляющие после себя несмываемый след. (Представление о грудном молоке вызывает в сознании детей образ чего-то сладостно близкого и приторного и своей пугающей таинственностью, наравне с визирями и зодчими, повергает их в смятение и ужас.) Соскабливая эти молочные потеки с опорных столбов, люди продают полученный порошок как целебное средство не имеющим молока родильницам.

Центральный опорный столб под воротами снабжен отверстием несколько больших размеров,— длинное и узкое, оно напоминает гигантскую бойницу или дверной проем. Молва гласит, что за ней скрывается огромный и мрачный чертог — обиталище Черного Арапа. Знают это все дети. Черный Арап играет главную роль в детских выдумках и небылицах. Тот, кому он явится, непременно должен умереть. Но никто из детей ни разу до сих пор его не видел, и потому ни один и не умер. Зато однажды ночью Арапа увидел Хамид, одышливый, вечно пьяный или с похмелья носильщик с налитыми кровью глазами, и в ту же ночь скончался у стен его чертога. Правда, в ту ночь Хамид напился до бесчувствия и заночевал на мосту, прямо под открытым небом, а было тогда пятнадцать градусов мороза. Часто, замерев на берегу, дети вглядываются в черную тьму проема, как в манящую и жуткую бездну. Договорятся глядеть не мигая и сразу же кричать, если кто-нибудь что-то увидит. Томимые любопытством и страхом, они не сводят расширенных глаз с темного зева отверстия, покуда не померещится какому-нибудь худосочному мальчугану, что дрогнула завеса мрачного входа, или пока какой-нибудь смутьян (есть такие всюду) не крикнет «Арап!» и не побежит вроде бы спастись, испортив игру и вызвав разочарование и негодование приверженцев мечты, ненавидя-

щих иронию и твердо верящих, что их терпение и в самом деле может быть вознаграждено. А ночью многие из них мечутся в постели, сиюсь одолеть неотступного, как рок, Арапа, пока мать не разбудит своего сына и не вызовет из пут мучительного сна. И едва успеет мать напоить его холодной водой («чтобы страх отогнать») и заставить повторить за собой имя божье, как уж мальчишка, утомленный дневными играми, снова спит крепким сном, над которым кошмары не имеют еще длительной власти.

Выше моста на серых откосах крутых известняковых берегов по ту и по другую сторону реки виднеются круглые выемки, идущие попарно с правильными интервалами, словно врезанный в камень отпечаток копыт какого-то гигантского коня сверхъестественной мощи; спускаясь по отвесным скалам от Старого града, эти следы подходят к воде и, возникая вновь на противоположном берегу реки, теряются под слоем дерна.

Дети — а они под этими скалистыми обрывами летом целыми днями ловят мелкую рыбешку — знают, что это следы былых времен и древних ратников. Тогда на свете жили могучие богатыри и камень был еще податливый и мягкий, как земля, а кони под стать богатырям отличались исполинским ростом. Только, по мнению сербских детей, эти следы оставили копыта Шараца, когда он уносил из темницы в Старом граде Королевича Марко и, проскакав по обрыву, перемахнул через Дрину, на которой не было тогда еще моста. Турецкие дети, напротив того, совершенно уверены в том, что Королевича Марко не было тут и быть не могло (ибо откуда взяться у безродного гяура такому коню и такой отваге), но что по этой самой круче промчался на своей крылатой арабской кобыле сам Джержезел Алиа, презиравший, как известно, всякие паромы и паромщиков и перелетавший через реки, словно через маленькие ручейки. Но об этом дети никогда не спорят, настолько и те и другие уверены в своей правоте. И пока что не было такого случая, чтобы кому-нибудь удалось переубедить другого или переубедиться самому.

В глубоких оттисках этих круглых следов, словно в больших каменных площадках, скапливается дождевая вода. Дети эти ямы, наполненные теплой дождевой водой, называют «колодцами» и без различия вероисповеданий

держат в них мелкую рыбешку — пескарей и плотву, пойманных на удочку.

На левом берегу реки, несколько поодаль от нее, над самой дорогой, серой глыбой возвышается холм, он земляной, но земля на нем твердая, окаменевшая. На нем ничего не цветет и ничего не растет, кроме редкой сухой, острой, как колючая проволока, травы. Это холм-рубеж, граница ребяческих игр у моста. Издавна он получил название могилы Радисава. Рассказывают, что был тот Радисав настоящим богатырем и предводителем сербов. И когда визирь Мехмед-паша вздумал строить мост на Дрине и послал людей, все покорились и пошли отрабатывать кулук. Лишь один Радисав взбунтовался, и поднял народ, и наказал передать визирю, чтобы тот бросил это дело, потому что, дескать, никогда ему не поставит мост на Дрине. Немало помучился визирь, пока не совладал с Радисавом, ибо богатырь наделен был нечеловеческой силой, ни пуля, ни сабля его не брали и не было веревки или цепи, способной его скрутить. Кто знает, что было бы дальше и воздвиг ли бы когда-нибудь визирь мост на Дрине, если бы среди приближенных визиря не нашелся лукавый и мудрый царедворец, сумевший подкупить и выманить тайну Радисава у его слуги. И тогда Радисава захватили спящим и удавили шелковой бечевой, так как только против шелка его амулет был бессилен. Наши женщины верят, что раз в году ночью с неба падает на холм сноп яркого света. Бывает это осенью где-то между успением и рождеством богородицы. Впрочем, детям, с надеждой и сомнением прикивавшим к окнам с видом на могильный курган Радисава, так и не посчастливилось ни разу увидеть небесное зарево, ибо сон смаривал их задолго до полуночи. Зато вот запоздалым путникам, хоть им до этого и дела было мало, случалось видеть холм над мостом в белом сиянии, когда они возвращались ночью в город.

Вышеградские турки, со своей стороны, хранят старинное предание о том, что на этом самом месте в давние времена, отстаивая переправу через Дрину от войска неверных, пал геройской смертью дервиш шейх Турхания, великий юнак. А что здесь нет ни плиты, ни мавзолея, так то была воля самого дервиша, пожелавшего сохранить свой приют в неизвестности и тайне. Но стоит только войску неверных снова сюда подойти, дервиш встанет из

могилы и преградит им путь, как встарь, и ни шагу не ступят неверные дальше вышеградского моста. Вот почему только небо порой посылает свой свет на его могильный холм.

Так, у моста и рядом с ним, в беспечных выдумках и играх, протекала жизнь вышеградских детей. С первыми годами зрелости они переходили непосредственно на мост, а точнее в ворота, где юношеская мечта находила иную пищу и открывала новые горизонты и где брали вместе с тем свое начало житейские заботы, невзгоды и борьба.

Ворота и их преддверие издавна служили местом первых мимолетных встреч, любовных томлений, брошенных на ходу словечек, перешептываний. Здесь заключались первые сделки, соглашения, происходили ссоры и примирения, деловые свидания и встречи. Здесь на каменной ограде выставлялись на продажу скороспелая черешня, арбузы и дыни, а по утрам дымящийся салеп и горячая сдоба. Сюда же, вместе с цветущей молодостью, желавшей себя показать и людей посмотреть, и всеми, у кого нашлось, что вынести в ворота из плодов, одежды или оружия, стекалась нищая, убогая и прокаженная голь. Тут часто сидят солидные и уважаемые граждане, обсуждая общественные или коммерческие дела, но еще чаще молодежь, не ведающая иных забот, кроме песен и шуток. Здесь во время великих событий и исторических переворотов к мраморной плите между тарихом и фонтаном наклеивались воззвания и манифесты и здесь же в воротах, вплоть до 1878 года, вешали и насаживали на кол головы несчастных, в силу тех или иных причин преданных казни; казни же в этом пограничном городе, особенно в периоды смут и волнений, бывали нередким явлением, а в иные времена, как мы увидим ниже, и каждодневным.

Ни сваты, ни погребальная процессия не могут пройти через мост, не остановившись в воротах. Сваты готовятся здесь к торжественному выходу в торговые ряды. И, если времена тихие и мирные, пускают тут же по кругу ракию, затягивают песню и заводят коло, подчас задерживаясь на балконе гораздо дольше, чем ранее предполагалось. И при похоронах несущие обязательно опустят покойника в воротах, дав ему немного отдохнуть

там, где и при жизни он проводил изрядную часть своего времени.

Ворота венчают мост, а мост, в свою очередь, венчает город, или, как это написано в путевом дневнике некоего турецкого путешественника, хлебосольно принятого гражданами Вышеграда: «ворота сии поистине сердце моста, а мост поистине сердце города, город же, увиденный раз, поистине останется в сердце у каждого». Великие зодчие древности, которым приходилось бороться с кознями русалок и прочей нечисти и живьем замуровывать новорожденных, заботились не об одной лишь красоте и прочности постройки, но также и о пользе и удобстве ее для самых отдаленных поколений. Знакомство с жизнью здешних мест покажет всякому, как мало в Боснии людей, которым выпало на долю счастье пользоваться такими благами, какие предоставляют ворота и последнему местному жителю.

Зимнее время, естественно, не принимается в расчет, ибо тогда по мосту переходят только в случае нужды, да и то ускоряя шаг и вбирая голову в плечи под порывами холодного ветра, беспрестанно дующего над рекой. Никто, разумеется, не задерживается тогда на открытых балконах моста. Зато во всякое другое время года вышеградский мост — истинная благодать для всех от мала до велика. Каждый горожанин может тогда в любое время дня и ночи выйти на балкон и посидеть на диване или вообще по делам и без дел поболтать на мосту. С трех сторон окруженные темно-зелеными горами каменные сиденья дивана парят под облаками или звездами над пенной пучиной изумрудной воды, с пятнадцатиметровой высоты открывая перспективу уходящей вниз речной долины, замкнутой в глубине синими гребнями гор.

Много ли на свете визирей и богачей, которые и в радости и в печали, и в сладостном безделье и в праздности могли бы прийти в такое место? Совсем, совсем немного. А между тем сколько поколений моих земляков за долгие столетия встречало тут часы рассвета, коротало вечера, а то и ночи, когда весь звездный свод неприметно движется над твоей головой! Многие, многие из нас сжились здесь, вознесенные над бездной, и в сиянии вечно подвижных небес, озаряющих горы отблеском скользящего света, распутывали, прислонившись к граниту гладкой ограды, вечно одинаковые и все-таки всегда неповто-

римые хитросплетения своей судьбы. Давно уж замечено было (правда, иностранцем, и в шутку), будто бы историю города, как и характер его обитателей, определило существование этих самых ворот. В бесконечных бдениях на мосту, — утверждал иностранец, — следует искать причину склонности многих горожан к мечтам и раздумьям, как и главную разгадку меланхолической беспечности, отличающей жителей Вышеграда.

И в самом деле, невозможно отрицать, что легкомыслие, любовь к удовольствиям и мотовству издавна отличали вышеградцев от жителей других городов. Выгодное положение города среди богатых и прибыльных сел обусловило Вышеграду завидный приток денег, никогда, однако, в нем не задерживавшихся. Если же и находился в городе какой-нибудь домовитый и бережливый хозяин, чуждый страстям, то не иначе как пришелец из других краев; впрочем, первое же поколение его потомков испытывало на себе пагубное воздействие вышеградского воздуха и воды и, явившись в мир с разжатыми ладонями, пораженное заразой расточительности и беззаботности, жило по принципу: «Будет день, и пища будет!»

Говорят, Старина Новак, когда под старость, обессиленный, принужден был бросить свой разбойный промысел на горе Романии, так напутствовал своего преемника Дитя Груицу:

— Сперва как следует разгляди из засады путника. Если видишь — выступает горделиво всадник, а на нем красный джемадан с серебряными бляхами и белые носки до колена, значит, он из Фочи. Смело на него налетай — у этих есть и на себе, и в сумках переметных тоже. Увидишь — появился на дороге ободраный наездник, свесил голову к луке седельной, точно милостыню двинулся просить, — и на этого кидайся без оглядки, — этот из Рогатицы. Все они там приbedняются, скряги, а деньгами, точно гранат зернами, начинены. Ну, а как увидишь этакое простачка: ноги на седле перекрестил, тренькает на мандолине и распевает во все горло — не трогай его вовсе, не марай зря руки, пусти его с миром: это вышеградец, а у ихнего брата деньги в руках отродясь не держались.

Все это, казалось бы, подтверждало мнение заезжего путешественника. И все же трудно с уверенностью сказать, в какой степени это мнение соответствует действи-

тельности. В этом случае, как и во многих других, причину от следствия отличить непросто. Ворота ли создали своеобразный тип вышеградца, или же, напротив, воплотив в себе дух и характер вышеградцев, они возведены согласно их привычкам и вкусам? Излишний и праздный вопрос. Как в зодчестве нет места произвольным линиям и форме, так и человеческому обществу чужды случайные творения архитектуры, оторванные от запросов, нужд и вкусов, их породивших. Да и сама история возникновения и жизни величественных и практически-полезных сооружений, так же, как и отношения их с окружающим поселением, бывает окутана подчас загадочной и мрачной таинственностью. Как бы там ни было, впрочем, совершенно очевидно одно: жизнь горожан издавна и тесно связана с мостом. Судьбы их так переплетены, что порознь их нельзя себе представить и нельзя о них рассказать.

Вот почему повесть о рождении и судьбе моста есть в то же время повесть о судьбе города и многих поколений его обитателей, и наоборот, все устные предания о жизни города пронизывает линия каменного моста с его одиннадцатью арками и короной ворот посредине.

II

Нам предстоит теперь вернуться в те времена, когда на этих берегах не было и мысли о каком-нибудь мосте, и тем более таком, как этот.

Может статься, и в те отдаленные времена иному уставшему и промокшему путнику, проходившему эти места, случалось пожелать, чтобы через широкую и бурную реку каким-нибудь чудом перекинулся мост и помог ему быстрее и легче добраться до цели. Ибо нет сомнения, что с тех пор, как существуют и странствуют люди, преодолевая препятствия пути, у них, как извечная мечта всех путников о хорошей дороге, надежных попутчиках и теплом ночлеге, должна была возникнуть мечта о создании на этом месте переправы. Но далеко не всякое желание дает плоды, и не всякой мысли сопутствуют усилия и воля, способные претворить ее в действительность.

Впервые видение моста, которому суждено было воплотиться в жизнь, совсем еще, конечно, расплывчатое и туманное, мелькнуло ранним утром 1516 года в воображении десятилетнего мальчика из близлежащего села Соколовичи, когда его везли из родного села в далекий ослепительный и страшный Стамбул.

В те времена эта самая Дрина, зеленая и своевольная горная река, чьи воды часто мутнели, ревела здесь, стесненная громадами голых скал и пустынными песчаными берегами. Город существовал и тогда, но был совсем другой по виду и размерам. На правом берегу реки, обрывистом и высоком, где сейчас развалины, стоял хорошо сохранившийся Старый град, обширное укрепление эпохи расцвета Боснийского королевства, с башнями, казематами и крепостными стенами, возведенными одним из могущественных вельмож рода Павловичей. На кручах под защитой крепости лепились христианские посады Мейдан и Быковац, а также почти поголовно обращенная в мусульманство слободка Душче. Внизу, в долине междуречья Дрины и Рзава, там, где позднее образовался нынешний город, простирались поля, через которые проходила дорога с прилегающим к ней деревянным допотопным постоялым двором, редкими мельницами и хибами.

В том месте, где Дрина пересекала тракт, ходил знаменитый вышеградский паром. Паром представлял собой черное и древнее сооружение, а паромщика Ямака, мрачного и нерасторопного, было столь же трудно дозваться, как иного разбудить. Это был человек исполинского роста и невероятной силы, изувеченный в многочисленных войнах, в которых он прославил свое имя. У него были всего один глаз, одно ухо и одна нога (вторая была деревянная). Без тени улыбки и слова привета, с упрямой несговорчивостью, медлительно и неуклюже Ямак перевозил людей и грузы, но при этом был так добросовестен и честен, что этой своей честностью вошел в пословицу, равно как и своей неловкостью и своеволием. С путешественниками, которых он перевозил, он не вступал ни в какие разговоры и объяснения. Медные гроши в уплату за провоз люди кидали на дно почерневшего парома, где они и валялись весь день, в песке и в воде, пока под вечер паромщик не сгребал их небрежным жестом со дна деревянным черпаком для вычерпывания воды и не уносил в халупу над рекой.

Паром работал лишь тогда, когда скорость течения и уровень воды были в пределах нормы или немного выше, но стоило реке подняться выше определенной границы, как Ямак уводил свой неуклюжий паром в затон и ставил его на прикол, а Дрина уподоблялась безбрежному морю, которое было невозможно переплыть. Ямак становился глух и на второе, здоровое ухо или вовсе уходил за Старый град обрабатывать свой надел. В такие дни на скалистом берегу реки с утра до ночи можно было видеть иззябших и промокших путников, пришедших сюда из Боснии. В отчаянии напрасно вглядывались они вдаль, стараясь высмотреть паром и паромщика, и время от времени посылали протяжные крики, пролетавшие над мутными водами клубящейся реки:

— Ого-оооо-го, Ямак, где ты!

Но им никто не отвечал, и никто не появлялся, пока вода в реке не спадала, а эту долгожданную минуту самолично, хмуро, непререкаемо, без объяснений и лишних слов определял Ямак.

Город, вернее, тогдашнее небольшое скученное поселение, теснился на правом берегу Дрины, на крутых и обрывистых склонах под самыми развалинами старинной крепости, и ни своими размерами, ни своим видом не напоминал тот город, который вырос впоследствии, когда был построен мост и развились торговля и сообщение.

В тот ноябрьский день к левому берегу реки подошел длинный караван навьюченных лошадей и остановился на ночлег. Янычарский ага в сопровождении вооруженной охраны возвращался в Стамбул из похода по селам восточной Боснии, где он набирал христианских детей, подлежащих отправке в Турцию для пополнения армии янычар.

Вот уже шесть лет прошло со времени последнего сбора этой дани кровью, и потому на этот раз выбор был богат и легок; янычары без труда набрали нужное количество здоровых, развитых и красивых мальчиков от десяти до пятнадцати лет, хотя многие родители и прятали детей в лесах, учили прикидываться малоумными или хромыми, одевали в лохмотья и вымазывали в грязи, только бы увернуться от глаз янычарского аги. Некоторые действительно калечили своих детей, отрубая им по пальцу на руке.

Отобранных детей увозил длинный караван низкорослых боснийских лошадей. Две переметные корзины для перевозки фруктов покачивались на боках, и в каждой корзине помещалось по одному мальчику вместе с тощим узелком и караваем хлеба — последним приветом отчего дома. Из мерно колыхавшихся корзин, слегка поскрипывающих на ходу, выглядывали свежие и перепуганные лица похищенных детей. Одни через лошадиные крупы вглядывались, притихнув, в родные дали, другие ели, глотая вперемешку с кусками хлеба слезы, а третьи спали, приклонив голову к седлу.

На некотором расстоянии от замыкающих караван лошадей беспорядочной, задыхающейся толпой шли родители и родственники детей, увозимых затем, чтобы на чужбине, обрезанные и обращенные в мусульманство, они навсегда позабыли свою веру, свой край и всю жизнь служили Турецкой империи в янычарских отрядах, а может, на каких-нибудь и более высоких должностях. В большинстве это были женщины — матери, бабки и сестры отобранных мальчиков. Когда женщины приближались слишком близко, верховые охранники с гиканьем и свистом врзались в толпу и разгоняли ее ударами хлыстов. Женщины разбегались и прятались в лесу у дороги, но вскоре снова собирались и тянулись за караваном, стараясь полными слез глазами еще раз увидеть над корзиной голову отнятого ребенка. Особенно упорны и неотступны были матери. Они неслись, не разбирая дороги, косматые, растерзанные, обезумевшие, причитали и приговаривали, как над покойником, голосили, как немняемые, а многие выли, подобно роженицам, и, слепые от слез, лезли прямо под плети конвойных и в ответ на каждый удар иступленно твердили: «Куда вы его везете? Куда вы его уводите от меня?» Некоторые пытались дозваться своего сына и в двух словах послать ему последний наказ, последнее напутствие перед разлукой:

— Раде, сыночек мой, не забывай свою мать...

— Илия, Илия, Илия! — непрерывно выкрикивала одна женщина, безумным взглядом отыскивая вдали столь хорошо знакомую, дорогую голову сына, словно хотела заставить его затвердить это имя, которое через какие-нибудь несколько дней будет отнято у него навсегда.

Но путь долог, земля тверда, и тело слабо, а султа-

новы слуги жестоки и безжалостны. Мало-помалу измученные, гонимые ударами женщины, выбившись из сил, одна за другой отставали от каравана, поняв всю тщету своих усилий. У вышеградского парома отступились и самые упорные, так как на паром не пускали, а иначе переправиться через реку было нельзя. Здесь они могли без помех сидеть и плакать, потому что больше их никто не гнал. Окаменев, не чувствуя ни холода, ни голода, ни жажды, они ждали, пока на другом берегу реки еще раз не появится растянутая вереница вьючных лошадей и верховых, уходившая в сторону Дубруна, и в ней в последний раз не мелькнет образ родного дитя, навсегда исчезающий из глаз.

В тот ноябрьский день в одной из многочисленных переметных корзин безмолвно сидел черноволосый мальчик лет десяти из высокогорного села Соколовичи и сухими глазами смотрел вокруг. Сжимая в своей зазябшей, покрасневшей руке маленький кривой нож, он рассеянно строгал обод своей переметной корзины, но в то же время озирался вокруг. Он запомнил скалистый берег, поросший редкими, оголившимися, уныло-серыми ракетами, безобразного паромщика и ветхую, продуваемую сквозняками, оплетенную паутиной мельницу, в которой им пришлось заночевать в ожидании, пока все переправятся через мутную Дрину, оглашаемую карканьем ворон. И как физическую боль где-то в нем самом, черным острием по временам пронзавшую на мгновение его грудь, разнимая ее пополам, вынес он воспоминание об этом месте, где кончалась дорога и где щемящее чувство тоски и безысходности как бы сгущалось и оседало на каменистых берегах реки, переправа через которую трудна, дорога и рискованна. В этой обнаженно-болезненной точке неимущего и скудного горного края нищета и убожество проявлялись во всей своей неприкрытой очевидности, и человек, остановленный непреодолимым превосходством стихии, посрамленный в своей немощи, должен был убедиться воочию в собственной и всеобщей беспомощности и отсталости.

Все это отозвалось в нем ощущением почти физической муки, которое осталось в мальчике с того ноябрьского дня и никогда впоследствии его совсем не покидало, хотя вскоре его судьба переменилась, так же, как изменились его вера, имя и отечество.

Что было дальше с тем мальчиком из переметной корзины, повествуют истории на всех языках, и в широком мире знают об этом больше, чем у нас. Со временем он, молодой и храбрый, стал хранителем оружия при дворе султана, а потом адмиралом флота, капудан-пашой и, наконец, царским зятем, полководцем и государственным деятелем, известным во всем мире Мехмед-пашой Соколи, который на трех континентах вел почти всегда победоносные войны, расширил границы Турецкой империи, обезопасил их извне и мудрым правлением укрепил изнутри. За шестьдесят с небольшим лет своей деятельности Мехмед-паша служил при дворе трех султанов и, вкусив и в радости и в горе то, что дано изведать редким избранным, вознесся на невиданные вершины могущества и власти, на которых мало кто, достигнув их, мог удержаться. Этот человек, как бы вновь рожденный на чужбине, куда мы даже мысленно не можем последовать за ним, должен был забыть все, что он оставил в том краю, откуда некогда его увезли. Забыл он, несомненно, и переправу через Дрину у Вышеграда, пустынный берег и путников, дрожащих от стужи и неизвестности, громоздкий, источенный червями паром, страшного паромщика и крики голодных ворон над мутной водой. Но ощущение физической боли, вызванное всеми теми впечатлениями, никогда его не покидало. Наоборот, с годами, к старости, оно все чаще напоминало о себе знакомой с детства болью, столь отличной от всех прочих телесных страданий и недугов, припасенных ему жизнью под конец: черное острие пронзало его грудь, рассекая ее пополам. Закрыв глаза, визирь тогда покорно ждал, когда минует черная пронзающая мука и боль утихнет. В одно из таких мгновений ему пришла в голову мысль, что он бы мог избавиться от страшной муки, навсегда разделавшись с паромом на далекой Дрине, воплощением бедствий и мрака, если бы перекинул мост над злой рекой, соединив крутые ее берега и концы разорванной дороги и прочными узами связав навсегда с Востоком Боснию — край, откуда он происходил, с краем, где он теперь жил. Так в этот миг визирю первому сквозь смеженные веки представился четкий и стройный силуэт большого каменного моста, который должен был быть здесь возведен.

В тот же год по приказу визиря и на его деньги было

начато строительство большого моста на Дрине. Оно продолжалось пять лет. Эти годы должны были составить необычайно важную и бурную эпоху в жизни города и всей округи, полную переменами и событиями разного значения. Но, как это ни странно, город, столетиями помнивший и пересказывавший разные ничтожные события, в том числе и некоторые, отдаленно связанные с возведением моста, сохранил в своей памяти совсем немного подробностей о самих работах на строительстве дринского моста.

Народ запоминает и пересказывает все то, что может осознать, и то, что можно превратить в легенду. Все остальное бесследно проходит мимо, не задевая его воображения и оставляя безучастным, как отвлеченные явления природы. Мучительное и многолетнее строительство дринского моста было для народа чужой печалью и чужой казнью. И только после того, как мост — плод напряженных усилий — воочию повис над рекой, народ стал вспоминать подробности возведения этого прекрасного и прочного творения из камня и его реальную историю разукрашивать фантастическим вымыслом, в чем он был большой искусник и что так надолго запоминал.

III

Весной того года, когда визирем было принято решение о строительстве моста, в город для подготовки всего необходимого к началу работ прибыли его люди с охраной. Было их много — с лошадьми, повозками, всевозможным инвентарем и палатками. Это нашествие вызвало тревогу и страх в маленьком городе и окрестных селах, в особенности среди христианской части населения.

Во главе прибывшего отряда стоял Абид-ага, доверенное лицо визиря по строительству, с ним был Тосун-эфенди, зодчий. (Этого Абид-агу молва наперед рисовала человеком грубым, жестоким и строгим сверх всякой меры.) Едва успев разместиться в палатках под Мейданом, Абид-ага созвал представителей властей, а также именитых турок на совет. Советоваться много не пришлось, ибо говорил за всех один, а именно Абид-ага. Перед собравшимися предстал человек могучего сложения в богатых стамбульских одеждах, с зелеными глазами на багрово-красном отечном лице, обрамленном рыжей боро-

дой, и с немилосердно закрученными на мадьярский лад усами. Речь, которую держал этот могучий человек перед собравшимися, произвела еще более ошеломляющее впечатление, чем его внешность.

— Надо думать, что раньше меня до вас дошли слухи обо мне, и, уж конечно, они не из приятных или лестных. Вы, вероятно, слышали, что я требую от всех работы и повиновения и могу бить и забить до смерти за малейшее проявление лени или строптивости; что таких слов, как «нельзя» или «нет», для меня не существует, да и за более невинные можно легко поплатиться головой; короче говоря, что я кровопийца и зверь. Хочу вам сказать, что слухи эти не вымысел, не преувеличение. Под моей липой тени вам не найти. Такую репутацию я заслужил долголетней службой, преданно исполняя приказы великого визиря. Думаю и сейчас с божьей помощью выполнить то, для чего я сюда послан, и надеюсь, что, когда по завершении дела я уеду отсюда, впереди меня поползут еще более страшные и черные слухи, чем те, которые дошли до вас.

После столь необычного вступления, выслушанного молча и с опущенными взорами, Абид-ага объяснил людям, что речь идет о строительстве большой важности, какого не видывали и более богатые земли, что работы продлятся пять, а может быть, и шесть лет, но воля визиря будет выполнена полностью и вовремя. Потом он изложил первейшие нужды, перечислил подготовительные работы и сообщил, что прежде всего он ожидает от местного турецкого населения и требует от христианской райи.

Подле него сидел Тосун-эфенди, тщедушный, бледный и желтушный потурченец родом с греческих островов, зодчий, возводивший многие сооружения в Стамбуле, которые закладывал Мехмед-паша на помин своей души. Тосун-эфенди был спокоен и безучастен, как будто бы не слышал или не понимал слов Абид-аги. Он рассматривал свои руки и только изредка поднимал взгляд. Тогда можно было видеть его большие, бархатисто-черные блестящие глаза, красивые, близорукие глаза человека, погруженного в свое дело, не замечающего и не воспринимающего ничего другого в жизни и в мире.

Люди выходили подавленные и удрученные из удручающе жаркой палатки. И, обливаясь потом под новыми

парадными одеждами, ощущали неодолимо всеявшийся в них страх и тревогу.

Большое, непостижимое бедствие обрушилось на город и на всю округу, и конца ему не было видно. Прежде всего начали рубить и подвозить лес. По обоим берегам Дрины выросли такие горы леса, что люди долгое время думали, что мост будет построен из бревен. Потом начались земляные работы, рыли и долбили каменные берега. В основном они производились в счет кулука и продолжались до глубокой осени, когда первая часть дела была завершена и строительство было временно приостановлено.

Абид-ага лично следил за работами, нередко прибегая к помощи своей зеленой длинной палки, про которую была сложена песня. Ибо стоило Абид-аге указать этой палкой на какого-нибудь нерадивца или отлынищика, как стражники хватали его, отделявали палками на месте, а после, окровавленного и впавшего в беспамятство, окатывали водой и снова посылали работать. Поздней осенью, накануне своего отъезда, Абид-ага опять созвал старейшин и видных горожан и сказал, что на зиму он уезжает, но свой глаз оставляет здесь. Все они будут в ответе за все. При малейшей порче земляных работ или пропаже одной-единственной слепи из подготовленного леса он взыщет со всего города. На замечание, что весенний разлив тоже может что-нибудь испортить, Абид-ага непререкаемо и холодно ответил, что это их край и река тоже их, а следовательно, они в ответе и за убытки, причиненные ею.

Всю зиму горожане стерегли и оберегали работы как зеницу ока. С приходом весны в город вернулся Абид-ага с Тосун-эфенди, на этот раз вместе с далматинскими каменотесами, прозванными в народе «римскими мастерами». Сначала их было около тридцати. Главным у них был мастер Антоние, христианин из Ульциня. Это был высокий красивый человек с орлиным носом и открытым взглядом смелых глаз, с каштановыми волосами до плеч, одетый по-господски на западный манер. Помощником мастера Антоние был негр, самый натуральный негр, веселый парень; целый город и весь рабочий люд со строительства звал его Драпом.

Если в прошлом году невиданные горы леса, казалось, говорили о том, что Абид-ага собирается строить

деревянный мост, то теперь горожане готовы были думать, что Абид-ага вознамерился здесь, на Дрине, воздвигнуть новый Стамбул. Из горного карьера под Баньей, что в часе ходьбы от города, на строительство стали свозить камень.

В тот год на дринские берега у вышеградского парома пришла какая-то особая весна. Вместе с весенними побегами, что, пробиваясь из почвы, каждый год распускались здесь в эту пору года, на берегах реки, словно бы из-под земли, выросло целое стойбище времянок; появились новые дороги и спуски к воде; во все стороны расползлись бесчисленные воловьи упряжки и вьючные лошади. Обитатели Мейдана и Околиште наблюдали, как с каждым днем, точно поднимающиеся всходы, увеличивается внизу по берегам реки количество людей, скота и всевозможного строительного материала.

На обрывистом берегу реки работали мастера-каменотесы. Все вокруг было присыпано желтоватой каменной пылью. Несколько поодаль, на песчаной площадке, гасили известь местные поденщики, мелькая ободранными белыми тенями в дыму, высоко поднимавшемся над ямой. Перегруженные телеги вконец разбили дороги. Паром ходил целый день, перевозя с одного берега на другой строительные материалы, надсмотрщиков и работников. По пояс в мутной весенней воде специальные рабочие вколачивали в речное дно столбы и сваи, укрепляли плетенную из прутьев и набитую глиной плотину для перекрытия реки.

На все это поглядывали люди, мирно жившие до этих пор в своем разбросанном по горным склонам городишке у парома на Дрине. И хорошо было бы, если бы можно было только поглядывать,— работы, расширяясь, принимали такой размах, что втягивали в свой водоворот не только сам город со всем, что было в нем одушевленного и неодушевленного, но и всю округу. На следующий год количество рабочих настолько возросло, что достигло численности всего мужского населения города. Все телеги, все лошади и волы работали теперь только на строительстве моста. Все, что может катиться или скользить, отбиралось у населения и впрягалось в работу, иной раз за плату, а порой насильно, в счет кулука. Денег в обращении ходило больше, чем раньше, но дороговизна и обнищание обгоняли поступление денег; когда наконец

деньги попадали в руки, они уже были наполовину проедены. Но еще большим злом, чем нищета и дороговизна, были для местных жителей беспорядки, беспокойство и беззакония, допекавшие город из-за притока на строительство огромных масс рабочего люда со всех концов света. Несмотря на все строгости Абид-аги, между рабочими часто вспыхивали драки, а по дворам и садам процветало воровство. Мусульманские женщины вынуждены были закрывать лицо, даже выходя на свой собственный двор, ибо из-за каждого угла их мог настичь взгляд одного из бесчисленных рабочих, пришлых и местных, а городские турки тем истовее блюли заветы ислама, что большинство из них турками стало недавно, и среди них, наверно, не было ни одного, который бы не помнил своего отца или деда христианином или новообращенным. Старшие люди турецкого закона открыто негодовали, поворачиваясь спиной к кипящему вареву стройки, перемалывающей тягловую силу и рабочий люд, дерево, землю и камень, заплеснувшей у парома оба берега реки и в грозном своем разливе принявшей уже за их улочки, дворы и огороды.

Вначале все они гордились величием сооружения, которое пожелал поднять визирь в их краю во спасение своей души. Тогда они еще не знали того, что видели теперь: каким столпотворением и ломкой, какими усилиями и расходами чреваты эти славные постройки; хорошо, конечно, думали они, принадлежать к чистой и господствующей вере, хорошо иметь в Стамбуле визиря-земляка, а еще того лучше рисовать в своем воображении надежный и бесценный мост над рекой, но то, что происходит теперь, ни на что не похоже. В ад превращен их мирный городок, в какой-то круговорот непонятных дел, дыма, пыли, крика и толчеи. Годы проходят, работы расширяются и растут, а ни смысла их, ни конца не видно. На все что угодно это похоже, но только не на мост.

Вот какие мысли зрели в умах местных турок; с глазу на глаз они признавались, что уже сыты по горло и господством, и гордостью, и будущей славой, отрекались и от моста и от визиря и только молили бога избавить их от напасти и вернуть их домам прежний мир и покой скромной и тихой жизни на реке со старинным паромом.

Допекло строительство турок, и уж тем более допекло оно христианскую райю всей Вышеградской округи, с тем только отличием, что ее никто ни о чем не спрашивал и даже возмущение свое выразить она не могла. А между тем вот уже третий год народ батрачит на новом строительстве, отработывая положенное собственным трудом, лошадьми и волами. И не только местная райя, но и райя трех соседних уездов. Стражники Абид-аги рыщут по округе верхами, хватают сельскую и городскую бедноту и сгоняют на мост. Обычно людей подкарауливают ночью и хватают сонных, как цыплят. По всей Боснии путник предупреждает путника не ходить на Дрину, потому что, кто туда попадет, того хватают, не спрашивая, кто он и что и куда идет, и силой заставляют хотя бы несколько дней отработать на строительстве. Городские христиане откупаются взятками. Деревенские парни попробовали было скрыться в лесах, но вместо бежавших юношей стражники Абид-аги стали брать из их домов заложников, часто и женщин.

Вот уже третья осень пошла, как народ батрачит на строительстве, но ничто не говорит о том, что оно подвинулось вперед, и ничто не предвещает конца этому бедствию. Глубокая осень стоит на дворе; листья опали, хлупает под ногами грязь на размытых дождями дорогах, Дрина поднялась и замутилась, на голой стерне полно отяжелевших ворон. Но Абид-ага не останавливает работ. При скудном свете ноябрьского солнца крестьяне тащат камни и бревна, шлепают босыми ногами или раскисшими опанками по жидкой глине дорог, исходят потом от напряжения и дрожат на ветру, потуже затягивают черные порты, все в новых дырах и старых заплатках, связывают кое-как обтрепанные полы единственной холщовой рубахи, темной от грязи, дыма и дождей и настолько ветхой, что она уже не может выдержать стирки. Над всеми висит зеленая палка Абид-аги, он обходит карьер под Баньей и работы у моста, и при этом не один раз на день. Абид-ага разъярен, он ненавидит весь свет за то, что дни убывают, а работы на строительстве подвигаются не так быстро, как бы он хотел. В тяжелом русском тулупе, в высоких сапогах, с пылающим красным лицом, взбирается он на леса первых опорных столбов, уже поднявшихся над водой, обходит кузни, склады, рабочие халупы и распекает всех по очереди подрядчиков и надсмотрщиков.

— Дни убывают, все короче становятся! А вы, сукинны дети, только хлеб даром едите!— кричит он, будто они виноваты, что поздно светает и рано темнеет. Когда же над Дриной сгущаются сумерки, неотвратимые и безрадостные вышеградские сумерки, неприступные горы смыкаются кольцом вокруг города и быстро спускается ночь, тяжелая, глухая, словно последняя, тогда ярость Абид-аги достигает предела; не имея возможности выместить ее на ком-нибудь, он мечется в постели без сна, терзаясь мыслями о том, что дела стоят, а столько людей бездельничает и храпит. Абид-ага скрипит зубами. Он кличет надзирателей и до утра рассчитывает с ними, как лучше использовать завтрашний день и побольше выжать из рабочих.

В это самое время, разбредясь по клетям и лачугам, люди отдыхают и набираются сил. Но спят не все; умеют и простолюдины провести приятно время по своему разумению и вкусу.

Посреди просторной и сухой клетки горит костер, вернее сказать, догорает, поскольку от него остались одни угли, мерцающие в полумраке. Помещение наполнено дымом, кисловатым тяжелым духом, исходящим от мокрой одежды и опанок, и испарениями трех десятков человеческих тел. Это все окрестные крестьяне, отработавшие кулук, христианская голытьба. Грязная, промокшая, замученная и озабоченная. Отбирает у нее последние силы безвозмездный и нескончаемый кулук, в то время как там, наверху, в деревнях, поля напрасно ждут осенней вспашки. Большинство еще не спит. Люди сушат у огня портянки, чинят опанки или просто смотрят в углы. Тут же сидит один черногорец, его схватили стражники на дороге, и вот уже несколько дней он гнет спину на строительстве, несмотря на тщетные попытки доказать всем и каждому, что его достоинство и честь не позволяют ему выносить столь унижительной поденщины.

Почти все, кто не спит, собрались вокруг него, в особенности молодежь. Из глубокого кармана своего серого гуня черногорец извлек невзрачные на вид гусли с ладонь величиною и короткий смычок. Один из крестьян выходит наружу сторожить, не нагрянул бы невзначай кто-нибудь из турок. Все смотрят на черногорца, будто бы впервые его видят, и на гусли, утонувшие в его больших ладонях. Черногорец склоняет голову, берет гусли,

прижимая гриф подбородком, смазывает струны смолой и дышит на смычок — все отсырело и набухло; и пока он производит все эти операции, истово и важно, как будто он один на свете, все смотрят на него не отрываясь. Наконец раздался первый звук, отрывистый и резкий. Нетерпение возросло. А черногорец, подстраиваясь, стал тихо напевать без слов, голосом дополняя звуки гуслей. И они слились и уже обещали чудесную песню. Наконец, когда черногорец добился полного созвучия голоса и гуслей, он энергично и гордо откинул назад голову, так что адамово яблоко выступило на его тощей шее и резкий профиль четко обозначился в отблесках догоравшего костра, и, испустив приглушенное и протяжное «аааааааа!», сразу взял сильно и отдельно:

Уж как в Призрене в царской вотчине
Сербский царь Стефан на пиру сидит,
Именитых вельмож и гостей поит;
Собрались вокруг него старейшины,
Патриархи и девять епископов.
А за ними по чину двадцать визирей,
Бунчуками тройными увенчанных,
Их Мияло-монах обносит винами.
И блещут каменья драгоценные
На груди красавицы Кандосии.

Крестьяне ближе придвигаются к гусляру, бесшумно, не дыша. И только удивленно и восторженно хлопают глазами. По коже пробегают мурашки, спины выпрямляются, плечи расправляются, глаза горят, пальцы растопыриваются и сжимаются в кулак, напряженно сводятся скулы. Черногорец разливается руладами, нанизывая звуки эдин на эдин, все смелее и свободней отдаваясь песне, а мокрые, позабывшие про сон поденщики, очарованные, безучастные ко всему прочему, уносятся вдаль, вслед за песней, словно она рассказывает им собственную прекрасную и светлую судьбу.

Среди множества крестьян, которые обрабатывали кулак, был и пекто Радисав из Уништа, маленькой деревушки тут же, над городом. Приземистый человек с хмурым лицом и беспокойными глазами, сильно согнутый в пояснице, он ходил быстро, размахивая руками, выбрасывая ноги в стороны и раскачивая головой и плечами слева направо и справа налево, точно сеял в поле. Он был не таким бедным, как казалось, и не таким простач-

ком, как прикидывался. Он был из рода Хераков; они владели хорошими угодьями, в доме было много мужчин, но за последние сорок лет почти вся их деревушка перешла в мусульманство, и Хераков здорово оттерли и прижали. Осенними ночами маленький, сгорбленный и торопливый Радисав своей походкой «сеяльщика» шел из одного хлева в другой, втирался в крестьянскую гущу и шептался то с одним, то с другим. Речи его в основном сводились к следующему:

— Братцы, хватит с нас мучений, пора за себя постоять. Вы же видите, что этот мост все жилы из нас вытянет, в гроб вгонит. И дети наши на нем батрачить будут, если только до тех пор кто-нибудь доживет. Да и затеян он затем, чтобы всех нас извести. Мост нужен не беднякам да голытьбе крестьянской, а туркам; мы войск не держим, торговлю не ведем; нам и парома предостаточно. Вот мы тут кое с кем и условились ночью в самую темень пойти на строительство и разрушить и поломать что сможем, а после слух пустим, будто это русалка портит, не дает поставить мост на Дрине. Посмотрим, что из этого выйдет. Другого выхода нет, а сидеть сложа руки больше нельзя.

Находились, как водится, малодушные и неверящие, считавшие это пустой затеей: мол, хитрые и могущественные турки никогда не откажутся от своего намерения, и лучше тянуть свою лямку, чтобы плохое не обернулось еще худшим; но нашлись и такие, которые были готовы на все, лишь бы освободиться от ярма, пока еще последняя залатанная одежонка не свалилась с плеч и последняя капля силы не оставила человека на изнурительных работах Абид-аги и его скудных харчах; эти согласны были пойти за кем угодно, лишь бы им предложили какой-то выход. Главным образом это были молодые парни, однако были и солидные, женатые люди, хозяева, идущие на это без горячности и запальчивости и говорившие озабоченно:

— Что ж, пошли рушить, холера его задуши, пока он всех нас не задушил. А уж если и это не поможет, тогда...— И они с отчаянной решимостью махали рукой.

Так в первые осенние дни разнесся слух, сначала среди рабочих, а потом и по городу, будто речная русалка вмешалась в эту людскую затею с мостом и ночью рушит построенное днем и что из этого строительства ни-

чего не выйдет. И в самом деле в это же время ночью на строительстве стали происходить непонятные порчи заград и даже каменной кладки. Инструменты, до сих пор оставляемые рабочими на крайних столбах, начали исчезать бесследно, а земляные насыпи обваливаться и осыпаться.

Слух о том, что мост не может быть поставлен, неудержимо ширился, его распространяли и турки и христиане, и вскоре он принял характер непоколебимой убежденности. Христианская беднота ликовала, и хоть втихомолку и исподтишка, но от всего сердца. И местные турки, еще недавно горделиво взиравшие на строительство, теперь насмешливо перемигивались и пожимали плечами. Многие наши потурченцы, которые, переменяв веру, жестоко обманулись в ожиданиях и по-прежнему садились за скудный ужин и расхаживали с драными локтями, охотно слушали, с наслаждением повторяли настоячивые слухи о больших незадачах на строительстве и испытывали горькую отраду оттого, что даже и визирям не всегда удается осуществить задуманное. Поговаривали и о том, что иноземные мастера собираются уезжать и что моста не будет там, где его никогда не бывало и где нечего было его и начинать строить. Переплетаясь, эти слухи быстро расползлись в народе.

Народ с легкостью выдумывает небылицы и тут же пускает их в ход, и при этом реальность неотделимым и непостижимым образом переплетается и перемешивается с вымыслом. Крестьяне, которые ночью слушали гусяра, утверждали, будто бы русалка, рушившая мост, велела передать Абид-аге, что она не перестанет его рушить, пока в опорные столбы не будут замурованы младенцы-близнецы — брат и сестра по имени Стоя и Остоя. Многие клялись при этом, что видели стражников, разыскивавших в деревнях двух близнецов. (Стражники и в самом деле рыскали по деревням, но искали они не близнецов, а по приказу Абид-аги прислушивались к разговорам и выпрашивали народ, надеясь напасть на след таинственных людей, разрушавших мост.)

В это время в маленькой горной деревушке над Вышеградом обнаружилось, что забеременела немая дурочка, сирота, жившая в услужении и не желавшая признаться (а может быть, просто не знавшая), от кого она понесла. Это был редкий и неслыханный случай, чтобы

забеременела девушка, а тем более такая, да еще чтобы и отец остался неизвестным. Слух о происшествии мигом облетел округу. Как раз в эту пору несчастная разродилась в хлеву и произвела на свет двух близнецов, но обоих мертвыми. Деревенские женщины помогли ей при родах — а они были невероятно трудные — и тотчас же схоронили младенцев в сливняке. Между тем родильница уже на третьи сутки поднялась и пошла по деревне искать своих детей. Напрасно объясняли ей, что дети родились мертвыми и их похоронили. Чтобы избавиться от ее расспросов, ей наконец сказали больше жестами, чем словами, что ее младенцев увезли в город, туда, где турки строят мост. Еще слабая, в полном отчаянии, она притащилась в город и стала обходить строительство, испытующе заглядывая людям в глаза и невнятным мычанием спрашивая о детях. Люди смотрели на нее в недоумении или гнали прочь, чтобы она не мешала работать. Видя, что ее не понимают, она распахивала грубую крестьянскую рубаху и показывала свои груди, болезненно набухшие, с потрескавшимися, сочащимися кровью сосками от неумеренного прилива молока. Никто не знал, как ей помочь и втолковать, что дети ее не замурованы в мост; на все уговоры и ласковые уверения, на ругательства и угрозы она отвечала жалобным мычанием и недоверчивым, подозрительным взглядом обшаривала все углы. В конце концов ее оставили в покое, позволив ей бродить по строительству и обходя ее с глубоким состраданием. Повара соскребали ей со дна котла подгоревшую мамалыгу, которой кормили работников. Они первыми и прозвали ее Блаженной Илинкой, а от них это прозвище перенял и весь город. Даже Абид-ага проходил мимо несчастной без брани, суеверно отворачивая голову в сторону и веля накормить ее. Так она и осталась жить безобидной дурочкой при строительстве. С ней прижилось и поверье о том, что турки замуровали в мост младенцев. Кто верил в него, кто не верил, но все пересказывали и передавали дальше.

А порчи все продолжались, то мелкие, то крупные, вместе с ними ширились все более упорные слухи, что русалки не позволяют строить мост на Дрине.

Абид-ага кипел. Его бесило, что кто-то посмел, не взирая на его легендарную жестокость, которую он пестовал как предмет своей особой гордости, пойти про-

тив его начинаний и намерений. К тому же и весь здешний народ, и мусульмане не меньше, чем христиане, внушал ему чувство омерзения: ленивый, неумелый в деле, непочтительный и ехидный, он проявлял необыкновенную находчивость, когда надо было осмеять и изничтожить все то, что он не способен понять или сделать. Абид-ага выставил караул по обеим сторонам реки. На земляных работах порчи прекратились, но на самой реке продолжались по-прежнему. Только лунные ночи спасали мост от разрушения. Это обстоятельство утвердило Абид-агу, не верившего в нечистую силу, во мнении, что русалки эти вполне зримы и слетают на мост не с облаков. Долго он не хотел, не мог поверить, что все это проделки крестьян, но теперь все больше убеждался в том, что это именно так. И приходил в еще большее бешенство. В то же время он прекрасно сознавал необходимость сохранять спокойствие и скрывать свой гнев, если он хочет захватить врасплох вредителей и как можно скорее и окончательно разделаться с росказнями про русалок и прекращением работ на мосту, начинавшими становиться опасными. Он вызвал к себе начальника стражи, некоего Плевляка, выросшего в Стамбуле, человека бледного и болезненного.

Инстинктивное и взаимное неприятие, испытываемое этими двумя людьми, одновременно отталкивало и неодолимо влекло их друг к другу. Между ними постоянно колыхалась и ткалась пряжа необъяснимой ненависти, брезгливости, страха и недоверия. Абид-ага, вообще не отличавшийся мягкостью и приятностью в обхождении, к этому бледному потурченцу проявлял откровенное презрение. Что бы он ни делал, что бы ни говорил — все вызывало в Абид-аге глухое раздражение и желание издеваться над ним и унижать. И чем больше пресмыкался перед ним Плевляк, показывая свою преданность и рвение, тем яростней ненавидел его Абид-ага. А начальник стражи с первого дня суеверно и панически боялся Абид-агу. Со временем этот страх стал для него мучительным и неотвязным кошмаром. При каждом движении, при каждом шаге, часто даже и во сне он думал: как на это посмотрит Абид-ага? Напрасно он выслуживался, напрасно старался угодить. Все, что исходило от него, Абид-ага встречал с негодованием. И эта необъяснимая злобная ненависть мертвила и сбивала с толку Плевляка,

делая его еще более тупым и неловким. Плевляк не сомневался, что в один прекрасный день по милости Абид-аги он лишится не только положения и куска хлеба, но и головы. Поэтому он жил в постоянной тревоге, смертельный испуг чередовался в нем с приступами буйной ярости. И когда теперь, бледный и похолодевший, он предстал перед Абид-агой, тот ему сказал приглушенным от гнева голосом:

— Слушай ты, чурбан, ты этих свиноедов знаешь насквозь, и их язык, и все их подлые уловки, и несмотря на это до сих пор не можешь отыскать гнусь, которая подняла руку на дело визиря. И это потому, что ты точно такая же гнусь, как они, только нашлась гнусь еще более мерзкая, чем ты, которая произвела тебя в должность и поставила начальником, и никого еще не нашлось, кто бы воздал тебе по заслугам. Так вот, это сделаю я, раз никого другого нет. Знай же, что я тебя в землю вколочу, что от тебя не останется под солнцем и той тени, что бросает ничтожная травинка. Если через три дня на строительстве не прекратятся порча и ломка, если ты не поймаешь виновных, не прекратишь дурацкую болтовню про русалок и не устранишь помехи в работах, я посажу тебя живьем на кол на самых высоких лесах, чтобы люди тебя видели, чтоб пронял их страх и они опамтовались. Клянусь тебе в том жизнью и верой, а я слов на ветер не бросаю. Сегодня четверг, времени у тебя до воскресенья. А теперь проваливай к дьяволу, который и послал мне тебя. Убирайся!

И без клятвы Плевляк поверил бы этой угрозе, даже во сне один взгляд и голос Абид-аги приводили его в трепет. Он вышел от наместника визиря, парализованный очередным припадком панического страха, и с лихорадочной поспешностью ринулся в дело. Он созвал своих людей и, мгновенно из предсмертного оцепенения впад в иступленную ярость, напустился на них с бранью.

— Слепцы! Дармоеды! — вопил Плевляк, как будто бы его живьем насаживали на кол, и устрашающе надвигался на своих подчиненных. — Разве так несут караул и стерегут царское добро? Как к котлу идти, так откуда только прыть и резвость берутся, а как по службе побегать, так у вас и ноги отнимаются, и ум отшибает. А мне за вас со стыда сгорать. Но больше я не дам вам лодыря гонять! Я вас на этих самых лесах перебью до последне-

го, ни на одном головы не оставляю, если через два дня вся эта чертовщина не прекратится и разбойники не будут схвачены и прикончены. Два дня вам еще жить, клянусь верой и Кораном!

Долго надрывался Плевляк. И не зная, что еще сказать и чем еще пригрозить, стал обходить своих стражников и во всех подряд плевать. Облегчив таким образом душу и освободившись от гнетущего страха, вытесненного яростью, Плевляк с ожесточением взялся за дело. Всю ночь он ходил со своими молодцами вдоль берега. В какой-то миг им почудились удары на лесах, дальше других отошедших от берега, они кинулись туда. Послышался треск досок, в воду с плеском посыпались камни; когда они добежали до места, они увидели развороченные леса и обвалившуюся кладку, а преступников и след простыл. Пробираемые ночной сыростью и суеверным ужасом, стражники дрожали, пораженные жуткой пустотой. Они перекликались, пялились в темноту, размахивали зажженными лучинами, но все напрасно. Порча снова была налицо, те же, кто ее произвел, не были ни схвачены, ни убиты, как будто бы были и впрямь невидимками.

На следующую ночь Плевляк еще хитрее расставил засады. Несколько людей переправил на тот берег. А когда стемнело, попрятал своих стражников вдоль строительных лесов, а сам еще с двумя людьми сел в лодку, заблаговременно и незаметно отведенную в темноте к левому берегу. Два взмаха весел,— и они будут у любого из двух начатых опорных быков. Таким образом, налетев на вредителей с двух сторон, они не дадут им улизнуть, если только те не крылатые и не подводные твари.

Всю долгую и холодную ночь Плевляк пролежал на дне лодки, укрытый овчинами и терзаемый самыми черными мыслями; в голове у него было одно и то же: действительно ли Абид-ага намерен осуществить свою угрозу и отнимет у него жизнь, которая под началом столь грозного повелителя и так-то не жизнь вовсе, а сплошное мучение и ужас. Ни малейший шум не нарушал безмолвия строительных лесов, кроме однообразного рокота невидимой воды. Наступил рассвет, и всем своим окоченевшим телом Плевляк почувствовал, как иссякает и меркнет его жизнь.

Следующей, третьей и последней, ночью было то же бессонное бдение в засадах и настроженное прислушивание. Миновала полночь. Плевляка одолевало смертельное безразличие. Вдруг послышался легкий всплеск и повторился, усиливаясь, а вслед за ним раздался тупой удар по дубовой свае, вбитой в дно и державшей строительные леса. Кто-то пронзительно свистнул. Но лодка Плевляка уже летела вперед. Выпрямившись во весь рост, Плевляк таращил глаза в темноту и, подгоняя гребцов взмахами рук, орал осипшим голосом:

— Живей, живей! Над-д-дай!

Люди, с трудом преодолевая сонливость, гребли резкими взмахами, но сильное течение подхватило лодку раньше времени, и, вместо того чтобы пристать к лесам, лодка, увлекаемая стремниной, из которой невозможно было вырваться, пошла вниз по течению, и ее отнесло бы далеко, если бы не неожиданное препятствие.

На середине быстрины, свободной от строительных лесов, лодка глухо ударилась обо что-то деревянное и тяжелое. И остановилась. Только тогда они поняли, что наверху стражники с кем-то борются. Стражники, все сыновья потурченцев из здешних краев, в один голос что-то кричали; отрывистые и неразборчивые возгласы их сталкивались в темноте:

— Держи, не пускай!

— Сюда, ребята!

— Я это, я!

Вдруг какой-то тяжелый предмет или человеческое тело с плеском плюхнулось в воду.

Несколько мгновений Плевляк находился в полной растерянности, не понимая, где они остановились и что вообще происходит, но едва пришел в себя, стал железным крюком на длинном деревянном шесте отталкиваться от досок, с которыми столкнулась его лодка, и подводить ее все ближе к лесам. Минутой позже он был уже у дубовых свай и, приободрившись, во все горло закричал:

— Лучину, зажгите лучину. Веревку киньте!

Сначала ему никто не отвечал. Наконец, после долгих криков, тонущих в гвалте, в котором никто ничего не слышал и не понимал, на лесах робко засветился боязливый огонек тонкой лучинки. В первое мгновение свет ее ослепил глаза, закрутив в мятежном вихре предметы и людей, их тени и красные отблески на воде. Но вот в

чьей-то руке засветилась вторая лучина. Установился ровный свет, люди осмотрелись и стали узнавать друг друга. Все разъяснилось быстро и легко.

Между лодкой Плевляка и строительными лесами находился маленький плот всего из трех досок; в носовой его части имелось весло, каким обыкновенно пользуются сплавщики, немного только короче и легче. Плот был привязан сплетенным из орешника жгутом к одной из дубовых свай строительных лесов и с трудом держался против течения, заплескивавшего его и с силой тащившего вниз. Стражники помогли своему начальнику перейти по плоту и взобраться на леса. Все были запыхавшиеся и перепуганные. На досках лежал связанный крестьянин из христиан. Грудь его бурно вздымалась от частого дыхания, дико вращающиеся глаза открывали белки.

Старший из четырех стражников возбужденно рассказывал Плевляку, как они долгое время, притаившись, сидели на лесах в засадах. И когда в темноте плеснуло весло, подумали, что это лодка начальника, но сообразили все же голоса не подавать, ждать, что будет дальше. Тут они увидели двоих крестьян, неслышно приставших к дубовым сваям и принявшихся привязывать к ним плот. Они дали им взобраться на леса и подойти к ним вплотную, а потом набросились на них с алебардами, повалили и стали вязать. Этого они оглушили ударом по голове и связали легко, но вот второй, притворившись бесчувственным, скользнул как рыба в воду.

Тут стражник испуганно приумолк, а Плевляк разразился бранью:

— Кто его упустил? Говорите, кто его упустил, а не то я вас всех на куски изрублю, слышите, всех!

Парни молчали, мигая от беспокойных красных всполохов огня, между тем как Плевляк озирался вокруг, как бы выискивая виновного во мраке, и обливал их потоком еще более обидных и изощренных ругательств. Вдруг, опомнившись, он склонился над связанным, словно над бесценным сокровищем, и, дрожа мелкой дрожью, проскулил сквозь зубы тонким и плаксивым голосом:

— Стерегите этого, стерегите хорошенько! Если вы мне и этого упустите, сукины дети, знайте, никому из вас головы не сносить!

Стражники засуетились вокруг крестьянина; с берега по лесам прибежали еще двое. Плевляк распоряжался,

приказывал вязать его туже и держать крепче. Крестьянина, словно покойника, со всеми предосторожностями медленно перенесли на берег. Плевляк шел следом, не разбирая дороги, не спуская взгляда со связанного. И с каждым шагом ему казалось, что он восстает из праха, что жизнь только начинается.

На берегу вспыхивали новые зажженные лучины. Схваченного крестьянина внесли в одну из рабочих лагун, где развели огонь, и привязали к столбу веревкой и цепями, снятыми с очага.

Это был не кто иной, как Радисав из Уништа.

Плевляк немного поутих, не верещал и не ругался, но места себе не мог найти. Посылал стражников вниз по реке искать второго крестьянина, прыгнувшего в воду, хотя было совершенно очевидно, что, если только он не утонул, в этой непроглядной темноте его невозможно догнать и схватить. Отдавал один приказ за другим, входил в сарай, выходил, возвращался снова, пьяный от возбуждения. Принялся было допрашивать связанного, но тоже бросил. Всеми этими действиями он пытался скрыть и унять тревогу, ибо на самом деле томился одним: ждал Абид-агу. Ждать пришлось недолго.

Внезапно очнувшись от первого сна где-то возле полуночи и, по обыкновению, отчаявшись снова заснуть, Абид-ага стоял у окна и смотрел в темноту. Из его дома на Быковаце днем открывался вид на речную долину, строительство с хибарами, мельницами, хлевами и всем разрытым и загроможденным пространством вокруг. Угадывая теперь все это в темноте, Абид-ага с горечью думал о том, как медленно и тяжело подвигается строительство и как однажды весть об этом неминуемо дойдет до слуха визиря. Уж кто-нибудь да позаботится. Если никто другой, так этот невозмутимый, холодный и коварный Тосун-эфенди. И тогда Абид-ага рискует впасть в немилость. Вот что лишало наместника покоя, даже во сне повергая в дрожь. При одной мысли об этом пища застревала в горле, люди становились омерзительными, собственная жизнь — ненавистной. Немилость — это значит быть удаленным от визиря, это значит быть осмеянным недругами (о боже, только не это!), это значит превратиться в пустое место, стать жалким оборванцем и босяком не только в чужих, но и в своих собственных глазах. Это значит потерять все свое тяжко сколочен-

ное состояние, а если и спасти его, то грызть украдкой, далеко от Стамбула, где-нибудь в изгнании, в глухой провинции, забытым, ненужным, смешным, несчастным. Нет, только не это! Лучше не видеть солнца и не дышать воздухом! Во сто крат было бы лучше и вовсе быть никем и ничего не иметь! Вот такая мысль все время к нему возвращалась, по нескольку раз на день обливала его волной горячей крови, больно отзывавшейся в затылке и висках, и никогда полностью его не покидала, а лежала в его душе черным бременем. Вот что значила для него немилость, и она могла обрушиться на него в любой день, в любой час, ибо все делалось для того, чтобы навлечь ее на голову Абид-аги, и только он один старается ее предотвратить, один защищается; один против всех и вся. И длится это вот уже пятнадцать лет с тех пор, как он возвысился и выдвинулся и визирь стал поручать ему большие и важные дела. Кому это под силу вынести? И можно ли при этом спать и быть спокойным?

Несмотря на промозглую и влажную осеннюю ночь, Абид-ага открыл окно и устремил взгляд в темноту: ему казалось, что он задыхается в закрытом помещении. Вдруг он заметил, что на берегу и на строительных лесах тут и там зажигаются и движутся огни. Увидев, что их становится все больше, и подумав, что случилось что-то необычное, он оделся и разбудил слугу. Так он очутился перед освещенным сараем как раз в тот момент, когда Плевляк не мог больше придумать, как бы еще выругаться, какое бы распоряжение отдать и вообще что делать и чем занять время.

Внезапное появление Абид-аги повергло его в полную растерянность. Так страстно жаждал он этой минуты, и вот теперь, когда она настала, Плевляк не сумел ее использовать, как хотел. Он заикался от волнения и позабыл про связанного крестьянина. Абид-ага лишь презрительно поглядел поверх его макушки и сам направился к пленнику.

В хлеву развели ярко полыхавший костер, так что теперь свет доходил до самых отдаленных уголков, а стражники все продолжали подбрасывать новые поленья.

Абид-ага стоял перед привязанным крестьянином, который был намного ниже его. Он был задумчив и спокоен. Все ждали его слова, он же тем временем думал:

вот с кем я должен иметь дело, с кем бороться, вот от кого зависит мое положение и моя судьба, от этого презренного и слабоумного потурченца Плевляка и необъяснимой тупой и упорной злобы этой христианской гниды. Потом он вздрогнул и, сбросив с себя оцепенение, стал отдавать приказания и допрашивать крестьянина.

Сарай битком набили стражники, снаружи слышались голоса разбуженных надсмотрщиков и рабочих. Абид-ага допрашивал крестьянина через Плевляка.

Радисав сначала утверждал, что он и еще один парень решили бежать и для этого сбили маленький плот и пустили его вниз по реке. Когда ему доказали очевидную нелепость его утверждения, ибо впотьмах никто не пойдет по бурной реке, полной водоворотов, скал и отмелей, и тем более, решив бежать, никто не станет взбираться на леса и портить сделанное, он замолчал и только хмуро бросил:

— Ваша власть, что хотите, то и делайте.

— Вот увидишь сейчас, что мы хотим,— живо откликнулся Абид-ага.

Стражники отвязали цепи и оголили крестьянину грудь. Цепи бросили в пылающий костер и стали ждать. От закопченных цепей руки у стражников сделались черные и повсюду — и на них самих, и на полураздетом пленнике — остались темные следы. Когда цепи накалились почти добела, к костру подошел цыган Мерджан и длинными клещами взял их за один конец, в то время как один из стражников такими же клещами придерживал второй конец.

Плевляк переводил слова Абид-аги.

— А ну, говори теперь чистую правду!

— Чего мне вам говорить: вы все можете, вы и знать все должны.

Двое державших цепи поднесли их к крестьянину и опоясали ими его широкую косматую грудь. Опаленные волосы зашипели. Губы крестьянина свела судорога, на шее вздулись жилы, ребра выскалились, мышцы живота напряглись и задвигались, как при рвоте. Крестьянин стонал от боли и натягивал связывавшие его веревки в тщетных попытках уменьшить соприкосновение с раскаленным железом. Глаза его часто мигали и слезились. Цепи сняли.

— Это тебе для начала. Ну, как, не лучше ли просто признаться?

Крестьянин сильно выдохнул в нос, но молчал.

— Говори, кто твой напарник?

— Звали его Йован, а из какого он дома и деревни, не знаю.

Снова поднесли цепи, зашипела обожженная кожа и волосы. Кашляя от дыма и корчась от боли, крестьянин прерывистым голосом стал говорить, как было дело.

Их всего двое сговорилось разрушать работы на мосту. Решили, что так надо, и так и делали. Больше никто не знал и никто не участвовал. Сначала орудовали возле берега, в разных местах, и все им с рук сходило, потом, когда на берегу и на лесах поставили охрану, они придумали сбить плот из трех бревен и незаметно подбираться к стройке с воды. Это было три дня назад. Но в первую же ночь их чуть было не поймали. Едва ушли. Следующей ночью они поэтому вообще не выходили. А сегодня, когда они снова попробовали подкрасться на плоту, с ними произошло то, что произошло.

— Вот и все. Так было дело, а вы теперь поступайте как знаете.

— Э, нет, этого нам мало, ты скажи, кто вас подговорил? И знай, что эти пытки ничто в сравнении с теми, что тебя ждут.

— Что ж, делайте что хотите.

Мерджан Ковач снова подошел со своими клещами. Встав на колени возле связанного, он стал срывать ногти с его босых ног. Крестьянин молчал, сцепив зубы, но страшная дрожь, которая сотрясала тело, несмотря на туго стягивавшие его веревки, говорила о безмерных муках. В какое-то мгновение он что-то пробормотал сквозь стиснутые зубы. Плевляк, жаждавший хоть какого-нибудь признания и ловивший каждое его слово и движение, тут же дал знак цыгану прекратить пытку и подскочил к пленному:

— Что? Что ты говоришь?

— Ничего. За что, говорю, меня за божью правду мучаете, понапрасну время губите?

— Отвечай, кто тебя на это дело подбил?

— Кто меня подбил? Шайтан!

— Шайтан?

— Шайтан, кто же еще, тот самый, что и вас подбил прийти сюда и строить мост.

Крестьянин говорил тихо, но твердо и уверенно.

Шайтан! Таинственное слово, произнесенное так сокрушенно, да еще в таком состоянии! Шайтан! Не без того, думал Плевляк, стоя с опущенной головой, будто не он допрашивал связанного бунтаря, а бунтарь его. Единственное слово, ударив по больному месту, разом и в полную силу воскресило в нем все страхи и сомнения, словно они не были рассеяны поимкой виновного. Может быть, и правда, все это — и Абид-ага, и сооружение моста, и безумный крестьянин — не что иное, как козни дьявола. Шайтан! Может быть, только этого одного и следует бояться? Плевляк задрожал и вскинулся. Вернее, его вернул к действительности громкий голос взбешенного Абид-аги.

— Ты что? Заснул, осел? — кричал Абид-ага, короткой кожаной плеткой настегивая голенище правого сапога.

Цыган, стоя на коленях, с клещами наготове, черными блестящими глазами испуганно и покорно глядел снизу вверх на Абид-агу. Стражники ворошили огонь, и без того пылавший ярким пламенем. Костер согрел и осветил торжественным светом все помещение. Вообще строение, в темноте глядевшее невзрачным и убогим, вдруг выросло, раздвинулось и преобразилось. В сарае и около него царили праздничное возбуждение и та особенная тишина, которая всегда бывает при дознании, пытках и роковых событиях. Абид-ага, Плевляк и пленник исполняли свои роли как актеры, тогда как остальные не двигались, не поднимали глаз и переговаривались шепотом лишь о самом необходимом. Каждый втайне хотел бы быть подальше от этого места и от всего того, что здесь делалось, но коль скоро это было невозможно, старался замечать и стусеваться и тем самым как бы отстраниться от происходящего.

Поняв, что дознание затягивается и ничего не дает, Абид-ага в нетерпении с яростной бранью покинул сарай. За ним вприпрыжку кинулся Плевляк, за Плевляком потянулись стражники.

Занимался рассвет. Солнце еще не взошло, но горизонт посветлел. Вдали между горами виднелись облака, растянутые длинными тускло-фиолетовыми прядями, в просветах открылись участки прозрачного и чистого неба почти зеленого цвета. Над влажной землей громозди-

лись беспорядочные массы низкого тумана, из которого проглядывали кроны фруктовых деревьев с заметно пожелтевшей желтой листвой. Не переставая настегивать плеткой голенище своего сапога, Абид-ага отдавал приказания: пойманного продолжать допрашивать, особенно о соучастниках, но не подвергать чрезмерным пыткам, которых бы он не вынес; к полдню приготовить все, что надо, и живым насадить преступника на кол на самом верху крайних лесов, чтобы видно было всему городу и всем рабочим с обоих берегов реки; Мерджану все приготовить, а глашатаю пройти по улицам и объявить, что сегодня в полдень на мосту будет показано, что ожидает тех, кто мешает постройке моста, и что все мужчины от детей до стариков, мусульмане и райя, должны собраться на обоих берегах реки.

Наступивший день был воскресеньем. В воскресенье работали, как и в любой другой день, но сегодня даже надсмотрщики и те были рассеяны. Как только рассвело, повсюду разнеслась весть о задержке преступника, пытках и предстоящей в полдень казни. Настороженно-торжественное состояние духа, царившее в сарае, распространилось по всему строительству. Люди работали молча, стараясь не встречаться взглядами и не поднимать глаз от работы, как будто бы весь белый свет сошелся на ней одной.

Еще за час до полудня горожане, в основном турки, собрались на площадке у моста. Мальчишки взобрались на каменные блоки, сложенные тут же. Рабочие теснились возле длинных и узких дощатых прилавков, где выдавался казенный харч, не дававший человеку умереть с голода. Молча жуя, они затравленно озирались вокруг. Немного спустя появился Абид-ага в сопровождении Тосун-эфенди, мастера Антоние и нескольких именитых ту-рок. Они расположились на возвышении между мостом и сараем, где был осужденный. Абид-ага в последний раз проследовал в сарай, ему доложили, что к казни все готово: на земле лежал дубовый кол примерно четырех аршин длины, заостренный по всем правилам, с очень тонким и острым железным наконечником, кол во всю свою длину был густо смазан салом; к лесам прибиты прочные балки, между которыми поставят и укрепят кол, припасена была деревянная кувалда для забивания кола, веревки и все прочее.

Плевляк, с лицом землистого цвета и налитыми кровью глазами, не находил себе места. Он и сейчас не мог выдержать огненного взгляда Абид-аги.

— Слушай, ты, если что-нибудь будет не так, если опозорите меня перед всем честным миром, не показывайтесь мне на глаза ни ты, ни этот цыганский ублюдок: потоплю вас в Дрине, как слепых кутят.

И потом, повернувшись к дрожащему цыгану, несколько милостивей добавил:

— Шесть грошей за работу, да еще шесть, если проживет до ночи. Так что смотри.

С главной мечети донесся голос ходжи, отчетливый и звонкий. Толпа на берегу заволновалась, а вслед за тем двери сарая распахнулись. Десять стражников выстроились в две шеренги, по пять в каждой. Между ними босой, с непокрытой головой Радисав; быстрый и сутулый, как всегда, теперь он не «сеял» на ходу, а как-то странно подскакивал, мелко перебирая искалеченными ногами с кровавыми ранами на месте ногтей; на плече он нес длинный белый заостренный кол. Следом за ним шел Мерджан с двумя своими подручными, тоже цыганами. Неожиданно откуда-то вынырнул на своем гнедом жеребце Плевляк и стал во главе процессии, которой предстояло пройти примерно сотню шагов до места казни.

Люди вытягивали шеи и поднимались на носки, пытаясь разглядеть злоумышленника и бунтовщика, посягнувшего на мост. Всех поразил жалкий, невзрачный вид этого человека — они представляли себе его совсем другим. Никто не знал, конечно, отчего он так смешно подпрыгивает, еле касаясь земли ногами, никто не видел следов ожогов от цепей, опоясывавших его грудь широкими полосами, поверх которых были натянуты рубаха и грубошерстный гунь. И поэтому всем казалось, что он слишком жалок и ничтожен для того страшного злодеяния, за которое его вели на казнь. Только белый длинный кол придавал процессии какую-то наводящую ужас значительность и приковывал к себе взгляды толпы.

Там, где начинались земляные работы, Плевляк спешился, с церемонной торжественностью передал слуге поводья и вместе со всеми исчез на круто спускающейся к воде грязной дороге. Несколько мгновений спустя, медленно и осторожно продвигаясь вперед, они в том же порядке появились на лесах. На узких дощатых мостках

стражники обступили Радисава еще теснее, опасаясь, как бы он не прыгнул в воду. Так шаг за шагом поднимались они все выше и выше, пока не подошли к самому краю лесов. Здесь над водой был устроен дощатый помост размером с комнату средней величины. На эту площадку, словно на поднятую сцену, взошли Радисав, Плевляк и трое цыган, а остальная стража расположилась по лесам, поблизости.

Толпа у моста на правом берегу колыхнулась и задвигалась. Сто шагов отделяло ее от дощатого помоста, так что люди и их движения были хорошо видны, нельзя было только расслышать слов и различить подробности. Левобережные находились в три раза дальше от места казни и еще сильнее суетились, стараясь как можно больше услышать и увидеть. Но слышать они ничего не услышали, а то, что было видно, поначалу показалось слишком простым и мало интересным, хотя потом таким страшным, что все отворачивались и многие скорей уходили домой, каясь, что пришли.

Когда Радисаву приказали лечь, он мгновение помедлил, а потом, не глядя на цыган и стражников, словно их и не было, подошел к Плевляку и почти доверительно, как своему, сипло и тихо сказал:

— Слушай, заклинаю тебя тем и этим светом, сделай доброе дело, заколи меня, чтоб я не мучился, как собака.

Плевляк вздрогнул и с криком накинулся на него, как бы защищаясь от этой чересчур доверительной манеры разговора:

— Прочь, мерзавец! Царское добро портить ты герой, а тут точно баба скулишь. Получишь, что велено и что заслужил.

Радисав еще ниже опустил голову, а цыгане стали стаскивать с него гунь и рубаху. Под ними на груди обнаружались вздувшиеся и покрасневшие раны от раскаленных цепей. Ничего больше не говоря, крестьянин лег, как ему было приказано, лицом вниз. Цыгане связали ему руки за спиной, а потом к ногам у щиколоток привязали веревки. Взявшись за веревки, они потянули их в разные стороны, широко раздвинув ему ноги. Тем временем Мерджан положил кол на два коротких круглых чурбака так, что заостренный его конец уперся крестьянину между ног. Затем достал из-за пояса короткий широкий нож и, опустившись на колени перед рас-

простертым осужденным, нагнулся над ним, чтобы сделать разрез на штанах и расширить отверстие, через которое кол войдет в тело. Эта самая страшная часть его кровавого дела, к счастью, оставалась невидимой зрителям. Видно было только, как связанное тело содрогнулось от мгновенного и сильного удара ножом, выгнулось, словно человек собирался встать, и снова упало с глухим стуком на доски. Покончив с этой операцией, Мерджан вскочил, взял деревянную кувалду и размеренными короткими ударами стал бить по тупому концу кола. После каждого удара он останавливался, взглядывал сначала на тело, в которое вбивал кол, а потом на цыган, наказывая им тянуть веревки медленно и плавно. Распластанное тело крестьянина корчилось в судорогах; при каждом ударе кувалдой хребет его выгибался и горбился, но веревки натягивались, и тело снова выпрямлялось. Тишина на обоих берегах стояла такая, что ясно слышался и каждый удар, и каждый его отзвук в скалах. Самые ближние слышали еще, как человек бьется головой об доски, а также и другой какой-то непонятный звук; это не был ни стон, ни вопль, ни ропот, никакой другой человеческий звук — непостижимый скрежет и ропот исходил от распятого, истязаемого тела, словно ломали забор или валили дерево. В промежутках между двумя ударами Мерджан подходил к распростертому телу, наклонялся над ним и проверял, правильно ли идет кол; удостоверившись в том, что ни один из жизненно важных органов не поврежден, он возвращался и продолжал свое дело.

Все это было плохо слышно и еще хуже видно с берега, тем не менее у людей дрожали колени, лица побледнели, а на руках похолодели пальцы.

Вдруг стук кувалды оборвался. Мерджан заметил, что над правой лопаткой кожа натянулась, образовав бугор. Он быстро подскочил и надсек вздувшееся место крест-накрест. Потекла бледная кровь, сперва лениво, потом все сильнее. Два-три удара, легких и осторожных, и в надрезе показалось острие железного наконечника. Мерджан ударил еще несколько раз, пока острие кола не дошло до правого уха. Человек был насажен на кол, как ягненок на вертел, с той только разницей, что острие выходило у него не изо рта, а над лопаткой и что внутренности его, сердце и легкие серьезно не были задеты. Наконец Мерджан отбросил кувалду и подошел к казненно-

му. Осматривая неподвижное тело, он обходил лужицы крови, вытекавшей из отверстий, в которое вошел и из которого вышел кол, и расползавшейся по доскам. Подручные палача перевернули на спину негнущееся тело и принялись привязывать ноги к основанию кола. А тем временем Мерджан, желая удостовериться, что насаженный на кол человек жив, пристально вглядывался в его лицо, которое сразу как-то вздулось, раздалось и увеличилось. Широко раскрытые глаза бегали, но веки оставались неподвижными, губы застыли в судорожном оскале, обнажив стиснутые зубы. Человек не владел мышцами лица, и оно напоминало маску. Однако сердце в груди глухо стучало, а легкие дышали часто и прерывисто. Подручные стали поднимать казненного, как борова на вертеле. Мерджан кричал, чтобы они действовали поосторожней и не трясли тело, и сам им подсоблял. Кол установили утолщенным концом между двух балок и прибили большими гвоздями, сзади поставили подпорку, которую тоже приколотили к лесам и колу.

Когда все было готово, цыгане ушли с помоста и присоединились к стражникам, а на опустевшей площадке, вознесшись вверх на целых два аршина, прямой и обнаженный по пояс, остался лишь человек на коле. Издалека можно было только догадываться, что тело его пронзал кол, к которому у щиколоток привязаны ноги, а руки связаны за спиной. Он казался застывшим изваянием, парившим в воздухе высоко над рекой, на самом краю строительных лесов.

На обоих берегах по толпам народа пробежали ропот и волнение. Одни опустили глаза в землю, другие, не оборачиваясь, пошли по домам. Но большинство, онемев, смотрело на человеческую фигуру, реящую в высоте, естественно застывшую и прямую. Ужас леденил нутро, ноги подкашивались, но люди не могли ни пошевелиться, ни оторвать взгляд от этой картины. В подавленной ужасом толпе протискивалась Блаженная Илинка; заглядывая людям в глаза, она старалась поймать их взгляд и в нем прочесть, где похоронены ее принесенные в жертву дети.

Плевляк с Мерджаном и еще двумя стражниками снова подошли к казненному и стали пристально его разглядывать. По колу стекала только маленькая струйка крови. Человек был жив и в сознании. Грудь его вздымалась

и опускалась, на шее бились жилы, он медленно поводил глазами. Сквозь стиснутые зубы прорывался протяжный хрип, в нем с трудом угадывались отдельные слова:

— Турки, турки... — хрипел человек на колу, — турки на мосту... собачью вам смерть... собачьей смертью вам околоть!..

Цыгане собрали свой инструмент и вместе с Плевляком и стражниками по лесам пошли к берегу. Народ шарахнулся от них и стал расходиться. И только мальчишки, наблюдавшие казнь с высоких камней и голых деревьев и не вполне убежденные в ее окончании, все еще ждали чего-то, надеясь увидеть, что будет дальше с диковинным человеком, который повис над водой, как бы застыв на середине прыжка.

Плевляк подошел к Абид-аге и доложил, что все хорошо и точно исполнено, что злоумышленник жив и, по всей видимости, протянет еще, так как внутренности его остались неповрежденными. Абид-ага ничего не ответил, даже не взглянул; взмахом руки он велел подать себе коня и стал прощаться с Тосун-эфенди и мастером Антоние. Все начали расходиться. С торговой площади донесся голос глашатая. Он возвестил о совершении казни и о том, что точно такая же или худшая участь ждет каждого злоумышленника.

Плевляк в растерянности остался стоять на быстро пустевшей площадке перед мостом. Слуга держал его коня, стражники ждали приказаний. Он чувствовал, что ему надо что-то сказать, но не мог проронить ни слова от страшного возбуждения, вдруг овладевшего им; ему казалось, будто он вот-вот взлетит. Только теперь осознал он все то, о чем, поглощенный заботой о совершении казни, совсем забыл. Только теперь вспомнил обещание Абид-аги насадить самого его на кол, если он не поймает злоумышленника. Он избежал чудовищной участи, но был от нее на волосок и спасся в последний момент. Человек, торчавший теперь на лесах, подло орудуя под прикрытием ночи, делал все, чтобы угроза наместника сбылась. Однако же вышло все наоборот. И при одном только взгляде на казненного, который был еще жив и водружен на колу над рекой, Плевляк проникался невыразимым ужасом и какой-то болезненной радостью, что такая судьба постигла не его и что его тело нетронуто, свободно и подвижно. От этой мысли огненная дрожь вспых-

нула в его груди, охватила ноги, руки, и ему захотелось двигаться, смеяться, говорить, как бы доказывая самому себе, что он здоров и может делать все, что угодно, говорить, громко смеяться, даже петь при желании, а не изрыгать с кола бессильные проклятия в ожидании смерти как единственного счастья, еще оставшегося ему на свете. Руки разлетелись сами собой в стороны, ноги заплясали, рот сам собой раскрылся, исторгая судорожный смех и потоки неудержимых слов:

— Ха, ха, ха! Ну что, Радисав, лесной леший, что это ты так застыл? Что это мост не ломаешь? Чего хрипишь и рычишь? Спой-ка, леший! Спляши, леший!

Пораженные и растерянные стражники смотрели, как их начальник пританцовывал, расставив руки, и напевал, захлебываясь смехом и давясь бессвязными словами и белой пеной, все обильней накопившей в углах его губ. Его конь, гнедой жеребец, бросал на него испуганные и косые взгляды.

IV

Все, кто в тот день с берегов Дрины видел совершенные казни, разнесли страшные слухи по городу и его окрестностям. Неопикуемый ужас овладел горожанами и рабочими. Медленно и постепенно до сознания людей доходило в полной мере понимание того, что произошло на их глазах в тот короткий ноябрьский день. Все разговоры вертелись вокруг человека, который все еще живой сидел на колу над строительными лесами. Каждый зарекался о нем говорить, но какой толк в зароке, когда мысли упрямо возвращались к нему, а взгляд невольно обращался в ту сторону?

Крестьяне, возившие камень из Баньи на воловых упряжках, опускали глаза и тихо понукали своих волов. Рабочие на берегу и на лесах переговаривались приглушенными голосами и только по необходимости. И даже надсмотрщики с ореховыми хлыстами в руках были покладистей и мягче. Далматинские каменотесы работали, повернувшись спиной к мосту; бледные, стиснув зубы, они гневно били по своим долотам, клекочущим посреди всеобщего безмолвия подобно стае дятлов.

Быстро спустились сумерки, и рабочие заторопились поскорее добраться до ночлега, стремясь уйти подальше

от моста. До наступления полной темноты Мерджан и доверенный слуга Абид-аги снова поднялись к Радисаву и с несомненностью установили, что осужденный и теперь, через четыре часа после совершения казни, жив и в сознании. В горячке он медленно и тяжело вращал глазами, а увидев под собой цыгана, застонал громче. В этом стенании, вместе с которым, казалось, из него выходила душа, различались только отдельные слова:

— Турки... турки... мост!

Довольные, они вернулись в дом Абид-аги на Быковаце, рассказывая по пути всем встречным, что казненный жив, что он скрипит зубами, говорит вполне ясно и разборчиво и, похоже, проживет и до завтрашнего дня. Доволен был и Абид-ага, он распорядился выплатить Мерджану обещанное вознаграждение.

В ту ночь все живое в городе и возле моста заснуло в страхе. Собственно, заснул тот, кто смог заснуть, многие же так и не сомкнули глаз.

Назавтра, в понедельник, выдался необычно солнечный день. И не было ни на строительстве, ни в городе глаз, которые не обратились бы в ту сторону, где на краю высокого и сложного каркаса из досок и балок, словно на носу корабля, ясно и отчетливо выделялась фигура человека, насаженного на кол. И многие из тех, что, пробудившись, думали, что им во сне привиделось все то, что на виду у всех совершилось вчера на мосту, теперь стояли и, не мигая, смотрели на продолжение своего ужасного сна наяву, среди бела дня, при ярком свете солнца.

Над строительством, как и вчера, нависла тишина, горестная и угрюмая. В городе то же смятение и ропот. Мерджан со слугой Абид-аги снова поднялись на леса и осмотрели осужденного; они долго о чем-то переговаривались, задрав головы, пристально вглядывались в лицо крестьянина, Мерджан даже подергал его за штаны. Потом, как они спустились на берег и молча проследовали мимо работавших, все поняли, что крестьянин умер. И все сербы, как бы одержав незримую победу, вздохнули с облегчением.

Люди теперь смелее обращали взгляды на леса и на казненного. Все ощущали, что в постоянном соперничестве и состязании с турками на этот раз взяла верх их сторона. Смерть — самый страшный залог. Уста, до сих

пор запечатанные страхом, сами открывались. Грязные и потные, небритые и изможденные рабочие, ворочавшие сосновыми рычагами громадные глыбы баньского камня, останавливались на минуту, чтобы поплевать на ладони, и чуть слышно перебрасывались между собой:

— Господи, прости его и помилуй!

— Эх, мученик! Эх, горемыка наш!

— Не видишь разве, что он теперь святой? Настоящий, брат, святой.

И каждый исподлобья бросал оценивающий взгляд на покойника, все такого же бравого, как будто бы он вышагивал перед ротой. Больше он не внушал им ни жалости, ни страха. Напротив, теперь всем стало ясно, насколько он оторвался от них и возвысился. На земле не стоит, ни за что не держится руками, не плывет, не летит; центр тяжести заключен в нем самом; освобожденный от земных пут и земного груза, он избавился и от страданий; никто и ничто ему больше не может сделать — ни пуля, ни сабля, ни злые козни, ни человеческое слово, ни турецкий суд. Обнаженный до пояса, связанный по рукам и ногам, прямой, с гордо закинутой головой, он походил теперь не столько на человека с его неизбежным развитием и распадом, сколько на воздвигнутое в высоте твердое и не подверженное тлению изваяние, поставленное тут навеки.

Рабочие оборачивались к нему и украдкой крестились.

На Мейдане женщины то и дело бегали друг к другу через двор, чтобы только минутку-другую пошептать, вместе поплакать, и опрометью кидались обратно домой, боясь, как бы не пригорел обед. Одна зажгла лампаду. И вот уже в каждом доме горели лампадки, притулившись в углу. Празднично настроенные дети, мигая от яркого света, неотрывно смотрели на огонь и, подхватывая на лету непонятные обрывки фраз, которыми перебрасывались взрослые («Сохрани его, господь, и помилуй!» — «Ах, взял бог страдальца, будто бы он ему самую большую церковь выстроил!» — «Помоги нам, господи, единый боже, покарай злодеев, не дай им долго властвовать над нами!»), без усталости сыпали вопросами, что такое страдалец, кто строит церковь и где? Мальчишки были особенно любопытны. Матери утихомиривали их:

— Молчи, милоч! Молчи, слушайся матери да пуще смерти бойся турка проклятого!

Еще до того, как землю во второй раз после казни окутали сумерки, Абид-ага снова обошел строительство и, довольный воздействием страшного примера, отдал приказ убрать крестьянина с лесов.

— Бросить собаку собакам!

В ту ночь, теплую и влажную, словно весеннюю, быстро спускавшуюся на землю, сдавленный ропот и волнение прошли по рабочему люду. Самые нерешительные, те, кто раньше не хотел и слышать про заговор и разрушения, теперь готовы были жертвовать многим и идти на все. Казненный стал общей заботой и святыней. Несколько сотен замученных людей, повинувшись внутреннему порыву, силе сострадания и древних обычаев, стихийно возмутилось, объединилось в настойчивом стремлении заполучить труп казненного, не дать над ним надругаться и схоронить его по-христиански. В результате тайных перешептываний и переговоров в темноте хибарок и хлебов строители сколотили солидную сумму в семь грошей для подкупа Мерджана. На это дело выбрали трех наиболее находчивых, и те сумели найти доступ к палачу. Мокрые и уставшие от работы, трое крестьян теперь как раз ведут разговор неторопливо, хитро и обиняками. Самый старший, морща лоб, почесывая затылок и намеренно растягивая слова, говорит цыгану:

— Вот, значит, и это сделано. Чему быть, того не миновать. Только, знаешь, к примеру сказать, он ведь тоже человек, как говорится, божье творение, и не годится это, чтоб его, к примеру, звери сожрали и растерзали псы.

Мерджан, прекрасно понимая, о чем идет речь, сопротивляется скорее горестно, чем упорно.

— Нет, нет! И не говорите мне про это. Подведете вы меня под монастырь. Не знаете вы, что за зверь Абид-ага!

Крестьянин мучится и хмурится, а про себя думает: «Одно слово цыган, человек без креста и без совести, его не умолить, не упросить, нет у него ничего святого ни на земле, ни на небе!» В то же время правую руку он держит в неглубоком кармане гуны, сжимая в ней семь грошей.

— Да это уж известно, каков он. Знаем мы, что, к примеру, и тебе тоже нелегко. Только вины на тебе ни-

какой не будет. Вот тебе четыре гроша, забирай на здоровье и по рукам, как говорится.

— Нет, нет, мне голова дороже золота. Абид-ага меня в порошок сотрет, потому что он и во сне все видит. Ой-ой-ой, и подумать страшно!

— Где четыре, там и пять, раз уж на то пошло. И дело с концом,— гнет свое крестьянин, не обращая внимания на оханье цыгана.

— Сказал не могу, и все тут!

— Ладно, приказано тебе... тело бросить, к примеру говоря, как бы... собакам, ты его, значит, и бросишь, а что с ним после будет, не твоя забота, тебя о том никто не спросит. А мы, видишь ли, потом, к примеру сказать, возьмем... тело да и похороним по нашему обычаю, но тайком, чтоб ни одна живая душа не знала. А ты, к примеру, утром и скажешь, что собаки, дескать, растерзали... тело. И никому ничего не будет, а ты свое получишь.

Крестьянин говорит вкрадчиво и веско и только всякий раз в необъяснимом замешательстве застывает перед словом «тело», которое он выговаривает с особенным выражением.

— Это за пять-то грошей жизнь свою сгубить! Нет, нет, не-е-ет!

— За шесть,— внушительно накидывает крестьянин.

При этих словах цыган вскинулся, развел руками и с выражением строгого и искреннего прямодушия, словно он вообще не способен на ложь и обман, обратился к крестьянину, как будто он сам был осужденным, а тот палачом.

— Пусть моя голова идет в заклад, раз уж такая моя судьба, и пусть моя цыганка останется вдовой, а дети сиротами: давайте сюда семь грошей и забирайте мертвеца, только чтоб никто ничего не пронюхал.

Крестьянин покрутил головой, безмерно сожалея о том, что вынужден этаким гниде отдать все до последней монеты. Тот будто в карман ему заглянул!

После этого они уже подробно и обстоятельно договорились о том, как Мерджан снимет мертвеца с лесов, как отнесет его на левый берег и здесь, ближе к вечеру, бросит на каменистую обочину дороги так, чтобы это видели слуги Абид-аги и прохожие. Они же трое спрячутся в кустах неподалеку, а как только стемнеет, возь-

мут труп, унесут его и похоронят, но где-нибудь в укромном месте и так, чтобы никаких следов не осталось и чтобы никто не усомнился в том, что труп ночью ратерзали и съели собаки. Три гроша даются вперед, а четыре — утром, по окончании дела.

В ту же ночь все свершилось, как было условлено.

В сумерки Мерджан вынес труп с лесов и бросил его на обочину дороги. (Брошенное тело ничем не напоминало того человека, который два дня на виду у всех гордо и прямо парил над рекой; это снова был прежний Радисав, тщедушный и скрюченный, только бескровный и безжизненный.) И сейчас же вместе с подручными вернулся обратно на тот берег, в город. Крестьяне ждали в кустах. Время от времени дорогой проходили припозднившиеся рабочие или турки, возвращавшиеся домой. Но вскоре стемнело, и вся округа затихла. Стали появляться бродячие собаки — большие, облезлые, голодные и пугливые. Спрятавшиеся в кустарнике крестьяне швыряли в них камнями и разгоняли, собаки отбегали, поджав хвосты, но недалеко. Шагах в двадцати от трупа они останавливались и замирали, выжидая. В темноте было видно, как у них горели глаза. Дав ночи окончательно утвердиться и убедившись в том, что никакая нечаянная встреча им больше не грозит, крестьяне вышли из своего укрытия с киркой и лопатой в руках. Две доски, которые они тоже захватили с собой, они положили одна на другую, на них — мертвеца и так понесли его в гору. Там, в ложбине, промытой весенними и осенними водами, устремлявшимися с гор в Дрину, они сняли слой крупной гальки, сухим, непересыхающим потоком сползавшей вниз, и вырыли глубокую могилу — быстро, тихо, без слов и без шума. В могилу опустили окоченелое, холодное и скрюченное тело. Самый старший соскочил в яму, осторожно чиркнул несколько раз огнем о камень, зажег труп, а потом, загоразживая ее обеими руками, — тонкую витую восковую свечку; воткнул свечку в голова покойника и трижды, быстро и громко, сотворил крестное знамение. За ним наверху в темноте перекрестились и двое других. Затем крестьянин дважды взмахнул над покойником рукой, как бы окропляя его незримым вином, и дважды проговорил тихо и сокрушенно:

— Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего!

Потом прошептал еще несколько слов, бессвязных и невразумительных, однако молитвенных, торжественных и проникновенных, заставивших двоих других, застывших у края могилы, непрерывно креститься. Старик замолчал, ему сверху подали две доски, и он положил их на покойника, как бы накрыв его крышкой. Перекрестившись еще раз, он загасил свечу и вылез из могилы. Все трое стали полегоньку заваливать яму землей, тщательно уминая и утрамбовывая ее, чтобы над могилой не образовался холм. Покончив с этим, они насыпали гальку на прежнее место, восстановив над свежеразрытой почвою каменистый поток, перекрестились еще раз и кружным путем пошли назад, стараясь выйти на дорогу как можно дальше от могилы.

Той же ночью неожиданно хлынул частый и теплый дождь без ветра, и утро встало в густом и влажном молочном тумане, залившем всю речную долину. Неопределенное белое сияние, то разгоравшееся, то угасавшее, говорило о той борьбе, которую где-то в вышине вело солнце, тщетно старавшееся прорваться сквозь плотную пелену облаков. Призрачный густой туман все неузнаваемо преобразил. Люди неожиданно выныривали из него и так же внезапно исчезали. Ранним утром этого туманного дня простая телега прогрохотала по площади, в этой телеге двое стражников везли связанного Плевляка, своего недавнего начальника.

С той самой минуты, как два дня назад в приступе безудержного восторга, что он жив и не посажен на кол, Плевляк бросился плясать на виду у всех, он уже больше не владел собой. Все мышцы в нем играли, ноги не стояли на месте, непреодолимая потребность доказать самому себе и окружающим, что он здоров, невредим и подвижен, неотступно преследовала его. Иногда он вспоминал Абид-агу (единственное черное пятно, омрачавшее его радость) и мгновенно впадал в мрачную задумчивость. Но за время короткой передышки в нем накапливались новые силы, и он снова начинал скакать и носиться как безумный. Пускался в пляс, раскинув руки, прищелкивая пальцами и изгибаясь, словно уличная танцовщица-цыганка, и, как бы доказывая каждой новой, все более сложной фигурой, что он не на коле, выдыхал в такт танцу:

— Вот как, вот как... и так могу, и этак и так... и этак!

Он отказывался есть, а всякий разговор тотчас же обрывал и начинал плясать, сопровождая каждое новое колено младенческими уверениями.

— Вот, видал как, вот... и этак и так.

Когда наконец накануне вечером осмелились доложить Абид-аге о том, что творится с Плевляком, тот бросил холодно и лаконично:

— Отвезите безумного в Плевле, пусть его там держат взаперти, чтоб не юродствовал на людях. Он и раньше-то ни на что не годился.

Так и было сделано. Но поскольку Плевляк ни за что не хотел уgomониться, стражникам пришлось привязать своего начальника веревками к телеге. Он плакал и отбивался и, пока еще мог хоть как-то двигаться, дергался и все кричал свое: «Вот как, вот как!» В конце концов стражники вынуждены были скрутить его по рукам и ногам, так что он сидел в телеге, как неподвижный, оплетенный веревками куль или как мешок с зерном. Но потеряв возможность двигаться, он вообразил, что его сажают на кол, и, судорожно корчась и выдираясь из пут, истошно вопил:

— Нет, не меня, только не меня! Вилу хватайте! Нет, Абид-ага!

Из последних домов на окраине города выскакивали люди, встревоженные его криками, но телега со стражниками и больным быстро удалялась добрунской дорогой, теряясь в густом мареве, сквозь которое угадывалось солнце.

Внезапное и печальное исчезновение Плевляка нагнало еще больше страху. Стали поговаривать, что казненный крестьянин пострадал безвинно, что виноват этот самый Плевляк. Сербские женщины с Мейдана рассказывали, будто вилы схоронили тело несчастного Радисава под Бутковыми скалами и будто ночью яркое сияние льется с неба на его могилу — это горят мерцающим светом тысячи и тысячи свечей, протянувшихся длинной вереницей от неба до земли. Они сами видели сквозь слезы.

О многом шептались и во многое верили, но страх преобладал над всем. Работы на мосту шли быстро и гладко, без задержек и помех. И продолжались бы бог знает как долго, если бы в начале декабря не ударили жестокие морозы, а против них и сам Абид-ага был бессилен.

В первую половину декабря таких морозов и метелей отродясь не бывало. Камень примерзал к земле, трещали деревья. Мелкий кристаллический снег заметал инструменты, предметы и целые хибары, а утром своевольный ветер относил его в другое место. Работы сами собой прекратились, и страх перед Абид-агой померк и бесследно растаял. Несколько дней Абид-ага еще упорствовал, но потом сдался, распустил рабочих и остановил работы. И в разгар снежной вьюги ускакал вместе со своими людьми. В тот же день вслед за ним в крестьянских санях, заваленный соломой и одеялами, уехал и Тосун-эфенди, а мастер Антоние отбыл в противоположном направлении. И весь обширный лагерь работников неслышно и незаметно, словно вода в почву, рассосался и растекся по селам и глубоким ущельям. Мост остался подобно брошенной игрушке.

Перед отъездом Абид-ага снова созвал именитых ту-рок. Разозленный и подавленный своим бессилием, он, как и в прошлом году, сказал, что оставляет строительство на их попечение и под их ответственность.

— Я уезжаю, но глаза мои остаются здесь. Смотрите же: лучше двадцать непокорных голов снимете с плеч, чем со строительства пропадет хоть один султанский гвоздь. Ранней весной я буду здесь и потребую ответа от каждого.

Именитые граждане, как и в прошлом году, заверили наместника визиря в своем усердии и, озабоченные, побрели восвояси, кутаясь в гуни, зубуны и шали и благодаря потихоньку бога за то, что он послал на землю морозы и метели и хотя бы этой своей силой положил предел силе сильных.

Но весной приехал не Абид-ага, а новый наместник визиря Ариф-бег вместе с Тосун-эфенди. Абид-агу постигла та самая участь, которой он так боялся. Кто-то, кто знал все досконально и видел сам, доставил великому визирю неопровержимые и точные данные о хозяйничанье наместника на строительстве вышеградского моста. Визирь получил достоверные сведения, что за истекшие два года на строительстве моста ежедневно работало от двухсот до трехсот рабочих, не получавших ни единого гроша, а нередко и харчей, а визиревы деньги Абид-ага брал себе. (Подсчитана была и сумма присвоенных за это время денег.) Свою нечистую игру, как это часто

бывает, Абид-ага прикрывал служебным рвением и непомерной строгостью, приведшей к тому, что весь народ — и не только райя, но и турки — вместо того чтобы благословлять дарованный им мост, проклинали тот час, когда он был заложен, и того, кто его основал. Мехмед-паша, всю жизнь борющийся с хищениями и неверностью своих подчиненных, приказал наместнику возвратить всю сумму сполна, а самому с остатком состояния и гаремом немедленно удалиться на поселение в захудалый городок Анатолии и чтобы звука о нем не было слышно, если он не хочет навлечь на себя еще худшую кару.

Через два дня после приезда Ариф-бега прибыл из Далмации и мастер Антоние с первыми рабочими. Тосун-эфенди представил его новому наместнику. Сверкающим и теплым апрельским днем они обошли строительство и установили распорядок работ на ближайшие дни. Когда Ариф-бег ушел, оставив Тосун-эфенди и Антоние на берегу одних, мастер поближе заглянул в лицо Тосун-эфенди, который и в этот солнечный день, зябко поеживаясь, кутался в просторный черный минтан, и сказал:

— Это совсем другой человек. Слава богу! Я только удивляюсь, у кого это хватило смелости и умения открыть визирю глаза и убрать ту скотину.

Тосун-эфенди, глядя прямо перед собой, невозмутимо сказал:

— Да, да, этот несомненно лучше.

— Он Абид-агу, видно, хорошо знал и к визирю был вхож и пользовался его доверием.

— Что и говорить, что и говорить, этот несомненно лучше, — кивал Тосун-эфенди, не поднимая опущенных глаз и плотнее кутаясь в свой черный минтан.

Так возобновились работы под началом нового наместника Ариф-бега.

Действительно, это был совершенно другой человек. Длинноногий, сутулый, безбородый, скуластый, с черными раскосыми, вечно смеющимися глазами. Народ тотчас же окрестил его Гололицым. Без крика, без палки, без брани и видимых усилий он приказывал и распоряжался весело и беззаботно, как бы с высоты, но никогда ничего не упускал и не терял из вида. И он тоже поддерживал атмосферу ревностной исполнительности во всем, что касалось воли и желаний визиря, но при этом он был человеком с чистой совестью, которому нечего

бояться и таить, а потому и других не нужно запугивать и притеснять. Работы велись также спешно (ибо именно этого требовал визирь), провинности наказывались с той же строгостью, однако с безвозмездной поденщиной было покончено с первого дня. Каждый поденщик получал деньги и на прокорм — муку и соль, и дело подвигалось не в пример быстрее и лучше, чем во времена Абидаги. И Блаженной Илинки тоже не стало: затерялась зимой в каком-то селе.

Строительство росло и расширялось.

Предначертания визиря предусматривали, оказывается, не только сооружение моста, но и большого постоянного двора, караван-сарая, где путники, едущие издалека и застигнутые ночью у моста, могли бы найти приют для себя, своих коней и грузов. По указаниям Ариф-бега приступили к постройке караван-сарая. У начала торговых рядов, в двухстах шагах от моста, где дорога на Мейдан поднималась круто вверх, была ровная площадка, на которой до сих пор по средам был скотный базар. Здесь и заложили новый постоянный двор. Работы продвигались вперед не так скоро, но с первых шагов было видно, что речь идет о сооружении, задуманном с размахом и шириной. Люди и не замечали, как медленно и неуклонно поднимались над землей каменные стены большого караван-сарая, потому что внимание их по-прежнему притягивало к себе строительство моста.

То, что делалось сейчас на Дрине, было так запутанно и сложно, так много было непонятных вспомогательных работ, что досужий обыватель, наблюдая за строительством с берега, словно за каким-то природным явлением, уже ничего больше не мог понять. Появлялись все новые насыпи и рвы в самых разных направлениях, разделенная на рукава и протоки, река из одного русла направлялась в другое. Мастер Антоние привез с собой из Далмации особо искусных канатчиков и скупил всю пеньку даже в соседних округах. В специально отведенных помещениях мастера-веревочники плели канаты необыкновенной прочности и толщины. Греческие плотники по чертежам все того же мастера Антоние и Тосун-эфенди сколачивали огромные подъемники, приводящиеся в движение воротом, устанавливали их на плотях и с помощью изготовленных канатов втаскивали тяжеленные каменные блоки на быки, один за другим поднимавшиеся с

речного дна. Четыре рабочих дня занимала переноска одного такого громадного каменного блока с берега до его гнезда в очередном быке.

Наблюдая изо дня в день, из года в год за работами, местные жители начали терять счет времени и забывать о конечных намерениях строителей. По их понятиям, сооружение моста не только не подвигалось вперед, но все больше запутывалось, дробясь и распадаясь на бесконечное количество вспомогательных и побочных операций, и с течением времени все меньше походило на то, чем оно должно стать. Люди, которые сами не работают и ничего в жизни не предпринимают, быстро теряют терпение и ошибочно судят о деятельности других. Вышеградские турки при упоминании о строительстве моста снова стали отмахиваться и пожимать плечами. Христиане молчали, но смотрели на строительство с затаенным злорадством и втайне желали ему провала, как всякому турецкому нововведению. Примерно в это время игумен монастыря Банье у Прибоя записал на последнем чистом листе минеи: «Да будет ведомо, когда Мехмед-паша строил мост на Дрине у Вышеграда. И лютые беды принял христианский народ от агарянина неверного, и в три погибели спину гнул. С моря мастеров приводили. Три года строили и много денег поистратили. Реку разделили надвое и натрое, а моста поставить не смогли».

Проходили годы, лето сменялось осенью, зима весною, уезжали и возвращались рабочие и мастера. Теперь уж вся Дрина была перегорожена, но не мостом, а деревянными лесами, представлявшимися бестолковым и путаным соединением сосновых балок и досок. По одну и по другую сторону от них покачивались деревянные стрелы подъемников, установленных на крепко связанных плотях. На обоих берегах реки дымили костры, там на огне плавил свинец, которым заливали трещины в блоках и невидимым образом скрепляли их между собой.

В конце третьего года произошло одно из тех несчастий, без которых редко обходятся большие строительства. Заканчивали средний бык, тот, что выше остальных и вверху шире, потому что на нем должны были покоиться ворота. Когда переносили очередной блок, работы застопорились. Рабочие суетились под громадой четырехугольного камня, который повис, оплетенный толстыми канатами, над их головами. Подъемнику никак не удавалось

подвести камень точно к заготовленному для него гнезду. В нетерпении подбежал Арап и громкими сердитыми окриками (на том диковинном смешанном наречии, со временем образовавшемся в этом разноплеменном скоплении людей) стал наставлять тех, кто внизу на воде управлял подъемником. Вдруг непонятно отчего канаты ослабли, и каменный блок сначала одним своим краем, а потом и всей тяжестью обрушился на возбужденного Арапа, который, не обращая внимания на то, что делается над его головой, глядел на воду. По странной случайности блок опустился точно в назначенное ему место, но при падении задел Арапа, придавив нижнюю часть его тела. Поднялась сутолока, шум и беготня. Вскоре подоспел и мастер Антоние. Молодой негр, вначале потерявший сознание, пришел в себя; испуская стоны сквозь стиснутые зубы, он не сводил печальных и испуганных глаз с лица мастера Антоние. Сдвинув брови, белый как полотно мастер Антоние велел собрать рабочих, принести инструмент и приступить к подъему блока. Но все было напрасно. Юноша истекал кровью, дыхание его прерывалось, взгляд туманился. Через полчаса он скончался, судорожно сжимая руку мастера в своей.

Похороны Арапа прошли торжественно и надолго запомнились людям. Вся мужская половина мусульманского населения вышла проводить его в последний путь и хотя бы несколько шагов пронести его табут, в котором покоилась верхняя часть его молодого тела, ибо нижняя так и осталась лежать под плитой. Мастер Антоние поставил на могиле негра прекрасное надгробие из того самого камня, из которого строился мост. Его потрясла смерть юноши, вызванного им мальчиком из нищеты и бедности в Ульцине, где проживало несколько занесенных туда судьбою негритянских семейств. Но работы на мосту не прерывались ни на минуту.

И в тот год, и на следующей зима выдалась мягкая, и работы на мосту продолжались до середины декабря. Наступил пятый год строительства. Широкий и неправильный круг из досок, камня, вспомогательных орудий и разнообразных строительных материалов постепенно начал сужаться.

У дороги на Мейдан уже стоял новый караван-сарай, освобожденный от лесов. Это было большое двухэтажное здание, сложенное из того же камня, что и мост. Еще сна-

ружи и внутри велись работы, но уже и сейчас, особенно издали, видно было, как сильно отличается он размерами, красотой линий и прочностью кладки от всего, что когда-либо могло быть задумано и построено в этом захолустье. Строение из светлого камня с темно-красной черепичной крышей и ровным рядом изящно прорезанных окон представлялось местным жителям немислимой и непомерной роскошью, которая с этих пор должна была стать составной частью их повседневной жизни. Возведенное щедротами визиря, оно выглядело так, словно и предназначалось только для визиря. На всем лежала печать величия, изысканности и богатства, приводивших обывателя в смущение.

В то же время бесформенная вязь перекадин и балок над рекой стала словно бы опадать и таять и сквозь нее все яснее проступали подлинные очертания моста, сложенного из красивого баньского камня. Еще рабочие группами и поодиночке занимались делами, которые в глазах посторонних выглядели бессмысленными и не связанными со всем прочим, однако теперь даже самый отъявленный маловер вынужден был признать, что все строительство подчинено единому замыслу и безошибочному расчету, который стоит за каждой из этих отдельных операций. Первыми освободились от лесов те арки, что были меньше и по высоте и по длине пролетов и ближе других стояли к берегу, а затем одна за другой и остальные, пока последняя арка не скинула с себя леса и мост не явился целиком со всеми своими одиннадцатью мощными арками и во всем своем великолепии и совершенстве, столь новом и непривычном для глаз местных жителей.

Падкие и на похвальбу и на злопыхательство вышеградцы были посрамлены за свое недавнее неверие и сомнения. Теперь они и не пытались скрыть свое восхищение и не могли умерить свой пыл. Проход по мосту еще не был открыт, но у берегов уже теснились толпы народа, особенно многочисленные на правом берегу, где находились торговые ряды и большая часть города. На мосту сновали рабочие, шлифовщики обрабатывали камень на ограде и сиденьях ворот. Собравшиеся тут же вышеградские турки рассматривали это чужое детище, над которым они целых пять лет издевались и которому пророчили самое мрачное будущее.

— А сколько раз я вам говорил,— радостно восторгался маленький мулла из Душче,— что царской воле ни в чем нет преграды и что ученые люди в конце концов доведут задуманное до конца; а вы знай свое твердите: не сделают, не поднимут. А вот и подняли, да еще какой мост подняли — любо-дорого поглядеть!

Все одобрительно кивали головами, хотя никто толком не помнил, когда мулла это говорил, напротив того, все знали, что он вместе со всеми хаял и постройку, и того, кто ее возводил. Но все, искренне растроганные, не переставали восхищаться.

— Эх, люди, люди, ведь что завелось в нашем захолустье!

— Вот что значит мудрость и сила визиря: куда кинет взгляд, там благодать и счастье!

— Это еще что!— не унимался веселый маленький мулла.— То ли еще будет! Мост-то, видишь, как драят да прихорашивают, точно коня на ярмарку!

Так состязались они в изливаниях восторга, изыскивая новые, все более цветистые и пышные слова похвалы. Один только Ахмет-ага Шета, богатый хлеботорговец, человек мрачный и скупой, по-прежнему обливал презрением и саму постройку, и тех, кто ее превозносил. Высокий, желтый и ссохшийся, с пронзительным взглядом черных глаз и тонкой линией как бы слипшихся губ, он жмурился на ярком солнце погожего сентябрьского дня и один из всех держался своего прежнего мнения. (Сила беспричинной ненависти и зависти в человеке иной раз превосходит все, что только могут создать или задумать люди.) Тем, кто в приливе восторга превозносил величину и прочность моста и говорил, что он крепче любой крепости, он с высокомерием бросал:

— Не было еще на него паводка, настоящего вышеградского паводка! Посмотришь тогда, что от него останется!

Все с возмущением набрасывались на него и хвалили создателей моста, в особенности Ариф-бега, который со своей неизменной снисходительной улыбкой, как бы играючи, отгрохал этакую махину. Но Шета был непреклонен, не желая признавать ничьих заслуг.

— Ну да, не будь Абид-аги с его зеленой палкой, порядком и силой, посмотрел бы я, как это Гололицый

со своими улыбочками да сложенными за спину руками сумеет закончить мост?!

И, принимая общее восхищение как личную обиду, Шета в сердцах удалялся в свой лабаз и усаживался там на своем обычном месте, откуда не видно ни солнца, ни моста и не слышно гомона и шума ликующей толпы.

Но Шета был редким исключением. Радостное возбуждение горожан час от часу возрастало и передавалось жителям окрестных селений. В первых числах октября Ариф-бег устроил грандиозное празднество по случаю окончания строительства. Этот человек господских привычек, мягкой властности и редкой честности, тративший все доверенные ему деньги на то, для чего они предназначались, и не бравший себе ни гроша, в глазах народа был главной личностью всей этой эпопеи. О нем говорили больше, чем о самом визире. И празднество, устроенное им, отличалось тоже необыкновенным богатством и великолепием.

Надсмотрщики и рабочие были одарены деньгами и одеждой, а общее пиршество, в котором принимали участие все желающие, продолжалось два дня. Во здравие визиря ели, пили, играли, танцевали и пели; молодежь состязалась в беге и конных скачках; бедняков оделяли мясом и сладостями. На площади между мостом и торговыми рядами варилась халва и раздавалась прямо с пылу, с жару. Тут уж лакомился и тот, кто и в байрам этого не видел. Халва дошла даже до окрестных сел, и каждый, отведавший ее, желал здоровья визирю и долгой жизни всему, что он возвел. Иные ребяташки по четырнадцать раз кряду подходили к котлу, пока не примелькались поварам и те не отогнали их поварешками. А один цыганенок умер, объевшись горячей халвы.

О празднестве долго потом помнили и рассказывали наряду с историями о возникновении моста, и тем больше, что щедрые визири и честные наместники, казалось, со временем вымерли, да и подобные празднества стали редки, а потом и совсем перевелись, пока наконец рассказы о них не перешли в разряд легенд и сказаний провил, близнецов Стою и Остою и прочие чудеса.

В праздники и вообще в первые дни люди бесконечное количество раз переходили по мосту с одного берега на другой. Дети проносились бегом, взрослые шли неторопливо, разговаривая или любуясь там и тут новы-

ми видами, которые открывались с моста. Больных, хромых и параличных приносили на носилках, потому что никому не хотелось отставать и лишать себя причастности к этому дивному диву. Каждый самый незаметный горожанин чувствовал, как вдруг умножились его способности и возросли его силы; словно какой-то чудесный сверхчеловеческий подвиг оказался вдруг сопряжен с собственными его возможностями и мерками повседневной жизни; словно, кроме до сих пор известных элементов: земли, воды и воздуха,—неожиданным образом открыли еще один; словно чьими-то благотворными усилиями для всех и каждого стало осуществимо одно из самых глубоких желаний, извечная мечта человека: перейти воду посуху и овладеть пространством.

Турецкие парни завели коло вокруг котлов с халвой, а потом перешли на мост, здесь им казалось, что они летят, не касаясь земли, в воротах они сделали круг и стали притопывать и выбивать ногами дробь, как бы испытывая прочность моста. Вокруг этого неистового хоровада плясунов, неутомимо подпрыгивавших в одном и том же ритме, вертелись мальчишки, проскальзывали между ног танцующих, словно сквозь живой частокол, стояли кучкой в центре коло первый раз в жизни на мосту, о котором говорили уже столько лет, и при этом в воротах, под которыми погребен несчастный Арап, что, как говорят, ночью показывается людям. Наслаждаясь счастьем быть в центре юношеского коло, они вместе с тем замирали от страха, который Арап внушал им еще при жизни, когда работал на мосту. Когда они стояли на этом высоком, новом и непривычном мосту, им казалось, что они давно уже покинули мать и отчий дом и забрели в страну черных людей, сказочных строений и диковинных плясок; дети дрожали от ужаса, но все равно не могли ни отрешиться от мыслей про Арапа, ни покинуть коло на новых чудесных балконах. Только новое чудо могло отвлечь их внимание.

Вдруг слабоумный парнишка, по имени Мурат и прозвищу Мычало, отпрыск семьи бегов Турковичей из Незуков, вечная потеха горожан, взобрался на каменную ограду моста. Детский визг смешался с изумленными и встревоженными возгласами взрослых, а идиот тем временем, как зачарованный, раскинув руки в стороны и запрокинув голову назад, нога за ногу вышагивал по уз-

кому каменному барьеру, словно танцуя и словно не было внизу под ним пропасти с водой. Толпа детей и зевак подбадривала его. А на другом конце моста слабоумного поджидал его брат Али-ага, отлупивший его, как малое дитя.

Многие спускались вниз по реке, до Калаты или Мезалина — до них было полчаса ходу, и оттуда любовались мостом с его одиннадцатью арками разной величины, легкой белой арабеской повисшим между мрачными утесами над зеленой водой.

Как раз в те дни на мост была доставлена большая белая плита с высеченной надписью и вделана в воротах в стену из красноватого камня, что возвышалась на целых три аршина над оградой. Долгое время люди собирались у этой плиты и разглядывали ее, пока не подходил какой-нибудь грамотей или молодой богослов и сообразно своим возможностям не прочитывал ее за чашку кофе, ломоть арбуза или просто за спасибо.

По сто раз на день декламировались тогда строки тариха, написанные по заказу стамбульским стихотворцем Бади и сообщавшие имя и звание основателя этой постройки, а также счастливый год ее завершения, 975 по Хеджри, мусульманскому летосчислению, и 1571 по христианскому. Этот Бади за хорошие деньги слагал легкие и звучные стихи и очень ловко сбывал их вельможам для украшения возводимых или восстанавливаемых крупных построек. Те, кто знал стихотворца (и немного ему завидовал), с усмешкой замечали, что небесный свод единственное сооружение, на котором нет тариха, вышедшего из-под пера Бади. А между тем, несмотря на большие доходы, Бади оставался голюю перекатной и вечно вел борьбу с той особенной бедностью, которая так часто неотвратимым проклятием преследует поэтов и избавить от которой не способны никакие вознаграждения и заработки.

Сообразно степени грамотности, упрямству и живости воображения каждый из местных школяров на свой особый лад читал и толковал тарих Бади на каменной плите, который, как и всякий текст, однажды брошенный в мир, запечатленный в камне на вечные времена, представлял взорам и людскому суду, равно творимому умным и глупцом, злопыхателем и доброжелателем. При этом каждый слушатель запоминал те стихи, которые больше

всего пришлось ему по нраву и отвечали его вкусам. И, таким образом, надпись, врезанная в твердый камень и открытая всем и каждому, передаваясь из уст в уста во многих вариантах, нередко изменялась и искажалась до полной бессмыслицы.

На камне было написано:

Смотрите! Здесь Мехмед-паша, мудрейший среди мудрых
и величайший из великих своего времени,

Выполняя завет своего сердца, своей заботой и трудом
Возвел мост на реке Дрине.

Поставил его на этой реке, быстротечной и глубоководной,

Где предшественники его ничего поставить не могли.

Бог даст, постройка его будет прочной.

Да пройдет весь его век в счастье,

Да не ведать ему никогда грусти,

Ибо всю свою жизнь золото и серебро влагал он в пожертвования
щедрые.

И никто никогда не скажет, что зря потрачено то,

Что пошло на такие дела.

Бади, свидетель счастливого окончания строительства сего,

Написал тарих:

«Благослови Господь эту постройку, этот прекрасный и красивый
мост».

Наконец народ наелся, наудивлялся, находился по мосту и наслушался стихов тариха. Исчезло ощущение чуда, владевшего всеми в первые дни, мост вошел в повседневную жизнь, и люди проходили по нему торопливо, равнодушно, озабоченно и рассеянно, так же, как говорливая вода, текущая под ним, как будто и они шли не по мосту, а по привычной, протоптанной людьми и скотом дороге. А плита с надписью молчала, молчала, как и всякий камень.

Теперь левый и правый берега получили надежную переправу. Канул в вечность черный, источенный червями паром, а с ним и своенравные паромщики. Далеко внизу, под малыми пролетами моста, остались песчаные и каменные кручи берегов, одинаково трудные для спуска и подъема, где так мучительно и часто напрасно дожидались переправы. Через капризную реку с ее неприятными берегами, будто по волшебству, перекинулся мост. Теперь прямо с одного высокого берега на другой переходили, точно на крыльях, по широкому длинному мосту, твердому и нерушимому, как утес, под копытами отзывавшемуся так, словно весь он был из одной-единственной тонкой каменной плиты.

Исчезли и старые деревянные мельницы и развалины, где при нужде ночевали путники. Вместо них у дороги выросло основательное, роскошное здание караван-сарая, предоставлявшее приют путникам, а их становилось с каждым днем все больше. В караван-сарай вели широкие, красивые ворота. По обеим сторонам ворот были два больших окна, забранные решетками, но не железными, а выточенными из цельного куска известняка. Просторный четырехугольный двор позволял свободно разместить кладь и грузы, сюда же выходили двери от тридцати шести комнат. Позади, под горой, были стойла; ко всеобщему изумлению, и они тоже были из камня, словно предназначались для царской конюшни. Такого караван-сарая не было от Сараева до самого Адриатического моря. Здесь каждый мог провести сутки и совершенно бесплатно получить ночлег, очаг и воду для себя, для своих слуг и коней.

И все это, как и сам мост, было построено на средства великого визиря Мехмед-паши, того, кто шестьдесят с лишним лет тому назад родился здесь, за этими хребтами, в горном селе Соколовичи, и с гурьбою сербских крестьянских детей был увезен в Стамбул для пополнения янычарского войска. Деньги на содержание караван-сарая поступали из вакуфа, основанного Мехмед-пашой на обширных угодьях во вновь завоеванных венгерских землях.

Так с возведением моста и караван-сарая покончено было, как мы видим, со многими невзгодами и бедами. Исчезла бы, может быть, и та необычная боль, которую визирь носил в себе с тех пор, как мальчиком его увозили из Боснии и он увидел вышеградский паром: острие черной боли временами раздирало пополам его грудь. Но Мехмед-паше не суждено было жить без этой муки и долго наслаждаться мыслью о своем вышеградском богоугодном вкладе. Вскоре после окончания последних работ, когда только-только гостеприимно распахнул свои ворота караван-сарай и молва о мосте разносилась по свету, Мехмед-паша еще раз испытал в груди нестерпимо раздирающую боль, испытал в последний раз.

Однажды в пятницу, когда Мехмед-паша в сопровождении свиты входил в мечеть, к нему протиснулся юрливый, ободранный дервиш, и протянул левую руку за подающим. Визирь обернулся и велел человеку из свиты

подать ему, но в это самое время дервиш выхватил из правого рукава тяжелый мясницкий нож и со всей силой всадил его визирю между ребер. Свита зарубила дервиша на месте. Визирь и его убийца испустили дух одновременно. Несколько мгновений они еще лежали на серых каменных плитах перед мечетью рядом. Убитый преступник, огромный, полнокровный, с раскинутыми в стороны руками и ногами, как бы еще весь в гневном порыве своего безумного удара. А рядом с ним великий визирь в распахнутой на груди антерии и без чалмы, далеко отлетевшей в сторону. В последние годы жизни визирь усох и сгорбился, как-то потемнел и погрубел лицом. Растерзанный, с непокрытой головой, сжавшийся и ушедший в себя, сейчас он больше походил на престарелого, приконченного в драке крестьянина из Соколовичей, чем на поверженного высокого сановника, до этого мгновения управлявшего Турецкой империей.

Месяцы и месяцы прошли, прежде чем до Вышеграда достигла весть о гибели визиря, да и то не как точный и неопровержимый факт, а как смутный шепоток, который может быть и верным и неверным. Ибо в Турецкой империи не разрешалось распространение плохих известий и сообщений о разного рода несчастьях, даже если они происходили в соседних странах, не говоря уже о своих. Впрочем, в данном случае ни у кого и не было желания особенно распространяться о смерти великого визиря. Партия его противников, в конце концов сумевшая его убрать, приложила все старания к тому, чтобы после пышных похорон визиря было предано забвению и всякое живое воспоминание о нем. А близкие Мехмед-паши, его сподвижники и приверженцы в Стамбуле, как правило, не имели ничего против того, чтобы о некогда великом визире говорили поменьше, справедливо полагая, что это только поможет им выслужиться перед новыми правителями и искупить свое прошлое.

Однако прекрасные сооружения на Дрине уже начали оказывать свое влияние на развитие торговли и сообщения, на жизнь города и всей округи и продолжали это делать, невзирая на живых и мертвых, на тех, кто возносится, или тех, кто падает. Город стал на глазах спускаться со взгорья к воде, быстро разрастаясь и теснясь к мосту и караван-сараяу, прозванному народом «Каменным ханом».

Так возник мост с воротами, и так вокруг него образовался город. В течение примерно трех столетий мост играл ту роль в развитии города и занимал то место в жизни его обитателей, о которых мы вкратце писали вначале. Основной же смысл его существования заключался, казалось, в его неизменном постоянстве. Его светлые очертания на фоне города никогда не менялись, как и контуры окрестных гор в небе. В череде перемен и стремительно отцветающих людских поколений он оставался неизменным подобно реке, текущей под ним. Старел, конечно, и мост, но по меркам временной шкалы, настолько раздвинутой в своих границах по сравнению не только с человеческим веком, но и продолжительностью жизни целого ряда поколений, что это старение невозможно было ощутить на глаз. Его век, хотя мост сам по себе и был смертен, представлялся беспредельным, потому что конец его не был виден.

V

Миновали первые сто лет — долгие годы, принесшие смерть многим людям и их творениям, но совсем не ощутимые для больших сооружений, построенных расчетливо и основательно, и мост с воротами и прилегающим к нему караван-сараям незыблемо стояли, неся свою службу, как и в первый день. Пронеслось бы над ними и второе столетие со сменами времен года и людских поколений, так и не оставив на них следа. Однако то, чего не могло сделать время, сделало изменчивое и неподвиженное стечение обстоятельств, сложившихся вдалеке от Вышеграда.

В те годы, в конце XVII века, в Боснии пели песни, говорили и шептались о Венгрии, которую после столетней оккупации начали оставлять турецкие войска. Многие боснийские помещики, отстаивая в жестоких схватках свои венгерские владения, легли костями на чужбине. И, надо полагать, им выпал более счастливый жребий, потому что тех, кто гол как сокол вернулся в Боснию на старые места после богатой и привольной жизни на обширных угодьях Венгрии, ждала тощая земля, стесненное и скудное существование. Смутные и слабые отголоски всего этого доходили и сюда, но никто никогда

не думал, что эта песенная страна «Мадьярия» могла иметь какую-то связь с действительной и повседневной жизнью города. Однако случилось именно так. После того как турки ушли из Венгрии, за границами царства оказались, помимо всего прочего, и земли вакуфа, доходы с которого шли на содержание караван-сарая в Вышеграде.

И обитатели города и путники, за сто лет привыкшие к услугам «Каменного хана», никогда не задумывались о том, на какие средства он содержится и откуда они берутся. Люди пользовались караван-сараями, как пользуются благословенным плодоносным деревом у дороги, одновременно общим и ничьим; заученно поминали «упоккой визиревой души», не думая о том, что он уже сто лет как мертв, и не задаваясь вопросом о том, кто же теперь печется и заботится о царских землях и доходных имениях. Трудно было предположить, что в мире все так сильно зависит одно от другого и так тесно связано даже на расстоянии. Поэтому неудивительно, что первое время в городе не замечали оскудения источника дохода. Прислуга работала, и караван-сарай по-прежнему принимал путешественников. Думали, что деньги запаздывают, как это и раньше бывало. Между тем проходили месяцы, а потом и годы, а деньги все не поступали. Слуги бросали службу. Тогдашний управляющий визирева наследия, Даут-ходжа Мутевелич, что значит «управитель» (так народ звал его, и это стало фамилией всего их рода), во все концы писал, но ответа не получал. Постояльцы сами обслуживали и себя, и свой скот и убирали караван-сарай, насколько считали необходимым, но за собой оставляли навоз и мусор, предоставляя другим чистить помещение и наводить порядок, как это делали они, застав здесь тоже все неубранным и загаженным. И при этом каждый оставлял после себя хоть немного больше грязи, чем заставлял.

Даут-ходжа делал все, чтобы спасти караван-сарай от запустения и разрухи. Сначала он тратил свое, потом стал одалживать у родственников. И так из года в год поддерживал и подновлял ценное здание. Тем, кто упрекал его в том, что он губит себя, пытаясь сохранить то, что сохранить невозможно, он отвечал, что тратит свои деньги наилучшим образом, ибо дает их взаймы самому господу богу, не говоря уже о том, что он, как управи-

тель, последним покинет детище великого визиря, от которого, похоже, уже все отступились.

Никакие уговоры не могли отвратить этого мудрого, набожного, упорного и мужественного человека, память о котором долгие годы хранил город, от его безнадежных усилий. Самоотверженный труженик, он уже давно примирился с сознанием того, что человеку предназначено весь свой век провести в борьбе с порчами, смертью и исчезновением и что человек должен выстоять в этой борьбе и тогда, когда она совершенно безнадежна. И, сидя перед караван-сараям, разрушавшимся на его глазах, он отвечал тем, кто отговаривал его и жалел:

— Не надо меня жалеть. Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди — дважды; один раз, покидая этот мир, а второй раз — с гибелью их творений.

Когда не стало денег на работников, Даут-ходжа, уже глубокий старик, своими руками выдира л бурьян у караван-сарая и делал мелкие починки. За этим его и застигла смерть, когда он однажды днем влез на крышу поправить съехавшую черепицу. Конечно, местному ходже не по плечу было спасти то, что было основано великим визирем, а ходом исторических событий обречено на гибель.

Со смертью Даут-ходжи «Каменный хан» начал быстро разрушаться. На каждом шагу являлись первые признаки запустения. Сточные канавы засорились и источали зловоние, прохудившаяся крыша протекала, в окна и двери немилосердно дуло, стойла погрязли в навозе и заросли бурьяном. А снаружи прекрасное каменное строение выглядело все таким же в своей совершенной и, казалось, нерушимой красоте. Большие сводчатые окна нижнего этажа с тонкими, как дорогие кружева, решетками, выточенными из цельного куска известняка, с прежним спокойствием смотрели на мир. Однако верхние, обыкновенные окна уже несли на себе печать обветшания. Мало-помалу путники перестали останавливаться здесь на ночлег или, в крайнем случае, ночевали в самом городе на постоялом дворе Устамуича за деньги. Все реже принимал гостей караван-сарай, хотя тут вместо платы требовалось только пожелать покой визиревой душе. В конце концов, когда стало ясно, что деньги не придут и нет никого, кто взял бы на себя заботу о детище визиря, люди, в том числе и новый управляющий, оконча-

тельно покинули «Каменный хан», предоставив ему, безмолвному и опустевшему, разрушаться и разваливаться, подобно всем покинутым и безнадзорным постройкам. Вокруг него разрослись лопухи, дуришник и крапива. На крыше гнездились и собирались крикливыми черными стаями галки и вороны.

Так раньше времени и неожиданно (такие вещи всегда приходят словно бы неожиданно!) брошенный на произвол судьбы «Каменный хан» начал превращаться в руины.

Однако если караван-сарай стечением особых обстоятельств должен был изменить своему предназначению и преждевременно превратиться в руины, то мост, не нуждавшийся в попечении и уходе, оставался все таким же неизменным и гордым и, как и в первый день своего существования, связывал два берега реки и переносил с одного на другой живой и мертвый груз.

В стенах его гнездились птицы, в неприметных трещинах, разъеденных временем, росли жидкие метелки травы. Пористый желтоватый камень, из которого был сложен мост, под переменным воздействием жары и влаги уплотнился и отвердел; исхлестанный ветрами, непрерывно дующими из конца в конец речной долины, исполованный дождями, прожаренный палящим солнцем, камень с годами приобрел тусклую пергаментную белизну и светился в темноте, словно подсвеченный изнутри. Частые и грозные наводнения, державшие город в вечном страхе и трепете, не причиняли мосту вреда. Наводнения повторялись каждый год весной и осенью, но не всегда они были одинаково опасны и губительны для города у моста. Дважды или, по крайней мере, раз в году вздувались замутившиеся воды Дрины и, с диким ревом проносясь под сводами моста, увлекали за собой поваленные ограды с полей, вырванные пни, темные груды листьев и ветвей из прибрежных лесов. От них неизменно страдали дворы, сады и амбары ближайших домов. Этим все и ограничивалось. Но с разрывом в двадцать — тридцать лет случались большие наводнения, их помнили так же, как помнят бунты или войны, и долго от них отсчитывали время, возраст построек и длительность человеческой жизни. («За пять-шесть лет до большого наводнения», «Во время большого наводнения».)

Эти наводнения мало что оставляли после себя из движимого имущества в большей части города, разместившегося на песчаной косе между Дриной и Рзавом. Они отбрасывали город на несколько лет назад. Очевидцы его остаток своей жизни проводили в возмещении убытков и утрат, нанесенных «большим паводком». Люди до конца своих дней в разговорах снова и снова возвращались к переживаниям той осенней ночи, когда при свете тусклых фонарей под ледяным дождем и обжигающим ветром они вытаскивали товары, каждый из своей лавки, и сносили их наверх на Мейдан, в чужие дома и лабазы. А на следующий день мгlistым утром смотрели вниз с горы на город, который любили, как любят собственную кровь, неосознанной и горячей любовью, и видели, как улицами, кружась и пенясь, несется мутная вода, подступая под самые крыши, и по этим крышам, с которых вода с треском отдираала доску за доской, догадывались, чей дом еще стоит.

На славах, рождественских праздниках или в рамазанские ночи седые, отяжелевшие, обремененные заботами старики оживлялись и становились разговорчивыми, едва речь заходила о самом главном и тяжком событии их жизни — наводнении. По прошествии пятнадцати, а то и двадцати лет, в течение которых люди копили и обзаводились новым хозяйством, паводок предстал перед ними страшным и величественным, дорогим и близким; он нерушимыми узами связывал еще живых, но уже сильно поредевших свидетелей, ибо ничто так не объединяет людей, как совместно и благополучно пережитое несчастье. Так же и они чувствовали себя прочно связанными памятью о минувшей беде и поэтому так любили вспоминать о самом страшном ударе, постигшем их в жизни, и находили в этом удовольствие, недоступное молодым. Воспоминания эти неисчерпаемы, и люди возвращаются к ним, не зная устали; они дополняют друг друга и подсказывают, стоит им посмотреть друг другу в поблекшие склеротические глаза, и они видят в них то, чего молодые не могут себе даже и вообразить; они загораются от собственных слов, глушат нынешние мелкие заботы воспоминаниями о тех, гораздо более серьезных, давно и успешно ими изжитых.

Сидя в теплых комнатах своих домов, через которые когда-то прокатилось наводнение, старики с особым на-

слаждением в сотый раз пересказывают отдельные трогательные или трагические эпизоды. И чем страшнее и мучительней рассказ, тем большее удовольствие он доставляет. В радужном тумане легкой ракии или табачного дыма истории эти часто выглядят преображенными временем и вымыслом, преувеличенными и приукрашенными, но никто из стариков этого не замечает, и каждый готов побожиться, что все было именно так, ибо все они бессознательно участвуют в этом произвольном украшательстве.

Во все времена можно было найти несколько стариков, помнивших последнее «большое наводнение», о котором они могли между собой бесконечно говорить, твердя молодым, что нет больше таких бед, но нет и прежней красоты и благодати.

Одно из самых больших когда-либо бывших наводнений случилось в последний год восемнадцатого века, и оно особенно долго вспоминалось и переживалось.

Выпало оно на долю того поколения, в котором, как потом рассказывали старики, не осталось почти никого, кто бы помнил предыдущие большие наводнения. Однако в те дождливые осенние дни все были начеку, хорошо зная, что «вода коварна и зла». Освободили склады, ближе других стоявшие к реке, ночью с фонарем ходили по берегу, прислушиваясь к шуму реки; старые люди утверждали, что по гулу воды можно угадать, будет ли разлив одним из тех обычных, что случались ежегодно, нанося городу незначительный ущерб, или тем, к счастью редким, большим разливом, что затоплял и мост и город и сносил все недостаточно прочно и основательно построенное. Следующий день показал, что вода в Дрине не прибывает, и к вечеру город погрузился в глубокий сон, так как люди были утомлены волнениями предыдущей бессонной ночи. Вот так и обманула их вода. Ночью стремительно и небывало поднялся Рзав и, красный от глины, перегородил и запер Дрину в устье. Воды обеих рек сомкнулись над городом.

У Суляги Османагича, одного из самых крупных турецких богатеев, был тогда чистокровный арабский жеребец неслыханной цены и красоты. Едва запруженная Дрина устремилась в город, арабский жеребец пронзительно заржал и не умолкал до тех пор, пока не разбудил хозяина и слуг и его не вывели из конюшни, стояв-

шей на самом берегу реки. Так была разбужена большая часть города. Под холодным дождем и бешеным ветром непроглядной октябрьской ночи люди начали спасать то, что еще можно было спасти. Полуодетые, по колена в воде, они выносили на плечах разбуженных и плачущих детей. Испуганно блеял скот. То и дело раздавался глухой треск налетавших на быки каменного моста бревен и коряг, принесенных Дриной из затопленных лесов.

На Мейдане, куда вода никогда и ни в каком случае не могла добраться, все окна освещены, и бледные пятна фонарей, приплясывая, мельтешат в темноте. Все дома открыты и принимают пострадавших, промокших, подавленных людей с детьми или самым необходимым скорбом в руках. В хлевах тоже разложены костры, возле них сушатся те, для кого не нашлось места в домах.

Первые граждане города, пристроив своих домочадцев, турок — в турецкие, сербов и евреев — в христианские дома, собрались в большом помещении нижнего этажа дома хаджи Ристо. Здесь муктары всех городских кварталов, они устали и промокли, пока перебудили и разместили под кров жителей подопечных им кварталов. Турки, христиане и евреи сидят бок о бок. Грозная сила стихии и тяжесть общей беды сблизила этих людей и хотя бы на один этот вечер перекинула мост через пропасть, отделявшую разные веры одну от другой и в особенности райю от мусульман. Здесь Суляга Османогич, газда Петар Богданович, Мордо Папо, поп Михайло, могучий, немногословный, но острый на язык приходской священник, грузный и серьезный мулла Исмет, вышеградский ходжа, и Элиас Леви по прозвищу хаджи Лиачо, еврейский раввин, известный далеко за пределами города своей справедливостью и прямоотой. И еще человек десять торговцев всех трех религий. Промокшие, бледные, со сведенными скулами, но с виду невозмутимые, они сидят, курят и говорят о том, какие меры для спасения имущества приняты и какие еще надо предпринять.

К ним поминутно входят люди помоложе, с которых вода стекает ручьями, и сообщают, что все живое выведено на Мейдан или за Град и размещено по турецким и христианским домам и что вода продолжает прибывать, захватывая квартал за кварталом.

Ночь текла — текла медленно, нескончаемо, казалось, она росла и вздымалась, подобно воде в долине, — и городские тузы и торговцы взялись за ракию и кофе, пытаясь хоть как-то согреться. И все перенеслись в какой-то другой мир, обособленный и теплый, реальный и все же нереальный, не такой, как был вчера, и не такой, как будет завтра: зыбкий островок в океане времени. Разговор оживлялся и креп и, словно по безмолвному уговору, то и дело менял направление: избегали касаться даже старых наводнений, известных только понаслышке; говорили о вещах, никак не связанных с водой и разразившейся катастрофой.

Отчаявшиеся, они предпринимали отчаянные попытки казаться беззаботными и равнодушными, почти что легкомысленными. По некоему невысказанному и суеверному уговору и по неписаным, но священным старинным, купеческим правилам приличия и гордой сдержанности, каждый присутствующий считал себя обязанным собраться с духом и в этот час, перед лицом несчастья, которое невозможно отворотить, подавить свои страхи и опасения и говорить шутивным тоном о посторонних предметах.

Но едва за разговором они стали обретать успокоение и в мгновениях забытья черпать силы, столь необходимые им для завтрашнего дня, как пришли какие-то люди и привели с собой Косту Баранаца. Совсем еще молодой торговец был мокр до нитки, распоясан и по колено в грязи. Оглушенный многолюдием и светом, он как со сна оглядывал себя и стирал всей пятерней воду с лица. Ему дали сесть и предложили ракии, но ему никак не удавалось поднести стакан к губам. Он дрожал всем телом. Прошел шепоток, что он пытался кинуться в мутный поток, что мчался сейчас по песчаному берегу реки как раз над крышами его амбаров и складов.

Человек молодой и нездешний, Коста Баранац двадцать лет тому назад был отдан сюда в услужение, позднее женился, вошел в зажиточный дом и скоро повел дела самостоятельно. Крестьянский сын, он за короткий срок несколькими бесцеремонно-наглыми спекуляциями неслыханно обогатился, сразу обойдя многих других торговцев, но не привык терпеть убытки и переносить неудачи. И в эту осень он сделал огромные запасы сливы и ореха, намного превзойдя свои реальные

возможности и рассчитывая зимой диктовать цены на чернослив и орехи и таким образом покрыть долги и заработать так же, как в прошлом году. Теперь он был вконец разорен.

И снова должно было пройти какое-то время, чтобы рассеялось впечатление, произведенное на всех видом этого погибшего человека. Ведь всем им в большей или меньшей степени нанесло урон нынешнее наводнение, просто в силу врожденного чувства собственного достоинства они лучше владели собой, чем этот выскочка.

Старейшины города снова перевели разговор на безобидные и отвлеченные темы. Потекли длинейшие сказания о прошлых временах, никак не связанные с тем несчастьем, которое загнало их сюда и сдавливало кольцом.

Пили обжигающую ракию, и возникали в рассказах, как живые, неповторимые образы далеких дней, воспоминания о местных чудаках и всяких смешных и необыкновенных происшествиях. Поп Михайло и хаджи Лиачо предводительствовали. И если речь нечаянно касалась прежних наводнений, то разве что в связи с чем-нибудь легким и забавным — или, по крайней мере, казавшимся таковым по истечении многих лет — и будто бы в насмешку и наперекор теперешнему. Вспоминали отца Йована, приходского священника, который здесь когда-то служил и пользовался у своих прихожан репутацией человека доброго, но «не легкой руки», отчего молитвы его плохо доходили до бога.

С летней засухой, нередко губельной для всего урожая, отцу Йовану регулярно не везло, так как после того, как он с крестным ходом обходил поля, творя молитву о ниспослании дождя, обычно наступала еще более страшная сушь и жара. И когда однажды осенью после засушливого лета вода в Дрине стала прибывать, угрожая наводнением, и отец Йован вышел на берег, собрал людей и обратился к богу с мольбой остановить дождь и обуздать воду, некто Йокич, местный пьяница и лодырь, уверенный, что бог обыкновенно посылает как раз обратное тому, что просит поп, громко крикнул:

— Не эту, батюшка, читай, не эту, а летнюю давай, дождливую, тогда, бог даст, вода-то и уймется.

Полнотелый и тучный Исмет-эфенди вспомнил своих предшественников и их борьбу с разливами. Однажды

во время давнего паводка вышли два вышеградских муллы читать молитву против постигшей их напасти. У одного муллы дом был в нижней части города, и вода грозила его затопить; у второго же — на взгорье, недоступном разливу. Первым стал читать молитву мулла из верхнего города, и вода нипочем не отступала. Тут один оседлый цыган, дом которого стал уже погружаться в воду, как закричит:

— Да дайте же, люди, сюда второго муллу, чей дом под водой, как и наши. Не видите, что ли, этот, сверху, молит господа вполсилы!

Хаджи Лиачо, румяный и смеющийся, с буйными завитками белых волос, выбивавшихся из-под чересчур плоской фески, развеселившись, кричал священнику и мулле:

— Не очень-то поминайте разливные молитвы, не то еще и наши про них вспомнят, да и выставят всех троих под ливень читать молитвы и заговаривать воду.

Так, сменяя друг друга, текли истории, сами по себе неважные и мало что говорящие постороннему человеку и только для них одних, людей одного поколения, наполненные особым смыслом и значением; простодушные и незатейливые, но близкие и понятные им воспоминания об однообразной, прекрасной и тяжелой жизни города — их собственной жизни; измененные временем, полустертые, нерасторжимо связанные с каждым из сидящих здесь и вместе с тем далекие от трагедии нынешней ночи, которая свела их в этот фантастический круг.

Так именитые граждане города, закаленные и с детских лет привыкшие терпеть самые разные невзгоды, коротали ночь «большого наводнения» и, находя в себе силы шутить и смеяться перед лицом надвигающейся катастрофы, пытались обмануть судьбу, коль скоро ее было невозможно отворотить.

Однако под маской напускной веселости души их точила тревога, за шуткой скрывались тяжкие мысли, а слух поневоле ловил завывание ветра и рев напиравшей воды из долины, где каждый из них бросил все, что имел. А утром следующего дня, после бессонной ночи, стоя на Мейдане, они смотрели на свои дома, затопленные водой, одни до середины, другие под самую крышу. Тогда же в первый и последний раз они видели

свой город без моста. Вода поднялась на целых десять метров, наполнила широкие и высокие арки и переливалась через мост, скрывшийся под ней. Лишь площадки ворот выступали над мутной водой и окатывались волнами, как порог речного переката.

А два дня спустя вода стремительно спала, небо очистилось и засияло солнце, теплое и щедрое, какое порой выдается в октябре в этом благодатном краю. В блеске сверкающего дня город выглядел страшным и жалким. Цыганские и бедняцкие лачуги на песчаном откосе скобочились под натиском воды, многие остались без крыш, известку и глину смыло, так что обнажились черные каркасы из ивовых прутьев, напоминавшие скелеты. Посреди дворов с разрушенными заборами зияли пустыми глазницами окон городские дома; на каждом красная полоса речного ила, указывающая, куда доходила вода. Многие хлева унесло, плетеные амбары перевернуты. В низких лавках ил стоял по колено, затопив все не вынесенные вовремя товары. В проулках застряли целые деревья, принесенные водой, и вздувшиеся туши затонувшего скота.

Вот во что превратился их город, куда им теперь предстояло сойти и где они должны были продолжать жить. А над размытыми берегами, над шумными валами воды, по-прежнему мутной и бурной, сверкал на солнце мост, целый и невредимый. Вода достигала середины опорных быков, отчего казалось, будто под мостом протекала какая-то другая река, более глубокая и полноводная. Осевший вдоль ограды ил, который засыхал и трескался на солнце, залежи веток и водорослей, образовавшиеся в воротах, совершенно не меняли внешний вид моста, он один без всякого ущерба для себя перенес наводнение и вынырнул из него невредимым.

Все в городе рьяно взялись работать и зарабатывать, восстанавливать разрушенное и не имели времени задумываться о смысле и значении победного существования моста, но все же посреди хлопот людей не покидало ощущение, что в многострадальном городе, где вода буквально ничего не пощадила, что в этой их юдоли есть твердыня, которой не страшны никакие стихии, ибо в совершенстве ее пропорций, в скрытой мудрости ее мощных конструкций заключена сила, способная твердо и нерушимо вынести любые испытания.

Зима пришла в тот год небывало жестокая. Все, что было уже припасено во дворах и плетеных амбарах: дрова, зерно, сено,— унесло наводнение; надо было поправлять дома, стойла и ограды и брать в долг новые товары вместо тех, что уничтожены в лабазах и лавках. Коста Баранац, больше всех пострадавший из-за своих рискованных спекуляций со сливами, не пережил эту зиму: умер от горя и позора. Осталась после него куча малых детей, беззащитных сирот, да мелкие, но рассеянные по всем окрестным селениям должники. А память о нем сохранилась как о человеке, замахнувшемся на то, что ему не по силам.

Но уже следующим летом воспоминания о «большом наводнении» стали переселяться на хранение к более пожилым, где им долго еще предстояло жить, а молодежь пела, болтала, сидя на белых и гладких каменных скамьях ворот над водой, протекавшей глубоко вниз и своим рокотом вторившей их песне. Забвение все исцеляет, а песня — лучший способ забвения, ибо она напоминает лишь о том, что дорого.

Так в воротах, между небом, рекой и горами, поколение за поколением училось не очень горевать о том, что уносит мутная вода. Здесь они впитывали в себя неосознанную философию города: жизнь — необъяснимое чудо, ибо, уходя и отцветая, она все же остается, нерушима и стойка, «как на Дрине мост».

VI

Кроме наводнений, мост с его воротами терпели еще и другие напасти, приносимые превратностями исторических событий и человеческих конфликтов; но они еще меньше, чем водная стихия, могли повредить мосту и причинить ему сколько-нибудь заметный урон.

В начале прошлого века в Сербии поднялось восстание. Город, расположенный на самой границе Боснии и Сербии, был тесно связан с ней и со всем, что там происходило, словом, сросся с Сербией, как «ноготь с пальцем». Ничего из того, что случалось в Вышеградской округе,— был ли то мор, неурожай, злодейство или мятеж,— не могло оставить равнодушными жителей Ужичкого края, и наоборот. Правда, на первых порах событие это показалось слишком далеким и незначительным;

далеким — ибо разыгралось оно на другом конце белградского пашалыка; незначительным — ибо слухи о возмущениях не составляли особой новости. С того времени, как существует царство, существуют и бунты, ибо нет власти без бунтов и заговоров, как нет богатства без забот и убытков. Но постепенно сербское восстание начало все сильнее вторгаться в жизнь боснийского пашалыка и особенно города, расположенного в часе ходьбы от границы.

По мере того как в Сербии разгорался мятеж, от боснийских турок требовали все больше людей и различных поставок для армии. Хорошая половина воинских частей и обозов, переправлявшихся в Сербию, проходила через город. Это было весьма разорительно, хлопотно и опасно и для турок, но в особенности для сербов, подозреваемых, притесняемых и обираемых в те годы, как никогда раньше. В конце концов настало лето, когда волна восстания докатилась и до этих краев. Обойдя Ужице, восставшие остановились в двух часах ходьбы от города. В Велетове они выстрелом из пушки разрушили башню Лутви-бега, а в Црнче пожгли турецкие дома.

В Вышеграде нашлись и турки и сербы, утверждавшие, что своими ушами слышали пальбу карагеоргиевской пушки. (Конечно, с совершенно противоположными чувствами.) Но если и могло быть спорным, что отзвуки сербского орудия восставших достигли городка, — ибо человеку часто чудится, что он слышит то, чего боится или ожидает, — то ни в ком не вызвали сомнения костры, разложенные мятежниками ночью на Паносе, крутой и голой горной гряде между Велетовом и Гостицем, на которой из города невооруженным глазом можно было пересчитать редкие сосны. Костры прекрасно видели и внимательно изучали и турки и сербы, хотя и те и другие делали при этом вид, что ничего не замечают. Из потушенных окон или из темноты густых садов и те и другие следили за тем, как они загорались, передвигались и гасли. (Женщины крестились в темноте и плакали от неизъяснимого умиления, и в их слезах преломлялись отблески мятежных костров, как чуть не три столетия назад их прабабкам с того же самого Мейдана и точно так же сквозь слезы виделось призрачное сияние над могилой Радисава.)

Трепетные, неровные огни на черном фоне летней ночи, сравниваемой горы с небом, сербам представлялись неким новым созвездием, по которому они жадно читали смелые пророчества и, замирая, заглядывали в будущее, стараясь угадать свою судьбу. Для турок это были первые волны огненного моря, бушевавшего в Сербии и теперь вот подобравшегося к горной гряде над их городом. Летними ночами молитвы и помыслы тех и других витали вокруг этих огней, хотя и были совершенно противоположными. Сербы молили всевышнего, чтобы спасительное пламя, росток которого каждый из них лелеял и бережно таил в своей душе, разгорелось и распространилось на наши горы; турки же просили бога задержать его, сбить и потушить, посрамив тем самым изменнические замыслы неверных и восстановив старые порядки и добрый мир истинной веры. Опасливый и страстный шепот наполнял те памятные ночи, в непроглядную синюю тьму над городом выплескивались незримо волной взлеты отчаянных дум и мечтаний, самых дерзких желаний и планов и, сталкиваясь в вышине, скрещивали копья, стараясь одолеть друг друга. А назавтра, когда занимался новый день, торопясь по делам, сербы и турки встречали друг друга с потухшими, бесстрастными лицами, здоровались, перебрасываясь сотней слов из словаря провинциальной учтивости, издавна имевшего хождение в городе и передававшегося от одного к другому, как фальшивая монета, которая все же создает и облегчает общение.

И когда где-то после ильина дня исчезли с Паноса огни и мятежный разлив отхлынул из Ужицкого края, ни та, ни другая сторона опять-таки не обнаружили друг перед другом истинных чувств. Да и трудно было сказать, каковы были истинные чувства тех и других. Турки, довольные отступлением восстания, уповали на то, что оно и вовсе захлебнется и иссякнет, как и положено любой безбожной и мерзкой затее. И все же их торжество было неполным и не безоблачным, ибо его омрачали трудно забываемые воспоминания о слишком уж близкой опасности. Многим из них долго потом еще мерещились по ночам всполохи мятежных костров, роем фантастических искр рассыпанных по окрестным горам, и чудилась стрельба карагеоргиевской пушки, причем на сей раз это был не отдаленный гул, а грохот всесокрушаю-

щей канонады. Сербов же, понятно, исчезновение огня на Паносе повергло в уныние и разочарование, однако в глубине души, в самых заповедных и сокровенных тайниках ее, которые никому не открывают, жила память о том, что было, и вера в то, что бывшее один раз может и повториться; с ними осталась надежда, безумная надежда, великое преимущество угнетенных. Ибо те, что властвуют, и должны угнетать, чтобы властвовать, вынуждены подчиняться рассудку; и стоит им в порыве страсти или под нажимом противника переступить в своих действиях границы разумного, как они скатываются на скользкий путь и сами обозначают этим начало своего конца. Между тем угнетенные и поработанные пускают в ход и разум, и безумие, так как это всего лишь два вида оружия в непрестанной то тайной, то открытой борьбе против притеснителей.

К тому времени значение моста как единственной надежной связи между боснийским пашалыком и Сербией необычайно возросло. В городе стоял теперь постоянный гарнизон, не распускавшийся даже в периоды длительного затишья и охранявший мост через Дрину. Чтобы легче и с наименьшей затратой сил выполнять эту задачу, войско додумалось соорудить посреди моста дощатую караульную вышку, настоящее страшилище по уродству формы, расположению и материалу, из которого она была сделана. (Но все на свете армии возводят для каких-то своих особых и сугубо временных целей подобные постройки, которые потом с точки зрения гражданской жизни и потребностей мирного времени представляются абсурдными и бессмысленными.) Это был целый двухэтажный дом, нелепый и наспех сколоченный из неотесанных досок, со сквозным тоннелем над проезжей частью моста. Держался он на крепких подпорках, как бы взгромоздясь на мост верхом, и двумя своими крыльями покоился на балконах ворот, одним на левом, другим на правом. Под ним оставался свободный проезд и проход для телег, всадников и пешех, но с верхнего этажа надстройки, где находились караульные и куда вела наружная лестница из сосновых досок, можно было видеть каждого прохожего, у каждого проверить бумаги и багаж, а в случае необходимости в любой момент закрыть проход.

Строение, безусловно, искажило внешний облик моста. Прелестные ворота исчезли под дощатой нашлепкой, напоминающей гигантскую безобразную птицу на толстых ногах-подпорках.

В тот самый день, когда караульня, еще хранившая острый запах свежей сосновой древесины и гулко отзвучавшая на звук шагов, была готова, в ней обосновались солдаты. И как только рассвело, в нее, как в капкан, уже попались первые жертвы.

Под низким красным солнцем раннего утра у караульни собрались солдаты и несколько вооруженных турок, в помощь регулярному войску обходивших город ночным дозором. В центре этой толпы сидел на бревне начальник караула, а перед ним стоял старец, бродяга и богомолец, не то монах, не то нищий, скромного и тихого обличья, несмотря на убогость, чистенький и приятный и при своих сединах и морщинистом лице просветленный, улыбчивый. Это был божий человек Елисие из Чайнича. Уже много лет обходил он с неизменной своей просветленной улыбкой, всегда одинаково торжественный и тихий, церкви и монастыри, ярмарки и славы; молился богу, клал поклоны и постился. Раньше, снисходя к его набожности и слабоумию, турецкие власти не чинили препятствий божьему страннику, разрешая ему ходить где вздумается и говорить что угодно. Теперь же, после восстания в Сербии, времена переменялись и порядки стали круче. Из Сербии в Вышеград перебрались несколько турецких семейств, у которых бунтовщики все сожгли; они разжигали пламя ненависти и звали к отмщению. Всюду были выставлены постовые и усилен надзор, а местные турки, недовольные, угрюмые и злые, алчущими крови глазами озирались вокруг, готовые заподозрить правого и виноватого.

Старец шел из Рогатицы и на свою беду оказался первым, кто ступил на мост в тот день, когда была закончена караульня и пост заняла первая смена часовых. Правда, появился он здесь в неурочный час, еще как следует не рассвело, да к тому же еще с толстой палкой, испещренной таинственными знаками и письменами, которую он нес перед собой точно горящую свечу. Караульня вцепилась в старца, как паук в муху. Ему учинили короткий допрос. Велели сказать, кто он, что он и откуда и что означают узоры и письмена на его палке. Он

отвечал с готовностью, часто даже подробнее, чем его спрашивали, говорил свободно, словно перед престолом божьего суда, а не перед злобными турками. Сказал, что он никто и ничто, странник на земле, прохожий в этом преходящем времени, тень на солнце, малую толику отпущенных ему дней скоротечной жизни проводящий в молитве, с которой он идет от монастыря к монастырю, пока не обойдет все святые места, богу завещанные постройки и гробницы сербских царей и вельмож. Лики и надписи на палке обозначают времена свободы и величия Сербии как в прошлом, так и в будущем. «Ибо,— сказал старичок, кротко и застенчиво улыбаясь,— приближается час воскресения, и, судя по тому, что говорится в книгах и делается на земле и в небе, оно уже совсем близко. Воскресает царство, искупленное страданиями и основанное на справедливости».

— Знаю, господа, неприятно вам такое слушать и не следовало бы вам этого и говорить, но вы меня остановили и велели вам все по правде сказать, так что уж мне податься некуда. Правда — это бог, а бог один! А теперь прошу вас, отпустите меня, потому что мне нужно еще нынче в Банью попасть, в монастырь Святой Троицы.

Толмач Шефко, с величайшими и бесплодными муками отыскивая в своих скудных познаниях турецкого языка выражения для отвлеченных понятий и слов, переводил речь старика. Начальник караула, болезненный анатолиец, еще не вполне очнувшись от сна, слушал туманный и бессвязный перевод и время от времени кидал взгляд на старика, который без боязни и тени дурной мысли как бы подтверждал глазами, что все именно так, как говорит толмач, хотя не понимал по-турецки ни слова. Начальник караула в глубине души был убежден, что перед ним просто сумасшедший неверный дервиш, простодушный и безопасный. К тому же и в подозрительной палке старца, перерубленной в нескольких местах в тщетных поисках тайника с письмом, ничего не нашли. Но в переводе Шефко речи старика казались сомнительными, отдавали политикой и опасными замыслами. Что касается его, то он, начальник караула, отпустил бы блаженного старца с миром, пусть идет своей дорогой, но вокруг теснились солдаты и горожане, слышавшие допрос. Здесь же был и фельдфебель Тахир,

подлый пакостник с воспаленными веками; он и так уже неоднократно оговаривал перед властями своего начальника, изобличая в попустительстве и недостаточной строгости. Да и Шефко, известный доносчик и злобный кляузник, явно передергивая слова старика, чтоб только подвести под удар восторженную голову, надо думать, не упустит случая сделать или поддержать любую гадость. Кроме того, здесь были местные турки-добровольцы, с угрюмой важностью обходившие дозором город, хватая всех сомнительных и непрошенно вмешиваясь в служебные дела. Все сошлись пьяные от озлобления, от жажды мстить, казнить и изничтожать кого придется, коль нельзя того, кого бы хотелось. Начальник караула не разделял и не одобрял их злобных чувств, но прекрасно видел, что для них решительно необходимо, чтобы постовые в первое же утро отыскиали жертву, и сильно опасался, как бы самому ему не пострадать от их хмельной ненависти, если он им воспротивится. При этом самая мысль о возможных неприятностях из-за какого-то юродивого старика представлялась ему верхом нелепости. Да старик все равно недалеко бы ушел со своими рассказями про сербское царство в этом растревоженном турецком улье. Так пусть его несет мутный поток...

Только солдаты успели связать старика и начальник караула собрался идти в город, чтобы не видеть казни, как появились стражники и турки и привели плохо одетого сербского парня. Одежда его была изорвана, лицо и руки исцарапаны. Это был некий Миле, безродный бедняк из Лиески, служивший на водяной мельнице в Осойнице. Могучий, пышущий здоровьем детина лет двенадцати.

Засыпав до света ячмень в жернова и открыв большой водяной желоб, Миле пошел в лесок над мельницей нарубить дров. Размахиваясь, он, как былинки, срубал податливые ольховые стволы, наслаждаясь свежестью раннего утра и легкостью, с которой дерево падало под топором. Его радовали движения собственного тела, но топор был острый, а дерево слишком тонко для силы, разгулявшейся в нем. Что-то поднималось в нем, прорываясь громкими возгласами при каждом новом взмахе. Эти возгласы учащались, зацеплялись друг за друга и связывались. И Миле, как и все уроженцы Лиески, лишенный голоса и слуха, запел, вернее, заголосил в глу-

бине тенистой рощи. Бездумно и беспечно распевал он то, что слышал от других.

В то время, когда «поднялась» Сербия, народ из старинной песни:

Когда Али-бек юный бегом был,
Девушка знамя перед ним несла,—

сделал новую:

Когда Георгий юный бегом был,
Девушка знамя перед ним несла.

В той великой и причудливой борьбе, которая веками велась в Боснии между двумя различными верами, а вернее, под видом веры за право обладания землей и властью и за свои исконные понятия о жизни и устройстве мира, противники похищали друг у друга не только женщин, коней и оружие, но также и песни. И стихотворные строчки нередко переходили из рук в руки, как драгоценный трофей.

Итак, эта песня в последнее время пелась сербами, но с осторожностью и потихоньку, подальше от турецких ушей, при запертых дверях, на праздниках и на далеких горных выпасах, куда никогда не ступала нога турка и где ценой полуголодного отшельничества человек получал возможность вести вольготную жизнь и петь без оглядки. Именно эту самую песню и угораздило затянуть беднягу Миле, работника с мельницы, в роще, под самой дорогой, по которой проезжали олуякские и ораховацкие турки в город на базар.

Заря заиграла на дальних вершинах, а тут у него, на теневой стороне, еще почти совсем темно. Он вымок в росе, но после здорового ночного сна, свежеиспеченного хлеба и спорой работы тепло ему. Размахнувшись, подсекает он под корень стройную ольху, и она сама так и клонится ниц, словно молодая к кумовой руке; обсыплет Миле холодной росой, будто мелким дождем, да так и застынет в поклоне, потому что из-за буйных зарослей невозможно ей упасть на землю. А он обрубает тогда топором ее зеленые ветки, одной рукой, играючи. И при этом распевает песню во все горло, с наслаждением смакуя отдельные слова. «Георгий» — это что-то неясное, но величественное и смелое. «Девушка» и «знамя» тоже вещи ему не знакомые, но в то же время странным образом

созвучные самым заветным и сокровенным его мечтам: иметь девушку и нести знамя! Произносить эти слова и то сладостно. И он в приливе новых сил громко повторяет их снова и снова и, загораясь от самого их звучания, ощущает неодолимую потребность выкрикивать их и твердить без конца.

Так распевал Миле на рассвете, пока не нарубил достаточно веток и дров, за которыми и ходил в рощу, а потом спустился росистым откосом, волоча за собой огромную вязанку. Перед мельницей толпились турки. Привязали коней, поджидают чего-то. Человек так с десять. И Миле сразу стал таким, каким ушел за дровами,— неуклюжим, оборванным и безответным, без Георгия перед глазами и без девушки со знаменем. Турки подождали, пока он отложит в сторону топор, и напали на него всем скопом, а потом, связав его после непродолжительной борьбы длинной веревкой от недоуздка, повели в город. Дорогой они били его палкой по спине и поддавали ногами в зад, спрашивая, где теперь его Георгий, и ругали девушку и знамя.

В воротах подле караульни, несмотря на ранний предрассветный час, кроме солдат и блаженного старца, только что связанного по рукам и ногам, уже теснились зеваки из города. Среди них были и турки-погорельцы, бежавшие из Сербии. Все при оружии и важные, словно предстоит крупное событие или решительная битва. Возбуждение их росло вместе с поднимавшимся солнцем. А солнце всходило все выше и выше в розовом мареве, озарявшем край горизонта вдали над Голешем. Оторопевшего парня встретили так, словно он был вождем восставших, хотя он был ободран и жалок, и привели его с левого берега Дрины, где никакого восстания не было.

Ораховацкие и олуяцкие турки, возмущенные дерзостью, по их понятиям, безусловно намеренной, донесли, что парень возле самой дороги нагло распевал песню про Карагеоргия и воинов неверных. Правда, малый ничуть не походил на героя и страшного вожака. Перепуганный, в мокрых отрепьях, избитый и исцарапанный, он был бледен и косящими от ужаса глазами поедал начальника караула, как бы ища у него спасения и защиты. Редко спускаясь в город, Миле не знал, что на мосту поставили караульню; и от этого все казалось ему еще более странным и невероятным, как будто бы он во сне по-

пал в неведомый город, к неведомым людям. Занкаясь и глядя себе под ноги, парень уверял, что ничего он такого не пел и туркам никогда и ничего обидного не делал, что он бедняк, работает на мельнице и рубил в лесу дрова, а за что его схватили, он и сам не знает. Он дрожал от страха и действительно никак не мог уразуметь, что такое стряслось, каким образом его вырвали из того возвышенного настроения в прохладной тени, почему он вдруг очутился здесь в воротах, избитый и связанный, в центре всеобщего внимания, среди людей, ждущих от него объяснений. А про ту невиннейшую песню, что он недавно распевал, он и правда уже позабыл.

Но турки стояли на своем: неверный пел повстанческие песни в то самое время, как они проезжали мимо, и оказал сопротивление, когда они его стали связывать. И это каждый из них подтвердил клятвенно начальнику караула, который их допрашивал.

— Богом клянешься?

— Клянусь!

— Клянешься аллахом?

— Аллахом клянусь!

И так три раза. После этого парня толкнули к Елисию и пошли будить палача, спавшего, по всей видимости, самым крепким сном. Старик оглядел малого, который застенчиво моргал глазами, растерянный и сконфуженный, — не привык, видно, стоять на виду у всех.

— Как звать-то тебя? — спросил старик.

— Миле, — проговорил парень с покорной готовностью, как бы продолжая отвечать туркам на их вопросы.

— Миле, сынок, давай поцелуемся. — И старец приклонил свою седую голову к его плечу. — Поцелуемся и перекрестимся. Во имя отца и сына и святого духа, во имя отца и сына и святого духа. Аминь.

Палач уже приближался, и, так как руки у них были связаны, старец перекрестил себя и молодого парня одними словами.

Палач, из здешних же солдат, быстро сделал свое дело, и первые прохожие, по случаю базарного дня спускавшиеся в город с гор и переходившие мост, могли уже видеть две головы, насаженные на свежие гучковатые колья возле караулни, и присыпанное галькой и притоптанное кровавое пятно на месте казни.

Так начал действовать сторожевой пост на мосту.

С этого дня в ворота приводили всех схваченных с поличным или по подозрению в причастности к восстанию, независимо от того, где они были взяты — на мосту или где-нибудь на границе. И те, кто однажды был приведен к караульне связанным и допрошен, редко уходили отсюда живыми: Здесь отсекали их горячие или просто незадачливые головы и насаживали на колья, вбитые у караулни, а тела сбрасывали в Дрину, если никто не вызывался выкупить и схоронить обезглавленный труп.

Восстание, прерываемое периодами более или менее длительного затишья, продолжалось много лет подряд, и каждый год число тех, кто пускался вниз по реке на поиски «новой, более рассудительной головы», было очень велико. По воле случая — того самого случая, который безжалостно стирает в порошок слабых и неосмотрительных, — вереницу погубленных возглавили эти два простолюдина, два из массы темных, убогих и невинных, так как именно они чаще всего страдают первыми, попадая в водоворот истории, и он затягивает их и поглощает. Так юный Миле и дядька Елисие, казненные в один и тот же час и на одном и том же месте, сроднившись, как два брата, первые украсили своими головами сторожевую вышку в воротах, — в последующие годы, пока не улеглись волнения, она почти никогда уже не оставалась без украшения такого рода. А эти двое так и остались в памяти вместе, хотя раньше не знали и не видели друг друга, и вспоминали их дольше и охотней несчетного множества гораздо более заметных жертв.

Так кровавая и зловещая караульня погребла под собой ворота, а вместе с ними исчезли свидания, беседы, песни и веселье. Турки и те избегали проходить по мосту, а сербы появлялись здесь лишь в случае крайней нужды и шли торопливо и не поднимая головы.

Дощатое строение караулни побурело, почернело и быстро приобрело тот самый вид, который непременно создается там, где квартируют войска. На парапете сушилось солдатское белье, из окон в Дрину выкидывался навоз, выливались помои и прочие нечистоты казарменной жизни. На белом среднем опорном столбе образовались длинные и грязные потеки, видные издалека.

Должность палача много лет подряд исправлял один и тот же солдат. Это был грузный и хмурый анатолиец

с желтыми мутными глазами и негритянскими губами на отежном, лоснящемся лице землистого цвета, как бы навек застывшем в добродушной ухмылке полнотелых людей. Звали его Хайруддин, и вскоре он стал известен всему городу и далеко окрест. К своим обязанностям он относился любовно и добросовестно и делал свое дело действительно артистично и быстро. Вышеградцы утверждали, что у него рука легче, чем у городского брадобрея Мушана. Его знали и стар и млад хотя бы по имени, а имя его внушало людям ужас и в то же время любопытство. В жаркую летнюю пору палач целыми днями сидел или лежал на мосту в тени караульни. Время от времени он обходил выставленные на кольях головы, как бахчевник бахчу, и снова ложился на свою доску в лодке, зевая и потягиваясь, отяжелевший, с гноящимися глазами, добродушный, как одряхлевшая лохматая овчарка. Стайка любопытных ребятишек опасливо разглядывала его, высовываясь из-за ограды в конце моста.

Когда же дело доходило до работы, тут Хайруддин обретал невероятное проворство и крайнюю добросовестность. И не терпел, когда другие совали нос в его обязанности. А с развитием восстания это случалось все чаще. Когда повстанцы спалили горные селения над городом, ожесточение турок достигло предела. Мало того что они вылавливали мятежников и лазутчиков или тех, кого они за таковых принимали, и доставляли начальнику стражи на мосту, но, ослепленные яростью, они еще рвались собственноручно расправляться с неверными.

Однажды тут встретила рассвет и голова вышеградского приходского священника, того самого попа Михаила, который нашел в себе силы бесстрашно шутить с ходжой и раввином во время «большого паводка». Всеобщая ненависть к сербам сгубила и его, без вины виноватого, и цыганята вставили цигарку в его мертвые уста.

Такого самочинства Хайруддин терпеть не мог, по возможности, его не допускал.

Но и после того, как внезапная смерть от сибирской язвы унесла располневшего анатолийца, новый палач, правда, гораздо менее искусный, продолжал его дело; и еще год-другой, пока в Сербии совсем не погас огонь восстания, на мосту неизменно красовались две-три отрубленные головы. И люди, чувства которых в такие времена быстро притупляются, так привыкли к этому,

что проходили мимо них совершенно бесстрастно и даже не заметили, когда их перестали выставлять.

Когда же в Сербии и на границах все успокоилось, караульня потеряла всякий смысл и значение. Но войска по-прежнему квартировали в ней, хотя проход по мосту давно был свободен и никем не контролировался. В армии вообще порядки меняются медленно, а уж в турецкой — медленней всех. И в этом случае все оставалось бы по-прежнему бог знает до каких пор, если бы однажды ночью от позабытой свечи не вспыхнул пожар. Караульня из соснового теса, не остывшего еще от дневной жары, сгорела дотла, то есть до каменного основания моста.

Встревоженные жители наблюдали с берега за гигантским огненным столбом, ярким светом озарявшим белый мост и окрестные горы, и за тревожными красными всполохами, плясавшими на поверхности воды. А утро осветило мост в его старом, исконном обличье, освободившимся от громоздкой надстройки, годами скрывавшей ворота. Белые плиты моста почернели и закоптились, но дождь и снег быстро смыли и это. И от зловещей караульни и связанных с ней кровавых событий не осталось иного следа, кроме нескольких мрачных воспоминаний, которые постепенно стирались и исчезали вместе с поколением хранивших их людей, да пережившей пожар дубовой балки в углублении каменных ступеней в воротах.

И снова ворота стали для города тем, чем они были всегда. На левом, если идти от города, балконе содержатель кофейни снова разжег мангал и расположился со всем своим хозяйством. Пострадала только змеиная голова, испускавшая струю воды — она была разбита. Люди снова коротали время на диване, засиживаясь допоздна за беседой, делами или досужей дремотой. Летними ночами здесь пела молодежь или сидели в мечтательном одиночестве юноши, смиряя свой любовный пыл или страстную и смутную тоску по дальним странствиям, великим подвигам и необыкновенным приключениям, столь часто томящую юные души, запертые в глуши. А по прошествии двух десятилетий в воротах шутило и пело песни новое поколение, которое совсем не помнило ни безобразной громадины дощатой караульни, ни хриплых окриков сторожевых, останавливающих по ночам прохо-

жих, ни Хайруддина, ни насаженных на колья голов, которые он отсекал с фантастическим мастерством. Только пожилые женщины, отгоняя сорванцов, таскавших у них персики, кричали своими высокими и злыми голосами:

— Нет на вас Хайруддина, он бы вам чубы-то расчесал! Чтоб вас на воротах мать увидела!

Но мальчишки, спасаясь бегством через ограды и плетни, не понимали истинного смысла этих заклинаний, хотя, конечно, знали, что ничего хорошего в них нет.

Так у моста обновлялись поколения, а он стряхивал с себя, точно пыль, следы мимолетных людских прихотей и нужд и оставался неизменным и не подвластным никаким переменам.

VII

Время пролетало над мостом и городом, отсчитываясь годами и десятилетиями. Это были те несколько десятилетий середины девятнадцатого века, когда кончалась, догорая в тихой лихорадке, Турецкая империя. Глазам современника годы эти представлялись относительно спокойными и благополучными, хотя и в это время можно было найти поводы для серьезных опасений и тревог, хотя и тогда случались засухи и наводнения, повальные болезни и различные волнующие происшествия. Однако эти потрясения набегали редкими и сдержанными волнами, чередуясь с периодами длительного затишья.

Пограничная межа между боснийским и белградским пашалыком, проходящая в горах, прямо над городом, все более четко очерчиваясь, постепенно приобретала форму и значение государственной границы. Это меняло условия жизни всей округи и, конечно, города, отражаясь на торговле и сообщении, умонастроении людей и на отношениях турок и сербов.

Старые турки хмурились и недоверчиво мигали, как бы желая отогнать от себя неприятное видение, сердились, угрожали, убеждали, потом месяцами не вспоминали об этом, пока безжалостная действительность не выводила их снова из равновесия.

Как-то весенним днем один из пограничных турок, сидя в воротах в кружке почтенных турок, с возмущением рассказывал случай, который произошел недавно у них в Велетове.

— Этой зимой,— говорил велетовский турок,— в горах над их селом объявился злополучный руянский сердар Йован Мичич, приехал он издалека, из самого Ариля, в сопровождении вооруженных молодчиков и принялся обмерять и осматривать пограничную межу. На вопрос о том, что ему здесь надо и что он хочет делать, сердар нагло заявил, что не намерен держать отчет перед кем бы то ни было, а тем более перед боснийскими потурченцами, но уж если их это так интересует, пусть знают, что послал его великий Милош посмотреть, где пройдет граница и до коих пор будут простираться владения Сербии.

— Мы было решили,— продолжал велетовский турок,— что поганый гяур спьяну несет черт-те что — мы давно уже знаем, что это за мразь и разбойник. Не придали значения его словам и думать про него забыли. Глядь, не прошло и двух месяцев, как сердар является снова, да еще с целым отрядом Милошевых стражников и с мубаширом, посланцем султана, робким и бледным стамбульцем. Мы глазам своим не верим. Но мубашир все подтвердил. Сам со стыда себе под ноги смотрит, а говорит, что царский указ повелевает Милошу управлять Сербией во здравие султана и установить границу, чтобы знать, докуда доходит его власть. Когда мубашировы люди стали столбы вбивать на той гряде, что под Тетребицей проходит, как разъярится этот Мичич и давай из земли колья выдирать да в них швырять. Бешеный гяур (чтоб его псы растерзали!) подскочил к мубаширу, орет на него, как на прислужника, и кулаками в глаза ему тычет. «Не тут, говорит, граница, идет; границу определили султан и русский царь и дали о том фирман «князю» Милошу. Граница теперь по Лиму идет, прямо на вышеградский мост и дальше по Дрине; это теперь все Сербия. Да и то, говорит, только пока, а потом еще дальше отодвинем». Едва мубашир образумил его и поставил границу над Велетовом. Так она и осталась там, по крайней мере на сегодняшний день. Только с той поры забрала нас тоска и сомнение, не придумаем, как быть, куда податься. Совещались с ужичанами, но они сами не знают, что будет дальше и к чему дело клонится. А старый хаджи Зуко, который два раза в Мекку ходил и которому перевалило за девяносто, говорит, что один человеческий век не успеет пройти, а турецкая гра-

ница к самому Черному морю отойдет, за пятнадцать дневных переходов отсюда.

Слушают вышеградские почтенные турки велетовца. И, как всегда, храня невозмутимый вид, в душе недоумевают и ужасаются. Невольно привскакивают с мест и хватаются руками за каменные сиденья балкона, как бы уплывающие из-под них под мощным, но невидимым порывом. Однако овладев собой, изыскивают слова, которые бы умалили и принизили значение неприятного события.

Не любят они заниматься в воротах дурными вестями, мрачными мыслями или серьезными, внушающими беспокойство разговорами, но сейчас и сами видят, что все услышанное ими не к добру; и все-таки не могут ни возразить велетовцу, ни как-нибудь утешить его и успокоить. И поэтому только дожидаются, чтоб крестьянин убрался поскорее в свое поднебесное Велетово вместе с принесенными им плохими известиями. Пусть не рассеется от этого тревога, но хоть не будет им глаза колоть. Когда же крестьянин и в самом деле ушел восвояси, почтенные завсегдатаи балкона почувствовали себя счастливыми оттого, что вновь могут погрузиться в привычный покой, не нарушаемый разговорами, от которых настоящее казалось безрадостным, а будущее пугающим, предоставив времени ослабить и смягчить тяжесть событий, надвигающихся на них из-за гор.

И время делало свое. Жизнь шла без видимых перемен. Более тридцати лет прошло с того памятного разговора на мосту. Но колья, вбитые на границе султанским мубаширом и руянским сердаром, принялись, пустили корни и дали поздние, но горькие для турок плоды: турки должны были оставить последние крепости в Сербии. И однажды летним днем вышеградский мост запрудила печальная вереница ужицких беженцев.

Стояли те летние теплые дни с бесконечными сумерками, когда городские турки заполняли оба балкона над водой. На мост в эти дни корзинами привозили плоды бахчей. Зрелые дыни и арбузы целый день охлаждались в воде, а вечером раскупались досужей публикой и уничтожались тут же на диване. Обычно заключалось пари: красной или белой будет сердцевина? Арбуз рассекали, проигравший платил, и вся компания с хохотом и шутками принималась за еду.

Каменные плиты балкона пышат еще полдненным жаром, а от воды уже веет прохладным дыханием приближающейся ночи. Поблескивая на середине, река темнеет по краям, затененная вербами и раkitами. В закатном зареве горы то пламенеют, то светятся тускло. А над ними, заполняя собой юго-западный край небосклона, огромный амфитеатр которого так широко и вольно открывается с моста, громоздятся, причудливо меня краски, летние облака. Облака — одно из поразительных зрелищ, которые летом предоставляют ворота. Как только рассветет и солнце поднимется повыше, они выплывают из-за хребтов густыми, белыми, серебристыми и сизыми скоплениями, образуя фантастические города со множеством прекрасных замков и прихотливых куполов. Разросшись, тяжелые и неподвижные, день-деньской висят они над горами, окружающими город, изнывающий под палящим солнцем. И соблазняют турок, сходящихся под вечер сумерничать на мост, призраками белых шелковых султанских шатров, вызывающих в памяти ратные походы, воинственные схватки и смутные картины, исполненные небывалой мощи и великолепия. И лишь только темнота рассеет громады облаков над городом, как в небе открывается новая феерия звезд и лунного сияния.

Никогда с такой потрясающей силой не поражала красота удивительных ворот, как в те летние дни и часы. Человек парил точно в волшебной колыбели: проходил над землей, проплывал над рекой, пролетал по небесным просторам и при этом оставался прочно и надежно связанным с городом и со своим белым домом, приютившимся вон там, на взгорье, в окружении огорода и сада. Сидя за кофе и потягивая трубку, сколько их, скромных горожан, у которых только и было за душой, что этот дом да лавчонка на базаре, постигало в эти вечерние часы неизмеримость божьей благодати и беспредельное богатство бытия. Вот чем долгими столетиями одаривало людей прекрасное сооружение, задуманное в добрый час и успешно, в надлежащем месте возведенное.

Итак, стояли сумерки такого вот погожего летнего дня; мост гудел от голосов и смеха, от шуток неистощимых на веселье горожан, всегда готовых подколоть соседа, а то и прохожего.

Самое большое оживление царит в кружке, избравшем мишенью острот и насмешек здорового низкоросло-

го парня несколько странного вида. Зовут его Салко Кривой.

Салко — сын цыганки и анатолийца, солдата или офицера, некогда служившего в городке и покинувшего эти края еще до рождения своего нежеланного сына. Вскоре умерла и мать, и ребенок рос круглым сиротой. Кормил его весь город; он был общий и ничей. Прислуживал в домах и лавках и делал то, за что никто другой братья не хотел: чистил сточные канавы и отхожие места, закапывал падаль и нечистоты, выброшенные водой. Не было у него ни своего дома, ни родового имени, ни определенных занятий. Ел Кривой когда придется, стоя или на ходу, спал по чердакам, одевался в разномастные обноски с чужого плеча. В детстве еще лишился он левого глаза. Чудаковатый, добродушный весельчак и пропойца, для горожан он был даровой рабочей силой и объектом неизменных насмешек и острот.

Несколько молодых людей, сыновей торговцев, собрались вокруг Кривого, хохочут и грубо потешаются над ним.

Запах спелых арбузов и дынь смешивается в воздухе с ароматом жареного кофе. От моста, от его больших каменных плит, еще горячих от дневной жары, политых водой и тщательно выметенных, поднимается теплый и благоуханный дух, особенный дух ворот, располагающий к беспечной лени и зовущий к враздным мечтам.

Наступает мгновение между днем и ночью. Солнце скрылось. Но яркая вечерняя звезда не взошла еще над вершиной Молевника. В эту минуту, исполненную таинственной прелести, придающей особое значение или угрожающий смысл и величие самым обыденным вещам, первая группа ужицких беженцев вступила на мост.

Мужчины в большинстве своем шли пешком, пыльные и удрученные; на низкорослых лошадках, возвышаясь над сундуками и тюками, тряслись замотанные и осевшие женщины и малолетние дети. Иные всадники из благородных ехали верхом на добротных конях, но тоже погребальной рысью и свесив голову, и только сильнее подчеркивали всю тяжесть непоправимой беды, пригнавшей их сюда. Кое-кто тащил на веревке козу. Другие на руках несли ягнят. И все молчали, даже дети не плакали. В тишине раздавался лишь цокот копыт и топот шагов

да монотонный перестук медной и деревянной утвари на перегруженных лошадях.

Появление измученных и лишившихся крова людей погасило веселое оживление в воротах. Пожилые остались сидеть на каменных скамьях. Молодые встали и образовали по обеим сторонам ворот две живые стены; между ними текла вереница изгнанников. Горожане молчали, сочувственно разглядывая переселенцев, а если и пытались обратиться к ним со словами приветствия, желая задержать и угостить, то не удаивались их внимания и почти не получали ответа. Изгнанники торопились засветло добраться до ночлега.

Всего их было около ста двадцати семейств. Сто с лишним семейств направлялось в Сараево, где надеялось быть расселенными, пятнадцать оставалось в городе; в основном это были те, у кого здесь жил кто-нибудь из родни.

И только один человек из этой уставшей толпы, по виду бедняк и бобыль, задержался на минуту в воротах и, вволю напившись воды, принял предложенную сигарку. С головы до ног покрытый белой дорожной пылью, он поблескивал из-под бровей лихорадочно горевшими глазами, перебегая ими с предмета на предмет. Жадно затягиваясь дымом, он озирался вокруг этими своими блестящими, пугающими глазами, не отвечая ни слова на боязливо-участливые и робкие вопросы. Отерев свои длинные усы и кратко поблагодарив за угощение, он с горечью, вызванной крайней усталостью и беззащитностью перед судьбой, проронил несколько слов, глядя на слушателей своим невидящим взглядом.

— Вы тут сидите, прохлаждаетесь, и невдомек вам, что из-за Станищеваца идет. Мы на турецкую землю бежали, а вот куда вы побежите вместе с нами, когда и до этого дело дойдет? Об этом вы знать не знаете и думать не думаете.

Здесь он вдруг умолк. Сказанного им было и слишком много для этих минуток назад столь беззаботных людей, и слишком мало для его отчаяния, не позволявшего ему ни молчать, ни выразиться яснее. Он первым прервал тягостное молчание и стал прощаться и благодарить, торопясь догнать ушедших. Вслед ему раздались добрые напутствия и пожелания.

Остаток вечера был безнадежно испорчен. Угрюмые и подавленные завсегдатаи ворот замкнулись в молчании. Даже Кривой сидел на каменной ступеньке немой и неподвижный. Вокруг него валялись корки от арбузов, которые он ел на спор. Печальный и сникший, сидел он, потупившись и как бы не видя каменных плит под собою, рассеянным взором блуждал в каких-то неведомых и едва различимых далях. Люди раньше времени разошлись по домам.

Но уже назавтра все пошло по-старому, ибо вышegradцы не любят держать в памяти плохое и предаваться преждевременным волнениям; в их плоть и кровь вошло сознание того, что истинная жизнь заключается в мгновениях тишины, и было бы непозволительным и бесплодным безумием нарушать покой этих редких минут ради поисков какого-то другого, несуществующего, устойчивого и прочного бытия.

За те двадцать пять лет середины XIX века Сараево дважды посещала чума и один раз холера. При этом Вышеград придерживался правил, которые на случай различных болезней завещал, согласно преданию, своей духовной пастве сам Магомет: «Пока где-то свирепствует болезнь, вы туда не ходите, ибо можете там заразиться, если же болезнь свирепствует у вас, не ходите никуда, ибо вы можете заразить других». Но так как люди не придерживаются и наиболее полезных установлений, даже когда они исходят от божьего посланника, если только «силой власти» не бывают к этому принуждены, то при каждой вспышке очередного мора власти ограничивали или вовсе прекращали всякое сообщение. И жизнь в воротах снова меняла свой облик. Озабоченные или беспечные, задумчивые или поющие — местные обитатели исчезали с балконов, и на опустевшем диване, опять как во времена беспорядков и войн, помещались караульные. Они останавливали путников, идущих из Сараева, криками и угрожающими взмахами ружей прогоняя их назад. С крайними мерами предосторожности принималась почта у верховых. В воротах для таких okazji горел небольшой костер из «пахучего дерева», обильно дымивший белым дымом. Стражники брали клещами каждое письмо и окуривали его над этим дымом. Только после этой процедуры обезвреженная почта отправлялась

дальше. Товары же вообще не пропускались. Но главная морока была не с почтой, а с людьми. Дня не проходило без того, чтобы несколько человек проезжих, гонцов, торговцев и бродяг не осаждали кордон. Еще на подходе к мосту часовой давал им знак рукой, что дальше нет прохода. Путник останавливался и принимался упрашивать стражу, объясняя и растолковывая свой случай. Каждый был при этом убежден, что его совершенно необходимо пропустить в город, и клялся и божился, что он здоров, как кизиловое дерево, а к холере не имеет никакого касательства, поскольку она гуляет где-то там, в Сараеве. В этих уверениях путник мало-помалу продвигался к середине моста и подбирался к воротам. Тут и остальные караульные включались в переговоры, а так как они велись при соблюдении некоторой дистанции, то все надрывно кричали и отчаянно жестикулировали. Караульные, впрочем, кричали еще и от обильного потребления ракии, которую они заедали чесноком. Особенность их службы давала им полное право на это, ибо считалось, что оба эти средства отлично помогают от заразы; и караульные всюду пользовались этим своим правом.

Иные путники, устав упрашивать и умолять, бывало, отступались и, удрученные, махнув рукой на свои неотложные дела, уходили дорогой через Околиште обратно. Но попадались и другие,— упорные и терпеливые, они часами топтались в воротах в надежде подстеречь минуту слабости, рассеянности или просто счастливый случай. Если на мосту оказывался невзначай начальник местного сторожевого поста Салко Хедо, то у путников не оставалось никакой надежды. Хедо являлся образцовым носителем подлинной, священной власти, которая почти не видит и не слышит того, с кем говорит, и занимается им лишь постольку, поскольку необходимо поставить его на отведенное ему существующими законами и предписаниями место. И пока он выполняет свой долг, он слеп и глух, а когда покончит с этим, он становится и нем. И тогда напрасны заклинания и лесть.

— Салих-ага, да я ж здоров...

— Ну и проваливай туда, откуда пожаловал. Давай, давай отсюда!

С Хедо бесполезно было разговаривать. Другое дело, когда его подчиненные оставались одни, тогда еще

можно было на что-то надеяться. Чем дольше путник торчал на мосту, переругиваясь и препираясь с караульными, чем дольше жаловался на свою великую нужду, в недобрый час погнавшую его из дому, а также и на все другие беды и невзгоды своей жизни, тем он становился как-то ближе и понятней сторожевым, все менее склонным видеть в нем переносчика холеры. Наконец какой-нибудь из стражников смягчался и соглашался передать поручение в город. Это был первый признак послабления. Однако путник прекрасно понимал, что посредничеством дело не уладишь, не говоря уже о том, что подвыпившие стражники, усердно лечившиеся целебной ракией, сплошь да рядом путали доверенные им поручения. И потому продолжал уговаривать и умасливать, предлагая вознаграждение, божась и закладывая душу. И не прекращал донимать их своими уговорами до той поры, пока наиболее податливый страж не оставался в воротах один. Тут кое-как и устраивалась долгожданная сделка. Отзывчивый страж обращался лицом к гранитной плите, как бы читая высеченную на ней надпись, и, заложив руки за спину, подставлял правую ладонь. Настойчивый путник опускал в протянутую руку условленную мзду и, быстро оглядевшись, проскальзывал через кордон и скрывался в городе. А караульщик возвращался на прежнее место и, натерев хлебную корку чесноком, запивал ее ракией. Это наполняло его беспечной и веселой решимостью стойко нести караул, бдительно и неусыпно охраняя город от холеры.

Но беды продолжают не вечно (что роднит их с радостями), с течением времени проходят и они, сменяясь, на худой конец, другими, и тонут в забвении. А жизнь в воротах обновлялась бесконечно, наперекор всему, и ни долгие годы, ни столетия, ни жесточайшие столкновения людей не меняли моста. Все это проносилось над ним точно так же, как быстрая река под его гладкими прекрасными арками.

VIII

Не одни только войны, эпидемии и массовые переселения тех времен обрушивались на мост и прерывали привычное течение жизни в воротах. Были и другие чре-

звычайные события, которые отмечали собой год, когда они произошли, и еще долго потом не давали его позабыть.

Каменная ограда моста, справа и слева примыкавшая к воротам, с давних пор отличалась от остальных частей глянцеево отполированными темными боками. Веками крестьяне при переходе через мост сбрасывают здесь свою поклажу и отдыхают; локтями и спинами шлифует камни и досужий люд, беседуя, ожидая кого-то или заглядевшись в одиночестве на быстрые струи пенной воды в глубине под собой, всегда новые и всегда одинаковые.

Но никогда еще не было здесь столько любопытных, которые, привалившись к ограде и свесившись через нее, разглядывали поверхность воды, словно хотели на ней что-то прочесть и разгадать, как в последние августовские дни того года. Вода взбаламутилась от дождя, хотя был еще только конец лета. В омутах под сводами моста накипала белая пена и закручивалась вместе с щепками, мелкими ветками и мусором. Но праздные горожане, навалившиеся на ограду, по существу, смотрели не на реку, известную им давно и ничего им не говорящую. На поверхности воды, как и в своих пересудах, они пытались найти объяснение или, быть может, какой-то видимый след тяжелого и непонятного происшествия, которое в те дни потрясло и привело в смятение обывателей.

Здесь, в воротах, произошел поистине невероятный случай, какого еще не было на памяти людей и, надо думать, никогда не будет, пока стоит на Дрине мост и город. Поразив и взбудоражив город, он пошел дальше, в другие места и края, превратившись в легенду, которая кружит по свету.

Собственно, история эта касается двух вышеградских предместий — Большого Луга и Незуков, расположенных на двух противоположных концах амфитеатра, которым мрачные горы и зеленые холмы окружают город.

Крупная сельская община Стражиште в северо-восточной стороне долины ближе всего к городу. Дома, уголья и сады разбросаны по взгорьям и долинам, пролегающим между ними. На одном из высоких мягких перевалов стоит пятнадцать домов, утонувших в зелени сливовых садов и со всех сторон окруженных полями.

Это и есть предместье Большой Луг, мирное, красивое и богатое турецкое поселение. Оно принадлежит к сельской общине Стражиште, но теснее связано с городом, чем с общиной, жители его за полчаса спускаются в торговые ряды, где держат лавки и ведут дела наравне с другими горожанами. Да и ни в чем другом не отличаются они от настоящих горожан, разве, может быть, лишь тем, что, живя на хлебородной земле, не затопляемой разливами, они обеспечены надежнее и вернее, а сами по себе люди скромные и тихие, без дурных городских наклонностей. В Большом Луге хорошая земля, здоровая вода и красивые люди.

Живет здесь ветвь вышеградских Османагичей. И хотя городские их сородичи многочисленнее и богаче, считается, что они обмельчали, а настоящие Османагичи — те, в Большом Луге, откуда и ведут они свой род. Это красивое племя, гордое своим происхождением. Самый богатый дом белеет на взгорье под самой вершиной, смотрит он на юго-запад, всегда исправно побелен, с кровлей из потемневшей дранки и с четырнадцатью остекленными окнами. Дом этот виден издалека, он первым бросается в глаза путнику, когда тот спускается по крутой дороге в Вышеград или оборачивается, покидая город. Последние лучи солнца, заходящего за Лештанскую гряду, играют и преломляются на белом блестящем фасаде этого дома. У горожан давно уже вошло в привычку вечером с моста любоваться бликами заката, горящими в Османагичевых окнах — они гасли одно за другим, вместе с городом погружаясь во тьму, а то вдруг вспыхивали ярким пламенем, озаренные последним шальным лучом, заплутавшим где-то в облаках, и тогда несколько секунд огромной красной звездой сияли еще над темной округой.

И точно так же, как дом, у всех на виду и всеми почитаем его хозяин Авдага Османагич, человек крутой и горячий и в жизни и в делах. У него есть лабаз на базаре, приземистое и мрачное помещение, в котором на дощатых настилах и плетеных циновках сушится разложенная кукуруза, чернослив или вишня. Авдага ведет только оптовую торговлю, поэтому лабаз его торгует не каждый день, а лишь по базарным дням, а на неделе открывается только при особой надобности. В лабазе распоряжается один из сыновей Авдаги, сам же хозяин сидит

обыкновенно на скамье перед входом в лабаз. Здесь он беседует с покупателями или знакомыми. Это высокий и статный старик с румяным лицом, но с белой как снег бородой и усами. Говорит он сдавленным и сиплым голосом. Вот уже много лет мучит его тяжелая астма, и стоит ему заволноваться и повысить голос,— а такое случается с ним сплошь да рядом,— как тяжкий кашель начинает душить старика, на шее вздуваются жилы, лицо багровеет, глаза наливаются слезами, а в груди свистит, скрипит и воем, точно буря в горах. Но едва минует приступ, Авдага сейчас же оправляется и, вдохнув полной грудью, странно изменившимся, тонким голосом продолжает разговор с того самого места, на котором он остановился. В городе и его окрестностях он слышит человеком широкой натуры, острым на язык и смелым. Такой он во всем, и в делах тоже, хотя нередко и в ущерб себе. Не раз случалось ему одним словом снизить или поднять цену на сливу или кукурузу, пусть даже в убыток себе, только бы проучить какого-нибудь деревенского рохлю или городского скареду. Слово Авдаги — закон для торговых рядов, несмотря на то, что всем известна его вспыльчивость и пристрастность. И когда Авдага, спустившись из Большого Луга, занимает свое место у входа в лабаз, он почти никогда не бывает один, всегда находятся желающие узнать его мнение и послушать его умные речи. Открытый, живой, он всегда готов высказать вслух или защитить то, о чем другие предпочитают промолчать. Тяжкое удушье и приступы мучительного кашля то и дело прерывают его речь, но, как ни странно, это не портит ее, а делает еще более убедительной, придавая ей взволнованность и какое-то неотразимое достоинство боли и страдания.

У Авдаги пятеро взрослых и уже женатых сыновей и единственная, самая младшая дочь, только что заневестившаяся. Про эту его дочь по имени Фата известно, что она красавица и во всем похожа на отца. Ее будущее замужество занимает весь город и до некоторой степени и всю округу. В каждом поколении бывает такая девушка, красоту, таланты и достоинства которой воспевают песни и превозносят легенды. На какое-то время она становится недостижимой мечтой и приковывает к себе всеобщие желания и помыслы; имя ее воспламеняет страсти, ее окружают восторги мужчин и зависть женщин.

Она — избранница природы, вознесенная на опасную высоту.

Дочь Авдаги походила на отца не только лицом и всем обликом, но и живым умом и острословием. Это лучше всего знали первые парни города, когда пытались на гуляньях и свадьбах задобрить ее дешевой лестью или смутить игривой шуткой. Находчивость и остроумие девушки ни в чем не уступали ее красоте. Потому-то и пелось в песне, сложенной в честь дочери Авдаги, — про таких избранников судьбы песни складываются сами собой:

Хороша ты и умна ты,
Дочь Авдаги, раскрасавица Фата!

Так пели и говорили в городе и по окрестностям. Но было очень мало таких, у кого хватило храбрости и в самом деле попросить руки красавицы из Большого Луга. А когда и они все подряд получили отказ, вокруг Фаты быстро образовалась пустота, столь часто зловещим кольцом восхищения, ненависти и зависти, невысказанных вожелений и злорадного ожидания окружающая сущность исключительных дарований и исключительной судьбы. И тех, о которых поют и говорят, быстро уносит их необычайная судьба, и вместо них остается жить легенда или песня.

Так и получается, что девушка, пользующаяся громкой славой, именно из-за этого остается без женихов и «засиживается в девках», тогда как ее подруги, которые ни в чем не могут с ней сравниться, выходят замуж просто и легко. С Фатой этого не случилось, нашелся человек, у которого хватило и отваги ее пожелать, и настойчивости и ума добиться желаемого.

Как раз напротив Большого Луга, по другую сторону неправильной чаши вышеградской котловины, находится предместье Незуки.

Выше моста, в неполном часе ходьбы вдоль реки, среди хаотического нагромождения горных громад, из которых, как из черной стены, делая крутой поворот, вырывается Дрина, пролегла узкая полоса хорошей, плодородной земли. Эту почву нанесли река и бурные потоки, низвергающиеся с Бутковых скал. На ней раскинулись пашни и сады, а на склонах — крутые луга с шелковистой травой, уходящие ввысь к каменистым хребтам и

непролазным кустарникам. Предместье это принадлежит бегам Хамзичам, именующим себя еще и Турковичами. На одном его краю живет пять или шесть семейств чифчий — крестьян-арендаторов, а на другом находятся дома бегов братьев Хамзичей с Мустай-бегом Хамзичем во главе. Затененное, низинное поселение защищено от солнца и от ветра и потому богато не столько хлебом, сколько овощами и сеном. Окруженное и сдавленное со всех сторон высокими кручами, оно большую часть дня находится в тени и целый день погружено в безмолвие, в котором каждый оклик пастухов и дробное звяканье потревоженных бронзовых колокольчиков на шее скотины вызывают многократное и громкое эхо. Один-единственный путь связывает предместье с Вышеградом. Перейдя мост и оставив главную дорогу, забирающую вправо и идущую по течению реки, путник должен спуститься к самому берегу Дрины и там на скалах, отвесно обрывающихся в реку, отыскать чуть видную тропу, узкой белой тесьмой вьющуюся влево от моста. Пеший и верховой, отраженные зеленым зеркалом воды, сверху с моста кажутся бредущими по узкой жерди, проложенной между рекой и скалистыми лбами утесов.

Таков единственный путь из города в Незуки, а из Незуков пути дальше нет, поскольку дальше идти некуда и некому. Только две глубокие промоины, которыми пастухи поднимаются в горы, где держат скот, белеют над домами на крутом склоне горы, поросшем редким лесом.

Здесь стоит большой белый дом старшего брата Хамзичей, Мустай-бега. Размерами своими мустайбеговский дом ничуть не уступает дому Османагича в Большом Лугу, но в отличие от него совершенно невидим в низине за купами прибрежных деревьев. Одиннадцать высоких тополей полукругом обступили этот дом, немолчным шумом своих листьев оживляя сумрачную обитель, как бы отрезанную от прочего мира. Ниже этого дома расположились дома двух других братьев Хамзичей, лишь немного скромнее по виду и размерам. У всех Хамзичей много детей, все они высокие, стройные и бледнолицые, отличает их молчаливость и замкнутость характера, но все трудолюбивы и умеют ценить и беречьжитое. Как и богатые обитатели Большого Луга, они тоже держат на базарной площади свои лабазы и хра-

нят в них все, что производится в Незуках. В любое время года, подобно неутомимым муравьям, братья Хамзичи и их крестьяне снуют туда-сюда по узкой каменной тропе вдоль Дрины: одни несут в город товары, другие, набив деньгами пояс, возвращаются, покончив с делами, домой в свое невидимое, спрятавшееся в горах село.

В просторном белом доме Мустай-бега Хамзича, приятно изумляющем путника к конце каменной тропы, которая, казалось, никуда не ведет, подрастают четыре дочери и единственный сын, Наил. Этот самый Наил-бег из Незуков одним из первых положил глаз на Фатиму из Большого Луга. Однажды на свадьбе он вдоволь нагляделся на ее красоту сквозь щель приоткрытой двери, на которой повисла, словно гроздь винограда, толпа зачарованных юношей. Когда в следующий раз Наил-бег увидел ее в окружении подруг, он отважился на весьма смелую шутку:

— Видит бог, назовет тебя невесткой Мустай-бег из Незуков!

Фата рассмеялась приглушенно.

— И не смейся,— в узкую щель приоткрытой двери говорил ей возбужденный юноша,— свершится это чудо в один прекрасный день!

— Свершится, когда Большой Луг в Незуки сойдет!— снова засмеялась Фата и повела плечами тем самым горделивым движением, присущим одним лишь красавицам юного возраста и выражающим больше, чем слова и смех.

Так бесстрашно и неосмотрительно бросают вызов судьбе природы исключительные, особо одаренные природой. Этот ее ответ молодому Хамзичу вскоре стал известен всем и каждому и передавался из уст в уста, как и все, что она делала и говорила.

Но не таковы были Хамзичи, чтобы оробеть и отступить перед первым же препятствием. Они и в других, менее важных делах не привыкли действовать скоропалительно, с наскока, не говоря уж о таком, как это. Попытка прибегнуть к содействию городской родни тоже не увенчалась успехом. Тогда старый Мустай-бег Хамзич решил взять сыновнюю женитьбу в свои руки. Общие торговые операции с давних пор связывали его с Авдагой. За последнее время по вине своего крутого и вспыльчивого нрава Авдага понес значительные убытки,

повлекшие за собой обязательства, выполнение которых в срок было весьма затруднительно. Тут-то и пришел ему на выручку Мустай-бег и поддержал, как только добропорядочные деловые люди могут помочь и поддержать друг друга в трудную минуту: просто, спокойно и без лишних слов.

В прохладном сумраке приземистых лабазов и на гладких каменных скамьях перед ними решались не только вопросы торговой чести или денег, но и человеческие судьбы. Что произошло тогда между Авдагой Османагичем и Мустай-бегом Хамзичем, как Мустай-бег попросил Фату за своего единственного сына Наила и как горячий и честолюбивый Авдага «отдал» ее ему? Этого никто никогда не узнает. Точно так же никто по-настоящему не знал, какая сцена разыгралась наверху, в Большом Лугу, между отцом и его единственной красавицей дочерью. Ни о какой строптивости с ее стороны не могло быть, конечно, и речи. Один только взгляд, полный горестного изумления, да это ее неповторимое горделивое движение плеч, а затем немая и беспрекословная покорность отчей воле, как заведено у нас спокон века. Словно во сне начала она проветривать, готовить и складывать девичье свое приданое.

И из Незуков ни единое слово не просочилось в мир. Осторожным Хамзичам претили праздные толки, подтверждающие их успех. Они достигли своей цели и, разумеется, были довольны своей победой. Но как в радости, так и в горе и неудачах им не нужно было чье-либо участие.

И все же о свершившемся сговоре много судачили и болтали всякий вздор, как это обычно бывает. В городе и округе только и разговоров было, что о Хамзичах, которые добились своего, о том, что прекрасную, надменную и мудрую Авдагину дочь, для которой в целой Боснии не находилось жениха, в конце концов перемудрили и укротили, и о том, что все-таки «Большой Луг сойдет в Незуки», хотя Фата при свидетелях зареклась, что этому никогда не бывать. Но ведь известно, как любят люди говорить об унижении и падении тех, кто слишком высоко вознесся.

Целый месяц толковали об этом событии, услаждая свои уста, точно сладким сиропом, предстоящим униже-

нием Фаты. Целый месяц шли приготовления в Незуках и в Большом Лугу.

Целый месяц готовила Фатима вместе с подругами, родственницами и наемными помощницами свое приданое. Девушки пели. Пела и она. И для этого находила в себе силы. И, прислушиваясь к звукам собственного голоса, думала свою думу. Ибо с каждым новым стежком иглы в ней росла уверенность (которую она старательно укрепляла в себе), что ни она, ни ее вышивки никогда не увидят Незуков. Про это она не забывала ни на миг. Но за работой и за песней Незуки, казалось, отступали куда-то очень далеко от Большого Луга, а месяц представлялся нескончаемым. То же самое было и ночью. Ночью, когда под предлогом каких-то еще неоконченных дел она оставалась одна, ей открывался сверкающий мир, беспредельный, неизведанный и манящий.

Ночи в Большом Лугу теплые и свежие. В мерцающей пряже белого сияния мигают и трепещут низкие звезды. Стоя у окна, Фатима смотрит в ночь. Сладкие, мерные токи разливаются по всему ее телу, заставляя чувствовать в отдельности ноги и бедра, руки и шею, ставшие источником силы и радости, и особенно грудь. Ее высокая, пышная и тяжелая грудь сосками прикасается к деревянной решетке окна. И кажется ей, что, вздымаясь и опускаясь вместе со светлым небом и ночным пространством, глубоким, размеренно-теплым дыханием дышит весь этот цветущий край, с домом, постройками и пашнями. И от этого дыхания исчезает и возникает деревянная решетка окна, исчезает и возникает, касается ее сосков и исчезает, проваливаясь куда-то в бездну, и, снова поднимаясь, касается ее груди, и куда-то плывет вновь; и так попеременно без конца.

Перед ней простирается огромный мир, необозримый и при свете дня, когда вышеградская долина трепещет от зноя и почти ощутимо зреют пшеничные поля; окаймленный цепью черных гор и четкой линией моста, белеет город, рассыпавшийся у зеленой реки. Но ночью, только ночью, в сиянии вспыхнувших небес, человек постигает всю необъятность и безграничную власть вселенной, поглотившей крохотное его существо, растворившееся и отрешенное от самого себя, своих намерений, дел и забот. Только ночью живет он подлинной жизнью, безмятежной, ясной и нескончаемо долгой; только ночь освобож-

дает его от тяготения слов, висящих над ним до могилы, от самоубийственных зарок и безвыходных обстоятельств, неумолимо приближающейся развязкой которых может быть один лишь позор или смерть. Да, ночью жизнь совсем не та, что днем, когда сказанное слово необратимо и зарок неумолим. Здесь все свободно, безгранично, неназванно и немо.

Вдруг откуда-то снизу, как бы издалека донесся тяжелый, утробный и сдавленный хрип:

— Ааах, кхкххх! Ааах, кхкххх!

Это в покое нижнего этажа Авдага борется с приступами ночного кашля.

При этих столь знакомых звуках ей ясно представляется и сам отец, как он сидит и курит, поднятый с постели мучительным кашлем. Она словно видит его большие, так хорошо знакомые ей карие глаза с их теплой глубиной, в точности такие же, как у нее самой, только осененные тенями старости и светящиеся увлажненной слезами улыбкой, глаза, в которых она впервые увидела всю безысходность своей судьбы в тот день, когда ей объявили, что она обещана Хамзичам и должна быть готова через месяц.

— Кха, кха, кха! Ааах!

Недавний восторг перед торжественной красотой и величием ночи мгновенно угас. Прервалось щедрое дыхание земли. Легкая судорога свела девичью грудь. Погасли звезды и пространство. И только судьба, ее судьба, безысходная, горькая, решенная, прядет свои нити, надвигаясь на нее с течением времени в тишине, неподвижности и пустоте, остающейся после всего.

Глухо отозвался кашель снизу.

Да, она видит и слышит его, как будто он здесь, перед ней, ее обожаемый отец, сильный, единственный человек, с которым так сладостно было ощущать свою неразсторжимость с тех самых пор, как она помнила себя. И даже этот тяжкий удушливый кашель она чувствовала всем своим существом. Правда, это его уста сказали «да» после ее «нет». Но она с ним и здесь неразрывна, как и во всем остальном. И его «да» она принимает как свое (так же, как и свое «нет»). Вот почему ей выпала горькая, неотвратимая судьба и почему не видит она выхода из тупика, и не может увидеть, раз его нет. Только одно она знает: отцовское «да», которое связывает ее так же, как

и ее «нет», приведет ее к кадии рука об руку с Мустай-беговым сыном, ибо невозможно и представить себе, чтобы Авдага Османагич не сдержал слова. Но точно так же знает она и другое, причем с той же ясностью и непреложностью, что вопреки всему нога ее не может ступить в Незуки, ибо тогда она не сдержала бы данного слова. Что, разумеется, тоже невозможно, поскольку и ее слово — слово Османагичей. Здесь, в этой мертвой точке, между своим «нет» и отцовским «да», между Большим Лугом и Незуками, здесь, в самом центре безысходности, следует искать выход. Вот о чем ее мысли. Ее не занимают больше ни вольные просторы беспредельного мира, ни даже сам путь из Большого Луга в Незуки, а только короткий отрезок горестной дороги от здания суда, где кадия обвенчает ее с Мустай-беговым сыном, до конца моста и крутого спуска, где начинается узкая каменистая тропа в Незуки, тропа, на которую ее нога, и это совершенно непреложно, не ступит никогда. Этот отрезок дороги мысль ее, подобно снующему по основе челноку, пробегала бессчетно из конца в конец, от здания суда, через торговые ряды и площадь до конца моста, и, отпрянув, как пред бездонной пропастью, снова обратно, через мост, через площадь, через торговые ряды, к суду. Так без конца неутомимый челнок ее мысли ткал ее судьбу.

В поисках выхода, которго она никак не находила, ее мысль все чаще задерживалась в воротах, там, где на светлом граните прекрасных диванов сидели, разговаривая, люди и пела песни молодежь, а под ними ревела быстрая, зеленая глубокая река. Но тут же, ужаснувшись видением возможного выхода, мысль ее снова начинала как заклятая метаться из конца в конец короткого пути и, не найдя никакого другого решения, опять останавливалась в воротах. И по ночам ее мысль все чаще возвращалась на то место и все дольше задерживалась там. А между тем одно предвидение неотвратимого дня, когда она уже не в мыслях, а наяву должна будет проделать этот путь и, не дойдя до края моста, найти выход, заключало в себе весь ужас смерти и всю невыносимость позора. Беспомощной и одинокой, ей вдруг начинало казаться, что одного этого ужаса предвидения достаточно для того, чтобы отдалить или хоть ненадолго отсрочить этот день.

Но дни шли не быстро и не медленно, а проходили размеренно и неизбежно, пока наконец не пришел в свой черед и свадебный день.

В последний четверг августа месяца (это и был тот Судный день) Хамзичи верхами приехали за невестой. В новой тяжелой чадре, как в броне, Фату посадили на коня и повезли в город. В то же время во дворе нагрузили на коней сундуки с приданным невесты. Кадия в суде совершил венчание. Так Авдага выполнил слово выдать свою дочь за Мустай-бегова сына. Затем небольшая процессия направилась в Незуки, на торжественный свадебный пир.

Пройдены торговые ряды и площадь — часть пути который столько раз, не находя выхода, мысленно продельвала Фата. Все было явственно, обыденно и просто, даже легче, чем в воображении. Ни звезд, ни безбрежных просторов, ни отцовского удушливого кашля, ни желания ускорить или замедлить время. При въезде на мост девушку еще раз, как в те летние ночи у окна, потрясает радостное ощущение животворной силы и биения каждой клетки ее тела, и особенно груди, словно сжимаемой мимолетной судорогой. Наконец и ворота. И как уже неоднократно в своих ночных мыслях, девушка нагнулась и шепотом попросила младшего брата, ехавшего подле нее, подтянуть ей немного стремяна, перед крутым спуском с моста на каменистую тропу, ведущую в Незуки. Остановились сначала они двое, а за ними чуть поодаль и остальные сваты на конях. Ничего особенного не было в этой задержке. Ни в первый, ни в последний раз останавливалась свадьба в воротах. Но пока младший брат, спешившись, обходил коня и перекидывал через руку узду, девушка подалась на своем коне вплотную к ограде и, встав на нее правой ногой, взвилась, как на крыльях, над седлом и через каменный барьер полетела вниз, в ревшую стремнину под мостом. Брат, устремившийся за ней, всем телом навалился на ограду и успел еще коснуться рукой края реявшей чадры, но задержать сестру не мог. С воплями отчаяния и ужаса сваты повскакали со своих коней и как вкопанные застыли у ограды.

В тот же день под вечер хлынул проливной дождь, небывало холодный для этого времени года. Дрина вздулась и потемнела. А наутро поднявшиеся мутно-желтые

воды реки выбросили тело Фаты на отмель под Калатой. Его заметил один рыбак и заявил об этом мулазиму. Вскоре к тому месту прибыл мулазим с муктаром, рыбаком и Салко Кривым. Ибо без Кривого не обходится ни одно такое происшествие.

Труп лежал на влажном и мягком песке. Набегавшие волны лизали его, временами окатывая мутной водой. Новая чадра из черного сукна, которую река не унесла, завернулась и откинулась назад и вместе с длинными густыми волосами лежала как бы отдельной черной массой подле белого, роскошного тела девушки, с которого злобный поток сорвал тонкие свадебные одежды. Кривой и рыбак, суровые и насупленные, зайдя на отмель, подхватили обнаженное тело девушки и бережно и смущенно, как будто она была живая, освободив из плена мокрого песка, уже начавшего затягивать труп, вынесли его на берег и поспешно накрыли намокшей, полной ила чадрой.

В тот же день утопленницу схоронили на ближайшем турецком кладбище, на крутом откосе Большого Луга. А вечером досужий люд донимал в трактире рыбака и Кривого нездоровым и гнусным любопытством, особенно сильно развитым в тех, чья жизнь пуста, бесцветна и бедна волнениями и событиями. Рыбаку и Кривому подносили ракию, угощали табаком в надежде выудить у них хоть что-нибудь о трупе и погребении утопленницы. Но все было напрасно. И ракия не развязала им язык. На этот раз молчал даже Кривой. Он беспрерывно курил и единственным своим блестящим глазом следил за дымом от своей сигарки, стараясь, отогнать его как можно дальше от себя. Лишь время от времени Кривой и рыбак, обменивались взглядами друг с другом, молча и разом поднимали свои чарки, как бы невидимо чокаясь, и одним духом осушали их.

Вот какое неслыханное и небывалое происшествие случилось в воротах. Большой Луг не сошел в Незуки, и Авдагина дочь Фата не досталась Хамзичам.

Авдага Османагич с той поры не сходил в город. В ту же зиму он скончался, задушенный кашлем, так и не обмолвившись ни с кем ни словом о горе, которое его свело в могилу.

С приходом весны Мустай-бег Хамзич женил своего сына, взяв за него девушку из рода Бранковичей.

Посудачив еще немного про случившееся, окрестные люди стали понемногу о нем забывать. И о той, что всех затмила сиянием немеркнувшего света мудрости и красоты, осталась только песня.

IX

Спустя семьдесят лет после восстания Карагеоргия Сербия снова вступила в войну, на что граница немедленно ответила волнениями. И снова черные вершины в Жлеbove, Гостиле, Црнчах и Велетове озарились пламенем турецких и сербских домов. Впервые после многолетнего перерыва головы казненных сербов снова появились в воротах. Это были иссушенные и коротко стриженные крестьянские головы с плоскими затылками, костистыми лицами и длинными усами; словно бы те самые, что выставлялись здесь семь десятков лет назад. Но все это продолжалось недолго. С прекращением войны между Турцией и Сербией улеглись и волнения. Правда, это был обманчивый мир, под покровом которого таились разные страхи, волнующие слухи и озабоченный шепот. Разговоры о приходе австрийских войск в Боснию принимали все более определенный и открытый характер. В начале лета 1878 года через город прошли части регулярных турецких войск, следовавших из Сараева в Прибой. Это утверждало во мнении, что султан оставляет Боснию без сопротивления. Несколько семейств готовилось бежать в Санджак, в том числе и те, кто тринадцать лет назад, не желая жить под сербской властью, переселился сюда из Ужице и теперь вот снова вынужден был спасаться от нового христианского правления. Но большинство, при внешнем спокойствии и внутреннем мучительном недоумении, оставалось на местах, в ожидании дальнейших событий.

В начале июля в город прибыл плевенский муфтий с небольшим отрядом людей, но с большой решимостью организовать в Боснии отпор австриякам. Русский, серьезный и флегматичный с виду, но огневой природы человек, он, пользуясь погожим днем, собрал в воротах местных турок из самых почтенных семейств и страстными речами старался воодушевить их на борьбу против Австрии. Уверая, что большая часть регулярной армии, вопреки официальным приказам, будет вместе с народом бороть-

ся против новоявленных завоевателей, он призывал молодежь немедленно примкнуть к его отряду и посылать ему продовольствие в Сараево. Муфтий давно знал, что вышеградцы никогда не пользовались славой отважных воителей, явно предпочитая бессмысленно прожигать жизнь, чем бессмысленно погибать, но все же вялость и нерешительность, с которыми он столкнулся, поразила его. Не имея времени дольше задерживаться в городе, муфтий пригрозил туркам судом народным и гневом божьим и оставил вместо себя своего помощника Осман-эфенди Караманлию, велел ему продолжать убеждать вышеградских турок в необходимости принять участие в общем восстании.

Во время разговоров с муфтием наиболее рьяный отпор оказал Али-ходжа Мутевелич. Мутевеличи — одно из самых старых и уважаемых здешних семейств. Они всегда выделялись не своими богатствами, а прямою и честностью. От века слыли они за людей упрямых, но неподкупных, бесстрашных, свободных от всяческих низких побуждений и расчетов. Более двух сотен лет тому назад родоначальник их был мутевелием, то есть попечителем, управляющим и хранителем великого наследия Мехмед-паши, пожалованного им городу. Его заботами столько лет поддерживался «Каменный хан» у моста. Мы уже видели, как после потери венгерских владений «Каменный хан» лишился поступлений на свое содержание и стечением обстоятельств был превращен в руины, а от наследия визиря остался только мост — общественное достояние, не требующее особого ухода и не приносящее прибыли. А Мутевеличам осталось их семейное имя, как гордая память о почетной должности, которую они столько лет с честью исполняли. Правда, должность они потеряли еще в то время, когда Даут-ходжа пал жертвой неравной борьбы за спасение гибнущего «Каменного хана», но гордость осталась при них вместе с врожденной привычкой считать себя в отличие от всех прочих главными хранителями моста и в какой-то мере ответственными за его судьбу, поскольку мост, хотя бы архитектурно, являлся составной частью величественного и прекрасного наследия, которым они управляли, пока оно не кончило свой век самым жалостным образом. И еще один, издавна установившийся обычай был в семье Мутевеличей: в каждом поколении иметь, по

крайней мере, одного образованного человека духовного звания. Сейчас это был Али-ходжа. Вообще же род Мутевеличей заметно оскудел как числом, так и достатком. Осталось у них несколько исполщиков да лавка, которую они издавна держали на самом бойком месте торговой площади вблизи моста. Два старших брата Али-ходжи погибли на войне, один в России, а второй в Черногории.

Али-ходжа еще молодой, живой и полнокровный, улыбчивый человек. Как у истинного Мутевелича, у него было свое особое мнение решительно по всем вопросам, которое он упорно отстаивал и ни при каких обстоятельствах ему не изменял. По причине своей прямоты и самостоятельности мышления Али-ходжа часто вступал в разлад с местным духовенством и старейшинами. У него было звание ходжи, но, не занимая при этом никакой должности, он не получал от своего духовного сана никаких доходов. Чтобы и вообще ни от кого не зависеть, Али-ходжа самолично заправлял делами в лавке, доставшейся ему от отца.

Вместе с большинством вышеградских мусульман и Али-ходжа был против вооруженного отпора. Однако в данном случае не могло быть и речи ни о трусости, ни о религиозной уступчивости. Не менее чем муфтию или любому другому из восставших, ему были ненавистны надвигавшиеся иноземные христианские полчища и все, что они несли с собой. Но, видя, что султан действительно сдал Боснию без боя австриякам, и зная характер своих земляков, Али-ходжа был против стихийного народного сопротивления, предвидя неминуемый его разгром и еще большие беды. И коль скоро такое мнение утвердилось у него в мозгу, он исповедовал его во всеуслышание и отстаивал со всей своей горячностью и прямотой. Верный своему обыкновению, он и на этот раз сыпал каверзными вопросами и едкими замечаниями, чрезвычайно сбивавшими муфтию. И таким образом невольно поддерживал в горожанах, и без того не слишком рвущихся в бой и готовых к жертвам, дух открытого сопротивления воинственным намерениям муфтия.

И когда Осман-эфенди Караманлия остался уговаривать вышеградцев, главного своего противника он обрел в лице Али-ходжи. Кого ж, как не его, и могла напустить на Караманлию немногочисленная горстка бе-

гов, которые мямлили что-то невразумительное, осторожно подбирая выражения, хотя и были полностью согласны с Али-ходжой.

Знатные вышеградские турки сидели в воротах кружком, подогнув под себя ноги, точно соблюдая старшинство. Тут же был и Осман-эфенди, высокий, сухощавый, бледный. Мускулы его лица сводило неестественное напряжение, глаза лихорадочно горели, скулы и лоб, как у эпилептика, покрывали ссадины. Перед ним сидел румяный, низкорослый, горячий и неотступный Али-ходжа и своим пискливым голосом задавал все новые вопросы. Какие имеются силы? Куда идти? Каким образом? Для чего? С какой целью? И что будет в случае разгрома? Трезвый, чуть ли не злорадный педантизм вопросов Али-ходжи в действительности скрывал под собой лишь горечь и озабоченность из-за очевидного превосходства христиан и слабости и разобщенности турок. Но одержимый и мрачный Осман-эфенди не способен был понять и должным образом оценить подобные тонкости. Натура иступленная и невоздержанная, болезненно возбудимый фанатик, он, быстро теряя терпение и самообладание, кидался на всякое проявление нерешительности и недоверия с таким остервенением, словно перед ним были австрияки. Маленький ходжа раздражал Осман-эфенди, и, еле сдерживая гнев, он отвечал ему резко и категорично. Идти надо туда, куда надо, и с тем, что есть. Главное — не пустить на землю супостата без боя, а кто много спрашивает, тот мешает делу и помогает противнику. Наконец, дойдя до белого каления, с почти нескрываемым презрением, на каждый вопрос Али-ходжи он отвечал криком: «Пришла пора на смерть идти!», «Сложим свои головы на поле брани!», «Погибнем все до последнего!».

— Ах, вот что,— обрывал его ходжа,— а я думал, вы хотите австрийцев из Боснии прогнать, на это нас созываете. А если речь о том идет, чтобы голову свою сложить, так умереть-то, эфенди, мы сумеем и без тебя. Это дело нехитрое.

— Но тебя, я вижу, это несколько не прельщает,— грубо прервал его Караманлия.

— Зато тебя прельщает, как я вижу,— с негодованием возразил ему ходжа,— только не знаю, зачем тебе компания понадобилась на такое пустое дело.

Разговор перешел в обыкновенную перебранку; Осман-эфенди обзывал Али-ходжу поганым и грязным гяуром, под стать тем изменникам, чьи головы, наряду с гяурскими, надо выставлять в воротах, между тем как ходжа упорно и неустрашимо докапывался до истины, настойчиво требуя новых резонов и доказательств, и как бы не слышал оскорблений и угроз.

И впрямь трудно было найти двух более неподходящих людей для переговоров, чем эта пара. Они могли лишь увеличить общее смятение и создать одним противоречием больше. Но как бы это ни было печально, изменить тут ничего было нельзя, ибо в моменты социальных катастроф и неизбежных великих потрясений на первый план всегда выходят именно такие ущербные или больные личности и направляют мир превратным и кривым путем. В этом и заключается один из несомненных признаков смутного времени.

Что же касается бегов и аг, то им этот бесплодный диспут пришелся как нельзя более кстати, поскольку оставлял в стороне вопрос об их участии в восстании и не требовал от них конкретных высказываний по этому поводу. Дрожа от гнева и изрыгая угрозы, Осман-эфенди наавтра с несколькими своими сопровождающими выступил вслед за муфтием в Сараево.

Известия, приходившие в течение месяца, все больше утверждали турецких господ в их оппортунистическом мнении, что лучше всего держаться родного города и собственного дома. В середине августа австрийцы вошли в Сараево. Вскоре после этого произошло злосчастное сражение при Гласинаце. Оно было единственным и означало конец какого бы то ни было сопротивления. Крутой дорогой с Лиески в Вышеград через Околиште спускались остатки разбитых турецких отрядов. Это была смесь из солдат регулярных войск, вопреки запрещению султана самовольно примкнувших к сопротивлению, и местных повстанцев. Солдаты просили только хлеба и воды и спрашивали дорогу на Увац, повстанцев же, ожесточившихся и полных боевой решимости, не сломило поражение. Черные, грязные и оборванные, они злобно огрызались на расспросы вышеградских тыловых крыс и готовились рыть укрепления и защищать переправу через Дрину.

И снова выступил Али-ходжа; самозабвенно и неумолимо он доказывал, что невозможно и бессмысленно защищать город, когда «австрийцы всю Боснию уже к рукам прибрали». Повстанцы и сами это видели, но признавать не хотели, их раздражали эти чистые и сытые люди, сохранившие свой дом и добро благодаря тому, что с трусливой мудростью держались в стороне от возмущений и боев. Тут как раз появился совсем уже обезумевший Осман-эфенди, еще более бледный и осунувшийся, еще более воинственный и громогласный. Это был человек, для которого не существует поражения. Он призывал любой ценой отстаивать каждую пядь земли и требовал подвигов и жертв. Перед его неукротимым натиском склонялись и отступали все, только не Али-ходжа. Без тени злорадства, с хладнокровной непреклонностью Али-ходжа доказывал яростному турку, что восстание постигла та самая судьба, которую здесь, в этих воротах, он предрекал ему ровно месяц назад. И уговаривал, во избежание худшего, собрав людей, немедленно отступать в сторону Плевле. Оставив былую свою агрессивность, ходжа был на этот раз трогательно и сострадательно участлив к болезненному фанатизму Караманли. Ибо в глубине души, под личиной несдержанной резкости, ходжа мучительно переживал приближение неотвратимой катастрофы. Он был несчастен и страдал, как только может страдать правоверный мусульманин ввиду неумолимо надвигавшейся чужеродной силы, под натиском которой недолго продержатся древние устои ислама. В его словах, помимо его воли, прорывалась затаенная мука.

На все оскорбления Караманли Али-ходжа отвечал скорее с грустью:

— Думаешь, эфенди, мне легко ждать, когда австриец все тут под себя подомнет? Будто нам невдомек, какие идут времена и что нам готовится? Знаем мы, что нам грозит и что мы теряем, хорошо знаем. И тебе не стоило во второй раз приходить, чтобы все это нам объяснить, да и вообще из Плевле трогаться. Но ты, я вижу, этого не понимаешь. Ибо, если бы понимал, так не делал бы того, что делаешь, и не говорил бы того, что говоришь. Горше эта мука, мой эфенди, чем тебе кажется, я и сам не придумаю спасения от нее, хотя и твердо знаю, что не в том оно, что ты нам навязываешь.

Но Осман-эфенди был глух ко всему, что противоречило его неукротимой и страстной жажде борьбы, и ненавидел этого ходжу ничуть не меньше самих австрияков, против которых он поднялся с оружием в руках. В обреченном на гибель обществе перед лицом неодолимого врага всегда вспыхивает братоубийственная ненависть и рознь. Не находя новых оскорблений, Караманлия непрестанно называл Али-ходжу изменником и язвительно советовал ему заранее креститься, до прихода австрияков.

— Никто из моих предков не крестился, не буду и я. Я, эфенди, ни креститься с австрияками, ни с дураками на войну идти не намерен,— спокойно возражал ему ходжа.

Почтенные вышеградские турки были в точности того же мнения, что и Али-ходжа, хотя и не считали нужным вслух его высказывать, особенно в столь резкой и прямолинейной форме. Они боялись надвигавшихся австрийцев, но боялись и Караманлию, завладевшего со своим отрядом городом. И потому запирались в домах или отсиживались в загородных усадьбах, а если уж никак не удавалось избежать свидания с Караманлией и его приспешниками, шмыгали по сторонам неуловимым взглядом и путались в лицемерных словах, мучительно изыскивая способ выкрутиться как-нибудь из щекотливого положения.

На утрамбованной площадке перед руинами каравансарая с утра до поздней ночи Караманлия держал непрерывную сходку. Здесь безостановочно двигалась пестрая толпа: приспешники Караманлии, случайные прохожие, жители города, пришедшие со всевозможными просьбами к новому правителю, и путники, так или иначе затянутые повстанцами послушать своего предводителя. Караманлия непрестанно ораторствовал. И даже обращаясь к одному, кричал во весь голос, точно говорил перед сотнями. Он был еще бледнее, глаза его бешено вращались, и белки на них заметно пожелтели, в углах губ накупала белая пена. Один из местных турок рассказал ему мусульманское народное поверье про шейха Турханию, который погиб здесь когда-то в древности, отстаивая от натиска неверных переправу через Дрину, а сейчас спит праведным сном в своей могиле на том берегу, сразу над мостом, но тотчас восстанет из могилы, едва только ступит на мост нога первого иноверного воина. С судорожной го-

рячностью ухватившись за это поверье, Осман-эфенди Караманлия поспешил представить его сходке счастливым вестником неожиданной и спасительной помощи.

— Братья, мост этот — детище визиря. И написано ему на роду не пропускать через себя полчища неверных. Мы не одни защищаем его, но и тот праведник, которого ни пушка не берет, ни сабля не сечет. Как вступит на мост супостат, поднимется он из могилы, встанет посередине моста, раскинет руки, у австрийца сразу колени подогнутся, сердце в пятки уйдет, прирастет он к месту со страха и убежать не сможет. Братья турки, не расходитесь, все на мост за мной!

Так витийствовал Караманлия перед многолюдной сходкой. Мрачный, в черном потертом минтане, раскинувший руки для того, чтобы наглядно показать, как встанет «праведник», он напоминал высокий тонкий черный крест, увенчанный чалмою.

Но все это вышеградские турки знали сами и еще лучше Караманлии, поскольку каждый с детства бесчисленно слышал и повторял историю про дервиша, однако сейчас у них не было ни малейшего желания смешивать действительность со сказками и рассчитывать на помощь мертвых там, где и живые бессильны. Али-ходжа, который не отлучался из своей лавки, но, осведомленный обо всем, что делалось и говорилось перед «Каменным ханом», лишь сокрушенно и печально махал рукой.

— Я так и знал, что этот дурень ни живым, ни мертвым покоя не даст. Аллах селамет олсун!¹

А Караманлия, бессильный что-либо предпринять против настоящего врага, весь свой гнев обратил на Али-ходжу. Выкрикивая угрозы и проклятия, он обещал, что прежде, чем его принудят покинуть город, он прикует упрямого ходжу к воротам, как барсука, и оставит там встречать австрийца, с которым он и сам не желал воевать, и другим не давал.

Поток этой брани был прерван австрийцами, показавшимися на склонах Лиески. Теперь уж стало совершенно очевидно, что город не в состоянии защищаться. Караманлия последним оставил город, бросив на возвышенной террасе перед караван-сараям обе чугунные пушки, до тех пор повсюду сопровождавшие повстанцев. Но

¹ Да будет с нами благословение божие! (тур.)

прежде, чем покинуть город, Осман-эфенди выполнил свою угрозу. Он приказал своему конюху, кузнецу по профессии, человеку богатырского сложения и куриных мозгов, связать Али-ходжу и приколотить его правым ухом к той самой дубовой тесине, которая сохранилась от бывшей караульни между двумя каменными приступками в воротах.

В общей толчее и смятении на площади и у моста все слышали слова этой громкой команды, но никто не понял, что она должна быть именно так и исполнена. Каких только отборных слов, какой только брани и ругани не услышишь в такие минуты! Так было и на этот раз. Вначале это всем показалось совершенно невероятным. Обычная угроза и брань. Даже Али-ходжа не принял это всерьез. Да и кузнец, которому велели привести угрозу в исполнение, занятый в ту минуту укреплением пушек, какое-то время колебался в растерянности. Но как бы там ни было, мысль приковать к воротам ходжу была брошена, и в головах смятенной, озлобленной толпы уже прикидывались шансы и возможности ее выполнения или невыполнения.

Будет — не будет! Вначале большинству людей эта идея представлялась такой, какой она и была, бессмысленной, гадкой и невероятной. Однако в минуты общего возбуждения нужно было что-то совершить, что-то значительное, необычное. Никаких других возможностей не предвиделось. Не будет! Будет! Обретая зримую весомость с каждым мгновением, с каждым колыханием толпы, мысль о расправе над ходжой казалась все более вероятной и естественной. Почему бы и нет? Двое уже держали ходжу, он почти не сопротивлялся. Вот ему уже вяжут руки за спиной. Все это еще далеко от чудовищной и безумной реальности. Но уже все ближе к ней. Кузнец, словно бы внезапно устыдившись своей слабости и малодушия, снова взялся за молоток, которым только что забивал клинья под пушку. В сознании того, что австрияки, собственно, уже тут, в каком-нибудь получасе хода от города, он черпал готовность и решимость довести до конца порученное ему дело. И именно болезненным ощущением близости врага объяснялось презрительное равнодушие ходжи ко всему, что ни делалось, и даже к той незаслуженной, безумной и постыдной пытке, которой его подвергали.

И так спустя несколько мгновений совершилось то, что каждому из них по здравому размышлению казалось невозможным и невероятным. Ни один из них не считал это дело хорошим и нужным, и все же каждый в какой-то степени способствовал тому, чтобы ходжа оказался прибитым правым ухом к дубовой тесине в воротах. И когда все разбежались перед спускавшимся в город австрийцем, ходжа один остался на мосту в нелепой, мучительной и потешной позе, обреченный неподвижно сидеть на корточках, ибо малейшее движение причиняло боль и грозило разорвать ухо, которое казалось сейчас тяжелым и громадным, как гора. Он кричал, но не было никого, кто мог бы его услышать и освободить из мучительного плена, так как все живое попряталось по домам или растеклось по окрестным селениям в страхе как перед наступающим австрийцем, так и перед отступающими повстанцами. Город лежал будто вымерший, мост был пуст, словно выметенный начисто смертью. И не было ни живых, ни мертвых, чтобы его защитить, лишь в воротах сидел на корточках окаменевший Али-ходжа, прикинув головой к дубовой слеге, стеной от боли и продолжая упорно выискивать новые аргументы против Караманлии.

Австрийцы не спеша подтягивались к городу. Заметив за рекой вблизи моста перед караван-сараям две пушки, австрийский авангард остановился, ожидая прибытия своих орудий. Около полудня из небольшого лесочка австрийцы дали несколько залпов по заброшенному караван-сарая, попортив и без того уже ветхое здание и повывбивав прекрасные резные решетки на окнах, выточенные из цельного куска мягкого известняка. Перевернув и покорежив обе пушки и лишь тогда поняв, что они брошены и никто им не отвечает, австрийки прекратили пальбу и стали осторожно приближаться к мосту и городу. В ворота с винтовками наперевес отмеренным неторопливым шагом вступили ряды венгерских гонведов. В недоумении остановились они перед скрюченным ходжой, позабывшим за воем и визгом пронесившихся над его головою снарядов про боль, которую причиняло ему прибитое ухо. Завидев поганого врага с упертыми в него винтовками, ходжа поспешил прибегнуть к общедоступному языку страдания и снова протяжно и тяжело застонал. Это его спасло, и гонведы не пристрелили несчастного. Одни, не замедляя шага, продолжали продвигать-

ся по мосту, другие же окружили странную фигуру, разглядывая её со всех сторон и пытаясь разгадать причину её нелепой позы. И только подошедший санитар, отыскав где-то клещи, осторожно вытащил из уха гвоздь, обыкновенный гвоздь, которым подковывают лошадей, и освободил Али-ходжу. Тот, измученный и обессиленный, рухнул на каменные приступки, не прекращая жалобно стонать и охать. Все тот же санитар смазал его ухо какой-то обжигающей жидкостью. За пеленой слез, застилавших глаза, словно в дурном сне, Али-ходжа увидел большой и правильный красный крест на белой широкой повязке, обхватившей левое предплечье санитара. Только в горячке могут являться столь безобразные и страшные видения. Расплываясь и подрагивая в слезах, отвратительный крест гигантской тенью заслонил от Али-ходжи весь мир. Санитар перебинтовал ему голову и нахлобучил поверх бинтов чалму. Замотанный, ходжа с грехом пополам разогнул сведенную поясницу, поднялся и несколько мгновений стоял, прислонившись к гранитной ограде. С трудом приходил он в себя. Перед ним на противоположной стороне ворот, под турецкой надписью, высеченной в камне, солдат приклеивал большое белое полотнище. И хотя в голове гудело от боли, ходжа не мог преодолеть врожденного любопытства и не посмотреть, что там такое написано. Это было воззвание генерала Филиповича на сербском и турецком языках, обращенное к населению Боснии и Герцеговины в связи с вступлением австрийской армии на территорию Боснии. Зажмурив правый глаз, Али-ходжа слог за слогом разбираал турецкий текст, но и то лишь те слова, которые были набраны крупными буквами.

«Жители Боснии и Герцеговины!

Войско императора Австрийского и короля Венгерского перешло границу вашей страны. Оно пришло к вам не как враг, чтобы захватить силой ваши земли. Оно пришло как ваш друг, чтобы положить конец беспорядкам, долгие годы терзавшим не одну только Боснию и Герцеговину, но и пограничные области Австро-Венгрии.

...Император и Король не мог больше смотреть на бесчинства и насилия, творимые вблизи его окраин, на горести и беды, стучавшие в границы его царства.

Он обратил взоры европейских держав на ваше положение, и единогласным форумом народов решено, чтобы Австро-Венгрия возвратила вам мир и благосостояние, давно уже вами утраченные.

Его величество Султан, радея о благе вашем, посчитал своим долгом поручить вас заботам могущественного друга своего Императора и Короля.

Император и Король дарует всем сынам вашей земли равные права перед законом и гарантирует охрану личности, имущества и вероисповедания.

...Жители Боснии и Герцеговины! Безбоязненно идите под защиту славных знамен Австро-Венгрии. Гостеприимно встречайте воинов нашей армии, подчиняйтесь властям, возвращайтесь к мирному труду, плоды которого найдут надежную охрану и защиту».

Ходжа читал прерывисто, фразу за фразой, не все слова он понимал, но каждое из них причиняло ему боль; это была какая-то особая боль, существующая совершенно отдельно от той, которая терзала его раненое ухо, стучала в голове и разрывала поясицу. Только сейчас, от этих «императорских слов», со всей ясностью озарило его сознание того, что все кончено и с ним, и с его соплеменниками, и со всем, что принадлежало им в этой стране, кончено бесповоротно и навсегда, и при этом необычайно хитрым способом: глаза видят, губы говорят, человек существует, а жизни, настоящей жизни нет! Чужой царь наложил на них свою руку, чужая вера восторжествовала. Это ясно следует из всех тех броских слов и темных наставлений, но еще яснее — из той свинцовой тяжести в груди, что превышает меру всех мыслимых людских страданий. И даже тысячи таких глупцов, как Осман Караманлия, бессильны что-нибудь изменить и поправить (все еще продолжал препираться ходжа про себя). «Все сложим головы! На смерть пойдем!» Что стоит вся эта шумиха, когда приходят времена, которые изничтожают человека, не давая ни жить, ни умереть, остается лишь гнить, как какой-то подпорке в земле, принадлежа кому угодно, только не себе. Это действительно великое несчастье, и где уж его увидеть и понять разным там Караманлиям, своим непониманием они лишь усугубляют его и делают еще постыдней.

Погруженный в думы, Али-ходжа медленно поплелся с моста. Он и не заметил, что за ним идет солдат санитарной службы. Сейчас он страдал не столько от проколотого уха, сколько от свинцовой жгучей гири, что застряла в его груди от «императорских слов». Он бредет по мосту, и чудится ему, что никогда больше не перейти ему на ту сторону реки, что мост этот, гордость и слава города, со дня основания теснейшим образом связанный с его семьей, мост, на котором он вырос и на котором прошла вся его жизнь, вдруг обрушился в середине, как раз в воротах; белый лист австрийского воззвания беззвучным взрывом располосовал его на две половины, и между ними зияет пропасть; по левую и правую сторону от страшного провала уцелели быки, но сквозного прохода нет, берега реки разъединены, и каждый обречен навек остаться там, где застиг его безгласный взрыв.

Медленно идет Али-ходжа, весь во власти горячечных кошмаров, шатается, как тяжело раненный, с глазами, полными непроходящих слез. Идет неуверенно словно нищий, который первый раз, бедняга, переходит мост, вступая в незнакомый, чужой город. Громкие голоса вывели Али-ходжу из забытья. Его обогнали солдаты. Среди них ему снова явилась полная, добродушно-улыбчивая физиономия санитаря с красным крестом на руке, его спасителя. Расплывшись в широкой улыбке и указывая на повязку, санитар что-то спрашивал его на непонятном языке. Приняв его слова за новое предложение помощи, ходжа поспешно подобрался и нахмурился:

— Я сам, сам. Никто мне не нужен.

И, приободрившись, решительно зашагал домой.

Х

Торжественное и официальное вступление австрийских частей должно было состояться на следующий день.

Никогда еще не было в городе так тихо. Лавки не открылись. В домах плотно заперты двери и ставни, несмотря на солнечный теплый день конца августа. Безлюдны улицы; дворы и сады точно вымерли. В турецких домах — подавленность и смятение, в христианских — настороженность и неуверенность. Но всюду и везде — страх. Австрийцы, вступающие в город, опасаются засад. Турки боятся австрийцев, сербы — австрийцев и турок.

Евреи боятся всех и вся, потому что любой сильнее их, особенно же в военное время. У всех в ушах отзвук вчерашней пушечной пальбы. И если бы люди подвластны были только страху, ни один человек в тот день не высунул бы нос на улицу. Но над людьми есть и повыше господ. Австрийская часть, вчера вошедшая в город, отыскала мулазима и стражников. Офицер, командовавший этой частью, оставил мулазиму его саблю, приказав и дальше нести службу и поддерживать в городе порядок. Ему было сказано также, что на завтра в одиннадцать часов утра ожидается прибытие военного командования — полковника и что при въезде в город его должны встречать именитые граждане всех трех вероисповеданий. Седой и безропотный мулазим немедленно призвал к себе муллу Ибрагима, мудериса Хусейн-агу, отца Николу и раввина Давида Леви и объявил им, что они, «как законники и первые граждане города», обязаны завтра в одиннадцать часов утра встретить австрийского коменданта в воротах, приветствовать его от имени жителей города и проводить до торговых рядов.

Задолго до назначенного срока четверо «законников» сошлись на опустевшей площади и неспешным шагом направились в ворота. Помощник мулазима Салко Хедо с одним из стражников уже покрывал длинным турецким ковром яркой расцветки приступки и середину каменной скамьи, предназначавшуюся для самого австрийского полковника. Некоторое время они постояли в торжественном молчании, но, не обнаружив на белой дороге, спускавшейся из Околиште, никаких следов австрийского коменданта и переглянувшись, словно по уговору опустились на незастеленную часть каменной скамьи. Поп Никола вытащил объемистый кожаный кисет и угостил всех табаком.

Так сидели они на диване, как бывало в далекой и беспечной юности, когда коротали здесь часы досуга вместе со своими сверстниками. Только теперь они все уже были в летах. Отец Никола и мулла Ибрагим — почтенные старцы, мудерис и раввин — люди зрелого возраста, парадно одетые и полные дум о своих и своем. Вблизи, под резким светом солнца, в бездействии медленно текущего утра они казались друг другу до времени постаревшими и сильно потрепанными жизнью. Но каждый видел другого таким, каким он был в юности, когда рос зеле-

ным деревцем в поросли своего поколения, зеленым деревцем с еще неясным будущим и неугаданной судьбой.

Они курили, разговаривая про одно и совсем другое перебирая в голове и поминутно взглядывая в сторону Околиште, откуда ожидалось появление австрийского коменданта, который нес с собой добро или зло, успокоение или новые беды лично им, их пастве и всему городу.

У отца Никола из всех четверых был наиболее сдержанный и собранный вид, или, по крайней мере, он умел его себе придать. Перешагнув через седьмой десяток, он все еще выглядел свежим и бодрым. Сын известного попа Михайла, обезглавленного турками на этом самом мосту, отец Никола прожил беспокойную юность. Несколько раз бежал он в Сербию, спасаясь от гнева и мести турок. Своим необузданным нравом и поведением он и сам давал повод для ненависти и мстительных чувств. Когда же волнения улеглись, сын попа Михайла принял отцовский приход, взял в дом жену и остепенился. Все старое давно уже забылось. («И я с годами образумился, и турки поостыли», — шутил отец Никола.) Вот уже пятьдесят лет уверенно и мудро ведет отец Никола свой обширный, раздробленный и трудный пограничный приход, мирное течение жизни которого нарушается теми только потрясениями и невзгодами, которые приносит сама жизнь, ведет его с преданностью слуги и достоинством князя, всегда прямодушный и ровный с турками, народом и властями.

Ни до и ни после него в разных сословиях и религиозных общинах не было человека, более уважаемого и авторитетного среди жителей города, независимо от вероисповедания, пола и возраста, чем этот поп, издавна прозванный «дедом». Для всего города и всей округи дед — живое олицетворение сербской церкви и всего того, что народ считает христианством. И даже больше того, люди видят в нем нарицательный образ пастыря и старейшины вообще, какого могла только нарисовать в тех условиях и обстоятельствах фантазия обитателя этих мест.

Это был человек огромного роста, невероятной физической силы, большого сердца, здорового ума и свободного ясного духа, хотя и не слишком искушенный в грамоте. Его улыбка обезоруживала, успокаивала и ободряла — бесценная, невыразимо прекрасная улыбка сильно-

го, благородного человека, живущего в ладу с самим собой и со своим окружением; его большие зеленые глаза, прищуриваясь в улыбке, метали золотые искры. Таким остался дед и в старости. В длинном кафтане на лисьем меху, с рыжей окладистой бородой, под старость чуть посеребренной сединой и покрывающей собою всю его широкую грудь, в невиданных размеров камилавке на буйных волосах, заплетенных сзади в тугую косицу, подвернутую под камилавку, проходил он по улицам — духовный пастырь и этого города у моста, и всего этого горного края; казалось, он вел их не только последние пятьдесят лет, и не свою только христианскую паству, но был здесь искони, с древних времен, когда людей не разделяли еще разные церкви и веры. Из лавок по обеим сторонам улицы его приветствовали торговцы, какой бы веры они ни были. Женщины отходили в сторону и, опустив голову, ждали, когда дед пройдет мимо. Дети (и даже еврейские) прекращали игру и затихали, а ребятишки постарше с благоговейным трепетом и робостью подходили к огромной и тяжелой дедовой руке, чтобы услышать над своей стриженной и разгоряченной играми головой его сильный и веселый голос, кропивший их благостной, мягкой росой:

— Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров, сынок!

Этот акт почтительного поклонения деду восходил к давнишним и общепризнанным обычаям, с которыми рождались новые поколения местных жителей.

И у отца Николы была в жизни своя печаль. Брак его оставался бездетным. Большое это было горе, но никто не помнит ни слова жалобы, оброненного им или попадъей, или хоть бы печального взгляда. В доме своем поп с попадъей всегда держали по меньшей мере двух детей, взятых на воспитание из его или ее деревенской родни. Они растили их до женитьбы или до замужества, а потом брали новых.

Подле попа Николы сидел мулла Ибрагим. Это был длинный, худой, сутулый человек с редкой бородкой и обвислыми усами... Немногим моложе попа Николы, он был главой огромного семейства и наследником большого состояния, оставленного ему отцом, но по своему невзрачному, хилому, робкому виду и пугливому взгляду младенческих синих глаз гораздо больше напоминал какого-нибудь схимника или нищего богомольца, нежели

вышеградского ходжу и отпрыска знатного рода. Мулла Ибрагим страдал одним недугом: он заикался, заикался мучительно и непреодолимо. («Чтобы с муллою Ибрагимом поговорить, надо запастись временем», — шутили горожане.) Однако широкую известность мулле Ибрагиму снискали его доброта и душевность. Сияние тихой доброты, исходившей от этого человека, с первых слов покоряло людей, и они забывали и его наружность, и его заикание. И каждый, несущий тяжкий крест нужды, болезни или какой-нибудь другой напасти, неудержимо тянулся к мулле. Из самых отдаленных сел стекались люди просить его совета. И перед домом муллы всегда кто-то ждал его выхода. Часто и просто на улице его останавливали мужчины и женщины, нуждавшиеся в совете или помощи. Мулла никогда никого не отваживал и никогда не раздавал дорогие талисманы и амулеты, как это делали другие. Вместе с ищущим его совета он усаживался на первый же попавшийся камень, в первую попавшуюся тень, где-нибудь в стороне; человек шепотом излагал свое горе, мулла Ибрагим с живейшим участием и вниманием выслушивал его и откликался добрыми словами утешения, неизменно находя благой совет или несколько грошей, извлеченных худой рукой из глубокого кармана джубе и незаметно для посторонних глаз сунутых несчастному. И не было для него ничего трудного, предосудительного или невозможного, когда речь шла о том, чтобы помочь кому-нибудь из мусульман. Для этого у муллы всегда находились и время и деньги. Даже и заикание его не было помехой, ибо, перешептываясь со своим духовным сыном или дочерью, он в расстройстве забывал заикаться. Люди уходили от него если не вполне утешенные, то уж, во всяком случае, на время успокоенные тем, что другой человек у них на глазах пережил их беду, как свою собственную. Вечно поглощенный нуждами и заботами ближнего и не обращающий внимания на свои, мулла Ибрагим, по его разумению, провел свой век в благополучии, счастье и довольствии.

Вышеградский мудерис Хусейн-эфенди — еще молодой человек, невысокий, полнотелый, холеный, нарядно одетый. Черная короткая бородка, тщательно подстриженная, правильным овалом обрамляла его белое и румяное лицо с продолговатыми черными глазами. Изрядно образованный, он знал прилично, слыл всезнающим,

а мнил о себе и того больше. Он любил говорить и пользоваться вниманием слушателей. Был уверен в силе своего красноречия и в этом самообольщении говорил неудержимо много. Изливаясь изящными закругленными тирадами, мудерис помогал себе экономными движениями своих белых, нежных, с розовыми ногтями рук, опущенных густой, короткой и темной растительностью и слегка приподнятых перед грудью. Ораторствуя, он не забывал принимать самые выгодные позы, как бы красуясь перед зеркалом. Владелец уникальной в городе библиотеки, помещавшейся в окованном и снабженном крепкими запорами сундуке, завещанном ему перед смертью его учителем, достославным Арап-ходжой, Хусейн-эфенди не только оберегал ее заботливо от пыли и моли, но и со всевозможной бережностью изредка ее просматривал. Впрочем, обладание столь многочисленным собранием бесценных книг само по себе создавало ему славу в глазах неискушенных в грамоте обывателей и поднимало его в собственных глазах. Известно было также, что мудерис ведет хронику наиважнейших городских событий. Это обстоятельство укрепило за ним репутацию человека исключительных талантов и учености, ибо обыватель полагал, что доброе имя всего города, так же как и отдельных его граждан, некоторым образом находится в руках мудериса. В действительности вышеупомянутая хроника отличалась скромными размерами и полной незлобивостью. За пять-шесть лет своего существования она заполнила всего четыре страницы тонкой тетрадки. Ибо большинство городских происшествий мудерис считал недостаточно значительными, чтобы быть внесенными в хронику, и тем самым обрек ее на бесплодное и пустое существование старой заносчивой девственности.

Четвертым «законником» был Давид Леви, вышеградский раввин, внук знаменитого раввина Лиачо, оставившего ему в наследство свое имя, положение и состояние, но не передавшего ему ни силы характера, ни ясности ума.

Это был молодой, щедушный и бледный человек с печальным взглядом бархатисто-карих глаз и неизъяснимой робостью молчальника. Он только что получил сан раввина и недавно женился. Из желания придать себе солидный вид и представительность он носил простор-

ные богатые одежды тяжелого сукна, отпустил усы и бороду, но под нарядами угадывалось хилое и зябкое тело, а сквозь черную редкую бородку просвечивали контуры болезненного детского лица. Он всегда ужасно страдал, когда ему надо было выйти на люди и принять участие в решениях и спорах, все время чувствуя свою незрелость, слабость и убожество.

И вот теперь все четверо в тяжелом парадном одеянии исходили потом, сидя на солнце и не имея сил скрыть свою тревогу и растерянность.

— А ну, закурим еще по одной; время есть, так его и переэтак; не птица же он, с неба на мост не слетит,— балагурил отец Никола по укоренившейся привычке прикрывать веселой шуткой истинные заботы и мысли, свои и чужие.

И, кинув взгляд на Околиште, все снова взялись за табак.

Беседа текла прерывисто и вяло, все время возвращаясь к приезду австрийского коменданта. Все сходилось к тому, что отцу Николе надлежит сказать приветственное слово прибывающему полковнику. Сыпля золотые искры своими сощуренными в улыбке глазами, отец Никола оглядел их всех троих долгим, молчаливым и внимательным взглядом.

Молодой раввин умирал от страха. Струйки дыма медленно пробирались сквозь его усы и бороду, ища выхода на волю, так как у раввина не хватало силы отогнать их от себя. Мудерис был напуган нисколько не меньше раввина. Все красноречие и осанистость ученого мужа как-то разом покинули в то утро мудериса. Он даже приблизительно не мог себе представить, какой у него затравленный и пришибленный вид, ибо высокое мнение о собственной персоне не позволяло ему и в мыслях допустить что-нибудь подобное. Мудерис попробовал было произнести одну из своих цветистых речей, подкрепленных для вящей выразительности округлыми жестами рук, но его холеные руки беспомощно падали на колени, а речь обрывалась и путалась. Он и сам не мог понять, куда девалась всегдашняя его самоуверенность, но напрасно мучился, пытаясь вернуть ее, точно неотъемлемую принадлежность привычного обихода, которая запропастилась куда-то в тот самый момент, когда хозяин испытывал в ней самую острую нужду.

Мулла Ибрагим, несколько бледнее обычного, все же сохранял спокойствие и хладнокровие. Время от времени встречаясь взглядами, мулла и отец Никола как бы скрепляли безмолвный договор. Добрые знакомые и приятели с юности, они и сейчас сохраняли дружеские отношения, насколько вообще возможна была тогда дружба между турком и сербом. Когда у попа Николы в молодые годы были «стычки» с вышеградскими турками и он должен был спастись бегством, ему какую-то услугу оказал мулла Ибрагим, отец которого был одним из всемогущих владык города. Позднее, когда относительный мир снизошел на город и отношения двух религиозных общин стали более сносными, мулла и поп, вполне уже зрелые люди, еще больше сблизились и в шутку звали друг друга «соседями», хотя их дома находились на противоположных концах города. Во время засухи, наводнений, эпидемий и других напастей оба они стояли на посту, каждый среди своих прихожан. Впрочем, и так, встретившись на Мейдане или на Околиште, они приветствовали друг друга и говорили про жизнь, что нечасто бывает между священником и муллой. Указывая чубуком своей трубки на город у реки, отец Никола любил повторять полусерьезно, полушутя:

— За все, что там дышит, ползает и говорит человеческим голосом, наша с тобой душа в ответе.

— Истинно так, верные твои слова, сосед,— заикаясь, подтверждал мулла Ибрагим,— за все мы в ответе.

(Гораздые на меткие словечки горожане иначе и не называли преданных друзей, как только «неразлучная парочка, мулла да батюшка». Это изречение вошло у них в пословицу.)

Они и сейчас, хоть и не обмолвились ни словом, прекрасно понимали друг друга. Отец Никола знал, как тяжело мулле Ибрагиму, а мулла Ибрагим понимал, что попу Николе нелегко. И они продолжали свой немой разговор, столько раз уж за долгую жизнь в разных обстоятельствах поддерживавший их, разговор двух людей, взявших на себя заботу о всех двуногих, сколько их есть в городе, один о тех, которые крестятся, другой — о тех, которые кланяются.

Вдруг послышался конский топот. К ним подскочил стражник на низкорослом коне. Запыхавшийся и испуганный, он еще издали кричал, точно глашатай:

— Едет, господин едет, вон он на белом коне!

Тут объявился на мосту и мулазим, как всегда, спокойный и, как всегда, одинаково предупредительный и одинаково немногословный.

Дорогой от Околиште взвивалась пыль.

Люди, родившиеся и выросшие в этом глухом углу Турецкой империи, распадающейся Турецкой империи XIX века, конечно, не имели никакого понятия о том, что представляет собой подлинно боеспособное и организованное войско могущественной державы. Все, что приходилось видеть им до этих пор, были разрозненные, отошавшие, кое-как обмундированные и плохо оплачиваемые части регулярной армии или, что еще хуже, согнанные силой отряды боснийских башибузуков, не ведающие ни дисциплины, ни боевого воодушевления. Сейчас перед ними впервые предстала настоящая «военная машина», победоносная, блестящая, уверенная в себе. Такая армия должна была ослепить их и поразить до онемения. По конской сбруе, по каждой пуговице на мундирах солдат с первого взгляда угадывались надежные и прочные тылы, порядок, мощь и изобилие какого-то другого мира, стоящего за полчищами этих парадно разодетых гусар и егерей. Впечатление было ошеломляющим и глубоким.

Впереди выступали два трубача на откормленных, серых в яблоках жеребцах, за ними следовал отряд гусар на вороных скакунах. Холеные, гладкие кони, сдерживая норов, пружинисто и мелко, словно молодые девушки, перебирали ногами. Гусары в высоких киверах с желтыми галунами на мундирах, все, как на подбор, румяные, загорелые щеголи с закрученными усиками, выглядели свежими и выпавшимися, как будто они только из казармы. За ними гарцевала группа из шести офицеров с полковником во главе. Все взгляды сосредоточились на нем. Белоногий конь полковника был выше других и отличался замечательно длинной и изогнутой шейей. За офицерской группой шли на некотором расстоянии части пехотинцев, егерей в зеленых униформах, с перьями, венчавшими кожаные кивера, и белыми портупьями через грудь. Их бесконечная колонна уходила вдаль, куда хватал глаз, и казалась колыхавшимся лесом.

Проследовав мимо священнослужителей и мулазима, трубачи и гусары остановились на площади и выстроились в стороне.

Бледная и взволнованная местная делегация вышла на середину моста навстречу приближавшимся к ним офицерам. Один из младших офицеров подогнал коня к полковнику и что-то ему сказал. Все замедлили ход. В нескольких шагах от делегации полковник резко осадил своего коня и спешился, подав тем самым пример остальным офицерам. Подскочившие вестовые приняли офицерских коней и отвели их на несколько шагов назад.

Едва коснувшись земли, полковник неузнаваемо преобразился. Он оказался мелкорослым и неказистым и всем своим измученным и неприязненным видом выдавал в себе опасного и неприятного субъекта. Казалось, он один сражался и воевал за все свое войско.

И всем вдруг бросилось в глаза, что в отличие от своих белолицых, затаенных офицеров он обтрепан, неопрятен и запущен. Все обличало в нем желчность, которая заедает свой век. Лицо обветрено и заросло бородой, глаза беспокойные, высокий кивер съехал набок. Мундир помят и чересчур широк для его тщедушного тела. На ногах кавалерийские сапоги с короткими, мягкими и тусклыми голенищами. Поигрывая хлыстом и валко шагая широко расставленными ногами, полковник подходил к группе ожидающих. Один из офицеров, указывая на них, что-то докладывал ему. Полковник окинул собравшихся беглым, злым и хмурым взглядом человека, угнетенного тяжелейшей ответственностью и величайшей опасностью. И всем тотчас же стало ясно, что иначе он смотреть и не умел.

В эту минуту отец Никола стал говорить своим глубоким и ровным голосом. Полковник поднял голову и остановил свой взгляд на лице статного человека в черной рясе. Открытое и гордое выражение, застывшее на лице этого библейского патриарха, на мгновение приковало к себе внимание полковника. Можно было не понять или пропустить мимо ушей то, что говорил этот старик, но лицо его не могло остаться незамеченным. Отец Никола между тем продолжал свою речь, и она текла естественно и плавно, обращенная больше к молодому офицеру, исполнявшему роль переводчика, нежели к самому полковнику. От имени присутствующих здесь священнослужителей всех вероисповеданий поп Никола заверял полковника в готовности пастырей совместно с прихожанами подчиниться новой власти и сделать все от них за-

висящее для поддержания спокойствия и порядка, требуемого новой властью. В свою очередь, они нижайше просят взять под защиту их семейства и дать им возможность по-прежнему спокойно жить и честно трудиться.

Отец Никола говорил коротко и быстро кончил свою речь. Так что даже у неугомонного полковника не иссякло терпение. Но зато перевод молодого офицера он не дал себе труда дослушать до конца. Взмахнув хлыстом, он оборвал его резким срывающимся голосом:

— Ладно, ладно! Защиту получают все, кто хорошо себя будет вести. А порядок и повиновение должны быть абсолютно обязательны. Тут уж без всяких отклонений.

И, коротко кивнув, двинулся вперед, ни на кого не поглядев и не попрощавшись. Священнослужители подались в сторону. Полковник, офицеры и вестовые с конями проследовали мимо. Никто не оглянулся на «законников», они одни остались на мосту.

Разочарование их было полным. Ведь все утро и всю ночь, в которую они почти не сомкнули глаз, они по сто раз задавались вопросом, как пройдет эта встреча австрийского коменданта. И по-разному рисовали ее: каждый сообразно своему характеру и складу ума, — и готовились к самому худшему. Иные уже представляли себе, как их прямо с моста уводили в плен, в далекую Германию, чтобы они никогда больше не видели ни своего дома, ни города. Другим приходили на ум рассказы о Хайрудине, который отсекал когда-то головы в этих самых воротах. По-всякому воображали они себе эту сцену, но только не так, как она сейчас разыгралась с этим мелкорослым, но крутым и злобным офицером, который в войне видел истинную жизнь, не думал о себе, не заботился о прочих, людей и страны считал орудием или средством ведения боевых операций и войны и держал себя как единственный и полномочный вершитель судеб мира.

Так они и стояли, недоуменно переглядываясь. Взгляды их безмолвно вопрошали: «Можно ли считать, что мы остались живы и что худшее позади? Что нас еще ожидает и что теперь делать?»

Мулазим и отец Никола первыми пришли в себя. И растудили дело так, что они выполнили свою миссию и теперь им не остается ничего иного, как разойтись по домам и объяснять людям, что бояться и прятаться не следует, но вести себя надо крайне осторожно. Осталь-

ные члены делегации без единой кровинки в лице и без единой мысли в голове согласились с этим предложением, как согласились бы с любым другим, так как сами не в состоянии были что-либо предложить.

Мулазим, сохранивший и на этот раз свое всегдашнее спокойствие, отправился по своим делам. Стражник свертывал пестрый ковер, — ему не суждено было принять на себя австрийского коменданта, — а рядом со стражником стоял Салко Хедо, хладнокровный и бесстрашный, как рок. Тем временем стали расходиться и законники, каждый в свою сторону и своей особенной походкой. Раввин семеня мелкими шажками, подгоняемый желанием поскорее очутиться дома и ощутить тепло и защиту семейного мира, где обитали его жена и мать. Мудерис удалялся медленно, но в глубокой задумчивости. Теперь, когда все совершилось неожиданно быстро и легко, хотя достаточно грубо и неприятно, ему было совершенно очевидно, что и не было никаких оснований для боязни и что он, собственно, ничего и не боялся. Он думал только о том, насколько важно прошедшее событие с точки зрения его хроники, какое место надо будет в ней ему отвести. Двадцати строк будет достаточно. Или даже пятнадцати, если не меньше. По мере приближения к дому количество строк сокращалось. И с каждой сэкономленной строкой окружающее становилось все мельче и обыденнее, в то время как сам мудерис рос и все выше возносился в собственных своих глазах.

Мулла Ибрагим и поп Никола шли вместе до самого подножия Мейдана. Оба молчали, изумленные и потрясенные видом и поведением полковника австрийской армии. Обоим не терпелось поскорее прийти домой и рассказать обо всем своим. На развилке, где их дороги расходились, они на мгновение остановились и молча посмотрели друг на друга. Мулла Ибрагим, часто мигая и жуя губами, никак не мог произнести застрявшее слово. Отец Никола, снова озаряясь своей улыбкой, сыпавшей золотыми искрами и ободряющей и его и ходжу, высказал ту мысль, которая у обоих вертелась в голове:

— Попъет из нас кровь эта армия, мулла Ибрагим!

— В-в-в-верно говоришь, п-п-п-попъет, — заикаясь, подтвердил мулла Ибрагим и, воздев руки в знак приветствия, слегка кивнул головой, прощально улыбаясь.

Поп Никола медленно, тяжелым шагом приближался

к своему дому возле церкви. Его встретила попадья, не досаждая ему никакими вопросами. Поп Никола, войдя в дом, тотчас же скинул сапоги, снял рясу и сорвал камиллавку с густой и потной гривы рыжих с проседью волос. И тут же присел отдохнуть на маленькой терраске. На деревянных перилах его уже дожидался стакан воды и кусок сахара. Освежившись и закурив, отец Никола утомленно прикрыл глаза. Но перед внутренним взором его по-прежнему метался неугомонный австрийский полковник, подобный ослепляющей молнии, которая заслоняет собой весь мир, оставаясь в то же время неуловимой для человеческих глаз. И со вздохом, далеко отогнав от себя струю дыма, батюшка чуть слышно проговорил:

— Н-да, чудной поганец, возьми его нелегкая!

Из города донеслась барабанная дробь, а затем звук егерского горна, высоким, пронзительным голосом вывопивший незнакомую и странную мелодию.

ХІ

Так крупнейший переворот в жизни города подле моста совершился без каких-либо иных жертв, кроме проколотого уха Али-ходжи. Несколько дней спустя городская жизнь вошла в свою обычную колею и покатилась без видимых изменений. И даже пострадавший Али-ходжа оправился вскорости и по примеру прочих торговцев открыл свою лавку близ моста, только белую чалму с той поры носил несколько сдвинутой на правую сторону, чтобы скрыть шрам на раненом ухе. «Свинцовая гиря», что залегла в его груди, когда он увидел красный крест на рукаве австрийского солдата и прочел сквозь слезы «царский наказ», исчезла не совсем, а лишь уменьшилась до величины бусины четок и не особенно мешала ему жить. Впрочем, не он один носил ее в груди.

Так началась новая полоса жизни — жизни под оккупацией; народ, бессильный воспрепятствовать ей, в душе считал ее временной. Чего только не перевозилось через мост в эти первые годы оккупации! Окрашенные в желтый цвет военные повозки, громыхая, длинными вереницами катили по мосту, подвозя провиант, одежду, мебель, невиданные механизмы и оборудование.

Сначала видна была только армия. Словно вода из почвы, солдаты появлялись из-за каждого угла, из каж-

дого куста. Торговые ряды кишели солдатами, но наводняли они и окраины. Город то и дело оглашал испуганный визг женщин, которые во дворе или за домом в сливняке неожиданно натыкались на солдат. В темно-синих мундирах, загоревшие за время двухмесячных маршей и боев, счастливые, что остались живы, жаждущие отдыха и наслаждений, они расползлись по городу и его окрестностям. На мосту их было полно в любое время суток. Мало кто из горожан выходил за ворота, так как там вечно толклась солдатня. Солдаты сидели, распевали песни на всевозможных языках, пересмеивались, покупали фрукты, наполняя ими синие кивера с кожаным козырьком и кокардой из желтой жести с вытисненными на ней инициалами короля: Ф И I.

Но с осени армия начала уходить. Постепенно и незаметно солдат становилось все меньше и меньше. В городе остались одни только отряды жандармерии. Они занимали квартиры, готовясь осесть здесь надолго. В то же время начинали прибывать чиновники, мелкие и крупные служащие с семьями и прислугой, а за ними ремесленники и разные специалисты, каких никогда раньше не было в наших краях. Это были чехи, поляки, хорваты, венгры и немцы.

На первых порах они, казалось, наплывали случайными волнами, занесенные попутным ветром, чтобы побыть у нас какой-то срок, разделяя так или иначе жизнь, которой здесь жили от века, и силами гражданской власти продлить еще на некоторое время оккупационный режим, установленный армией. Между тем с каждым месяцем число чужеземцев-новоселов возрастало. Но не столько многочисленность пришельцев поражала местных жителей, повергая их в недоумение и растерянность, сколько их непонятные и безграничные планы и неистощимое рвение и настойчивость в их осуществлении. Сами они не знали уговона и другим не давали покоя; казалось, они вознамерились невидимой, но все более осязаемой сетью законов, предписаний и установлений опутать самую жизнь вместе с людьми, животными и неодушевленными предметами; все переделать и изменить вокруг себя, начиная с внешнего облика города и кончая поведением и нравами людей от колыбели до могилы. И все это спокойно, без лишних слов, нажима или принуждения, которые могли бы вызвать протест. Едва наткнувшись на со-

противление или непонимание, они тотчас уступали и, тайно посоветовавшись, избирали другие методы работы и другой подход, но все-таки осуществляли задуманное. Занимались они с виду все какими-то пустячными и просто бессмысленными делами. Обмеряли какую-нибудь луговину, метили деревья в лесу, обследовали отхожие места и сточные канавы, смотрели у лошадей и коров зубы, проверяли аршины и гири, расспрашивали людей про болезни, про количество и названия плодовых деревьев, про породы овец и домашней птицы. (Все это было похоже на игру: до того бестолковыми, несущественными и несерьезными представлялись людям их занятия!) А после работа, выполненная со всем тщанием и старательностью, как бы забрасывалась, словно проваливалась куда-то бесследно и навсегда. Но по истечении нескольких месяцев, а подчас и целого года она вдруг снова всплывала на поверхность, неожиданно обнаруживая свой истинный смысл, казавшийся некогда никчемным и давно уже всеми забытым: в Конак сзывались старосты тех или иных кварталов и получали новые распоряжения о вырубке леса, о борьбе с тифом, о порядке продажи фруктов и сладостей или о введении паспортов на крупный рогатый скот. И так, что ни день, какой-нибудь новый указ. И каждый новый указ в чем-то ограничивал человека, налагая на него новые обязательства, и в то же время расширял, разнообразил, обогащал жизнь города или села и всего его населения в целом.

Однако же в домах, и при этом не только в турецких, но и в сербских, ничего не менялось. Здесь жили, трудились и развлекались по-старому. Тесто месили в квашнях, кофе поджаривали на очаге, бельё кипятили в ушатах и стирали в золе, разъедающей руки женщин; ткали и вышивали на станках и пяльцах. По-прежнему неукоснительно соблюдались старинные обычаи на славах, праздниках и свадьбах. О новых же, принесенных чужеземцами, шептались пока только по углам, как о чем-то невероятном и далеком. Словом, здесь жили и трудились, как повелось спокон века и как в громадном большинстве домов будут еще жить и пятнадцать и двадцать лет после оккупации.

Зато внешний облик города преображался на глазах. И тот же самый обыватель, в своем узком домашнем мире твердо державшийся старых устоев и правил, не со-

бираясь что-то в них менять, после более или менее продолжительного возмущения и воркотни легко смирялся с переменами. Тем более что новое, как всегда и всюду, было, в сущности, смесью старого и нового. Старые понятия и старые ценности, сталкиваясь с новыми, перемешивались между собой или существовали параллельно, словно выжидая, кто кого переживет.

Деньги считали на форинты и крейцеры, но и на гроши и пары, мерили аршинами, окками и драхмами, но также и метрами, килограммами и граммами, сроки выплаты налогов и сдачи поставок назначались по новому календарю, но еще чаще по старинке — от юрьева и дмитрова дня. По закону природы люди противились новому, но не особенно упорствовали, ибо большинству жизнь дороже и важнее формы, которая ей придается. И только считанные люди переживали истинную трагедию борьбы между старым и новым. Для них способ существования неразрывно и безусловно связан с самим существованием.

Таков Шемси-бег Бранкович из Црнчи, один из самых богатых и уважаемых бегов города. У него шестеро сыновей, четверо уже женатых. Их дома образовали целое небольшое поселение, окруженное сливняками и рощами. Шемси-бег был непререкаемым, немногословным и строгим главой этого большого клана. Высокий, согнутый годами, с огромным белым, шитым золотом тюрбаном, венчавшим его голову, он лишь по пятницам сходил в город класть поклоны на полуденной молитве в мечети. С первого дня оккупации Шемси-бег проходил через город, нигде не останавливаясь, ни с кем не разговаривая и не глядя вокруг. Ни единый предмет новомодной одежды, обуви или инструмента, ни единое слово нового обихода не переступали порог Шемси-бегова дома. Ни один из его сыновей не пускался ни в какое дело, так или иначе связанное с новой властью, внуки не ходили в школу. От этого семейство Шемси-бега терпело явные убытки; упрямство старика вызывало недовольство сыновей, однако никто из них ни словом, ни взглядом и думать не смел перечить его воле. Турки в торговых рядах, поддерживавшие отношения с пришлыми, приветствовали Шемси-бега, проходившего мимо них, с немым подобострастием, в котором были страх, и восхищение, и тайные укоры нечистой совести. Самые старые и почтенные тур-

ки, словно на поклонение святым местам, отправлялись в Црнчу навестить Шемси-бега и побеседовать с ним. Тут у Шемси-бега собирались самые упорные, те, кто был полон решимости ни под каким видом не идти на уступки действительности. Тут они подолгу сидели, почти в молчании, без слов понимая друг друга.

Шемси-бег, и зимой и летом застегнутый на все пуговицы и укутанный, сидит и курит на красном коврике; гости расположились вокруг. Разговор обычно идет о каком-нибудь очередном непонятном и омерзительном мероприятии австрийских властей или об отступничестве турок, которые все более открыто подлаживаются под новый режим. Гости ощущают неодолимую потребность излить свою досаду, горечь и недоумение перед этим суровым и достойным человеком. И все разговоры неизменно завершаются вопросами: куда все это ведет и чем закончится? Кто они, эти чужестранцы, не ведающие, казалось, ни устали, ни роздыха, ни меры, ни границ? Что им надо? Что у них на уме? Откуда в них эта ненасытность, словно одна потребность рождает другую? Зачем им все это? Что это за беспокойство,— прямо-таки какое-то проклятие! — которое их непрестанно точит и толкает на новые затеи и предприятия, и нет им ни конца, ни края?

А Шемси-бег только поглядывает на них и помалкивает. Лицо его темно, оно омрачено каким-то внутренним страданием. Взгляд твердый, но отвлеченный и отсутствующий. Глаза мутные, черные зрачки, как у старого орла, окружает беловато-серая радужная оболочка. Большой безгубый рот плотно сжат и непрестанно движется, будто перемалывает одно и то же произносимое слово.

И все же люди уходят от него с чувством облегчения, не то чтобы успокоенные или утешенные, но вдохновленные и взволнованные примером нескгибаемости, бескомпромиссности и непреклонности.

Однако каждую пятницу новые перемены в обличье людей или домов, происшедшие за истекшую неделю, подкарауливали Шемси-бега, спускавшегося в торговые ряды. Стараясь не замечать их, он устремлял свой взор в землю, но и здесь, в сухой дорожной пыли, все чаще вперемежку с круглыми отпечатками плоских турецких подков видел следы гнутых австрийских подков с остры-

ми шипами по краям. Так и тут, в дорожной пыли, взгляд его читает тот же самый безжалостный приговор, написанный всюду — и на лицах и на бездушных предметах, — приговор времени, которое невозможно остановить.

Не находя нигде отдохновения, Шемси-бег вовсе перестал спускаться в город. И, затворившись в Црнче, сидел здесь молчаливым, взыскательным и непреклонным повелителем, который в тягость всем, но больше всего себе. Его по-прежнему, как некую живую святыню, навещали старые и влиятельные турки. (И в том числе особенно часто Али-ходжа Мутевелич.) А на третьем году оккупации старый Шемси-бег скоропостижно умер. Отошел в мир иной, так и не выговорив горького слова, которое без конца перемалывал во рту, и ни разу не ступив больше в торговые ряды города, окончательно свернувшего на новый путь.

Город и в самом деле неузнаваемо менялся, чужеземцы валили деревья, сажали другие и на других местах, выпрямляли дороги, прокладывали новые, рыли каналы, возводили общественные здания. За несколько первых лет оккупации в торговых рядах были снесены выдававшиеся вперед лавки, до сих пор, видит бог, никому не мешавшие. И вместо старых лабазов с откидными прилавками построены были новые капитальные, с черепичной или железной крышей и с металлическими шторами в дверях. (Жертвой этих усовершенствований должна была пасть и лавка Али-ходжи, но ходжа отчаянно сопротивлялся, судился и в результате все-таки добился того, что лавка его осталась стоять нетронутой на прежнем месте.) Площадь была расширена и выровнена. Воздвигнут был новый постоялый двор, просторное здание суда и уездной управы. Армия же действовала сама по себе, бесцеремонностью и быстротой превосходя гражданские власти. Возводились бараки, выкорчевывался и насаждался лес, менялся вид окрестных взгорий.

Старожилы не могли надивиться и опомниться. И как раз тогда, когда, по их понятиям, должно было иссякнуть наконец непостижимое рвение чужестранцев, те брались за новое дело, еще более странное, чем прежние. И горожане, застревая у работ, глазели на них, — но не как дети, захваченные деятельностью взрослых, а наоборот, как взрослые, которые остановились на минутку посмотреть

на детскую забаву. Ибо ненасытная потребность чужеземцев строить и расчищать, копать и возводить, поднимать и переделывать, их постоянное стремление предвидеть действие природных сил, чтобы предотвратить их или одолеть, не находили здесь ни в ком ни одобрения, ни сочувствия. Напротив, горожане, в особенности же люди старые, видели в этом явление нездоровое, сулившее что-то дурное. Будь по-ихнему, город выглядел бы точно так же, как и все восточные городишки. Что потрескалось, залатали бы, что покосилось, подперли; но сверх того и помимо того никому и в голову бы не пришло ни с того ни с сего заняться планомерной и дальновидной переделкой, докапываться до фундамента построек и менять богом данный облик города.

А чужеземцы, ко все большему изумлению озадаченных горожан, действуя по какой-то неведомой и хорошо продуманной программе, быстро и последовательно переходили от одного дела к другому. Пока однажды — совершенно неожиданно для местных жителей — не подошел черед давно заброшенного караван-сарая, который и теперь еще составлял единое целое с мостом так же, как и три столетия назад. Собственно, то, что называлось некогда «Каменным ханом», давно уже превратилось в руины. Ворота сгнили, кружево резных решеток из мягкого камня на окнах было выбито, крыша обвалилась внутрь, и сквозь нее проросла высокая акация и полчища безмянных кустов и бурьяна, но наружные стены были целы и поныне; правильный прямоугольник из белого камня стоял нерушимо. Горожанам, привыкшим видеть их с рождения до смерти, руины «Каменного хана» представлялись не обычными развалинами, но завершением моста, неотделимой частью города и родного их дома, на которую никто и во сне не посмел бы поднять руку и что-нибудь там менять, кроме того, что уже изменено временем и природой. Но вот в один прекрасный день настала очередь и «Каменного хана». Прежде всего инженеры тщательно обмерили развалины, после чего рабочие и поденщики принялись разбирать его камень за камнем, распугивая тучи птиц и мелких тварей, гнездившихся здесь. Вскоре горная терраса над базарной площадью у моста очистилась и облысела, а караван-сарай превратился в груды аккуратно сложенных камней. За год с небольшим вместо прежнего белокаменного ка-

раван-сарая выросла нелепая коробка высокой двухэтажной казармы, подкрашенной бледно-голубой краской, покрытой серой кровельной жестью, с бойницами по углам. На расширенной горной террасе перед ней день-деньской муштровали солдат, и под зычные выкрики капрала они с ватугой оттягивали носки и, точно больные, падали лицом в пыль. А вечерами из окон этого безобразного здания доносились чужие военные песни, сопровождаемые губными гармониками, и не смолкали до тех самых пор, пока пронзительный голос армейского горна под дружное завывание окрестных собак, воспринимавших его как команду, заунывной мелодией своей не заглушал все звуки и не тушил последний свет в окошках. Так кануло в небытие прекрасное детище визиря, и казарма, которой народ, верный своим привычкам, присвоил имя «Каменного хана», повела свое существование на горной террасе у моста в полном разладе со всем, что ее окружало.

Мост стоял теперь совершенно изолированно и одиноко.

Но и на нем, увы, исконное и местное приходило в столкновение с новшествами, принесенными чужестранцами и их режимом, и в этих конфликтах, как правило, все старое и коренное обречено было на уступки и подчинение.

Что касается местных жителей, то жизнь в воротах и дальше текла почти без перемен. Стали только замечать, что теперь в ворота все чаще и свободней, в любое время дня, не считаясь, как бывало встарь, с привычками и привилегиями турок, начали захаживать сербы и евреи. В остальном же все шло по-старому. В дневное время ворота служили пристанищем торговцам, перекупщикам — они встречали здесь крестьянок и скупали у них шерсть, перо или яйца, а также праздным бездельникам, вслед за солнцем передвигавшимся из конца в конец города. Под вечер сюда стекались прочие горожане — служивый и рабочий люд — поговорить или помолчать, любуясь зеленой ширью реки, обрамленной раkitами и пестревшей песчаными косами. Ночь же принадлежала молодым парням и гулякам. Им и теперь, как раньше, не указ никакие часы и запреты.

Ночная пора на мосту, во всяком случае поначалу, претерпела некоторые изменения. Новая власть, наряду с прочим, ввела постоянное освещение. В первый же год

окупации на главных улицах и перекрестках города были установлены керосиновые фонари на зеленых столбах. (Чистил, заправлял и зажигал фонари длинный Ферхад, многодетный бедняк, до сих пор перебивавшийся случайными заработками: прислуживал уездному начальству, палил на рамазан из мортиры и выполнял прочие мелкие поручения подобного рода.) Поставили фонари и на мосту, в том числе и в воротах. Фонарь приладили к той самой дубовой тесине, что осталась в каменной кладке от прежней караульни. Этому фонарю в воротах предстояло выдержать затяжную борьбу с привередливыми вкусами любителей ночного бдения, мирно текущего под покровом темноты за пением, трубкой или разговорами, и разрушительными склонностями юношей, порожденными любовной тоской, бездельем и ракией. Мигающий свет фонаря раздражал полуночников, и сколько раз утром фонарь оказывался вдребезги разбитым. Несчетное количество судимостей и штрафов связано с этим фонарем. Одно время злополучный светильник охранял специальный общинный страж. И таким образом ночные завсегдатаи ворот в придачу к свету получили живого свидетеля своих утех, который был им во сто крат ненавистней самого фонаря. Но под воздействием времени новые поколения горожан постепенно свыклись и смирились с необходимостью предаваться ночным излипаниям чувств при свете подслеповатого общинного фонаря и не швырять в него то и дело камнем, палкой или вообще первым тяжелым предметом, попавшимся под руку. Тем более что лунными ночами, когда на мосту было особеннолюдно, фонари вообще не зажигали.

Раз в году на мосту устраивалась грандиозная иллюминация. В день рождения императора 18 августа во второй половине дня местная управа украшала мост гирляндами из веток и молоденьких сосенок, а с наступлением вечера на мосту зажигались вереницы фонариков и огоньков: они тянулись по ограде, мерцая над сотнями жестяных банок из-под солдатских консервов, наполненных стеарином и жиром. Огоньки освещали выгнутую часть моста, оставляя погруженными во мрак оба его конца и быки и создавая впечатление парящей над водой арки. Но любой огонь гаснет, а праздники проходят. Уже следующим утром мост приобретал свой будничныи вид. И только поколение детей, заставшее иллюминацию мо-

ста, хранило в своей памяти невиданное зрелище его парящей арки в неверных отсветах огней, зрелище невыразимо прекрасное, но мимолетное и преходящее, как сон.

Помимо постоянного освещения, новая власть ввела обыкновение блюсти в воротах чистоту, соответственно своим понятиям о ней. Фруктовая кожура, арбузные семечки и скорлупа от лесных и грецких орехов не валялись отныне целыми днями на каменных плитах моста, пока их не смывало дождем или не сносило ветром. Приставленный к мосту специальный общинный подметальщик каждое утро теперь убирал и мел ворота. Но это в конце концов никому не мешало, ибо, даже не имея привычки к чистоте и потребности в ней, люди с легкостью мирятся с чистотой; конечно, при условии, что не должны ее поддерживать.

И еще одно новшество принесли с собой оккупация и пришлый люд: ворота, впервые за время их существования, стали посещать представительницы слабого пола. Чиновничьи жены и дочери, их служанки и няньки в сопровождении своих спутников военного или штатского звания останавливались поболтать на мосту или приходили сюда в праздник посидеть. Случалось это не так уж часто, но тем не менее портило настроение старикам, любившим в тишине над водой выкурить свой чубук, и тревожило и возбуждало молодых.

Известная связь между воротами и женской половиной города, надо сказать, существовала спокон веков, но лишь в той мере, в какой мужчины использовали мост для того, чтоб бросить проходящим мимо девушкам какую-нибудь любезность или высказать, развеять или пережить тут, в воротах, свои любовные восторги, сомнения и горести. Не один из них за тихим пением («для души»), или в клубах табачного дыма, или просто в безмолвном скольжении взглядом по струям бегущей реки провел здесь в одиночестве долгие часы, а то и дни в уплату той подушной подати волшебным чарам, которой облагаются все смертные за редким исключением. Не одной паре соперников довелось разрешить здесь любовный спор, не одна любовная интрига была здесь задумана. А сколько говорили и мечтали здесь о женщинах и о любви, сколько разгорелось и угасло страстей! Все это было, но женщины никогда не останавливались и не при-

саживались в воротах, ни христианки, ни тем более мусульманки.

В воскресные и праздничные дни теперь все чаще появлялись в воротах краснолицые кухарки, перетянутые в талии, со складками жира, вылезавшего из-под тугих корсетов, стеснявших дыхание. Они приходили в обществе фельдфебелей в тщательно вычищенных мундирах с блестящими металлическими пуговицами, красными галунами и эмблемами стрелковых частей на груди. Будничными вечерами на мосту прогуливались чиновники и офицеры со своими женами, останавливались в воротах, разговаривали на своем непонятном наречии, громко смеялись и вели себя с независимой вольностью.

Эти праздные, беспечные и смешливые женщины всем кололи глаза. Поначалу они повергали в смущение и ужас, но постепенно стали и к ним привыкать, как привыкли, так и не приняв, ко многому другому.

И все-таки можно сказать, что все изменения на мосту были относительно мелкими, поверхностными и недолговечными. Глубокие и важные перемены в психологии и представлениях людей, а также во внешнем облике города не затронули моста, как бы обошли его стороной. Казалось, древний белый мост, без единой царапины и ссадины вынесший на себе тяжесть трех веков, и под «этим нынешним государем» пребудет неизменным и выстоит в половодье новшеств и реформ, как не раз выстаивал в былые времена под натиском всесокрушающих разливов и выныривал из мутной пучины поглотившей его разъяренной реки незапятнанно чистым и белым, как бы возродившимся вновь.

ЖИ

Таким образом, жизнь на мосту стала более разнообразной и яркой.

С утра до поздней ночи сменялись здесь многолюдные пестрые толпы своих и пришлых, молодых и старых. Поглощенные собой, они были заняты лишь теми помыслами, увлечениями или страстями, которые привели их в ворота. И потому не обращали ни малейшего внимания на тех, кто, погруженный в свои заботы и думы, проходил по мосту, поникнув головой или с отсутствующим ви-

дом, не глядя по сторонам и не замечая сидящих на скамьях ворот.

К таким прохожим принадлежал и газда Милан Гласинчанин из Околиште, долговязый, изможденный, бледный и сутулый человек. Невесомое и как бы прозрачное его тело припечатывали к земле свинцовые стопы. От этого он на ходу раскачивался и шатался, подобно хоругви в детских руках над крестным ходом. Голова и усы у него седые, как у старика, глаза опущены. Таким ходит он теперь по городу, напоминая лунатика, не примечая перемен ни на мосту, ни в людях, и сам неприметный для тех, кто явился сюда посидеть, помечтать, попеть, поторговать, поболтать или просто провести время. Старики забывают его, молодежь не помнит, чужеземцы не знают. А между тем судьба его теснейшим образом связана с воротами, по крайней мере судя по тому, о чем так много шепотом и вслух еще лет десять — двенадцать назад говорили в городе.

Отец Милана, Никола Гласинчанин, переехал сюда как раз в ту пору, когда в Сербии в полную силу горело мятежное пламя, и купил прекрасную усадьбу на Околиште. Ходили упорные слухи, будто он откуда-то бежал с большими, но не чистым путем нажитыми деньгами. Доказательств тому ни у кого не было, и злой молве верили и не верили, хотя и не отвергали ее полностью. Два раза Гласинчанин был женат, но с детьми дело у него не задалось. Одного только сына, Милана, и вырастил. Ему он оставил все, что имел, явное и тайное. И у Милана был тоже единственный сын, Петар. Достатка бы семье хватило, и с лихвой, если бы не его единственная, но всепожирающая страсть — игра.

Игра не свойственна природе истинного вышеградца. Как мы видели, им владеют иные страсти: чрезмерная слабость к женщинам, а также любовь к выпивке, песням, гульбе или праздным мечтам над водами родной реки. Между тем человеческие возможности ограничены во всем, и в страстях тоже. Сталкиваясь и вытесняя одна другую, они часто и вовсе исключали друг друга. Это не значит, что в городе не было людей, подверженных и этому пороку, но число их было ничтожно мало по сравнению с другими городами, и в большинстве своем это были переселенцы или чужестранцы. Одним из них, как бы там ни было, являлся Милан Гласинчанин. Азарт иг-

ры владел им безраздельно с ранней юности. За неимением партнеров он забирался, бывало, в соседние уезды и возвращался оттуда или набитый деньгами, словно торговец с ярмарки, или с пустыми карманами, без часов и цепочки, без табакерки и перстня, но в обоих случаях бледный и невыспавшийся, как после болезни.

Вообще же излюбленным его местом был постоянный двор Устамуича в конце вышеградских торговых рядов. Здесь, в узкой каморке без окна, при свете незатухающей свечи, всегда обреталось три-четыре мученика несчастной страсти, завязтых игрока. Они запирались тут и сидели в клубах табачного дыма и духоте, с налитыми кровью глазами, пересохшими губами и дрожащими руками, не различая ни дня, ни ночи. В этой самой каморке провел Милан добрую половину своей молодости и оставил добрую половину своего состояния и здоровья.

Ему было немногим больше тридцати, когда с ним произошла внезапная и необъяснимая для большинства людей перемена, она навек излечила Милана от пагубной страсти, но в то же время совершенно преобразила и его самого, и его жизнь.

Однажды осенью, лет что-нибудь с четырнадцать назад, на постоялом дворе появился незнакомец. Ни старый, ни молодой, ни красавец, ни урод, средних лет и среднего роста, молчаливый и улыбавшийся одними глазами. Деловой человек, всецело занятый своими интересами, которые и привели его сюда. Он остался ночевать и под вечер зашел в каморку, где еще с полудня заперлись картежники. Приняли его с недоверием, но незваный гость держался так тихо и скромно, что игроки и не заметили, когда и он начал ставить по маленькой. Он больше проигрывал, чем выигрывал, и застенчиво хмурился, неверными пальцами извлекая из внутренних карманов серебро. Когда же он изрядно проигрался, пришлось дать и ему метать. Сначала он сдавал неуверенно и робко, но вскоре освоился и разошелся. Играл он не зарываясь, но твердо и решительно. Груда серебра перед ним все росла. Картежники один за другим выходили из игры. Кто-то хотел было поставить золотую цепочку, но незнакомец холодно отверг ее, поставив условием играть только на деньги.

Ближе к яции игра оборвалась: у игроков кончились наличные деньги. Милан Гласинчанин держался дольше

всех, но под конец и он отступился. Учтиво простившись, незнакомец удалился в свою комнату.

На следующий день игра возобновилась. И снова незнакомец, как и накануне, попеременно проигрывая и выигрывая, однако же выигрывая больше, чем проигрывая, отобрал у своих партнеров все наличные деньги. Игроки следили за его руками, заглядывали в рукава, осматривали со всех сторон, приносили новые колоды, менялись местами, но ничего не помогало. Играли без затей, в пресловутое очко (тридцать одно), всем известное с детства, но тактику незнакомца постигнуть не могли. То он прикупал на двадцать девять или даже на тридцать, а то останавливался на двадцати пяти. Он не гнушался мелких ставок, не замечал незначительных погрешностей партнеров, а более крупные пресекал с холодным лаконизмом.

Само присутствие этого заезжего чем-то беспокоило и раздражало Милана Гласинчанина. Он вообще в те дни чувствовал себя больным и разбитым. Давая зарок больше не играть, он снова брел в каморку, спускал все до последнего гроша и возвращался домой пристыженный и злой. На четвертый или пятый вечер он все же совладал с собой и остался дома. Уже было и деньги приготовил и обулся, но сумел себя перебороть. В голове шумело, дыхание прерывалось. Не разбирая блюд, наскоро проглотил он ужин. Несколько раз выходил из дома, курил, слонялся по двору и глядел на притихший внизу город в светлом сумраке осенней ночи. Прохаживаясь так взад-вперед, Гласинчанин увидел вдруг, как вдали на дороге кто-то замаячил, потом свернул и остановился у его ограды.

— Добрый вечер, сосед!— крикнул неизвестный.

По голосу Милан тотчас признал его,— это был незнакомец, остановившийся на постоялом дворе. Он, без сомнения, направлялся к нему и хотел ему что-то сказать. Милан подошел к ограде.

— Ты что, не идешь сегодня на постоялый двор?— бесстрастно и спокойно спросил его пришелец, как бы между прочим.

— Что-то охоты нет. Там другие есть.

— Никого нет. Все куда-то разбежались спозаранку. Давай хоть вдвоем перекинемся.

— Уж поздно, да и негде.

— А мы на мост спустимся. Вот-вот луна покажется.
— Да вроде бы сейчас не время,— отбивался Милан, еле шевеля одеревеневшими губами.

Незнакомец все стоял, словно и мысли не допускал, что может быть как-то иначе, чем он сказал.

И действительно, Милан отпер садовую калитку и пошел за ним, хоть и пытался словами, доводами разума и последними усилиями воли вырваться из плена мягкой власти, неудержимо влекущей его за собой, ненавистной и неотразимой, как и сам незнакомец.

Они быстро спустились с Околиште. Большая и уже ущербная луна как бы в подтверждение слов незнакомца выплыла из-за Станишеваца. Мост казался призрачным и беспредельным: концы его терялись в туманной мгле, опорные быки внизу были погружены во тьму; одна сторона арок и быков была ярко освещена, а другая тонула в непроглядном мраке; преломляясь под острым углом, эти светлые и черные поверхности придавали ему вид волшебного видения, возникшего на миг в прихотливой игре света и тени.

В воротах — ни живой души. Уселись. Незнакомец вытащил карты. Милан было заикнулся о том, что в потемках и карты, мол, не различишь, и деньги спутаешь, но незнакомец не придал значения его словам. Игра началась.

Сначала партнеры изредка перебрасывались словами, но потом совсем замолчали. Свертывали только козьи ножки, прикуривая их от старых. Перейдя несколько раз из рук в руки, колода в конце концов прочно обосновалась у незнакомца. Монеты неслышно падали на каменные плиты, чуть увлажненные росой. Наступил столь знакомый Милану момент, когда приезжий взял на двадцать девять двойку, а на тридцать — туза. Милан едва не задохнулся, в горле застрял ком, в глазах потемнело. А лицо незнакомца в сиянии луны выглядело еще более бесстрастным, чем всегда. Неполный час игры стоил Милану всех наличных денег. Незнакомец предложил Милану подняться домой и взять еще, а он его проводит. Они пошли, вернулись и сели снова. Милан играл на ощупь и без слов: намечал себе мысленно карту и объяснялся знаками. Вообще, казалось, карты утратили свое значение и стали лишь поводом для оже-

сточенного поединка двух противников. Проигравшись снова в пух и в прах, Милан был послан за деньгами домой, меж тем как незнакомец остался курить в воротах. На этот раз он счел необязательным его сопровождать, ибо не допускал теперь и тени мысли о том, что Милан посмеет послушаться его, обмануть или остаться дома. И Милан отправился домой без возражений и покорно припелся назад. Тут вдруг картежное счастье круто повернуло. Милан возвратил все проигранное. От волнения ком в горле все разрастался и сильнее душил его. Незнакомец удвоил ставки, затем утроил. Игра, обостряясь, шла быстрее и быстрее. Шелест карт сменялся звоном серебряных и золотых монет. Противники молчали. И только бурное дыхание Милана, впадавшего в озноб и в жар попеременно, нарушало тишину мягкой лунной ночи. Милан играл, сдавал карты и крыл, подчиняясь скорее какой-то злой необходимости, чем азарту. Он чувствовал, что пришелец вместе с деньгами вытягивал из его костей костный мозг, высасывал кровь из жил, каплю за каплей, с каждым новым проигрышем лишая его последних сил и воли. Временами Милан поглядывал исподлобья на своего противника, ожидая увидеть рожу дьявола с оскаленной пастью и горящим взором. Но, к удивлению своему, каждый раз обнаруживал перед собой заурядную физиономию незнакомца, с напряженным выражением труженика, занятого обыденным и малоприятным для него делом, от которого он спешит поскорее избавиться.

Вскоре Милан опять остался без гроша. Тогда приезжий предложил играть на имущество, движимое и недвижимое.

— Ставлю четыре маджарии против твоего гнедого с седлом. Идет?

— Идет.

Так гнедой с седлом перешел к незнакомцу, а следом за ним еще две вьючные лошади, коровы и телята. С догадливостью опытного барышника незнакомец перебрал всю скотину из Милановых конюшен и хлевов, безошибочно назначая цену на каждую голову, как будто бы родился и вырос в этом доме.

— Ставлю двенадцать дукатов за твое поле по прозванию «Слабина»! По рукам?

— По рукам!

Незнакомец сдавал. Взяв пять карт, Милан набрал всего двадцать восемь очков.

— Еще? — небрежно спросил незнакомец.

— Еще одну, — едва слышным шепотом отвечал Милан, чувствуя жаркую волну крови, прихлынувшей к сердцу.

Незнакомец небрежно снял карту. Это была двойка, спасительная двойка!

— Довольно! — безразличным тоном процедил Милан сквозь зубы.

И судорожно сжал в руке сложенные карты. Боясь выдать себя противнику, он изо всех сил прикидывался безразличным.

Незнакомец стал набирать в открытую. Набрав двадцать семь, он помедлил и спокойно посмотрел в глаза Милану, но тот опустил взгляд. Незнакомец взял еще одну карту. Это была двойка. Он едва слышно и коротко вздохнул. Похоже было, что он остановится на двадцати девяти, и Милан, предвкушая победу, начал уже было оживать. Но в это самое мгновение незнакомец встрепенулся, выпятил грудь и, закинув голову вверх, от чего сверкнули под луной его глаза и лоб, перевернул еще одну карту. Снова двойка. Это казалось невероятным — три двойки одна за другой подряд, но тем не менее это было так. На перевернутой карте Милан воочию увидел свое поле, вспаханное, проборонованное по весне, когда оно всего милее взгляду. И борозды отчаянным круговоротом завертелись у него перед глазами, но твердый голос незнакомца быстро привел его в чувство.

— Очко! Поле мое.

Потом наступил черед других полей, а следом за ними обоих домов и дубовой рощи в Осойнице. В цене они, как правило, сходились. Порой Милан выигрывал и сгребал себе дукаты. Его снова окрыляла надежда, но два-три случая невезения, и он снова спускал все наличные и играл на имущество.

Когда бурным потоком игры смыло все состояние Милана, противники замерли на миг, но не для того, чтоб передохнуть — всякая заминка, казалось, страшила их больше всего, — а чтоб поразмыслить, на что бы сыграть еще. Незнакомец был сосредоточен и имел вид озабоченного труженика, позволившего себе короткий

перерыв после завершения первой половины работы и жаждающего поскорее приступить ко второй ее половине. Милан застыл в ледяной неподвижности; сердце стучало в ушах, каменное сиденье под ним то поднималось, то проваливалось. Вдруг незнакомец проговорил своим бесцветным, нудным, немного гнусавым голосом:

— А знаешь что, дружище? Давай по новой кинем, но только уже баш на баш. Я ставлю весь сегодняшний выигрыш, а ты — свою жизнь. Выиграешь — все снова возвратится к тебе: деньги, имущество, земля. Проиграешь — прыгнешь с моста в Дрину.

Он произнес это своим неизменно сухим и деловитым тоном, как будто речь шла о самом что ни на есть обыкновенном уговоре двух завязтых картежников.

«Ну вот, пришла пора погубить или спасти душу», — подумал Милан и дернулся было в отчаянной попытке вырваться из адского водоворота, который уже унес всю его собственность и теперь с неодолимой силой затягивал его самого, но незнакомец одним-единственным взглядом пригвоздил его к месту. И как бывало на постоялом дворе, когда играли по маленькой, Милан кивнул и потянулся к картам. Поочередно сняли. Незнакомцу выпала четверка, Милану — десятка. Ему было сдавать. Это исполнило его надеждой. Милан метал, незнакомец все прикупал и прикупал.

— Еще! Еще! Еще!

Прикупил ни больше ни меньше как целых пять карт и только тогда сказал: довольно! Теперь набирал Милан. Когда дошел до двадцати восьми, он задержался на какую-то долю секунды, испытующе взглянув на карты противника и его непроницаемое лицо. Невозможно было угадать, на чем он остановился, однако весьма вероятно, что он набрал больше двадцати восьми: во-первых, сегодня он в недоборе не сидел, а во-вторых, у него пять карт. И собрав последние силы, Милан открыл еще одну карту. Это была четверка. Итак: тридцать два и, значит, крышка.

Он смотрел на карты, не веря самому себе. Казалось невозможным вот так все разом потерять. И что-то жгучее и гулкое пронизало его от головы до пят. И в это самое мгновение смысл всего сущего открылся Милану: и человеческой жизни, и самого человека, и его проклятой и необъяснимой страсти ставить на карту свое и чужое,

себя самого и все, что есть ценного в жизни. Все это стало ему предельно ясно в озарении ослепительной вспышки, как бы отодвинувшей его игру и проигрыш при всей их грубой вещественности, необратимости и непоправимости в область каких-то кошмарных видений. Он хотел крикнуть, позвать кого-то на помощь или хотя бы слабым вздохом напомнить о себе, но и на это не было в нем силы.

Незнакомец стоял перед ним в ожидании.

И тут вдруг где-то на берегу прокричал петух, голо-систо и тонко, и тут же еще раз. Петух был где-то неподалеку от моста, слышно было, как он захлопал крыльями. В ту же минуту разлетелись, точно подхваченные ветром, карты, монеты рассыпались и покатались во все стороны, мост дрогнул, как бы сотрясаясь у основания. Милан закрыл глаза, объятый ужасом, считая, что пришел его последний час. Когда же он открыл их снова, он был один. Его противник испарился бесследно, будто мыльный пузырь, а вместе с ним с гранитных плит моста исчезли деньги и карты.

Ущербная луна оранжевого цвета плыла по краю горизонта. Поднимался свежий ветер. Громче шумела вода под мостом. Недоверчивыми пальцами ощупав под собой каменную гладь скамьи и медленно возвращаясь к действительности, Милан с трудом поднялся и, едва переставляя как бы ставшие чужими ноги, поплелся к себе домой на Околиште.

Всхлипывая и пошатываясь, он кое-как дотащился до двери и, навалившись на нее всем телом, грохнулся, точно подстреленный, наземь. Домашние проснулись от шума, внесли его и уложили в постель.

Два месяца Милан лежал в горячке и беспамятстве. Считали, что он уже не жилец на этом свете. Отец Никола приходил даже соборовать его, но он все же поправился и поднялся с постели, однако совсем другим человеком. Это был без времени состарившийся нелюдим, молчаливый отшельник, почтавший тяжелой обязанностью водиться с людьми. Не знающее улыбки лицо хранило выражение болезненно-настороженной озабоченности. Кроме дома и хозяйства, для него больше ничего не существовало, словно он никогда и не слышал ни про карты, ни про приятелей.

Находясь еще на одре болезни, Милан рассказал отцу Николе о том, что с ним произошло той ночью в воротах, а позже, чтоб снять с души непосильное бремя, с которым он не мог жить, поделился своей тайной еще с двумя своими добрыми друзьями. Слухи просочились в город, но как бы ни были они и сами по себе невероятны, люди постарались еще их приукрасить и создали легенду, но вскоре со свойственным им непостоянством переключили свое внимание на кого-то другого и совершенно забыли и Милана, и его злоключение. То, что осталось от прежнего Милана Гласинчанина, продолжало жить и работать среди горожан. Младшее поколение только таким его и знает, не подозревая, что когда-то Гласинчанин был совсем иным. Да и сам он, казалось, уже все позабыл. И, проходя тяжелым и медленным шагом лунатика через мост по дороге из дома в город, он не испытывал ни тени волнения, даже память молчала. Самая мысль о том, что белокаменные сиденья дивана, на которых сидят сейчас беспечные люди, могли иметь какую-то связь с тем страшным местом на краю земли, где как-то ночью он играл свою последнюю игру, доверив обманчивой карте и состояние свое, и жизнь свою на этом и на том свете, ни на минуту не приходила ему в голову.

Вспоминая события той ночи, Милан все чаще мучился сомнениями, а не было ли все это ужасным сном, приснившимся ему, когда он рухнул в беспамятстве на пороге собственного дома, то есть следствием, а не причиной его болезни. Да и отец Никола, и оба его приятеля, которым он доверил свою тайну, склонны были, говоря по чести, считать рассказ Милана порождением болезненного бреда, уродливым плодом расстроенного воображения. Ведь никто же в самом деле не поверит, будто дьявол играет в очко и заманивает в ворота того, кого решил погубить. Впрочем, привлечение нечистой силы к участию в некоторых наших происшествиях, крайне туманных и загадочных, становится порой действительно необходимым для их объяснения или хотя бы частичного обоснования.

Как бы там, однако, ни было,— с участием ли дьявола или без вмешательства оно, во сне ли или наяву, одно остается совершенно бесспорным,— потеряв в одну ночь здоровье, молодость и большие деньги, Милан ка-

ким-то чудом раз и навсегда избавился от своей несчастной страсти. Но и это не все. К истории Милана Гласинчанина примыкает история еще одной судьбы, решившейся также в воротах.

Наутро после той злосчастной ночи, когда Милан Гласинчанин (во сне или наяву) проиграл в воротах последнюю роковую партию, занялся яркой осенний день. Была суббота. В воротах, как обычно, собрались вышеградские евреи, торговцы со своими сыновьями. Праздники и торжественные, в атласных штанах и безрукавках тонкого сукна, в темно-красных плоских фесках, с серьезной важностью справляли они праздник дня господня, прогуливаясь над рекой и словно бы высматривая в ней кого-то. Но больше всего сидели в воротах, оживленно и громко разговаривая на испанском, обильно сдобренным сербскими ругательствами.

Одним из первых в то утро в воротах появился Букус Гаон, старший сын почтенного набожного и бедного цирюльника Авраама Гаона. Ему было шестнадцать лет, но он не определился еще ни в ремесле, ни в каком-либо другом постоянном занятии. В отличие от прочих Гаонов шальной ветер гулял в голове парня, не давал ему угмониться и сосредоточиться на чем-нибудь одном, а гнал его все дальше и дальше в поисках какой-то лучшей доли. Перед тем, как сесть, Букус посмотрел, чистая ли перед ним скамья. И вдруг в зазоре между плитами увидел сверкнувшую желтизной полоску. Это был блеск золота, столь любезный человеческому взору. Букус присмотрелся внимательней. Сомнений не было: в щель закатился дукат. Опасаясь быть замеченным и не зная, чем бы выковырнуть из щели золотой, ухмылявшийся ему из своего каменного укрытия, парнишка огляделся. Но тут же вспомнил про субботний день, в который всякий труд есть грех и позор. В сильном замешательстве и беспокойстве он уселся на скамью, закрыв собою щель, и не вставал с места до самого полудня. В обеденное время, когда все еврейское общество от мала до велика разошлось по домам, Букус, презрев строжайшие запреты и обычаи, отыскал ячменную соломинку потолще и осторожно извлек золотой из щели. Это была настоящая маджария, тонкая, почти невесомая, словно высохший маленький листок. Букус в тот день опоздал на обед. И, приступив тринадцатым (в семье было один-

надцать детей, отец и мать) к скудной трапезе, почти не слышал брани отца, называвшего его бездельником и шалопаем, неспособным даже на то, чтоб вовремя прийти к готовому обеду. В ушах Букуса гудело, глаза слепило нестерпимым блеском. Перспектива сверкающих дней, исполненных невиданной роскоши из царства его грез, открылась перед ним. Ему казалось, что в кармане у него солнце.

На следующий день Букус спозаранку без долгих раздумий устремился со своим дукатом в постоянный двор Устамуича и проскользнул в ту самую каморку, где игра шла чуть ли не круглые сутки. В мечтах своих давно уже предвосхищая этот миг, Букус до сих пор за неимением приличной суммы не смел переступить порог заветной комнатухи и попытаться счастья. Сейчас мечта его сбылась.

Здесь он провел несколько жарких и мучительных часов. Встретили его с презрительным недоверием. Когда увидели, что он разменял золотой, его сейчас же заподозрили в воровстве, но ставку приняли. (Ибо, начини они расследовать происхождение наличности у каждого из игроков, ни одна партия не могла бы быть составлена.) Но тут для новичка наступили новые муки. Когда он выигрывал, волна горячей крови прилиwała к голове, ослепляла и билась в висках. При каждом же чувствительном проигрыше сердце замирало в груди и дыхание пресекалось. Однако после всех перенесенных пыток, длившихся, казалось, вечность, Букус вышел в тот вечер из каморки с четырьмя золотыми в кармане. И, несмотря на лихорадочный озноб и страшную разбитость в теле, точно его выпороли раскаленным прутом, он шагал прямой и гордый. Перед его горящим взором в туманных даях вставали лучезарные горизонты, заслоняя собой непроходимое убожество родительского дома и всего этого города. Букус шагал торжественный и опьяненный. Впервые в жизни упивался он не только блеском и звоном золота, но и его тяжестью.

Той же осенью Букус, еще совсем молодой и зеленый, бросил отчий дом и сделался завзятым бродягой и картежником. Старый Гаон сгорал от стыда, изнывал от тоски по своему первенцу, вся еврейская община как личное горе переживала эту беду. А Букус в погоне за лихим картежным счастьем в скором времени покинул

город и пошел скитаться по белому свету. И больше никто ничего — вот уже будет тому четырнадцать лет — о нем не слышал. Говорят, что Букуса испортил «чертов золотой», который он нашел в воротах и выковырнул из щели в субботний день.

ХІІІ

Шел четвертый год оккупации. Казалось, все как-то улеглось и утряслось. Если и не было «блаженной и сладостной» тишины безвозвратно ушедших турецких времен, то все же начал устанавливаться относительный порядок, соответствующий новым веяниям. Но тут вдруг снова поднялись волнения в стране, в гарнизон неожиданно прибыло пополнение, снова появилась стража в воротах. Случилось это так.

Новая власть в тот год объявила рекрутский набор в Боснии и Герцеговине. Это вызвало волну стихийных возмущений, особенно среди турецкой части населения. Еще пятьдесят лет назад при первой же попытке султана ввести в стране низам, то есть регулярные войска, вымуштрованные, обмундированные и снаряженные на манер европейских армий, взбунтовались турки, в жестоких и кровопролитных стычках выражая свой решительный протест против мундиров неверных с ремнями, образующими на груди мерзкое подобие креста. И что же, сейчас их снова принуждают напялить на себя ненавистную одежду, «стесняющую дух», да к тому же состоять на службе у чужого и инаковерующего царя.

Нумерование домов и перепись населения, предпринятые новыми властями в первый же год оккупации, и тогда уже вызвали в турках недоверие и смутную, неистребимую тревогу.

И, как всегда при таких оказиях, самые почтенные и ученые мужи неприметно сошлись на совет, чтоб обсудить меры властей и договориться, как себя по отношению к ним держать.

Однажды майским днем первые люди города оказались как бы невзначай в воротах и заняли весь диван. Чинно попивая кофе и устремив взгляд в пространство, собравшиеся полусшепотом менялись соображениями о новых подозрительных мероприятиях оккупационных властей. Все отозвались о них весьма и весьма неодобри-

тельно. Ибо приверженные старым привычкам и представлениям турецкие мужи с чувством естественного протеста воспринимали всякую бесцеремонную и унижающую их достоинство попытку новой власти вмешаться в их частные дела и семейную жизнь. Никто из них, однако, не мог растолковать истинный смысл производимой переписи и научить, как ей противиться. Тут же был и Али-ходжа, обыкновенно избегавший появляться в воротах, — один только вид каменных приступок перед диваном мгновенно вызывал ноющую боль в его пробитом ухе.

Вышеградский мудерис Хусейн-ага, человек литературный и красноречивый, на правах наиболее сведущего разъяснял собравшимся, что могут означать пометка домов цифрами и перепись детей и взрослых.

— Я полагаю, что это давний обычай неверных. Тридцать лет тому назад, а может, и больше, сидел в Травнике визирь Тахир-паша Стамболия. Он был потурченец, но в душе, коварный лицедей, всегда оставался неверным. При себе, говорили люди, он держал колокольчик и, когда ему надо было позвать кого-нибудь из слуг, он, как настоящий поп неверных, до тех пор трезвонил в колокольчик, пока слуга не отзывался. Так вот, этот самый Тахир-паша первым взялся пересчитывать и на каждый дом прибавить дощечку с цифрой. (За что и был потом прозван Дощечником.) Но народ возмутился и, посрывав с домов дощечки, свалил их в кучу и поджег. Не миновать бы тут кровопролития, да слух о том дошел, по счастью, до Стамбула, и визиря тотчас же из Боснии отозвали. И след его простыл! Вот и сейчас что-то в этом роде затевается. Нейдется австрияку на все опись составить, и на наши головы тоже.

Устремив недвижный взгляд в пространство, турецкие старейшины слушали мудериса, известного своим пристрастием подробно пересказывать чужие воспоминания вместо того, чтоб коротко и ясно высказать свое мнение о том, что происходит.

Али-ходжа, как всегда, первым потерял терпение.

— Дело тут не в обычаях неверных, мудерис-эфенди, а в расчете. Австрияк зазря и во сне терять время не станет, он всегда для пользы дела старается. Сейчас еще этой пользы не видать, но пройдет месяц-другой или год, она и обнаружится. Верно говорил, бывало, покойный Шемси-бег Бранкович: «У австрийских мин длин-

ный фитиль!» Этот пересчет домов и людей, по моему разумению, нужен австрияку для нового налога, а не то так для нового набора рабочей или ратной силы. А может, и того и другого вместе. И если спросят меня, что же нам в таком случае делать, так вот мое мнение. Поднять восстание — у нас кишка тонка. Это и богу и людям известно. Однако же нельзя и поддаваться во всем. Никто не обязан цифры австрийские помнить и годы подсказывать, пускай гадают сами, кто в какой год родился. Ну, а если уж они до того дойдут, что в дома полезут людей пересчитывать, тут уж надо насмерть стоять, а там что бог даст!

Долго еще толковали турецкие мужи, обсуждая богомерзкие затеи властей, но остановились в основном на том, что предложил Али-ходжа: на пассивном сопротивлении. Мужчины утаивали возраст или давали неверные сведения, прикрываясь неграмотностью. Про женщин же никто и спрашивать не смел, это считалось кровным оскорблением. Вопреки указаниям и угрозам властей дощечки с номерами домов прибывали на невидных местах или вверх ногами. А не то хватались за побелку и как бы ненароком замазывали известью и номер дома.

Видя всю глубинную силу скрытого, но яростного сопротивления, власти смотрели на него сквозь пальцы, избегая применять строгие законные меры со всеми вытекающими последствиями и конфликтами, которые бы в этом случае неизбежно возникли.

Прошло два года. Волнения, вызванные переписью, уже почти забылись, когда действительно объявили призыв, ему подлежали все молодые люди, без различия веры и сословия. В восточной Герцеговине вспыхнуло открытое восстание, захватившее на этот раз наряду с турками сербов. Предводители восставших искали способов связаться с границей, в особенности с Турцией, утверждая, что оккупационные власти превышают полномочия, данные им на Берлинском конгрессе, и не имеют права производить рекрутский набор на оккупированной территории, по сей день состоящей под турецким суверенитетом. В Боснии набор рекрутов не получил организованного отпора, но через Фочу и Горажде волна восстания докатилась до границ Вышеградского округа. Поодиночке или группами остатки разбитых отрядов по-

встанцев пытались через вышеградский мост пробиться в Санджак или Сербию. Как всегда во время волнений, снова расцвела гайдутчина.

И снова, после стольких лет затишья, на мосту появилась стража. Несмотря на морозы и снежные заносы, два жандарма день и ночь дежурили в воротах. Задерживая подозрительных и неизвестных путников, они производили обыск и допрос.

По прошествии двух недель с начала беспорядков в город прибыл карательный отряд и сменил постовых жандармов на мосту. *Streifkorps* создан был в связи с расширением восстания в Герцеговине. Это были летучие боевые отряды, отобранные и оснащенные для действий в труднодоступной местности и укомплектованные высоко оплачиваемыми добровольцами. В них были и призывники первого набора,— придя сюда солдатами оккупационных войск и не пожелав уходить, они остались служить в рядах карателей. Часть жандармов была также прикомандирована к вновь организованным летучим отрядам. И, наконец, некоторое число местных жителей служило там проводниками и посредниками.

Нелегкая выдалась в тот год зима, и всю эту долгую и студеную зиму два постовых из отряда карателей стояли на мосту. Обычно в паре с местным был иноземец. Караульную, какая была при турках во времена восстания Карагеоргия в Сербии, австрийцы не поставили. Не было на этот раз кровавых расправ, голов тоже не рубили. И все же, как всегда, когда ворота закрывали, не обошлось без происшествий, оставивших свой след в истории города. Ибо не могут миновать лихие времена, не причинив кому-нибудь несчастья.

Среди карателей, несших караул на мосту, был один украинец из восточной Галиции, по имени Грегор Федун. В свои двадцать три года этот парень богатырско-го сложения и младенческой души отличался силой медведя и застенчивостью девушки. В то время, когда его полк направили в Боснию, парень проходил срок своей службы. Он принимал участие в боях под Маглаем и на Гласинаце. Потом еще полтора года прослужил в разных гарнизонах восточной Боснии. Ожидая часа предстоящего увольнения, Грегор с грустью думал о возвращении в маленький галицийский городок Коломыю, под родитель-

ский кров, столь обильный малыми детьми при прочей скудости. Полк его был уже в Пеште, когда объявили набор добровольцев в отряд карателей. Солдат, прошедший Боснию с многомесячными боями, Федун был взят в Streifkorps сейчас же. И неподдельно обрадовался мысли снова увидеть незабываемые боснийские горы и городки, где он пережил тяжелые и славные дни. С гордостью и умилением парень рисовал себе лица родителей, братьев и сестер, когда они получают первые серебряные форинты, высланные им из завидного жалования солдата карательного отряда. Счастливо избежав отправки в восточную Герцеговину, где шли затяжные и подчас кровопролитные схватки с восставшими, он получил направление в город на Дрине, а там вся служба заключалась в охране и патрулировании.

Здесь он и провел всю зиму, часами топчась на мосту и согревая дыханием пальцы в морозные, безоблачные ночи, когда от стужи трескается камень, высветляется над городом небесный свод и крупные осенние звезды превращаются в мелкие злые огоньки. Здесь встретил он речну и уловил в воротах первые ее приметы: глухие, сдвоенные взрывы лопающихся на Дрине льдов, от которых все нутро человека пробирает дрожью, и тонкий посвист народившегося ветра по ночам в голых лесах на горных кручах над мостом.

Неся караул в свою смену, парень млея в предчувствии близкой весны, затоплявшей мир и все его существо, пробивавшейся из почвы и воды и путавшей в нем мысли и чувства. Стоя на посту, он перепел все малорусские песни, когда-либо слышанные им в родном краю. И песни эти, чем ближе к весне, все сильнее убеждали его в том, что на этом самом возвышенном и всеми ветрами продуваемом месте он будто бы кого-то ждет.

В начале марта караульный наряд, охраняющий мост, получил специальное указание начальства удвоить бдительность, так как имеются достоверные данные о том, что известный гайдук Яков Чекрлия из Герцеговины переместился в Боснию и скрывается где-то в окрестностях Вышеграда, откуда, надо думать, предпримет попытку прорваться к сербской или турецкой границе. Поставым дали описание внешности Чекрлии и предупредили о том, что, с виду хилый и тщедушный, в действительности он сильный, смелый и невероятно хитрый враг, не раз

вырывавшийся из окружения из-под самого носа патрулей.

И Федун, присутствуя на рапорте, слышал это предупреждение и отнесся к нему со всей серьезностью, как ко всем официальным сообщениям. Правда, начальственный испуг показался ему несколько преувеличенным: ведь ничтожная ширина моста — какой-нибудь десяток метров — исключала всякую возможность проскочить по нему незамеченным. И снова в мирной тишине проводил он дневные и ночные часы своей смены на мосту. Внимание его соответственно указу действительно удвоилось, но занято было оно отнюдь не распознаванием личности вышеозначенного Якова — от него не было ни духу, ни слуху, а многоликими и бесчисленными приметам весны, все настойчивей заявлявшей о своем приходе.

В двадцать три года, когда кровь кипит от переизбытка жизненных сил, а вокруг поет, сверкает и благоухает весна, не так-то легко сосредоточиться на одном каком-нибудь предмете. В ущельях тает снег, быстрая река отливает мутным зеркалом, а северо-западный ветер приносит с гор дыхание снегов и запахи набухших почек из долины. И, оглушенный всем этим, Федун в рассеянности мерит шагами пространство между двумя балконами, а в ночную смену, прислонившись к ограде, поет, вторя ветру, свои малорусские песни. Но ощущение напряженного ожидания не оставляет его теперь ни днем, ни ночью; сладостное и томительное это чувство как бы находит подтверждение во всем, что происходит в небе, на земле и на воде.

Однажды в обеденную пору мимо поста прошла молодая турчанка. Она была в том возрасте, когда еще не закрываясь полностью, девушки уже и открытыми больше не ходят, а заворачиваются в большую шаль, скрывающую волосы, руки, подбородок и лоб, но все же часть лица: глаза, рот, нос и щеки остаются на виду. В этот короткий промежуток между детством и девичеством мусульманки с целомудренной радостью показывают предельность своего полудетского, но в то же время женственного лица, которое, быть может, не далее как завтра навек закроет чадра.

Ни одной живой души не было в ту пору в воротах. С Федуном на посту нес караул некий Стеван из Прачи, один из крестьян, попавших в отряд карателей. Человек

свой взгляд на ее лице, обрамленном узорчатой шалью. Все было так же, как вчера. Только взгляды были дольше, а улыбки теплей и свободней. И словно бы тоже исполняя свою роль в затеянной ими игре, Стеван и на этот раз дремал на каменной скамье, хотя потом клялся по своему обыкновению, что не спал и вообще страдает бессонницей, не дающей ему даже ночью, в постели, сомкнуть ни на минуту глаз. Поравнявшись с юношей на обратном пути, турчанка замедлила шаг, глядя прямо в глаза солдата, и он пролепетал ей несколько бессвязных слов, ощущая при этом странную слабость в ногах и теряя голову от волнения.

На такую дерзость разве только в мечтах и решишься! Когда девушка скрылась за домами на том берегу, парень содрогнулся от ужаса. Это было невысказано, чтоб турецкая девушка осмелилась взглянуть в глаза солдату-австрияку. Такие небывалые, неслыханные вещи случаются в мечтах и грезах, — или вот еще весной в воротах. К тому же он прекрасно знал, что в его положении нет поступка более предосудительного и рискованного, чем задеть мусульманскую женщину. Об этом говорили им еще в армии и после, в отрядах карателей. За такие вольности следовало жестокое наказание. А бывало, и смерть принимали смельчаки от руки оскорбленных и взбеленившихся турок. Но вопреки всем наизиданиям и самому горячему желанию держаться предписаний и устава он поступал наоборот. Несчастье несчастных людей в том и состоит, что невозможное и запретное на какой-то миг становится для них возможным и дозволенным, или, по крайней мере, кажется таковым, и, овладев их сокровенными желаниями и помыслами, снова встает перед ними в своей подлинной сущности, то есть недозволенным и недостижимым со всеми последствиями для того, кто все же посягнет на них.

На третий день, около полудня, юная турчанка снова появилась на мосту. И словно во сне, где все подвластно желаниям — единственной реальности, подчиняющей себе все остальное, Стеван и теперь дремал, готовый, как всегда, уверить всех и каждого, что он и глаз не сомкнул; и снова не было в воротах ни души. Парень опять заговорил, пробормотав несколько невразумительных слов, а девушка, замедлив шаг, ответила что-то точно так же робко и невнятно.

в годах, не брезговавший ракией, он подремывал, совсем не по-уставному развалиясь на каменном диване.

Федун с боязливой робостью взглянул на турчанку. Цветастая шаль, волнуясь и переливаясь на солнце живым воздушным облаком, покорная дуновению ветра, вилась вслед за идущей. Строгое и прекрасное лицо смотрело из узкой рамы туго стянутой шали. Глаза опущены, но веки чуть заметно вздрагивают. Промелькнув перед ним, турчанка перешла на ту сторону и затерялась в торговых рядах.

Бессознательно ускорив шаг и поглядывая на площадь, парень мерил пространство между балконами. Вот теперь-то, думал он, ему и вправду есть кого ждать: Полчаса спустя, — в воротах все еще царило полуденное затишье, — юная турчанка, возвращаясь из города, снова прошла мимо взволнованного юноши. На этот раз он дольше задержал на ней свой взгляд, к удивлению своему обнаружив, что и она посмотрела на него, озарив его открытым, смелым взглядом смеющихся глаз, как бы вызывающих его с детским лукавством посостязаться с ней в хитроумной забаве. И снова уплыла от него своей плавной и быстрой походкой, шелестя тысячью подвижных складок широкой шали, обернутой вокруг ее юного, но уже сильного тела. И долго еще на том берегу за домами мелькала ярким восточным узором и живыми красками ее пестрая шаль.

Тут только парень стряхнул с себя оцепенение. Он стоял на том же самом месте, где застигла его поравнявшаяся с ним турчанка. Вздогнув, он ощупал винтовку и огляделся с таким чувством, словно допустил какую-то оплошность. На обманчивом мартовском солнце дремал Стеван. Федуну казалось, что оба они прозвинулись, что целый взвод мог пройти мимо них за это время, длительность и значение которого для него и для прочих людей он не в состоянии был определить. Пристыженный, он в порыве служебного рвения растолкал Стевана, и они до конца смены исправно стояли на часах.

В тот день в часы отдыха и долгого стояния в карауле легкое видение турчанки бесчисленное число раз возникало перед ним. А на следующий день, снова в полдень, в часы безлюдья на базаре и в воротах она опять, уже въяве, прошла по мосту. И снова, как будто следуя лишь наполовину известным правилам игры, Федун остановил

Опасная и невероятная игра продолжалась. На четвертый день, снова улучив минуту безлюдья и проходя мимо часовых, турчанка шепотом спросила пылающего юношу, когда он в следующий раз дежурит. Он застывает в сумерки, примерно в час акшама, ответил тот.

— Я провожу свою старую бабушку в город ночевать и вернусь одна,— шепнула девушка, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь искоса метнув в него выразительный взгляд. В каждом звуке ее незатейливых слов звучала тайная радость предстоящей встречи.

Шесть часов спустя Федун со своим сонливым напарником снова был в воротах. После дождя спускались прохладные сумерки, полные, как ему казалось, обещания. Прохожие становились все реже. И вот на дороге от Осойницы мелькнула знакомая шаль,— сумерки лишь приглушили ее яркий узор. Подле нее ковыляла старая сгорбленная турчанка, закутанная в черную тяжелую чадру. Она шла, согнувшись чуть не вдвое, правой рукой опираясь на палку, а левой — на руку девушки.

Так прошли они мимо Федуна. Сдерживая шаг, девушка старалась приноровить его к медленной поступи своей спутницы. Глаза ее, увеличенные вечерними тенями, теперь уже смело и открыто смотрели в его, как бы не в силах оторваться от них. Когда они исчезли за домами, он вздрогнул и, словно торопясь наверстать упущенное, быстрым шагом заметался от балкона к балкону. В волнении, близком к ужасу, ждал он ее возвращения. Стеван клевал носом.

«Что она скажет мне на обратном пути? — думал молодой человек. — И что скажу ей я? А вдруг она велит прийти к ней ночью на свидание?» И при одной этой мысли, таившей в себе сладость и ужас запретного, трепетная дрожь пронизала его.

В ожидании прошел час и еще полчаса, а девушка все не возвращалась. Но и в самом этом ожидании заключалось сладкое блаженство. И оно нарастало по мере сгущения темноты. Наконец вместо турчанки показалась смена. На этот раз, однако, помимо обычного наряда из двух солдат, на мост явился сам вахмистр Драженович. Суровый человек с короткой черной бородой, он злым и резким тоном велел Федуна со Стеваном по возвращении в казарму сейчас же отправляться на свое место и не покидать его вплоть до дальнейших приказаний. Смут-

ное сознание вины горячей волной ударило в голову Федуну.

В просторном холодном спальном помещении с двенадцатью койками, расставленными правильными рядами, было пусто. Солдаты разошлись на ужин или в город. Напрасно стараясь разгадать причину внезапного вахмистрского гнева и своего заточения, Федун и Стеван с тревогой и нетерпением ждали разрешения своих недоумений. Спустя час вместе с первыми солдатами, возвратившимися на ночлег, в комнату влетел насупленный капрал и громко и сердито приказал им следовать за собой. Судя по всему, начальственный гнев возрастал, не предвещая ничего хорошего. Как только они вышли в коридор, они были тотчас разлучены и допрошены порознь.

Ночь шла на убыль. Приближались часы, когда гасли последние городские огни, а в окнах казармы по-прежнему горел свет. У ворот то и дело звонили, звякали ключи, громко хлопали тяжелые двери. Ординарцы входили и выходили, торопливо пересекали спящий город, погруженный во тьму, снуя между казармой и Конаком, — там во втором этаже тоже горели огни. Все это говорило о том, что в городе происходит что-то необыкновенное.

Когда около одиннадцати часов ночи Федун был введен в канцелярию ротмистра, ему показалось, что от времени его дежурства на мосту его отделяют дни и недели. На столе горела жестяная керосиновая лампа под зеленым фарфоровым колпаком. Перед лампой сидел ротмистр Крчмар. Руки его были по локоть освещены, тогда как верхняя часть корпуса и голова находились в тени зеленого колпака. Молодой человек тотчас же узнал это бледное и полное, безбородое, почти что женское лицо с едва заметными следами жидких усиков и темными кругами под серыми глазами. Этого крупного сдержанного офицера с неторопливой речью и тяжелыми движениями солдаты боялись как огня. Немногие способны были выдержать пристальный взгляд больших серых глаз ротмистра и внятно отвечать на его вопросы, каждое слово которых, произнесенное спокойным ровным голосом, звучало раздельно и ясно от первого до последнего звука, как на уроке в школе или на подмостках театра. В некотором отдалении от стола стоял вахмистр Драженович. Верхняя часть его туловища тоже утопала в тени, и толь-

ко руки были ярко освещены — опущенные вниз, волосатые, на одной — массивное золотое обручальное кольцо.

Драженевич начал допрос.

— Итак, как вы провели время между пятью и семью часами, стоя на посту в воротах вместе со Стеваном Калацаном из вспомогательного состава карательного отряда?

Кровь ударила Федуну в голову. Каждый человек проводит свое время, как может и умеет, но никто не думает о том, что позже придется отчитываться перед строгим судом, винясь и оправдываясь во всем, вплоть до мельчайших подробностей, сокровеннейших помыслов, от первой до последней минуты. Никто, и уж тем более тот, кому от роду двадцать три и кто стоит на посту в воротах весной! Что ему ответить? Два часа дежурства прошли как всегда, как вчера и позавчера. Но ничего из обычного и повседневного, о чем можно было бы рассказать, в эту минуту не приходит в голову Грегору. Одно только возбраняемое и постороннее, такое, что с каждым случается, да не докладывается начальству, сейчас и вспоминается ему: как Стеван по обыкновению своему дремал, как сам он, Федун, обменялся с незнакомой турчанкой несколькими словами, а потом в темноте тихо и самозабвенно пел все подряд песни родного края в ожидании девушки, в преддверии чего-то неповторимого, волнующего. Ах, как трудно, как невозможно выразить это словами, а утаить бесчестно! Но надо спешить, время идет, и напряженность возрастает. Интересно знать, сколько он уже молчит?

— Ну,— наконец подал голос ротмистр. Кто только не знает это его «ну»— ясное, обкатанное, громовое, как бы исторгнутое из глубин какого-то мощного, сложного и тщательно смазанного механизма.

И, выдавая тем самым свою виновность, Федун с первого слова стал путаться и заикаться.

Ночь проходила, а в казарме и Конаке по-прежнему горели лампы. Шли допросы и очные ставки, росли протоколы. Были допрошены другие наряды, стоявшие в тот день в воротах на посту, найдены и приведены кое-какие прохожие. Однако было совершенно очевидно, что кольцо смыкается вокруг Федуна и Стевана, сходясь, как это явствовало из допросов, на старой турчанке, проведенной по мосту молодой девушкой.

У юноши было такое чувство, точно он должен отвечать за что-то загадочное, таинственно-запутанное, как это бывает только в тяжелых ночных кошмарах. На рассвете ему устроили очную ставку со Стеваном. Мигая лукавыми глазками и говоря ненатурально тонким голосом, Стеван прикрывался темнотой и невежеством простого крестьянина, во всем послушного «вот этому вот господину Федуну», как он неизменно называл своего напарника по смене.

«Вот как следует держаться»,— думал парень, прислушиваясь к голодным корчам своего желудка и дрожа от возбуждения, хотя ему и не вполне еще понятно было, в чем состоит его упущение или вина. Наступившее утро принесло с собой объяснение.

Всю ночь напролет вертелся дикий хоровод, центром его был ротмистр, холодный и неумолимый; оставаясь сам неподвижным и безмолвным, он никому вокруг не давал передышки. И всем своим поведением и обликом являл живое олицетворение служебного долга, грозного поборника справедливости, недоступного презренным слабостям и чувствам, наделенного неземной силой и лишеного простейших человеческих потребностей в пище, сне и отдыхе. В свете занимавшегося утра Федун во второй раз был приведен пред очи ротмистра. В канцелярии, помимо самого ротмистра и Драженовича, находился еще вооруженный жандарм и некое существо женского пола, принятое было Грегором за призрак. Лампа была погашена. В комнате, обращенной на север, царил холодный сумрак. К изумлению юноши, ночной кошмар продолжался, не испугавшись дневного света и не желая отступать.

— Тот ли это часовой, который стоял на посту?— обратился Драженович к женщине.

Только тогда с усилием, причинявшим физическую боль, Федун заставил себя впервые приглядеться к ней внимательно. Это была вчерашняя его турчанка, только без шали, с непокрытой головой,— вокруг нее тяжелым небрежным венцом лежали тугие каштановые косы. На ней были знакомые ему цветастые турецкие шальвары, но все остальное — рубаха, пояс и шитая безрукавка — были такие же, как у всех сербских девушек из окрестных горных сел. Без шали она выглядела взрослее и крепче. Лицо ее было трудно узнать — злобная грима-

са растянула рот, веки покраснели, глаза оказались светлыми и ясными, вчерашня поволока исчезла.

— Он,— отозвалась она с холодным равнодушием, и этот ее голос был так же непривычен для Федуна, как и весь ее сегодняшний вид.

Драженевич продолжал допрос, уточняя, каким образом и сколько раз переходила она мост, что говорила Федуна и что говорил ей он. Она отвечала честно, но пренебрежительно и дерзко.

— Ну, хорошо, Еленка, а что он сказал тебе в последний раз?

— Сказал что-то, но я не помню, потому что не слушала его, я думала только о том, как Якова перевести.

— Значит, ты об этом думала?

— Об этом,— через силу подтвердила девушка, видимо, сильно уставшая и потому не расположенная говорить сверх необходимого. Однако вахмистр был настойчив. С угрозой в голосе, выдававшей давнюю привычку к беспрекословному послушанию, он требовал от девушки подробнейшего пересказа того, что она показала на первом допросе в Коняке.

Она сопротивлялась, перескакивая и всеми силами стараясь сократить первоначальный свой рассказ, но вахмистр всякий раз останавливал ее и умелыми вопросами вынуждал возвращаться назад.

Мало-помалу вырисовывалась истинная картина происшедшего. Звали ее Еленка, была она из Тасича с Верхней Лиески. Прошлой осенью к ним туда пробрался гайдук Яков Чекрлия и остался зимовать в уединенном хлеву над селом. Пищу и чистую одежду приносили ему из дома девушки. Чаще других ходила к нему Еленка. Тут они полюбили друг друга и обручились. А когда стал таять снег и участились облавы карателей, Яков во что бы то ни стало решил пробиться в Сербию. Дрину в это время года и без дозорных перейти непросто, а на мосту день и ночь караул. Все же Яков избрал мост и придумал план, как перехитрить постовых. Она отправилась с ним, готовая ради его спасения пожертвовать даже собственной жизнью. Вначале они спустились к Лиеске, а потом перешли в пещеру над Околиште. Еще раньше на Гласинаце Яков купил у цыган женскую турецкую одежду: шальвары, чадру, покрывало, и тогда она, следуя его указаниям, начала переходить мост, избирая время, ког-

да турок было мало, чтоб они не стали выпрашивать, что это за незнакомая турчаночка, и стараясь приучить к себе стражу. Так три дня подряд она появлялась на мосту, после чего решила перевести и Якова.

— А почему ты выбрала время, когда этот караульный стоял на часах?

— Да он мне добрее других показался.

— Поэтому?

— Поэтому.

Понукаемая вахмистром, она продолжала свой рассказ. Когда все было готово, Яков замотался в чадру, и она с первым сумраком провела его под видом своей старой бабушки мимо караульных, не вызвав у них ни малейших подозрений, так как молодой смотрел не на старуху, а на нее, второй же, что постарше, сидел на диване и дремал.

Дойдя до площади, они, из осторожности минуя торговые ряды, пошли побочными улицами. Это их и погубило. Плохо ориентируясь в незнакомом городе, они вместо рзавского моста и дороги, что напрямик вела к одной и другой границе, очутились перед турецкой кофейней, а из нее в это время как раз выходили люди. Среди них оказался жандарм, местный турок. Замотанная в чадру старуха об руку с незнакомой девушкой, никогда прежде не виданной им в здешних краях, показалась жандарму подозрительной, и он пошел за ними. У самого Рзава он нагнал их и стал спрашивать, кто они такие и куда идут. Яков, зорко следивший за каждым движением жандарма сквозь чадру, понял, что настала пора бежать. Сбросив чадру, он толкнул Еленку к жандарму, и при том с такой силой, что они едва на ногах удержались: «Он хоть щуплый и ростом невысок, зато сильный, как бык, а сердца такого ни у кого не сыщешь!» По собственному ее простодушному и искреннему признанию, она запуталась в ногах у жандарма, и пока он высвободился, Яков в несколько прыжков преодолел Рзав, точно какую-нибудь лужу, хотя вода была ему выше колен, и скрылся на том берегу в зарослях ивняка. А Еленку отвели в Конак, но ни побоями, ни угрозами больше того, что она сказала, не могли из нее выудить.

Напрасно трудился вахмистр, с помощью окольных вопросов, посулов и запугивания пытаясь вырвать у девушки имена других сообщников и укрывателей Якова

или выведать что-нибудь относительно дальнейших его планов. Ухищрения вахмистра не производили на девушку ни малейшего впечатления. Проявляя подчас даже излишнюю болтливость, она наглухо замолкала, едва речь касалась нежелательных ей тем, и оставалась совершенно безучастной ко всем усилиям Драженовича вытрясти из нее хоть слово.

— Лучше уж самой тебе во всем признаться, чем Якова обрекать на мучения и пытки, — его уже наверняка задержали на границе.

— Кого задержали? Его? Ха-ха!

И она смерила вахмистра взглядом, исполненным жадности к его неведению, презрительно дернув уголком верхней губы. (Движения этой ее верхней губы, напоминающая сокращения пиявки, отражали переполнявшие ее чувства гнева, презрения и вызова, для которых у нее не хватало слов. Эта судорожная гримаса искажала черты ее красивого и правильного лица, придавая ему злобно-отталкивающий вид.) И тут же с выражением детской радости, совершенно противоположным недавней уродливой гримасе, она устремила взор в окно, как смотрят крестьяне, определяя погоду и состояние посевов.

— Бог с вами! Вот уж и рассвело. А со вчерашнего вечера он мог всю Боснию, какая она ни на есть, кругом обойти, а не то что границу пересечь — до нее и всего-то час или два часа ходу. Уж я-то знаю. Так что можете меня бить и убить, — я и шла на это, но его вам больше не видать. И думать об этом нечего. Ха-ха!

И правая сторона ее губы тотчас же вздернулась вверх, обезобразив ее внезапно повзрослевшее лицо дерзким вызовом ранней искушенности. Но быстро погаснув, гримаса вызова сменилась на ее лице все тем же детским озарением беспечной смелости.

Поставленный в тупик Драженович обратил на ротмистра вопросительный взгляд и получил знак увести девушку прочь. После чего был снова допрошен Федун. На этот раз дознание не затянулось. Юноша во всем покаялся и, ничего не приведя в свою защиту, не воспользовался даже тем, что нарочно подсказывал ему Драженович в своих наводящих вопросах. И речи ротмистра наряду с безоговорочным и непреклонным осуждением выражали сдержанную боль сострадания, но и они не способны были вывести юношу из оцепенения.

— Я вас, Федун, считал,— говорил ротмистр Крчмар по-немецки,— серьезным молодым человеком, сознательно относящимся к своим служебным обязанностям и жизненной цели, и в будущем полагал обрести в вашем лице образцового исполнителя, гордость нашего отряда. А вы потеряли голову от первой попавшейся бестии, вильнувшей перед вашим носом хвостом. И поступили как последний слюнтяй, которому нельзя доверить важное дело. Я вынужден предать вас суду. Но каково бы ни было его решение, самым тяжким наказанием вам будет то, что вы не оправдали оказанного вам доверия и не смогли в нужный момент проявить себя настоящим мужчиной и добросовестным солдатом. А теперь ступайте.

Но и эти слова, разящие, отмеренные, чеканные, ничего нового не могли внести в сознание юноши. Они как бы уже в нем были. Появление и речи этой женщины, возлюбленной гайдука, поведение Стевана, весь ход короткого расследования представили вдруг перед ним в истинном свете непростительное легкомыслие его весенней игры в воротах. Ротмистровские речи как бы канцелярским штампом припечатывали то, что уже было; гораздо больше, чем Федуну, они нужны были самому ротмистру во исполнение неписаных, но непреложных требований закона и порядка. А юноша, пораженный, застыл перед невиданно разросшимся непостижимым для человеческого разума призраком того, во что превратились несколько мгновений забвения, которые подстерегают нас в недобрый час и на гиблом месте.

Пережитые там, в воротах, и оставшиеся никому не известными, мгновения эти ничего не значили бы сами по себе. Шалость молодости, которую, скрашивая скуку ночного обхода, поверяют приятелю. Теперь же, сопряженные с конкретной провинностью, они значили все. Они значили больше, чем смерть, они значили конец, и при этом бесславный и недостойный конец. Никогда ему не оправдаться ни перед собой, ни перед другими. Прощайте письма из Коломыи, семейные фотографии и почтовые переводы, с такой великой гордостью отсылаемые им домой. Это был конец человека, обманувшегося, поддавшегося обману.

Вот почему он так и не вымолвил ни слова в ответ ротмистру.

Надзор за Грегором чрезмерной строгостью не отличался. Ему принесли завтрак, он машинально съел его как бы чужими губами, после чего приказали собрать личные вещи, сдать оружие и казенное имущество и в десять часов почтовым дилижансом в сопровождении жандарма отправляться в Сараево, чтобы предстать там перед гарнизонным судом.

Пока юноша доставал вещи с полки над своей кроватью, несколько его товарищей из тех, что были в спальне, ступая на цыпочках и бесшумно притворив за собой дверь, поспешно удалились. Вокруг него возникала пустота одиночества и гнетущей тишины, неизменно окружающая людей, пораженных несчастьем, так же, как и животных, пораженных болезнью. Он снял с гвоздя черную дощечку, на которой масляной краской на немецком языке были написаны его фамилия, чин, номер части и подразделения, и положил ее себе на колени чистой стороной вверх. На черном поле оборотной стороны кусочком мела он быстро и мелко написал: «Все оставшееся после меня отошлите моему отцу в Коломыю. Всем друзьям передаю привет, а начальство прошу простить меня. Г. Федун». Еще раз посмотрел он в окно, вобрав в себя прощальным взглядом все, что в узком проеме можно было увидеть за секунду. Потом взял винтовку и загнал в нее тяжелый патрон, липкий от смазки. Разувшись и ножиком разрезав носок на пальце правой ноги, он лег на кровать, обхватил руками и коленями винтовку, ствол упер в подбородок, пальцем правой ноги нащупал спусковой крючок, зацепил его дырой, сделанной в носке, и потянул. Вся казарма содрогнулась от выстрела.

Последствия великих свершений просты и обыденны. Пришел лекарь. Комиссия произвела осмотр, и акт приложили к протоколам допроса Федуна.

Затем возникла проблема с погребением. Драженович получил приказ сходить к отцу Николае и выяснить, можно ли Федуну, своевольно лишившего себя жизни, похоронить на кладбище и согласился ли бы тот отпеть покойного, униата по вере.

За последний год отец Никола сильно сдал и ослабел ногами; поэтому он взял себе в помощники по обширному приходу отца Йосу. Человек молчаливый, но спокойный, поп Йоса был худ и черен, точно головешка. Последние месяцы он отправлял почти все службы и обря-

ды в селениях и городе, а отец Никола, с трудом передвигавшийся, обслуживал лишь ближних прихожан да служил в церкви, которая стояла возле самого его дома.

Драженевич по указанию ротмистра явился к отцу Николае. Дед принял его, лежа на турецком диване; подле него был и отец Йоса. Выслушав просьбу Драженевича рассудить вопрос о погребении покойного Федуна, оба священника с минуту молчали. Видя, что отец Никола ничего не говорит, отец Йоса начал первым нерешительно и неопределенно: случай, мол, необыкновенный и исключительный и супротив всех церковных правил и утвердившихся обычаев, и, только если, мол, докажут, что самоубийца не был в здравом уме и твердой памяти, можно будет что-нибудь сделать. Но тут со своего твердого и узкого ложа, покрытого старым выцветшим ковром, поднялся отец Никола. Он сел, величественно выпрямившись и приобретая ту внушительность, с какой он проходил по городу, почтительно приветствуемый со всех сторон. При первом же произнесенном слове лицо его озарилось внутренним светом,— широкоскулое и все еще румяное, с огромными усами, сливавшимися с бородой, рыжими, убеленными сединой, густыми, щетинистыми бровями, лицо человека, сызмальства привыкшего самостоятельно мыслить, мужественно высказывать свою точку зрения и стойко ее защищать.

Отец Никола прямо и просто ответил сразу обоим, и своему помощнику, и вахмистру:

— Когда беда стряслась, бесполезно что бы то ни было доказывать. Кто в здравом уме поднимет руку на себя? И кто, с другой стороны, возьмет на свою совесть закопать его, словно какого-то безбожника, за оградой и без священника? Ну-ка, сударь мой, дай бог тебе здоровья, распорядись снарядить покойного как положено, и мы его поскорее схороним. И, понятное дело, на кладбище, где же еще! Я сам буду отпевать. А если случится здесь служитель его веры, он поправит и дополнит, что не так.

И, обратившись еще раз после ухода Драженевича к отцу Йосе, пристыженному и недоумевающему, сказал:

— Как можно крещеного человека на кладбище не пустить? И почему его не отпеть? Или мало ему было при жизни несчастий? А на том свете пусть с него спрашивают за его грехи, как и с нас всех за наши спросят.

Так, оступившись однажды в воротах, остался юноша в городе на вечные времена. Его похоронили на следующее утро под старческое пение отца Николы и речитатив пономаря Димитрия.

Солдаты один за другим подходили к могиле и бросали в нее пригоршни тощей земли. Покуда два могильщика споро махали лопатами, собравшиеся, как бы в ожидании команды, некоторое время стояли еще вокруг могилы, наблюдая, как за рекой, возле самой их казармы, поднимается прямо столб белого дыма. Это на зеленом лужке над казармой жгли окровавленную солому из тюфяка Федуна.

Несчастливая судьба молодого солдата, чье имя было вскоре позабыто, заплатившего жизнью за несколько мгновений весеннего томления и мечтательной рассеянности, относилась к числу явлений, необычайно близких чувствам местных жителей, долго хранимых ими в памяти и часто повторяемых. Память о восторженном юноше, отмеченном злым роком, надолго пережила сторожевой пост в воротах.

Восстание в Герцеговине пошло на убыль осенью того же года. Главные вожаки его, мусульмане и сербы, бежали в Черногорию или Турцию. В здешних краях оставался еще кое-кто из гайдуков, не имевших по существу никакого отношения к рекрутскому бунту и промышлявших из своей корысти. Но и они в скором времени были выловлены или разогнаны. Герцеговина успокоилась. Босния без сопротивления поставила рекрутов. И все-таки проводы первых рекрутов из города не прошли безболезненно и гладко.

С целого уезда взяли не более сотни юношей, и, однако же, когда они все вместе собрались в тот день перед Конаком — крестьянские парни с котомками и редкие горожане с деревянными сундучками, — можно было подумать, что в городе мор или мятеж. Безбожно накачавшись с раннего утра, многие новобранцы пили все подряд. Крестьянские парни красовались в чистых белых рубахах. Немногие оставшиеся трезвыми сидели, привалившись к стене, и дремали у своих пожиток. Большинство владело возбуждением, потные лица покраснелись от выпивки и зноя. Обнимутся четверо-пятеро односельчан, сдвинут головы — раскачиваясь наподобие живой

изгороди, и горланят во всю мощь своих грубых голосов, немилосердно завывая и не щадя чужих ушей:

— Ой, де-е-е-ви-и-ца-а-а! О-о-о-ой!

Но еще больше, чем сами рекруты, накаляли обстановку жены, матери, сестры и родственницы новобранцев, пришедшие сюда из дальних сел, чтобы проводить их, в последний раз обласкать взглядом, оплакать и осыпать благословениями и напутствиями перед разлукой. Женщины заполнили всю площадь у моста. Окаменев, словно в ожидании приговора, они сидели, перебрасываясь изредка словами и вытирая слезы уголком головных платков. Напрасно еще раньше, в селах, им пытались втолковать, что парни идут не на войну, не на торгу, что они будут служить в Вене самому императору и, проведя в тепле и сытости два года, обутые, одетые, вернутся домой и что из других мест тоже поставляют рекрутов, и притом на три года. Все эти слова, подобно ветру, пролетали мимо женщин, не касаясь их сознания и слуха. Женщины слышали только голос собственного сердца и одному ему повиновались. И этот голос древних, от предков унаследованных инстинктов застирал глаза слезами, исторгал стон из горла и наперекор усталости последнего прощального взгляда ради гнал их за тем, кто был им дорог больше жизни и кого неведомый царь забирал в неведомую землю к неведомым искусствам и делам. Напрасно и теперь, лавируя среди сидящих, ходили в толпе жандармы и чиновники из Конака, уговаривая женщин не предаваться беспричинному отчаянию, освободить проход и не устраивать давку и толчею на дороге, когда по ней пойдут рекруты,— ведь они все до единого в целостности и невредимости вернутся домой! Все уговоры были бесполезны. Они выслушивали их с видом тупой и смиренной покорности, согласно внимали, кивая головами, а затем снова ударялись в слезы и причитания. Казалось, причитания и слезы были им так же дороги, как и тот, по которому они так скорбели.

Когда же настал час выступать и колонна новобранцев по четыре человека в ряд двинулась через мост, поднялась такая невообразимая толчея и суматоха, что самые выдержанные жандармы теряли самообладание. В желании прорваться к своим женщины бежали, толкались, сшибали друг друга с ног. Вопли отчаяния смешались с призывными возгласами, заклинаниями и про-

щальными напутствиями, иные матери, опередив колонну, предводительствуемую четверкой жандармов, падали им в ноги, били себя в растерзанную грудь и голосили:

— Через мой труп! Через мой труп, окаянные!

С великими муками отрывая женщин от земли, мужчины осторожно высвобождали сапоги со шпорами из их распущенных волос и сбившихся юбок.

Кое-кто из новобранцев, пристыженный, недовольно отмахиваясь, отгонял наседающих женщин, веля возвращаться домой. Но большинство парней по-прежнему орало песни и пронзительно гикало, усиливая общий гвалт. Рекруты-горожане, бледные от волнения, стройно затянули песню на городской манер.

Сараево и Босния,
Горе да беда,
Провожала в рекруты
Матушка сына.

Песня вызвала новый взрыв рыданий.

Преодолев образовавшийся на мосту затор, колонна наконец выбралась на сараевскую дорогу, где ее ожидала плотная стена горожан, высыпавших на проводы рекрутов, причитая над ними, точно над приговоренными к расстрелу. Тут также было много женщин, и все они дружно плакали, хотя у них и не было никого близкого среди уходивших рекрутов. Но у каждого всегда был наготове повод для слез, а над чужой бедой плачется слабее всего.

Стена горожан вдоль дороги постепенно редела. Да и деревенские женщины стали поодиночке отставать. Самыми упорными были матери. С резвостью пятнадцатилетних девочек забегали они в голову колонны, перепрыгивали через придорожный ров, стараясь перехитрить жандармов и поближе прорваться к своим. Наконец и сами парни, бледнея и смущаясь, стали оборачиваться на ходу и кричать им сердито.

— Говорят тебе, ступай домой!

Но матери долго еще следовали за колонной, не видя ничего вокруг, кроме своего уводимого сына, глухие ко всему, кроме собственного плача.

Но вот миновали и эти тревожные дни. Народ разошелся по деревням, улеглось волнение в городе. Когда

же от рекрутов стали приходиться из Вены первые письма и фотографии, и вовсе полегчало на сердце у людей. Долго плакали женщины и над ними, но теперь это были легкие слезы тихой грусти и утешения.

Карательный отряд был распущен и покинул город. Давно уже не стоят на мосту постовые, и опять, как встарь, в воротах сидят горожане.

Незаметно пролетели два года. А осенью в город и в самом деле возвратились первые рекруты — чистые, остриженные и откормленные. Вокруг них собирались земляки, и они рассказывали про свое солдатское житье и про большие города, которые им довелось повидать, употребляя в своей речи диковинные названия и иностранные словечки. Проводы очередной партии новобранцев не вызывали уже таких слез и волнений.

Да и вообще жизнь вошла в обычную колею. Подрастающее поколение почти не сохранило живых воспоминаний о турецких временах и приняло новый образ жизни. Но в воротах и по сей день безраздельно царили старые обычаи. Вопреки новомодной одежде, новым званиям и должностям, на мосту все принимали вид исконных его завсегдатаев, с незапамятных времен проводивших здесь часы досуга в беседах, составлявших как прежде, так и теперь истинную потребность их души и сердца. В свой срок без возмущений и суматохи уходили в армию рекруты. Гайдуки поминались разве что в преданиях стариков. А сторожевой заслон карателей забыли точно так же, как караульную, некогда возведенную в воротах турками.

XIV

Жизнь города у моста с каждым днем оживлялась, приобретала устроенность и благополучие с их неизведанной до сей поры уравновешенностью и размеренностью, к которым неизменно и всегда тяготели любые времена, но что достигалось лишь изредка, урывочно и приближенно.

Далекие и неизвестные нам города, царственной властью своею управлявшие и этим краем, вступили тогда — в последней четверти XIX века — в полосу одного из таких редкостных и мимолетных периодов затишья в человеческих и общественных отношениях. И как величе-

ственное спокойствие моря ощущается и в отдаленных заливах, так и здесь, в отдаленных провинциях, ощущалось ровное дыхание мирных времен.

Это были три десятилетия относительного благоденствия и призрачного спокойствия, когда немало европейцев готово было поверить, что открыта непогрешимая формула осуществления золотого сна человечества о всестороннем развитии личности в условиях полной свободы и прогресса, когда девятнадцатый век развернул перед миллионами людей великое множество своих обманчивых благоденствий и ослепил заманчивой иллюзией комфорта, изобилия и процветания для всех и каждого — по сходным ценам и с выплатой в рассрочку. В глушь заштатного боснийского местечка из всей этой жизни XIX века долетали, искажаясь по дороге, смутные отзвуки и отголоски, да и те в той только мере и в той форме, в какой они были приемлемы и допустимы с точки зрения нравов отсталой восточной среды.

После первых лет недоверия, растерянности, колебаний и нерешительности город стал понемногу осваиваться с новым порядком вещей. Люди имели работу, заработок, устойчивое положение. А этого было довольно, чтобы жизнь — жизнь во внешнем своем проявлении — двинулась «по пути совершенствования и прогресса». Все же прочее оттеснялось в темные кладовые подсознания, где таились и бродили подспудные и, казалось бы, давно уже отжившие вековые предрассудки и неистребимые предубеждения расовых, религиозных и сословных каст, подготавливая для далеких грядущих времен неподвижные перевороты и взрывы, неизбежные, как видно, в истории народов, и тем более этого народа.

После первых столкновений и сложностей новая власть стала вызывать ощущение прочности и долговечности. (В равной степени она и сама разделяла то же заблуждение, но без него немислима никакая сильная и прочная власть.) Безликая, действующая через всякого рода посредников, она уже по одному этому казалась несравненно легче турецкой. Все, что было в ней жестокого и алчного, скрывалось под маской респектабельности, лоска и корректного обхождения. Люди боялись ее, как боятся смерти и болезни, а не как злобности, насилия и притеснений. Представители новой власти, как военной, так и гражданской, будучи, как правило, здесь чужаками

и фигурами лично незначительными, каждым своим шагом давали почувствовать, что они винтики огромного механизма и что за каждым из них находится бесконечная лестница вышестоящих инстанций и лиц. Это придавало им значительность, далеко превосходящую достоинства конкретной личности, и окружало неотразимым ореолом могущества. Своей образованностью, казавшейся здесь весьма высокой, невозмутимостью и европейскими привычками, во всем отличными от их собственных, они внушали доверие, смешанное с почтительным уважением, и не вызывали зависти или протеста, хотя не пользовались ни особыми симпатиями, ни любовью.

В свою очередь, и сами иностранцы с течением времени неизбежно должны были подвергнуться влиянию своеобразного восточного мира, ставшего их жизненным окружением. Дети их вносили в среду городских детей иноязычные словечки и непривычные имена, вводили под мостом новые игры, показывали новые игрушки, но и сами с неменьшей быстротой перенимали от своих товарищей местные песни, присказки и заклинания, а также старинные игры в скакалочку, чижик и пятнашки. Взрослые ничем не отличались от детей. Устанавливая новые порядки, внося новые привычки, новые обороты речи, чужеземцы повседневно заимствовали те или иные бытовые и языковые особенности старожилов. И хотя одеждой и манерами наши люди,— в особенности христианская и еврейская ее часть,— все больше приближались к заграничным модам оккупантов, но и иноземцы не остались бесчувственными к воздействию местной среды. Какой-нибудь шустрый мадьяр или надменный поляк, не так давно с опаской перешедший этот мост и брезгливо вступивший в город, на первых порах гадливо отстранялся от всего, подобно капле жира, плавающей в воде. А по прошествии какого-нибудь года тот же самый мадьяр или поляк уже просиживал часами в воротах, посасывая толстый янтарный мундштук, и с самозабвением исконного уроженца здешних мест наблюдал, как в светлом сумраке неподвижного вечернего воздуха таяли, растворяясь, кольца дыма. Или в компании достойных хозяев и бегов сумерничал по местному обычаю, расположившись с неизменным стебельком базилика на травянистом ковре какого-нибудь взгорья и под неспешный легкий

разговор, не обремененный каким-то особенным смыслом, с заправской выдержкой местного старожила степенно прикладывался по временам к традиционной стопочке, изредка и скупно закусывая. А были и такие среди них, ремесленного и чиновничьего звания, которые женились здесь, решившись больше никогда не покидать Вышеград.

Ничего, что обещало бы обитателям города свершение их заветных мечтаний и надежд, взлелеянных в душе и впитанных с молоком матери, не было в этой новой жизни; и напротив, было в ней много такого, что вызывало недоверие и настороженность как у христиан, так и у мусульман, однако это были скрытые тревоги и сомнения, тогда как новая жизнь текла мощным потоком, не таясь и открывая людям новые и, казалось, неисчерпаемые возможности. И большинство после более или менее продолжительных колебаний отдалось ее течению, ведя дела, приобретая и усваивая современные взгляды, предоставляющие более широкий простор личности.

Нельзя сказать, что новая жизнь ослабила цепи условностей и ограничений турецких времен, но, став легче и гуманней, она с лукавым вероломством завуалировала старые цепи, не давая их почувствовать. И каждому поэтому казалось, что перед ним раскрылись светлые горизонты более богатого и разнообразного существования.

Четкая организация административного аппарата позволяла новой государственной власти безболезненно, без видимого нажима и конфликтов выкачивать из народа те же самые налоги и поборы, которые турецкая власть взимала нерациональными, грубыми методами, а иной раз и просто грабежом; и выкачивать при этом ровно столько же, и даже больше, но без проволочек и задержек.

Как в свое время за армией пришли жандармы, а за ними чиновники, так теперь вслед за чиновниками потянулись деловые люди. Начался лесоповал, и в городе появились иноземные предприниматели, инженеры и рабочие, открылись многочисленные возможности приработков и торговли, возникли новомодные ухватки, фасоны и словечки. Воздвигнута была первая гостиница. (О ней речь впереди.) Открывались питейные дома и магазины, неизвестные доселе горожанам. К испанским евреям-сефардам, спокон веков проживавшим в Вышеграде, где они

поселились примерно в то же время, когда на Дрине строили мост, прибавились еще и галицийские еврей-ашкенази.

С помощью обновляющей крови пошли кружить по стране деньги в невиданных количествах, а самое главное, не таясь, открыто и смело. На этой возбуждающей циркуляции золота, серебра и гарантированных бумажных знаков каждый мог погреть руки или хотя бы потешить взор, и в самой крайней бедности утешаясь иллюзией временности своей нужды.

Водились, конечно, и прежде богатство и деньги, но богатых людей было мало, и деньги они скрывали, как змея скрывает ноги, и все господское превосходство свое, тяжкое для них самих и окружающих, обращали в силу притеснения и защиты. Теперь богатство или, по крайней мере, то, что таковым считалось и называлось, было у всех на виду, безбоязненно обнаруживая себя во всякого рода наслаждениях и удовольствиях; и многочисленной мелюзге при этом кое-что перепало от его блеска или отходов.

Так было во всем. Удовольствия, получаемые прежде украдкой и тайком, теперь покупались за деньги и выставлялись напоказ, разжигая аппетиты и вербуя толпы жаждущих. То, что раньше было невозможно, запретно, дорого, ограждалось законом и всесильными условностями, теперь сплошь и рядом оказывалось доступным и дозволенным всякому, кто имел или умел. Многие страсти, прихоти и склонности, которые до сих пор скрывались по темным углам, а то и вовсе не находили себе выхода, теперь смело и откровенно искали полного или хотя бы частичного удовлетворения. В сущности, и теперь было множество ограничений, строгостей и юридических препон; пороки карались не менее жестоко, а удовольствия оплачивались более дорого, чем раньше, но новые формы, в которые облекался закон, создавали, как и во всем прочем, обманчивое впечатление, что жизнь вдруг стала богаче, свободнее и щедрее на радости.

Ни настоящих радостей, ни тем более счастья в сравнении с прежними временами не прибавилось, но удовольствия теперь, бесспорно, доставались легче, и, казалось, каждый в этом мире мог добиться счастья. Извечная, наследственная склонность вышеградцев к беспечности и наслаждениям находила поощрение и поддержку в

новых обычаях, новых формах предпринимательства иноземных переселенцев. Польские евреи, осевшие в городе со своими многочисленными семьями, на этом основали целое предприятие. Шрайбер завел так называемую универсальную торговлю, или бакалею. Гутенплан открыл солдатский шинок. Цалер — гостиницу. Шперлинги — фабрику крем-соды и фотоателье. Цвехер — ювелирный и часовой магазин.

Вслед за казармой, пришедшей на смену «Каменному хану», из оставшегося камня было воздвигнуто здание, где разместились суд и уездная управа. После них самым большим строением в городе была гостиница Цалера. Она высилась на правом берегу реки, у самого моста. Этот берег укреплен был старинной подпорной стеной, расхидившейся по обе стороны моста и возведенной одновременно с ним самим. Таким образом, по левую и правую руку от моста над водой протянулись две террасы. Эти террасы, прозванные в народе площадками, из поколения в поколение служили местом игр для городских детей. Заняв недавно левую террасу, уездная управа огородила ее, засадив фруктовыми и ягодными саженцами и превратив в некоторое подобие питомника. На правой же террасе построили гостиницу. До сей поры у самого начала торговых рядов стояла корчма Зарии. И была здесь очень к месту, ибо усталый и жаждущий путник, по мосту входивший в город, непременно в нее заглядывал. Отныне корчму совершенно затмило внушительное здание гостиницы; приземистая, ветхая корчма с каждым днем съезживалась и оседала, вращая в землю и грозя совсем исчезнуть.

Официальное название гостинице дал мост, подле которого она была возведена. Однако же народ всегда переименовывает имена соответственно собственной логике и тому фактическому содержанию, которое он в них вкладывает. Клеевая краска надписи «Hotel zur Brücke»¹, выведенная корявыми буквами на фронте гостиницы одним умельцем из солдат, быстро поблекла. Народ назвал новое заведение «Лотикиной гостиницей», и это название осталось за ней навсегда. Ибо, хотя формально содержанием гостиницы был флегматичный, тучный еврей Цалер, обремененный болезненной супругой Деборой и двумя девочками — Миной и Иреной, подлинной хозяйкой

¹ «Гостиница у моста» (нем.).

и душой всего предприятия являлась его свояченица Лотика, молодая вдова, женщина изумительной красоты со свободными манерами и мужским характером.

На верхнем этаже гостиницы находилось шесть чистых и уютных номеров для постояльцев, в нижнем — два зала, большой и малый. Большой зал посещался публикой попроще — рядовыми горожанами, унтерами и ремесленниками. Малый зал отделялся от большого широкой двустворчатой дверью матового стекла с надписями на обеих сторонах: «Extra» — «Zimmer». Этот зал был центром общественной жизни чиновников, офицеров и местных денежных тузов. У Лотики пили, играли в карты, пели, плясали, вели серьезные беседы, деловые переговоры и получали добротную еду и чистую постель. Нередко случалось, что компания торговцев и чиновников встречала здесь и полночь и рассвет и в том же составе продолжала сидеть и дальше, пока люди, одурманенные выпивкой и ослепленные мельканием карт, не валились на пол, сморенные тяжелым сном. (Картежникам отныне не было надобности таиться от людей в удушливой темноте мрачной боковушки трактира Устамуича.) Лотика выпроваживала перепивших и вконец проигравшихся и принимала свежих, трезвых, жаждущих выпить и сыграть в карты. Никто не знал, да и не задумывался над тем, когда эта женщина отдыхает, спит или ест, когда успевает одеться и привести себя в порядок. Она всегда была здесь, по крайней мере такое складывалось впечатление, со всеми одинаково приветливая и одинаково смелая и свободная в обращении. Статная, полная, черноволосая, с матово-белой кожей и жгучими глазами, Лотика владела безошибочным секретом обхождения с гостями, которые, хоть и обильно сыпали деньгами, немало досаждали ей пьяными выходками и дерзостью. Со всеми она говорила ласково, смело, остроумно, когда надо — заискивающе и успокоительно. (Голос ее, низкий и неровный, по временам переходил в грудное и томное воркованье. Так никогда как следует и не выучившись сербскому, Лотика говорила неправильно, путая падежи и рода, но при этом тем сочным и образным языком, который своим тоном и смыслом совершенно созвучен народному.) Разгулявшиеся гости, потратив время и деньги, могли безотказно наслаждаться присутствием Лотики и игрой собственных желаний. Только это и было постоянно и неиз-

менно. Все же остальное вроде и было, и в то же время как будто и не было. Для двух поколений городских гуляк из числа турецких и сербских богачей Лотика оставалась сверкающим, разорительным и холодным кумиром, забавлявшимся безумством их страстей. Молва называла имена немногих счастливых, якобы имевших у нее успех, но и те не могли сказать, в чем, собственно, успех этот заключался.

Не так-то было просто и легко управлять опасными инстинктами богатых гуляк, волною внезапного буйства вдруг пробуждавшимися в них. Но Лотика — ловкая, холодная и пронзительно-умная женщина, обладавшая истинно мужской хваткой, укрощала любой порыв неистовства и страсти то властью своей неотразимой красоты, то силой лукавства и отваги, при этом с каждым сохраняя должную дистанцию, что еще сильнее распалало страсти и делало ее во стократ притягательней. Как тореадор, играла она самыми низменными их инстинктами в минуту опасного пьяного разгула, ибо давно уже распознала и легко подобрала ключи к нехитрой природе диких порывов своих посетителей, к слабым струнам их грубых и чувствительных сердец. Распалая и дразня, она увлекала обещанием многого, уступая лишь в малости или, вернее, совсем избегая уплаты, ибо их пыл все равно невозможно было ничем остудить и в конце концов они должны были довольствоваться малым. Лотика по большей части обращалась с гостями как с больными, страдающими приступами умопомрачения. И все же при всей сомнительности и неблагоприятности своего занятия она оставалась женщиной доброй и отзывчивой, способной приободрить и выручить сверх меры промотавшегося игрока или кутилу. Одурачивая заведомо дурные головы, обманывая тех, кто жаждал обмана, Лотика, собственно, отбирала у них только то, что они и так выбросили бы на ветер. Правда, зарабатывала она много, свято блюла свою выгоду и в первые же годы сколотила изрядное состояние, но в то же время могла великодушно списать долг и простить убыток. Одаривая нищих и убогих, она незаметно и чрезвычайно деликатно помогала разорившимся семьям, сиротам и вдовам из богатых домов, всей этой «стыдливой бедноте», не осмеливающейся просить и стесняющейся принимать милостыню. Она делала это с тем же искусством, с каким управляла гостиницей

и удерживала на расстоянии пьяных, похотливых и настырных гостей, опустошая их кошельки, увертываясь от их домогательств и все же не отвергая их окончательно и бесповоротно.

Людам, знающим жизнь и знакомым с историей, не раз случалось пожалеть о том, что судьба отвела Лотике столь узкое и низменное поле деятельности. Попади она в иные обстоятельства, кто знает, кем могла бы стать и что дала бы миру эта мудрая, добросердечная и самоотверженная женщина, алчная и в то же время бескорыстная, прекрасная и обольстительная и одновременно непорочная и бесстрастная, — безвестная хозяйка провинциальной гостиницы, с неистощимой изобретательностью опустошавшая карманы своих пылких вышеградских воздыхателей. Может быть, она стала бы одной из тех великих женщин, которые вошли в историю, женщин, управлявших судьбами прославленных фамилий, дворов или даже держав и, подобно доброму гению, приносивших счастье.

В то время, то есть около 1885 года, когда Лотика была в полном расцвете молодости и красоты, немало сынков местных богачей с утра до ночи торчало в гостинице, в том самом привилегированном зале за дверью матового стекла. Под вечер, сонные, усталые и непротрезвившиеся еще с прошлой ночи, пригревшись у печки, они впадали в тяжелую дремоту, забывая, где они, почему и кого ждут. Пользуясь минутой затишья, Лотика поднималась наверх в комнатку второго этажа, предназначенную для прислуги, но превращенную ею в «канцелярию», куда не допускался решительно никто. Узкая комната была битком набита мебелью, фотографиями, золотыми, серебряными и хрустальными безделушками. Здесь же за шторой находился ее зеленый нескороаемый шкаф и маленький письменный стол, заваленный грудой бумаг, извещений, расписок, счетов, немецких газет, вырезок с курсами акций и бюллетенями лотерейных тиражей.

В этой узкой, загроможденной вещами душной камерке, единственным своим, самым маленьким в доме окошком глядевшей на ближний к берегу короткий пролет моста, Лотика проводила свободные часы и часть своей скрытой от посторонних взоров жизни, принадлежащей ей одной.

Здесь, в минуты украденной свободы, она просматривала биржевые сводки и изучала объявления, сводила счета, отвечала на запросы банка, выносила решения, делала заказы, распоряжалась вкладами, вносила новые вклады. Здесь протекала ее невидимая миру жизнь, составлявшая главное содержание ее существования. Здесь Лотика сбрасывала с себя улыбочатую маску, не боясь обнаружить под ней твердое выражение лица и строгий неподвижный взгляд. Отсюда она вела переписку с многочисленным родом Апфельмайеров из Тернополя — замужними сестрами, женатыми братьями и прочими родственниками, — неимущей еврейской голытьбой из восточной Галиции, рассеянной по Галиции, Австрии и Венгрии. Лотика управляла судьбой целой дюжины еврейских семейств, входила в мельчайшие подробности их жизни, решала вопросы замужеств и женитьб, определяла в школы или в обучение ремеслу детей, посылала на излечение больных, отчитывала и карала нерадивых и расточительных, хвалила бережливых и предприимчивых. Она разбирала семейные дразги, в раздорах и спорах служила судьей; наставляла на путь разумной и добропорядочной жизни, одновременно помогая и создавая возможности для такой жизни. Вот почему за каждым письмом следовал денежный перевод, дававший возможность выполнить ее благой совет, доброе пожелание, удовлетворить какую-то духовную или материальную потребность и предотвратить беду. (Единственную радость в жизни и награду за все трудности и лишения Лотика находила в этой своей поддержке огромного семейного клана и выведении в люди каждого его члена в отдельности. И каждая новая ступенька общественной лестницы, завоеванная кем-нибудь из женской или мужской половины рода Апфельмайеров, возносила и Лотику, вознаграждая ее за труды и вдохновляя на новые подвиги.)

А иной раз Лотика вырывалась из «Extra Zimmer» такой измученной, с таким омерзением в душе, что не в состоянии была ни писать, ни читать и просто садилась к узкому оконцу подышать свежим воздухом с реки после пьяного угара там, внизу. Взгляд ее останавливался на мощном и легком изгибе каменной арки, заслонявшей собою горизонт. Под солнцем, в сумерках, в лунном сиянии зимних ночей и в мягком мерцании звезд она была

всегда одна и та же. Две стороны арки в безудержном стремлении друг к другу соединялись в заостренной середине и застывали в торжестве незыблемого равновесия. К ним, к этим каменным сводам, бессменным и близким, в минуты желанного отдыха и прохлады обращала свой взор эта двулика еврейка, к ним, немым свидетелям ее страданий, в минуты наивысшего отчаяния взывала она, изнемогая под бременем семейных и деловых неурядиц, решение которых эта женщина никому не доверяла, кроме самой себя.

Недолги только были минуты этого редкого отдыха, сплошь и рядом они прерывались криками гостей снизу, из зала. То ли ее звал новый посетитель, то ли, очнувшись от сна и протрезвившись, один из разгулявшихся кутил снова требовал выпивки, света, музыки и, наконец, самой ее, Лотики. Тщательно замкнув особым ключиком двери своего убежища, Лотика спускалась вниз встречать очередного посетителя или во всеоружии своей улыбки и ласковых речей уговаривать, точно проснувшееся дитя, загулявшего клиента, усаживая его за стол, чтоб он продолжил ночное бдение с выпивкой, разговорами, песнями и новыми расходами.

В ее отсутствие веселье внизу, как всегда, разлаживалось. Гости начинали буянить. Молодой бег из Црнци, бледный и осоловевший, все вино, какое бы ему ни принесли, выплескивал на пол, все ему было не по нраву, и он лез скандалить с прислугой и с гостями. С небольшими перерывами он уже много дней подряд пил в гостинице, пил и вздыхал по Лотике, но столь неумеренно, что сразу наводил на мысль о некоем более глубоком и самому ему неведомом горе, чем безответная любовь и слепая ревность к прекрасной еврейке из Тернополя.

С легкой непринужденностью, без малейшего страха устремлялась Лотика к молодому бегу из Црнци.

— Чего тебе, Эюб? Ну, что ты раскричался тут, горюшко мое?

— Где ты? Куда ты пропала!— мгновенно притихнув и с трепетом взирая на свое божество, бубнил кутила.— Они меня хотят тут отравить. Да, да, отравить, но я еще им покажу, я еще...

— Ну полно, полно, не волнуйся,— успокаивала его женщина, и ее руки, белые, благоухающие руки летали вокруг бедовой его головы.— Не волнуйся, для тебя я

хоть птичьего молока раздобуду; я сама закажу для тебя...

И, подозвав к себе кельнера, Лотика отдавала ему распоряжение по-немецки.

— Не смей говорить при мне на своем тарабарском языке фирцен, фюфцен, а не то... ты меня знаешь!

— Знаю, знаю, Эюб; кого другого, а уж тебя-то...

— То-то же! С кем ты была!

И начинаются пререкания пьяного с трезвой женщиной — нескончаемые, бессмысленные и бесплодные за бутылкой дорогого вина и двумя бокалами; одним, всегда полным — Лотикиным и вторым — Эюбовым, непрерывно наполняемым и опоражнивающимся.

И пока молодой турецкий шалопай без умолку молот, еле ворочая языком, про смерть, про любовь, про неизлечимую тоску и прочий вздор, который Лотика знала наизусть — ведь каждый пьяница потчевал ее в точности такой же болтовней, она вставала и шла к другим столам, где располагались гости, сходясь, по своему обыкновению, под вечер в гостиницу.

За одним столом — молодые господа, не так давно вступившие на поприще вечернего застолья и попойки; эти местные снобы находили невыносимо скучной и простецкой корчму Зарии, но не вполне освоились еще и в этом новомодном заведении. За другим столом в кружок чиновников-чужеземцев затесался офицер; изменив на один день офицерскому собранию, он снизошел до гражданского отеля в надежде перехватить у Лотики денег в долг. Третий стол занимала группа инженеров, строивших железную дорогу для вывоза леса.

В дальнем углу сидели, погруженные в какие-то расчеты, газда Павле Ранкович, молодой богач, и некий австриец, железнодорожный подрядчик. Одетый по-турецки, газда Павле и здесь, в питейном заведении, не расставался с красной феской, поблескивая из-под нее косыми щелками черных глаз, оживлявших бледное широкоскулое лицо и обладавших способностью в минуты редкой радости или триумфа невероятно расширяться и, вспыхивая дьявольской усмешкой, полыхать огнем победного восторга. Подрядчик в спортивного покроя сером костюме и в высоких чуть ли не до колен желтых ботинках «на шнурках». Австриец пишет золотым карандашиком на серебряной цепочке, газда Павле — толстым и ко-

ротким огрызком, еще пять лет тому назад по рассеянности оставленным в его лавке одним армейским плотником, покупавшим у него гвозди и дверные петли. Эти двое договариваются о поставках продовольствия дорожным рабочим. С головой уйдя в свое занятие, они множат, делят, складывают — низут цифры: одни — видимые на бумаге, которые должны убедить и обмануть партнера, другие — незримые, производя в уме прикидку ожидаемых выгод и барышей.

Для каждого клиента у Лотики припасено приветливое слово, яркая улыбка или просто безмолвный взгляд, исполненный понимания. И снова Лотика возвращается к молодому бегу, принявшемуся опять буяннить и дурить.

Но и среди разгульной ночи с ее задиристыми, томными, слезливыми и грубыми стадиями, досконально изученными Лотикой, снова выдастся минутка затишья и позволит ей, поднявшись наверх, при мягком свете лампы под колпаком молочного фарфора возобновить переписку или прерванный отдых, пока очередной скандал в зале не потребует ее срочного вмешательства.

А назавтра новый день, новый или тот же самый вздорный богатый молодчик, скандалист и мот, и для Лотики та же страда, те же муки и хлопоты, принимающие вид легкой фривольной игры с неперменной улыбкой на губах.

Поистине немислимо было постигнуть и понять, как Лотика выдерживала и управлялась со множеством столь разнородных обязанностей и забот, заполнявших и дни и ночи и требовавших от нее гораздо больше изворотливости, чем та, которая дана женщине, и гораздо больше сил, чем те, которые отпущены мужчине. И тем не менее она успевала справляться со всем, никогда никому не жаловалась, не входила ни в какие объяснения и, занимаясь одним делом, не поминала ни предстоящих, ни завершенных. Но при всем этом, по крайней мере, час из своего скудного времени Лотика ежедневно выкраивала для Али-бега Пашича. Это единственный человек, которому, по общему признанию жителей, на самом деле удалось добиться благосклонности Лотики, и без всяких корыстолюбивых расчетов. Он самый молчаливый и тихий в городе человек. Старший из четырех братьев Пашичей, Али-бег остался неженатым (в чем злые языки винили ту же Лотику), дела не вел и держался в стороне от мест-

ной общественной жизни. Умеренный в выпивке, он никогда не колобродил со своими сверстниками. Уравновешенный и спокойный, он был одинаково любезен со всеми. Замкнутый и скромный, он вместе с тем не избегал застолья и общества, но не запомнился ни разу никому ни смелостью суждения, ни метким словом. Довольный собой, он был вполне доволен и мнением о нем людей. У него никогда не появлялось желания быть или выглядеть не тем, кем он был, а потому и другие не ждали и не требовали от него чего-то большего. Он был одним из тех невольников аристократической исключительности, которые как тяжкий груз несут на себе бремя своего благородного звания, составляющего все содержание их жизни; это потомственный аристократизм — неоспоримый, неотъемлемый, неповторимый и находящий оправдание лишь в самом себе.

¹ С посетителями общего зала у Лотики хлопот было меньше. Он отдан был на попечение обер-кельнера Густава и кельнерши Малчики. Известная всему местечку разбитная венгерка Малчика напоминала жену укротителя диких зверей, Густав — невысокий, рыжий чешский немец, человек горячий, с налитыми кровью глазами, ходивший раскорякой из-за плоскостопных ног. Они знают всех своих клиентов так же, как и всех горожан вообще, знают кредитоспособность и характер пьяных выходок каждого, знают, кого надо принять холодно, кому оказать сердечный прием, а кого и вовсе не пускать в заведение как «неподходящего для отеля». Они заботятся о том, чтоб пили много и платили исправно, но в то же время, чтоб все шло полюбовно и гладко, ибо главный принцип их хозяйки: «Nur kein Skandal!»¹ Если же кому-то из гостей случалось вдруг впасть в буйство с перепоя или какому-нибудь дебоширу после обильных возлияний в других заведениях более низкого разряда ворваться в гостиницу силой, в зале появлялся слуга Милан, высокий, плечистый, угловатый детина, личанин родом. Он обладал дьявольской силой, редкостной молчаливостью и работоспособностью. Ходил он неизменно в соответствующей форме (Лотика предусмотрела и это). Без пиджака, в сером жилете поверх белой рубахи, в длинном фартуке зеленого сукна, зимой и летом с засученными по

¹ «Только без скандала» (нем.).

локоть рукавами, обнажающими его косматые и черные, как две огромные щетки, ручищи. Черные закрученные усики и волосы нафабрены пахучей солдатской помадой. Милан душил в зародыше любой скандал.

Тактика этой весьма неприятной и нежелательной процедуры отработана и освящена многолетней практикой. Пока Густав заговаривал зубы воинственно настроенному скандалисту, Милан подходил к нему со спины, обер-кельнер отскакивал в сторону, а личанин молниеносным и точным движением, неуловимым для постороннего взгляда и составляющим тайну его приема, уже держал кутилу сзади, одной рукой схватив его за пояс, другой — за ворот. Самый сильный городской дебошир летел подобно кукле, набитой соломой, точно по направлению к двери, в нужный момент предупредительно распахнутой Малчиной, и, не задерживаясь, оказывался на улице. Вслед за ним Густав вышвыривал шляпу, трость и прочее его имущество, а на дверь с грохотом опускалась металлическая штора, на которой всей своей тяжестью повисал Милан. Все это совершалось в мгновение ока, четко и без запинки, так что не успеют, бывало, остальные гости и глазом моргнуть, как нежелательный посетитель выставлялся вон и в случае полного умопомрачения мог разве что пырнуть ножом в металлическую штору или запустить в нее камнем, о чем свидетельствовали оставленные на ней следы. Но это уже скандал не в стенах заведения, а на улице, уличные же беспорядки — забота полиции, а полиция всегда дежурит у гостиницы. В отличие от прочих трактирных служителей Милан никогда не допускал, чтоб изгоняемый клиент опрокидывал и увлекал за собой столы и стулья или, зацепившись руками и ногами за косяк, заклинивался в дверном проеме, откуда его не вытащить и воловьей упряжке. Он делал свое дело спокойно, без всякой злобы, азарта или тщеславия и потому справлялся с ним неподражаемо легко и быстро. Минуту спустя после удаления из зала нарушителя спокойствия Милан как ни в чем не бывало занимался своими делами на кухне или в буфете. А Густав, как бы мимоходом заведя в «Extra Zimmer», проходил мимо Лотки, разведкавшей за столом кого-нибудь из богатых гостей, и делал ей как ходу быстрый знак обеими глазами, давая понять, что намеренный скандал улажен благополучно. Не прерывая разговора и сохраняя на лице

улыбку, Лотика молниеносно посылала в ответ понимающий взгляд, так же неприметно моргнув обеими глазами: «Хорошо, спасибо! Будьте начеку!»

Оставалось выяснить только, на сколько выпил или переколотил посуды выставленный гость; полученную сумму Лотика спишет, когда далеко за полночь будет за своей красной ширмой подсчитывать дневную выручку.

ХV

Существовало несколько способов, с помощью которых буйствующий и столь ловко выставленный из гостиницы гость, если только прямо от дверей его не забирали в каталажку, мог опомниться и отойти после приключившейся с ним неприятности. Он мог добрести до ворот и здесь освежиться прохладой, веющей с гор и с реки. Или же податься в трактир к Зарии, тут же поблизости на площади, и здесь открыто и свободно предаться зубовному скрежету, угрозам и проклятиям по адресу незримой руки, безнаказанно и подло выдворившей его из гостиницы.

В трактире у Зарии не бывает и не может быть никаких скандалов, ибо после того, как с первым сумраком, приняв свою дневную «порцию» и перекинувшись словцом с такой же, как они, солидной публикой, расходились по домам степенные хозяева и трудовые люди, все прочие пили, сколько принимала душа и позволял карман, и говорили и делали что кому заблагорассудится. Здесь никого не принуждали тратиться и напиваться, сохраняя при этом трезвый вид. А если уж кто-нибудь терял всякую меру, немногословный грузный Зария одним своим видом угрюмой озлобленности обескураживал и отрезвлял самых отъявленных пропойц и скандалистов.

— Давай кончай! Хватит безобразничать! — осаживал он их жестом тяжелой руки и низким хриплым голосом.

Но и в этом допотопном трактире, где не было ни отдельных кабинетов, ни кельнеров и где обходились услугами какой-нибудь деревенщины из Санджака в крестьянском облачении, старые обычаи причудливо переплетались с новыми.

Молча сидели, забившись в дальние углы, здешние завсегдатаи, отпетые пьяницы. Любители уединения и

полумрака, бегущие от шумной суеты, часами просиживали они, склонившись, как над святыней, над чарками. С обожженным желудком, воспаленной печенью, расстроенными нервами — небритые, опустившиеся, равнодушные ко всему на свете и опостылевшие самим себе, они упорно пили в мрачной решимости еще раз дожидаться волшебного озарения, сладостно выстраданного закоренелыми пропойцами, но быстро затухающего и гаснущего, а с годами все реже являющегося им тусклыми отблесками былого сияния.

Не в пример говорливей и шумнее новички, по большей части господские сыночки, юнцы в опасном возрасте, делающие первые шаги на пути беспутства и безделья — пороков, которым все они в течение более или менее длительного времени будут платить неизбежную дань. Вскорости, порвав с грехами юности, большинство оставит этот путь и, обзаведясь семьей, отдастся накопительству и тяготам труда, обывательской повседневности с ее подавленными пороками и умеренными страстями. И только незначительное меньшинство отмеченных проклятьем пойдет и дальше predetermined им стезей, истинную жизнь заменив алкоголем — самой обманчивой и скоропроходящей иллюзией в этой обманчивой и скоропроходящей жизни, и станет жить ради него, сгорая и постепенно превращаясь в таких же мрачных, тупых и опухших пьяниц, что сидят сейчас здесь, забившись по темным углам.

С наступлением новых времен с их свободой и вольностями, оживлением торговли и лучшими заработками в трактир, помимо цыгана Сумбо, вот уже три десятка лет игравшего на своей зурне на всех местных пирушках, стал частенько наведываться и Франц Фурлан со своей гармоникой. Тощий и рыжий, с золотой серьгой в правом ухе, он занимался плотническим делом, но был сверх меры предан музыке и вину. Солдаты и иноземные рабочие особенно любили его слушать.

Случалось, и гуслир какой-нибудь заглядывал в трактир — обычно черногорец, схимнически изможденный, в отрешках, но полный достоинства, с открытым взглядом; изголодавшийся, но щепетильный; гордый, но вынужденный побираться. Какое-то время он сидел в укромном углу, явно подавленный, вперив взор в невидимую точку перед собой и ничего не заказывая, с выражением само-

углубленной отрешенности, выдававшей, однако же, какие-то подспудные мысли и намерения, кроющиеся за внешним безразличием. Множество противоречивых и непримиримых чувств раздирало душу гусяря, возвышенный настрой которой находился в разительном несоответствии с немощью и прискорбной ограниченностью средств для ее выражения. Отсюда его робость и неуверенность. Терпеливо и гордо ждал он, когда его попросят спеть, но и тогда как бы с сомнением извлекал из сумы своей гусли, дул на них, проверял, не отсырел ли смычок, подтягивал струну, стараясь при этом привлекать как можно меньше внимания к своим приготовлениям. Вот он проводит по струне смычком и извлекает первый дрожащий и неровный звук, подобный ухабистой дороге. И тут же начинает сам без слов подпевать гусярям, поддерживая и выравнивая их своим голосом. Когда же оба голоса сливались воедино в однообразно-заунывную мелодию, составляющую приглушенный фон песни, недавний нищий преображается как по волшебству: отброшена мучительная робость, исчезли внутренние противоречия, позабылись все невзгоды. Решительно вскинув голову и отбросив маску скромности, ибо теперь уже нечего было таиться, гусяря неожиданно сильным и высоким голосом выкликал строки вступительных стихов:

И промолвил базилик убогий:
«Что ж ты про меня, роса, забыла?»

И гости, до сих пор вроде бы и не обращавшие никакого внимания на гусяря, обрывали разговоры на полуслове и умолкали. Трепет жгучей и смутной жажды той самой росы, что живет в песне и у них в крови, при звуках этих первых слов пронизывал каждого здесь находившегося независимо от того, турок он или серб. Но когда певец, тут же понизив голос, продолжал:

Молвил то не базилик убогий...—

обнажая смысл завуалированного сравнения, и начинал перечислять истинные чаяния и нужды турок или сербов, скрывающиеся за метафорической фигурой росы и базилика, чувства слушателей резко разделялись и растекались в противоположные стороны, согласно их сокровенным желанием и воззрениям. Подчиняясь, однако, неписаному правилу, гости невозмутимо слушали песню

до конца, ничем не выдавая внутреннего своего состояния. И только на зеркальной поверхности ракии в стоящей перед ними чарке их неподвижным взорам являлись блистательные победы, сражения, героизм и слава, до сей поры не виданные миром.

Особенно буйное веселье воцарялось в трактире, когда случалось загулять молодым купчикам и купецким сынкам. Тогда всем — и Сумбо, и Францу Фурлану, и Кривому, и цыганке Шахе — находилась работа.

Косоглазая Шаха, дерзкая на язык мужеподобная цыганка, пила со всеми, кто платил, но никогда не пьянела. Без Шахи и ее рискованных шуток невозможно было представить себе ни одной попойки.

Сменялись люди, веселившиеся с ними, но Шаха, Кривой и Сумбо оставались все теми же. Они жили музыкой, шутовством и вином. Их труд — в безделье других, их заработки — в чужом мотовстве, их настоящая жизнь начинается ночью в те неурочные часы, когда здоровые и счастливые люди давно уже спят. Именно тогда под действием спиртного подавленные душевные движения пробуждаются у гуляк взлетами искрометного веселья и бурных порывов, при всем однообразии обольщающими своей новизной и непревзойденностью. Шаха, Кривой и Сумбо являются платными и бессловесными статистами, перед которыми не стыдно обнаружить свою подлинную суть из «плоти и крови», не испытывая потом ни сожаления, ни раскаяния; при них и с ними позволительно то, что невозможно на людях и уж совсем недопустимо и безнравственно в родном гнезде. Прячась за них, как за ширму, и списывая на них все грехи, почтенные и состоятельные отцы и сыновья из добропорядочных семейств могли, отрешившись на миг от условностей, побыть самими собой, хотя бы временно и какой-то частью своего существа. Натуры грубые, расвирепев, подвергали их издевательствам или побоям, трусливые — осыпали бранью, щедрые — одаривали, тщеславные покупали их лесть, хмурые причудники — выходки и зубокальство, развратники — вольности или услуги. Они отвечали необходимой, но непризнаваемой потребности провинциального мирка с его убогой и искаженной духовной жизнью; своего рода актеры в среде, не знающей подлинного искусства. В городе не переводились певцы, потешники, шуты и балагуры обоих полов. Отжив свой век

и сойдя в могилу, они уступают место своим преемникам, в неизвестности возросшим в их тени для того, чтобы после них увеселять и скрашивать часы досуга новым поколением. Но много еще времени пройдет, пока появится второй такой потешник, как Салко Кривой.

Когда после установления австрийской оккупации в город приехал первый цирк, Кривой пленился канатной танцовщицей и натворил из-за нее столько глупостей, что был посажен в каталажку и бит палками, а на господ, бессовестно подстрекавших и распалаявших его неистовство, наложили большой штраф.

С тех пор прошло немало лет, и искушенным вышеградцам теперь уж не в диковинку гастроль чужеземных музыкантов, канатоходцев и фокусников, они не вызывают больше, как тот первый цирк, такого повального и заразительного безумства, но любовь Кривого к танцовщице не сходит с уст и по сей день.

Кривой давно уже перебивается днем мелкими услугами, причем не гнушаясь никакой работы, а ночью развлекает гуляющих купцов и бегов. На глазах Кривого сменилось несколько поколений. Отгуляв свое и угомонившись, обзаведясь семьей и присмирив, одно поколение передает его другому, более молодому, которому пришло время взять свое. В последние годы, до времени состарившись, Кривой сильно сдал, теперь он все чаще не на посылках, а в трактире и живет не столько заработком, сколько милостыней и подачками с господского стола.

В осенние дождливые вечера мрут со скуки гости в трактире Зарии. Вот за одним столом компания лавочников. Разговор не клеится, в голову лезут скверные досадливые мысли; вяло и раздраженно перекидываются бессмысленными и грубыми словами; лица холодны, замкнуты и подозрительны. Даже ракия бессильна внести оживление в компанию и поднять настроение. В углу на скамье дремлет Кривой, сморенный влажной теплотой и первой чаркой ракии; промок он сегодня до нитки, перетаскивая тяжести на Околиште.

Вдруг кто-то из скучающих гостей как бы невзначай поминает канатную танцовщицу из цирка, давнюю и безответную любовь Кривого. Взоры всей компании устремляются в угол, но Кривой, изображая спящего, и бровью не ведет. Пусть себе болтают что хотят; это он

решил бесповоротно не далее как сегодня утром, в тяжком похмелье; решительно постановил не отвечать на зубоскальство и насмешки, чтобы не допустить, как прошлой ночью, такой же безжалостной шутки, какую сыграли с ним в этой самой корчме.

— Сдается мне, они по сей день переписываются,— говорит один.

— Вот стервец! С одной любовью по почте крутит, а вторая под боком!— добавляет второй.

Кривой из последних сил старается остаться неподвижным, но разговор волнует его и щекочет, как луч солнца; один глаз, вопреки его воле, вот-вот откроется, а мускулы лица распустятся в счастливую улыбку. Больше он не в силах сохранить бесстрастное молчание. С небрежным равнодушием отмахнувшись сначала рукой, он подает затем и голос:

— А, прошло уж все это, прошло!

— Да прошло ли? Нет, вы только посмотрите, каков злодей! Одна на стороне где-то вянет, вторая здесь сохнет. Одно прошло, другое пройдет, а третье придет. Да где ж у тебя совесть, старый хрыч, одну за другой с ума сводить?

Кривой уже встал, идет к их столу. Сон, усталость и утреннее твердое решение ни за что не поддаваться на эти разговоры— все забыто. Прижав руку к сердцу, Кривой уверяет господ, что чист он перед богом и вовсе не такой уж ветреник и совратитель, каким его хотят представить. В непросохшей одежде, с грязной и мокрой физиономией— его красная феска линяет под дождем, он весь светится блаженной улыбкой и присаживается к господскому столу:

— Рому для Кривого!— кричит Санто Папо, полный, живой еврей, сын Менто и внук Мордо Папо, известных торговцев скобяными товарами.

Последнее время Кривой действительно предпочитает по возможности заменять ракию ромом. Этот новый вид спиртного словно бы нарочно для таких, как он, и создан; превосходя ракию крепостью и быстротой действия, он и по вкусу приятно от нее отличается. Ром продается в двестиграммовках, на этикетке изображена молодая мулатка с пухлым сочным ртом и жаркими глазами, в широкополой соломенной шляпе, с большими золотыми серьгами в ушах и красной надписью под ней Jamai-

са. (Экзотику эту фабрикует для боснийцев, находящихся в последней стадии алкоголизма на грани белой горячки, в Славонском Броде фирма «Eisler, Sirowatka & Comp».) Один вид мулатки пробуждает в Кривом ощущение обжигающей крепости и благоухания нового напитка и чувство благодарности к судьбе, милостиво позволившей ему отведать и этой земной благодати, которой, подумать только, никогда бы не испробовал Кривой, умри он всего только год назад. «А сколько еще на свете дивных вещей!» И, разнеженный этой мыслью, Кривой непременно замрет на несколько мгновений перед откупоренной бутылкой. И, лишь насладившись этой мыслью, он отдается блаженству самого напитка.

Вот и теперь, как бы неслышно приговаривая ей ласковые слова, держит Кривой перед собой узкую бутылку. Между тем тот, кому удалось развязать ему язык, сурово допрашивает его:

— Что ж ты, братец, с этой делать будешь? Женишься или, как и с прочими, только позабавишься?

Все эти намеки относились к некоей Паше из Душче. Это самая красивая девушка в городе, сирота, выросшая без отца, вышивальщица, как и ее мать.

О неприступной красавице Паше прошлым летом много было разговоров и песен на многочисленных попойках и загородных пирушках. Незаметно для самого себя и Кривой каким-то образом поддался этому повальному увлечению. И, как водится, сейчас же сделался предметом всевозможных розыгрышей. Однажды в пятницу влюбленные парни взяли и Кривого на гулянье с собой на дальнюю околицу, где из-за оград и решетчатых ставней слышался приглушенный шепот и смех невидимых девушек. Вдруг под ноги Кривому упала ветка бальзамина, брошенная из одного двора, где с подружками пряталась Паша. Кривой замер, боясь раздавить и не смея поднять цветок с земли. Молодые повесы, увлекшие его на гулянье, стали хлопать его по плечам, поздравляя с победой счастливого избранника,— ведь это ему, одному-единственному из всех, Паша подарила знак внимания, какого никогда никто из них не удостоивался.

В ту ночь попойка на Мезалинском лугу у реки под купами орехов продолжалась до самой зари. Кривой сидел у костра прямой и торжественный, то вдохновенно отдавшись песне, то погружившись в тревожную задум-

чивость. На этот раз ему не разрешили прислуживать, готовить закуски и кофе.

— Да знаешь ли ты, брат, что значит ветка бальзамина, брошенная девичьей рукой? — говорил ему один повеса. — «Я сохну по тебе, как эта сорванная ветка, а ты и не сватаешься, и за другого выйти не даешь». Вот что сказала тебе Паша.

И все наперебой превозносили перед ним достоинства Паши — белолицей, целомудренной, точь-в-точь спелая гроздь винограда, свисающая с ограды в ожидании руки, которая ее сорвет, а ждет-то она не кого иного, как его, Салко Кривого.

«Как, почему именно он приглянулся красавице Паше?» — с притворным возмущением негодуют купчики. Другие его защищают. А Кривой пьет. И то верит в чудо, то впадает в отчаяние, понимая его невероятность. Отбиваясь от насмешек, Кривой уверяет, что все это не для него, что он бедняк, невзрачный и старый, — но в минуты затишья невольно предается мечтам о юной Паше, о ее красоте, о счастье, которое она обещает, все равно, возможно ли оно для него или нет. А под высоким шатром летней ночи, беспредельно раздвинутой ракией, песней и пламенем пылающего на траве костра, все чудится возможным, пусть призрачным, но вполне допустимым и не заказанным. Зубоскалы-господа потешаются над ним, он это знает; не могут они без забавы жить, обязательно должны кого-нибудь дразнить и на смех поднимать, от века так повелось, то же самое и сейчас. Но шутки шутками, а его мечта о прекрасной женщине и недосягаемой любви — не шутка, это давняя и неизменная его мечта; не шутка и песни, — в них любовь, как и в его душе, и реальна и призрачна, и женщина, как и в его мечтах, и рядом и недоступна. Для господ, конечно, это одна потеха, но для него-то — истинная вера и святыня, которую он всегда носил в себе, ни секунды в ней не усомнившись, вера, жившая в нем независимо от вина и песен, от господских затей и даже от самой Паши.

И все это, как ни прочно засело в нем, все же легко и быстро уплывает. Потому что душа Кривого рвется наружу, а разум слабеет и туманится.

Так, три года спустя после великой своей любви к австрийской танцовщице и постыдного ее исхода Кривой поддался чарам нового мощного чувства, а богатые ску-

чающие бездельники получили новую забаву, достаточно жестокою и захватывающую для того, чтобы веселить их в течение долгих месяцев и лет.

Было это в середине лета. Настала осень, подошла зима, а игра в любовь Кривого к красавице Паше продолжала скрашивать дневную скуку и заполнять вечерние досуги местной публики. Иначе как женихом и ухажером его не называли. Днем, когда не проспавшийся с похмелья Кривой прислуживал в лавках, выполнял ту или иную работу, бегал по поручениям, разносил товар, эти прозвища возмущали его, и он раздраженно пожимал плечами. Но вот с приходом ночи зажигались лампы в трактире Зарии, «Рому для Кривого!» — кричал чей-то голос, и кто-то будто ненароком тихо заводил:

Солнце село, час закатный,
Отзовись, мой светик ясный...—

и все преображалось. Досада, протестующее дерганье плечами, город с трактиром да и сам Кривой, продрогший, небритый, в драном тряпье и чужих обносках, — все исчезало. И только в зареве заходящего солнца светился балкон, обвитый виноградом, и на балконе стояла девушка с веткой бальзамина в руках и ждала того, кому она бросит цветок. Правда, все это сопровождалось раскатистым хохотом, язвительными шуточками и грубыми остротами, но все это было далеко, как в тумане, а рядом с ним, у самого уха, звучала песня:

Светом ласковых очей
Душу ты мою согрей!

И Кривой согревается в отсветах заходящего этого солнца, как никогда не мог согреться под лучами того, что изо дня в день встает и заходит над городом.

— Рому для Кривого!

Так пролетали зимние ночи. А в конце зимы Пашу выдали замуж. Бедную красавицу, вышивальщицу из Душче неполных девятнадцати лет от роду, взял себе второй женой хаджи Омер из Града, богатый, почтенный турок пятидесяти пяти лет.

Хаджи Омер вот уже тридцать лет как женат. Жена его, происходя из известного дома, славится умом и деловитостью. Усадьба их за Градом, разросшись целым

хутором, процветает и ломится от всякого добра, основательная торговля в городе дает большой и надежный доход. И все это заслуга не столько благодушного неповоротливого хаджи Омера, вся забота которого только в том, казалось бы, и состоит, чтобы регулярно два раза в день ездить из Града на базар и обратно, сколько его энергичной и рачительной, неизменно приветливой хаджи Омеровицы. Для всех турчанок города и округа слово ее является последним приговором в решении всевозможных споров.

Принадлежа к числу достойнейших и образцовых, пожилая эта чета только тем обездолена была, что не имела детей. Надежда долго их не покидала. Хаджи Омер и на поклонение в Мекку ходил, жена его щедро оделяла сирот и святые монастыри, шли годы, все прибывало и умножалось в хозяйстве хаджи Омера, а в самом главном не было им божьего благословения. Достойно и красиво сносили свое горе хаджи Омер и его мудрая ханума, однако никакой надежды на продолжение рода уже не было. Жене хаджи Омера перевалило за сорок пять.

Речь шла о большом состоянии, которое должно было остаться после хаджи Омера. Предмет этот занимал не только многочисленную родню с его и с ее стороны, но и чуть ли не весь город. Одним хотелось, чтоб этот брак так и остался бездетным, другим, напротив, жаль было, чтоб такой человек умер без наследника, отдав все богатство свое на растерзание родственникам, поэтому они исподволь склоняли его взять себе еще одну, молодую жену, пока еще время не совсем ушло и есть надежда на потомство. В этом пункте городские турки разделились на два лагеря. Спор разрешила сама бесплодная супруга хаджи Омера. С открытой прямою, столь свойственной ее натуре, однажды она сказала своему нерешительному мужу:

— Всем благословил нас милостивый бог, честь ему и слава, — согласиём, здоровьем и богатством, не дал он лишь того нам, что последнему нищему отпущено — увидеть свою поросль, чтоб знать, кому все после нас останется. Такая уж у меня горькая судьбина. Но если я, по воле божьей, должна с ней примириться, то ты не должен. Вижу я, что сбились с ног торговые ряды, устраивая твою женитьбу и мыкая нашу беду. Так вот же, не

они, а я тебя женю, поскольку нет тебе друга вернее, чем я.

И жена хаджи Омера изложила своему супругу план: раз не осталось у них никакой надежды иметь детей, надо, чтоб он взял в дом вторую жену помоложе, с которой еще мог бы завести потомство. Закон дает ему на это право. А она, понятно, останется в доме на правах старшей жены и будет вести хозяйство и за всем смотреть.

Долго сопротивлялся хаджи Омер, уверяя, что лучшей подруги ему не сыскать и что другая жена, молодая, ему не нужна, но хаджи Омеровица, мало того что непоколебимо осталась при своем мнении, но и сказала мужу, кого она выбрала ему в жены. Раз он женится с тем, чтобы иметь наследника, лучше всего взять здоровую молодую и красивую сироту-бесприданницу, которая принесет ему здоровое потомство и по гроб жизни будет благодарить судьбу за посланное ей счастье. Таким образом, выбор пал на красавицу Пашу, дочь вышивальщицы из Душче.

Так все и сладилось. По велению своей старшей жены и при ее содействии хаджи Омер женился на красавице Паше. А одиннадцатью месяцами позже Паша родила крепкого мальчика. Таким образом, был разрешен вопрос хаджи Оморова наследства, рухнули чаяния родственников и смолкли охочие до пересудов торговые люди. Паша была счастлива, старшая жена довольна, и жили они в хаджи Омеровом доме в полном согласии, будто мать и дочь.

Благополучное решение вопроса наследства хаджи Омера положило начало невыразимых страданий Кривого. Его горе из-за замужества Паши в ту зиму стало главной забавой завсегдаеяв трактира Зарии. Несчастный влюбленный пил горькую; господа без конца подносили ему, и за свои деньги каждый мог смеяться до слез. Бездельники передавали Кривому выдуманные весточки от Паши, уверяли его, что она день и ночь льет по нему слезы, сохнет и томится, скрывая от всех истинную причину своей тоски. А Кривой сходил с ума, пел, плакал, пространно и всерьез со всеми объяснялся и проклинал свою злосчастную судьбу, сотворившую его жалким бедняком.

— Послушай, Кривой, на сколько же ты лет моложе хаджи Омера? — принимался за Кривого кто-нибудь из гуляк.

— Почему я знаю! Да и что толку в том, что я моложе? — сокрушался тот.

— Эх, кабы по сердцу да по воле дело слаживалось, не иметь бы хаджи Омеру того, что он имеет, не сидеть бы Кривому там, где он сидит, — отзывается другой.

А Кривому не много надо, чтобы растаять и растрогаться. Ему то и дело подливают рому и убеждают в том, что он не только лучше и моложе, но, главное, «по сердцу» Паше, да, наконец, и не такой уж безродный бедняк, каким кажется и каким себя считает. Коротая длинные зимние вечера, бездельники, потягивая ракию, сочинили целую историю о том, будто бы отец Кривого, неизвестный турецкий офицер, которого он никогда не видел, где-то в Анатолии оставил своему незаконнорожденному сыну из Вышеграда, единственному своему наследнику, большое имение, но что тамошняя родня волю его вероломно нарушила; и теперь все дело в том, чтобы Кривой добрался до той далекой и богатой Бруссы и, разоблачив интриги и козни самозванных наследников, взял то, что ему принадлежит. А там, стоит ему потрянуть кошельком, и хаджи Омер со всем своим мнимым богатством будет у него в кармане.

Кривой молча слушает, пьет и вздыхает. Он глубоко страдает, и в то же время ему приятно чувствовать себя обобраным и обманутым и здесь, в городе, и в далекой прекрасной стране, откуда родом неизвестный ему отец. А бездельники тем временем принимаются за подготовку воображаемой его поездки в Бруссу. Праздная фантазия безжалостно изобретательна и предусмотрительна до мелочей. Однажды вечером в трактир приносят паспорт, якобы полученный для путешествия, в него под оглушительный гогот и циничные шуточки вносится описание особых примет выведенного на середину зала и обследуемого со всех сторон Кривого. В другой раз производится подсчет дорожных расходов, обсуждаются подробности путешествия и места ночевки. За этим тоже удаётся сократить добрую половину длинной ночи.

В трезвом состоянии Кривой возмущается; он и верит тому, что ему говорят, и не верит, но все-таки больше не верит. Точнее, пока он трезв, он ничему не верит,

но, опьянев, начинает делать вид, что верит. Ибо в хмельном тумане Кривой уже не пытается разобрать, где правда, а где шутка и ложь. Следом за вторым шкаликом рома он и правда ощущает дуновение благоухающего ветра, прилетающего оттуда, из далекой и недостижимой Бруссы, и тогда он видит ясно ее зеленые сады и белые строения. Сущая правда и то, что он обманут и обойден с рождения во всем — в семье, достатке и любви; что несправедливость, учиненная над ним, столь велика, что и бог и люди его должники. Ведь он совсем не тот, каким его привыкли видеть и за кого привыкли принимать. И с каждой новой чаркой неодолимая потребность сказать это людям все больше мучит Кривого, хоть он и сам чувствует, как трудно доказать другим бесспорность истины, столь очевидной для него и находящейся, однако, в разительном несоответствии со всеми обстоятельствами его жизни. И все-таки после первой же чарки и потом уж всю ночь напролет, захлебываясь словами, преуморительно жестикулируя и проливая пьяные слезы, он только и делает, что рассказывает свою историю. И чем больше он распаляется и горячится, тем больше хохочут и потешаются вокруг. Хохочут до изнеможения, до колик, рискуя свернуть себе челюсти, заражая друг друга повальным смехом, сладость которого не может сравниться ни с какими яствами и выпивкой. И, хохоча, забывают глухую зимнюю тоску и заодно с Кривым пьют горькую.

— Покончи с собой! — говорит Мехага Сарач, невозмутимый и бесстрастный тон его особенно действует на Кривого. — Не сумел у старика хаджи Омера Пашу отнять, незачем тебе и жить тогда. Покончи с собой, вот тебе мой совет, Кривой.

— Эх, покончи, покончи, — вздыхает Кривой. — Думаешь, мне самому не приходило это в голову? Да я сто раз хотел с моста в Дрину прыгнуть и сто раз что-то меня останавливало.

— Что ж это тебя такое останавливало? Не иначе как страх. Полные штаны, вот что тебя, Кривой, останавливало.

— Нет, нет! Не страх, ей-богу, не страх.

И под общий смех и вопли Кривой вскакивает с места, бьет себя в грудь кулаком, отламывает кусок из лежащего перед ним хлеба и тычет им в неподвижную физиономию невозмутимого Мехаги.

— Это ты видишь? Хлебом тебе клянусь, что не страх это, а... а...

И вдруг чей-то высокий и вкрадчивый голос затягивает песню:

Отзовись, мой светик ясный!

Все хором подхватывают ее, заглушая Мехагу с его неотступным:

— По-кон-чи!

И то неистовство, которого они добивались от несчастного, овладевает всей хмельной компанией и превращает остаток ночи в безудержную оргию.

В одну из февральских ночей пьяные гуляки вместе с истинной своей жертвой, Кривым, и сами довели себя до умопомрачения. Уже рассвело, когда они высыпали из трактира и, разминая затекшие члены, разгоряченные и шальные, двинулись всей гурьбой на мост, почти совсем еще безлюдный и обледенелый.

С дикими воплями и оглушительным хохотом, не обращая внимания на редких ранних прохожих, они затеяли спор о том, кто отважится пройти по узкой каменной ограде моста, сверкавшей тонкой коркой льда.

— Кривой, Кривой пройдет! — раздались хмельные голоса.

— Да где ему пройти! Куда там Кривому!

— Это мне-то не пройти? Мне? Да я, милый мой, такое могу, чего никому и не снилось, — вопил Кривой, с остервенением колотя себя в грудь.

— А вот и не пройти! Попробуй докажи!

— Клянусь аллахом, докажу!

— Пройдет Кривой! Пройдет!

— А вот струсит! Не пройдет!

И хотя и на широком мосту бражники едва удерживались на ногах и, чтоб не упасть, то и дело хватались друг за друга, бесшабашное удалство так и рвалось из их разверстых глоток.

За криками они и не заметили, как Кривой взобрался на каменный парапет. И вдруг увидели, как он, паря над ними в высоте, шаткой походкою пьяного переступает по обледенелой ограде.

Каменный парапет шириной был всего в три пяди. Кривой качался из стороны в сторону. Слева был мост, а на мосту, у него под ногами, пьяная ватага, следовав-

шая за ним по пятам с громкими возгласами, отзывавшимися в его ушах отдаленным гулом. Справа же зияла пустота, в бездонной глубине которой, где-то внизу, шумела невидимая река; густой и белый пар, курясь, вздымался клубами в студеное утро.

Замерев на месте, расширенными от ужаса глазами провожали редкие прохожие пьяного сумасброда, шедшего не по мосту, а по узким и скользким перилам, отчаянно балансируя руками над бездной. Как бы очнувшись от сна, иные бражники из тех, кто не успел еще пропить последние крохи рассудка, тоже застыли и, бледные от страха, следили за этой жуткой игрой. Остальные, не сознавая опасности, гурьбой валили вдоль ограды, громкими криками поощряя безумца, неверной поступью пьяного приплясывающего над пропастью.

Поднятый над толпой дерзостной выходкой, Кривой фантастическим призраком парил в высоте. Первые его шаги неуверенны и осторожны. Тяжелые башмаки то и дело скользят по каменным плитам, подернутым льдом. И Кривому чудится, что ноги норовят убежать от него, что пропасть под ним неодолимо тянет его вниз, что он вот-вот сорвется, что он уже падает. Но близость смертельной опасности открывала в нем и самому ему неизвестные источники новых возможностей и сил. Стремясь удержать равновесие, Кривой все живее скачет с плиты на плиту, все свободнее изгибаясь и удерживая равновесие. Он уже не идет, а неожиданно для себя самого легко и беззаботно приплясывает, словно под ним зеленая гладь лужайки, а не узкие перила обледенелой ограды. Да и сам он становится вдруг невесомым и легким, как бывает иной раз во сне. Его нескладное, изможденное тело освободилось от тяжести. Как на крыльях, реял, танцуя над бездной, Кривой. Реял под музыку, эта музыка вместе с безудержной удалью рождалась в нем самом, придавая особую ловкость и уверенность движениям. В полете танца Кривой проносился там, где никогда не прошел бы шагом. Позабыв про опасность, расставив руки, точно подыгрывая себе на мандолине, он скользил по парапету, выделявая мелкие коленца и напевая:

— Тири-дам, тири-дам, тири-дири-дири-дам, тири-дам... у-у-у, у-у-у, ух!

Задорный ритм, который задает себе Кривой, увле-

кает его все дальше по опасному пути. Приседая, Кривой наклоняет голову то влево, то вправо.

— Тири-дам, тири-дам... ух, ух!

Это уже не прежний шут, вознесенный вдруг над шумной ватагой своих собутыльников; и под ногами у него не гранит обледеневшей и скользкой ограды того самого моста, где тысячи раз, жуя всухомятку корку хлеба, он предавался мыслям о блаженной смерти в реке и засыпал в прохладе ворот. Нет, перед ним простерся дальний, несбыточный путь, в который каждый вечер его снаряжали в трактире под грубые шутки и издевательский смех и в который наконец он все же пустился. Перед ним та самая желанная стезя великих подвигов и в самом конце ее царственный город Брюсса, невиданное богатство законного наследника и где-то там же закатное солнце, освещающее красавицу Пашу с мальчиком,— его жену с его маленьким сыном.

Увлеченный танцем, Кривой огибает выгнутую часть ограды вокруг дивана и с такой же легкостью преодолевает вторую половину моста. В конце его, соскочив на дорогу, он ошалело озирается вокруг, удивленный, что проделанный им путь вывел его на твердый грунт столь хорошо знакомого Вышеградского тракта. Ватага пьяниц, с возгласами одобрения и шутками неотступно следовавшая за ним, тотчас же окружает его. К ним подбегают и те, которые отстали, пригвожденные к месту страхом. Кривого обнимают, треплют по плечам и по слинявшей феске. И все наперебой поздравляют.

— Браво, Кривой, браво, сокол ясный!

— Браво победителю!

— Рому для Кривого! — позабыв, что он не в трактире, с сильным испанским акцентом вопит хриплым голосом Санто Папо, раскинув руки, как распятый.

В кутерьме и гвалте ликования возникает мысль не расхотиться по домам, а продолжать пир во славу подвига Кривого.

Дети, которым было тогда лет по восемь-девять, по пути в свою дальнюю школу так и замерли в то утро на обледенелом мосту, пораженные невиданным зрелищем. Рты их в изумлении открылись, и из них вырывались струйки белого пара. Худенькие, укутанные, с книжками и грифельными досками под мышками, они в недоумении смотрели на эту непопятную для них забаву взрос-

лых, но легкий преображенный Кривой — давнишний их знакомец, — в волшебном полете смелого и радостного танца прошедший запретный путь, которым никогда никто не ходит, запечатлелся у них в памяти вместе с образом родного моста.

XVI

Два десятилетия прошло с тех пор, как первые, в желтый цвет окрашенные австрийские военные повозки проехали по мосту. Двадцать лет оккупации — это длинная вереница дней и месяцев. Каждый этот день и месяц сам по себе представляется временным и ненадежным, меж тем как взятые в целом они образуют наиболее устойчивый и длительный период мира и материального развития, когда-либо выпадавший на долю города, и составляют основную часть жизни того поколения, которое к моменту оккупации входило в пору своей зрелости.

Это были годы кажущегося благоденствия и верных, хотя и небольших заработков, когда матери, говоря о сыновьях, непременно добавляли «Дай ему бог здоровья и легкий кусок хлеба», когда жена долговязого Ферхада, не вылезавшего из нужды, а теперь за двадцать форинтов в месяц приставленного зажигать уличные фонари, с гордостью за мужа не уставала славить бога, «в щедрости своей сподобившего на жалованье и моего Ферхада!».

Так текли последние годы XIX века, не нарушаемые волнениями или крупными событиями, как течет привольно разлившаяся спокойная река в преддверии неведомого устья. Казалось, трагические ноты навсегда ушли из жизни европейских народов, равно как и из жизни города у моста. А если грозные раскаты порой и потрясали мир, то приглушенные их отзвуки или вовсе не достигали города, или за дальностью не задевали чувств здешних жителей.

Но вот однажды, летним днем, после многолетнего перерыва, в воротах снова появилось белое полотнище официального сообщения. Краткий его текст, заключенный в жирную черную рамку, оповещал о последовавшей в Женеве кончине ее величества императрицы Елизаветы, павшей жертвой гнусного покушения итальянского анархиста Луккени. Далее говорилось о негодовании и глубочайшей скорби народов великой Австро-Венгер-

ской монархии и содержался призыв в едином порыве верноподданных чувств еще теснее сплотиться вокруг престола, что послужит лучшим утешением монарху, пораженному столь тяжким ударом судьбы.

Воззвание, как некогда манифест генерала Филиповича об оккупации страны, был приклеен под белой плитой с высеченной надписью и, не вызывая ни сочувствия, ни правильного понимания, будоражил любопытство лишь тем, что речь шла об императрице, женщине.

По распоряжению властей в воротах несколько вечеров не было ни песен, ни шумного веселья.

Только одного человека в городе тяжело поразила весть о гибели императрицы. Это был Пьетро Сола, единственный в этих местах итальянец, подрядчик и каменщик, резчик и художник, короче, мастер на все руки, другого такого в городе не было. Мастер Перо, как все его называли, появился в городе с началом оккупации и обосновался здесь, женившись на некоей Стане, бедной девице не самой безупречной репутации. Это была рыжая, сильная, на две головы выше его женщина, снискавшая себе известность острым языком и тяжелой рукой, с ней предпочитали не связываться. Мастер Перо был, напротив того, щуплым; сутулым добряком с кротким взглядом голубых глаз и отвисшими усами. Прекрасный работник, мастер Перо и зарабатывал хорошо. Со временем он совсем здесь прижился и стал истинным вышеградцем и только, подобно Лотике, так и не смог совладать с грамматикой и выговором чужого языка. Золотые руки и покладистый характер завоевали ему всеобщую любовь горожан, а его атлетически сильная жена с материнской строгостью вела по жизни своего супруга, как малое дитя.

Возвращаясь с работы, серый от каменной пыли и выпачканный красками, мастер Перо прочитал воззвание, вывешенное в воротах, надвинул шляпу на самые глаза и судорожно прикусил мундштук своей трубки, которую никогда не выпускал изо рта. После чего при встрече с серьезными и уважаемыми людьми принялся доказывать, что, хотя он тоже итальянец, он ничего общего не имеет с упомянутым Луккени и его отвратительным злодейством. Люди утешали и успокаивали мастера, уверяя, что они, собственно, никогда ничего такого о нем и не думали, но он не унимался, продолжая заверять

всех и каждого, что он готов сквозь землю провалиться со стыда и что он в жизни своей цыпленка не прирезал, а куда уж там человека убить, женщину, да еще такую высокопоставленную. В конце концов беспокойство его перешло в навязчивую манию. Взрослые начали подтрунивать над ревностным стремлением мастера доказать свою непричастность к анархистам и убийцам. А мальчишки тут же нашли себе жестокую забаву. Укрывшись за оградами, они кричали вслед несчастному: «Луккени!» И мастер Перо, сдвинув шляпу на глаза и отмахиваясь от этих криков, словно от роя невидимых ос, бегом пулся домой, чтобы выплакать обиду на широкой груди своей супруги.

— Стыдно, стыдно, — всхлипывал щуплый Станин муж, — стыдно людям в глаза смотреть.

— Вот глупый, чего тебе-то стыдиться. Что итальянец императрицу убил? Пусть итальянский король и стыдится! Да кто ты такой, чтоб стыдиться?

— А вот я готов сквозь землю провалиться со стыда, — жаловался мастер Перо своей супруге, старавшейся растормошить его, влить в него уверенность и силу, чтоб он ходил по городу с высоко поднятой головой, ни перед кем не опуская взгляда.

Тем временем старики сидели в воротах и с неподвижными лицами и потупленными взорами слушали газетные сообщения с подробностями об убийстве австрийской императрицы. Служили они, собственно, лишь предлогом для общих рассуждений о судьбах венценосных особ и великих мира сего. Образуя центр кружка почтенных, любопытных и малосведущих турок — торговцев и мастеровых — вышеградский мудерис Гусейн-эфенди объяснял, кто такие эти анархисты.

Все такой же блестящий и лощеный, мудерис сохранил и поныне величавую важность осанки, отличавшую его еще двадцать лет назад, когда в этих же самых воротах он встречал первых австрийков вместе с муллою Ибрагимом и отцом Николой, давно уже нашедших вечное упокоение каждый на своем кладбище. Поседевшая борода мудериса все также тщательно и закругленно подстрижена; так же гладко и спокойно его лицо, ибо люди надменного нрава и черствого сердца долго не поддаются старости. Высокое мнение, которое всегда имел он о своей персоне, за эти два истекшие десятилетия возвы-

силось еще более. Знаменитый же сундук с книгами, основа его ученого авторитета, так и остался, к слову говоря, кладезем непознанной мудрости, а хроника города за эти два десятилетия обогатилась всего лишь четырьмя страницами, ибо чем большее значение с годами приобретала в глазах мудериса собственная личность и ведомая им хроника, тем менее достойными казались ему события окружающей жизни.

Неторопливо и размеренно, и вместе с тем торжественно и строго, лилась речь мудериса, как бы старавшегося вникнуть в неразборчивую рукопись и считавшего особу иноверной императрицы лишь поводом к самому предмету толкования. Толкование же это (впрочем, он заимствовал его у авторов древних фолиантов, полученных в наследство от своего бывшего наставника, distinguished ходжи Арапа) объявляло этих самых нынешних анархистов извечной скверной, которая от века не переводилась и не переведется на земле. Уж так, по воле единого господина нашего, устроена человеческая жизнь: как самой крошечной вещи нет без тени, так и в мире величие не обходится без зависти, милосердие без ненависти и на каждую драхму добра приходится две драхмы зла. Особенно это касается великих, благочестивых и знатных людей. Под сенью их славы возрастает палач и ждет, когда придет час расплаты, и рано или поздно он наступает.

— Вот хоть бы взять нашего земляка Мехмед-пашу, давно уже переселившегося в рай, — продолжал мудерис, указывая на мемориальную доску над извещением, — верой и правдой служил он трем султанам, превзошел своей мудростью Иосифа и благочестием своим и мощью воздвиг мост, на коем мы теперь сидим, но и он погиб от кинжала. Величие и мудрость не спасли его от рокового часа. Те, кому великий визирь мешал в осуществлении их планов — а это была большая и сильная партия, — сумели подстрекнуть к убийству безумного дервиша и вложили в его руки кинжал, дабы тот настиг визиря в ту самую минуту, когда он шел в мечеть молиться. В жалком рубище и с четками в руках дервиш кинулся под ноги свите, с притворным подобострастием кланя милостыню, а когда визирь полез в карман за мелочью, пронзил его кинжалом. Так погиб Мехмед-паша, мученик за веру.

Выпуская кольца дыма и перебегая взглядами с надписи мемориального гранита на белое сообщение в черной рамке, слушали мудериса собравшиеся. Слушали со всем вниманием, хотя и не каждое слово из его мудреных пояснений доходило до разумения почтенной публики. Однако там, за голубым табачным дымом, за высеченной надписью тариха и траурным сообщением они угадывали существование какой-то другой, неведомой им жизни — жизни головокружительных взлетов и падений, трагизм и величие которой непостижимым образом уравновешивают собой их мерное и однообразное жительство в воротах.

Но вот миновали траурные дни. И на мосту снова зазвучали громкие голоса, шутки, смех и песни. Разговоры про анархистов прекратились. А скорбное сообщение о смерти малознакомой и чужой царицы, меняя свой вид под воздействием солнца, дождя и пыли, в конце концов изодранное ветром в клочья, было разнесено по берегу и по воде.

Негодники-мальчишки некоторое время еще донимали мастера Перо кличкой Луккени, не понимая, что она значит и зачем они это делают, просто по безотчетной потребности детей изводить и мучить чувствительные и слабые создания. Но вскоре, увлеченные другой забавой, оставили мастера Перо в покое. Немало способствовала этому и Стана с Мейдана, поймав двух самых горластых проказников и задав им жестокую трепку.

А месяца два-три спустя про смерть императрицы и анархистов уже даже не вспоминали. Их безвозвратно поглотило широкое и ровное течение жизни, которая под конец девятнадцатого века казалась навсегда обузданной и укрощенной и порождала ощущение, что перед человечеством открывается эра мирного труда, простирающаяся в неоглядные дали будущего.

Неутомимая и безостановочная деятельность иноземной власти, тяготеющая над ней словно какое-то проклятие свыше и столь недоверчиво воспринимавшаяся местным людом, хотя именно ей они были обязаны своими заработками и благосостоянием, за истекшие двадцать лет многое изменила во внешнем облике города, одежде и привычках жителей. И было совершенно очевидно, что древний мост с его от века неизменным ликом тоже не устоит перед напором их активности.

Наступил 1900 год, знаменовавший собой конец счастливого столетия и начало нового, по мнению многочисленных предсказателей, обещавшего быть еще более счастливым, когда вновь прибывшие инженеры стали обследовать мост. Народ давно уже привык к такого рода происшествиям, даже малые дети знали, что произойдет, если одетые в кожанки люди с нагрудными карманами, ощерившимися цветными карандашами, начинают крутиться вокруг какого-нибудь строения или пригорка. Значит, на этом самом месте что-то будут сносить, возводить, прокладывать или перестраивать. Но вот что собираются делать с мостом, в глазах всего живого в городе являвшегося воплощением незыблемости и постоянства, как земля под ногами, как небо над головой, решительно никто сказать не мог. Инженеры между тем все осмотрели, вымерили, записали, после чего уехали, и дело позабылось. Однако в середине лета, когда вода в реке наполовину убыла, в город нагрянули подрядчики с рабочими и стали строить временки у моста для хранения инструмента. И чуть ли не опережая слухи о предстоящем ремонте моста, опорные быки оплела паутина лесов, а на мосту подняли голову лебедки; они опускали и поднимали вдоль быков подвесную деревянную люльку с рабочими, останавливая ее возле трещин и стыков, проросших травой.

Малейшая полость замазывалась, трава выдиралась, птичьи гнезда удалялись. Покончив с этой частью работы, строители взялись за восстановление подмытых оснований. Отведенная запрудами вода обнажала почерневшие, источенные камни быков и дубовые сваи, отшлифованные и окаменевшие в воде, где они пролежали три века и тридцать лет. Неутомимые лебедки ящик за ящиком спускали на дно цемент и гравий, и три средние опорные быка, принявшие на себя основной напор стремнины и пострадавшие более других, были запломбированы у основания подобно испорченным коренным зубам.

Тем летом было прервано обычное течение жизни на мосту и в воротах. Гужевые подводы и лошади, доставлявшие цемент и песок, запрудили округу. В ушах звенело от гама многих голосов и команд десятников. В самих воротах стоял дощатый сарай.

С неодобрительным и грустным изумлением приглядываясь к строительным работам на мосту, горожане

или отшучивались, или без слов отмахивались рукой и шли дальше своей дорогой, унося в душе убеждение, что всю эту возню, точно так же, как и все прочее, чужеземцы затеяли только затем, что им необходимо что-то делать и по-другому и без этого они просто не могут. Не высказанное вслух, это чувство разделялось всеми.

Люди, привыкшие проводить свое время в воротах, теперь сидели перед заведениями Лотики и Зарии или возле лавок, прилегавших к мосту. Как бы пережидая ливень или другой каприз погоды, в предвкушении момента, когда мост избавится наконец от напасти, завсегда и ворот потягивали здесь кофе и вели свои бесконечные беседы.

Возле лавки Али-ходжи, зажатой между «Каменным ханом» и трактиром Зарии, откуда мост был виден сбоку, обосновались спозаранку, судача обо всем на свете, но больше всего о мосте, двое досужих турок.

Безмолвный и хмурый Али-ходжа прислушивался к их болтовне, задумчиво поглядывая на мост, кишевший как муравейник.

За истекшие двадцать лет Али-ходжа трижды женился. Теперешняя его жена гораздо моложе его, чему городские злопыхатели приписывают плохое настроение, не отпускавшее ходжу до полудня. От трех жен у Али-ходжи было четырнадцать выживших детей. Дом его гудел и ходил ходуном от этой оравы, и в торговых рядах утверждали, что Али-ходжа даже по имени не знает всех своих детей. На этот счет была даже придумана история о том, как один из многочисленных его отпрысков подошел на улице к отцовской руке, а ходжа его погладил по головке и сказал: «Ну, здравствуй, здравствуй! А ты чей?»

С виду ходжа почти не изменился. Разве что немного пополнил да с лица сошла багровость. И живости заметно поубавилось у ходжи, и теперь, возвращаясь домой, медленнее преодолевал он подъем на Мейдан, ибо с некоторых пор даже и во сне сердцем маялся. Из-за этого уж он и к лекарю уездному ходил, д-ру Моравскому, единственному из всех переселенцев, кого он признавал и уважал. От доктора он получил капли, они хоть и не исцеляли от самого недуга, но помогали его переносить, и узнал от него же латинское название своей болезни: *angina pectoris*.

Ходжа был одним из немногих в городе турок, который не принял ничего из новых веяний, привнесенных иностранцами, ни в манере одеваться, ни в понятиях, ни в речи, ни в способе торговли и ведения дел. С тем же яростным упорством, с каким некогда он ратовал против безрассудного сопротивления оккупантам, ходжа долгие годы непримиримо боролся со всем швабским и иноземным, что неостановимо входило в жизнь. Из-за этого он не раз шел на скандалы, а бывало, и штрафы платил. Сейчас он уже немного устал и разочаровался. Но в целом остался таким же, каким он был в те далекие дни, когда вел на мосту словесные баталии с Караманлией, то есть человеком свободомыслящим и независимым всегда и во всем. И только, может быть, его прямота, ставшая нарицательной, обернулась язвительностью, а бывалая воинственность — мрачной озлобленностью, не находившей выхода в самых резких словах и утихавшей лишь в тишине уединения.

С некоторых пор все чаще Али-ходжа впадал в состояние самоуглубленной сосредоточенности, когда все ему были в тягость, все раздражали — и бездельники лавочники, и соседи, и приятели, и молодая жена, и шумная орава детей, сотрясавшая дом. От детей он до света торопился убраться в свою лавчонку и открывал ее раньше всех в торговых рядах. Здесь ходжа совершал первую утреннюю молитву, сабах. Сюда же ему приносили и обед. А днем, как только прискучат ему разговоры, покупатели и суета, Али-ходжа поднимал ставни и забивался в маленькую каморку в глубине лавки, прозванную им «гробом». Укромное убежище Али-ходжи представляло собой узкое, низкое и полутемное помещение; протиснувшись в него, ходжа почти целиком заполнял его собою. Тут было низкое деревянное возвышение, предназначенное для сидения на нем по-турецки, и несколько полок с пустыми коробами, стертými гирями и прочим хламом, сваленным сюда за ненужностью. Затворившись в мрачной каморке, Али-ходжа вслушивался в шум базарной толчеи, конский топот и крики продавцов, проникавшие к нему сквозь тонкие стены. Казалось, эти звуки доходили до него с того света. Временами он слышал ехидные выпады и шутки на свой счет, которые отпускали прохожие при виде его закрытой в неурочный час лавки. Но и они оставляли ходжу безучастным, ибо все

эти люди были для него лишь неугомонившимися до поры до времени покойниками; и поэтому он тут же все, что слышал, забывал. Здесь, среди этих дощатых стен, он был совершенно огражден своими мыслями от вторжения внешнего мира, который, по мнению Али-ходжи, давно испортился и катился по наклонной плоскости. Здесь, наедине с самим собой, он предавался размышлениям о судьбах человечества и превратностях истории и забывал свои всегдашние заботы: торговлю, долговые обязательства, нерадивых издольщиков, свою слишком молодую жену, чья молодость и красота с поразительной быстротой превращались в бессмысленную и злобную вздорность, и несметную орду детей,— содержать ее было бы накладно и для царской казны, в нем же она вызывала только ужас.

Передохнув и собравшись с силой, ходжа снова откидывал ставни и открывал лавку, словно откуда-то вернулся.

Вот и теперь он слушал пустую перепалку двух соседей.

— Видал, что время-то и божья воля творят: камень и тот точат; все равно что башмаки чулок. Но австрияк не поддается, сейчас давай залатывать, где прорвалось,— разводил философию первый, известный лодырь из базарных рядов, потягивая кофе Али-ходжи.

— Ну, уж это ты, брат, брось,— пока течет Дрина, до тех пор быть и мосту; и что положено ему стоять, он и так простоял бы нетронутый. Только шум один да издержки,— возражал ему второй, по роду занятий ничем не отличавшийся от первого.

Долго бы еще продолжался их пустопорожний спор, если бы их не прервал Али-ходжа.

— А я вам скажу, что зря они мост тревожат; вот погодите, на пользу ему это не пойдет; что сегодня поправят, завтра разрушат. Покойный мулла Ибрагим, бывало, говорил, какой великий грех живую воду трогать, и отводить ее, и менять ее ход, хотя бы на один день или на час,— он это вычитал в книгах. Но австрияку жизни нет без того, чтоб не тюкать молотком и не ковыряться в чем-нибудь. Хоть бы и в глазу! Да он бы тебе всю землю вверх дном перевернул, если б силы позволили.

Первый из досужих гостей принимается доказывать ходже, что затеянный австрияком ремонт в конце кон-

цов ничем мосту не повредит. И если не продлит его век, то и ущерба не принесет.

— Откуда тебе знать, что не принесет? — в злобной ярости обрывает его ходжа. — Кто тебе это сказал? Да знаешь ли ты, что слово рушит города, а тем более такой бедлам. Словом создан весь божий мир. Если бы в тебе было столько же понятия и учености, сколько их тебе сейчас недостает, знал бы ты тогда, что это не простое строение, как все прочие, а из тех, что возводятся благословением божьим и благочестием; возводят их одни времена и люди, а рушат другие. Знаешь, как говорили старые люди про «Каменный хан»: равного ему нет в царстве! И кто его разрушил? По великому искусству и прочности, с какими он сложен был, ему бы тысячу лет стоять; а он, глядь, растаял, будто восковой, и теперь на том месте, где он стоял, свиньи хрюкают да австрийские трубы заливаются.

— Так вот я и считаю... — оправдывается первый гость.

— Плохо считаешь, — перебивает его ходжа. — Кабы твоим умом держался мир, так и строить ничего бы не строили, и рушить ничего бы не рушили. Слаб ты в таких делах разбираться. Только вот помяните мое слово, не к добру все это и не предвещает ничего хорошего ни мосту, ни городу, ни всем нам, на чьих глазах все это совершается.

— Верно, верно. Ходже лучше нашего знать, каков он, этот мост, — вступает в спор второй гость, ехидно намекая на муки, некогда принятые ходжой в воротах.

— Можешь в этом не сомневаться, — с невозмутимой убежденностью отзывается ходжа и, совершенно успокоенный, приступает к одной из своих бесконечных историй, которые, хоть и не без усмешки, но все любили слушать, и даже по несколько раз.

— Когда-то покойный отец рассказывал мне, тогда еще ребенку, слышанное им от шейха Дедии предание о том, как появился на этом свете первый мост. Когда всемогущий аллах сотворил мир, земля была ровной и гладкой, что твой лучший поднос. Невмоготу стало шайтану — завидовал он божьему дару, полученному людьми. И пока еще земля была такой, какой она вышла из-под господней руки, — податливой и мягкой, словно необожженная плошка, шайтан подкрался к ней и искоря-

бал когтями лик божьего мира, стараясь впитаться в него как можно глубже и больней. Таким-то вот образом, гласит предание, образовались на земле глубокие реки и пропасти, отделившие один край от другого, разъединившие людские племена, мешая людям передвигаться по свету, созданному всевышним быть садом для прокормления и проживания людей. Сильно опечалился аллах, увидев, что натворил нечистый, но, поскольку сам не мог прикоснуться к тому, что тот опоганил, он послал своих ангелов, чтоб те облегчили участь жителей земли и пособили им в горе. Тронутые страданиями несчастных, стоящих перед реками и пропастями и напрасно перекликавшихся, не имея возможности их перейти и заняться мирными делами, посланники божьи распротерли крылья, и люди стали по ним переходить с одного берега на другой. Так они и научились от ангелов божьих, как надо строить мосты. Вот почему после устройства источника нет более богоугодного дела, чем построить мост, и нет более страшного греха, чем его разрушить, ибо у всякого моста, начиная от бревна через горный поток и кончая этим вот сооружением Мехмед-паши, есть свой ангел-хранитель, и этот ангел оберегает его и хранит весь отпущенный ему господом срок.

— Э, на все божья воля, на все! — почтительно во-
сторгались гости.

Так, в празднословии коротали они время, убивая длинный день, заметно подвигавший работы на мосту, откуда до них доносился скрип колес и грохот механических мешалок, месивших цемент и песок.

Последнее слово ходжа, как всегда, оставлял за собой, ибо тягаться с ним в словесной перепалке никому было не по плечу, а тем более этим ленивым пустозвоном, что прихлебывали сейчас его кофе, хорошо зная, что и завтра часть своего нескончаемого дня они проведут все в той же лавке.

Каждому, по делу или мимоходом завернувшему к его порогу, Али-ходжа внушал те же самые мысли. И горожане с любопытством слушали его, посмеиваясь внутренне, но ни один из них не разделял его сомнений, пессимизма и дурных предчувствий, причину которых и сам он толком не мог объяснить или подкрепить доказательствами. Впрочем, все давно привыкли считать ходжу чудаком и упрямцем — на склоне лет, угнетенный за-

труднительными обстоятельствами и новой молодой женой, он видел окружающее в черном свете и склонен был всему придавать зловещий смысл.

Городские жители по большей части оставались равнодушными к работам на мосту, как и ко всему прочему, что вот уже несколько лет делали чужеземцы в самом городе и его окрестностях. Многие подрабатывали переноской песка, леса или доставкой провианта строителям. И только детей постигло жестокое разочарование, когда рабочие на их глазах влезли по лесам в то черное отверстие в среднем опорном столбе, которое вело, по общему их убеждению, в «келью Арапа». Оттуда вынесли и высыпали в реку бесчисленные корзины птичьего помета. На том дело и кончилось. Арап не появился. И ребятишки напрасно часами простаивали на берегу, опаздывая в школу, в ожидании того момента, когда черный человек покажется из темноты и даст такого тумака первому, кто попадется ему под руку, что тот со своей люльки полетит кубарем в реку. С досадой кое-кто из мальчишек пытался убедить товарищей, что будто бы такое уже произошло, однако рассказы их звучали неубедительно. Рассказчиков поднимали на смех. Даже клятвы не помогали.

Едва закончились работы на мосту, началась прокладка водопровода. До сей поры город обходился источниками, выложенными деревом, лишь в двух из них на Мейдане была чистая родниковая вода; все остальные питались водами Дрины или Рзава, мутнели, стоило замутиться одной из двух этих рек, а летом в жару, когда реки мельчали, совсем пересыхали. Инженеры обнаружили, что эта вода вредна для здоровья. Новую воду надо было вести с гор из-под самого Каберника, с той стороны Дрины, так что водопровод приходилось прокладывать по мосту.

И снова на мосту поднялся шум и грохот. Снимали плиты, устраивали траншеи для водопроводных труб. Жгли костры — на них булькал вар, растапливался свинец. Трепалась пакля. И люди снова с недоверием и любопытством глазели на работы. Морщась от дыма, доходившего через площадь до его лавки, Али-ходжа обливал негодованием эту новую «поганую» воду, пропущенную сквозь железные трубы и не годную ни для питья, ни для святого омовения, ни коням, если бы только не

перевелись на свете чистопородные кони, какие были в старые времена. Досталось от него и Лотике, поспешившей провести эту воду в гостиницу. Каждому, кому только мог, он твердил о том, что и водопровод не что иное, как еще один предвестник бедствий, грозящих рано или поздно обрушиться на город.

Между тем летом следующего года, как и все прежние предприятия иноземцев, прокладка водопровода благополучно завершилась. Обильная и чистая вода, независимо от засухи и наводнений, поступала из новых железных колонок. Многие провели ее во двор, а некоторые и в дом.

Той же осенью началось строительство железной дороги. Дело гораздо более серьезное и затяжное, чем все предыдущие. Оно, правда, на первый взгляд не связано было с мостом. Но это только так казалось.

Это была ветка одноколейки, именуемая в газетах и официальной переписке «восточной железной дорогой». Ей предстояло связать Сараево с границей Сербии у Вардиште и с границей турецкого Новопазарского Санджака в Уваце. Город у моста должен был стать самой важной станцией.

В то время много говорили и писали о политическом и стратегическом значении этой дороги, о предстоящей аннексии Боснии и Герцеговины, о дальнем прицеле Австро-Венгрии — через Санджак выйти к Салоникам и прочих сложных проблемах, возникавших в связи с этим. Но здесь, в городе, дело пока что представлялось в совершенно безобидном и даже привлекательном свете. Новые предприниматели, новые толпы рабочих, новые источники заработков.

На этот раз все делалось с большим размахом. Четыре года длилась прокладка 166 километров железнодорожного полотна, на этом пути было около сотни мостов и виадуков, около 130 тоннелей, и обошлось все это предприятие в 74 миллиона крон. Произнося эту немислимую цифру, люди устремлялись взором в туманную даль в тщетной попытке разглядеть там громадную гору денег, не поддающихся никакому подсчету и обозрению. «Семьдесят четыре миллиона!» — внушительно и со знанием дела произносили вышеградцы, как будто это им, в собственные руки, отсчитывали эту сумму наличными. Рабское преклонение перед цифрами и благоговение пе-

ред статистикой постепенно овладевало даже этим захолустьем, где жизнь на две трети все еще шла на восточный лад. «Семьдесят четыре миллиона». «Почти полмиллиона, точнее 445782,12 кроны за каждый километр». Так услаждал народ свои уста громкими числами, не прибавлявшими ему ни богатства, ни разума.

При сооружении дороги народ впервые почувствовал, что нынешние заработки не чета легким, верным и не хлопотливым заработкам первых лет оккупации. Последние годы стали подсакивать цены на товар и жизненные блага. А, подскочив, ниже уже не опускались и по прошествии более или менее длительного срока подсакивали вновь. Заработки, правда, были, и поденная плата оставалась довольно высокая, однако же она, по крайней мере, на двадцать процентов отставала от действительных потребностей. Казалось, шла какая-то азартная и вероломная игра, и эта игра все чаще и все большему числу людей отравляла существование, но все же безнаказанно процветала, ибо исходила из тех же далеких неведомых и непостижимых источников, откуда шли благоденствия предшествующих лет. Многие из тех, что разбогатели сразу после оккупации, пятнадцать — двадцать лет назад, сейчас разорились и посылали сыновей работать на сторону. Правда, кое-кто и наживался, но и у этих новых тузов деньги, как ртуть, в руках не держались, они казались какой-то вражьей силой, постоянно грозившей оставить владевшего ими с пустыми руками и запятнанной честью. Изнанка богатства и легкой жизни, с ним сопряженной, проступала во всей своей неприглядности, обнаруживая перед всеми, что и деньги, и сами их владельцы всего лишь ставка в грандиозной и прихотливой игре — правила ее никто толком не знает и исход никто не может предсказать. Незаметно втянутые в нее, все поневоле принимают в ней участие, ставя на карту меньше или больше, но рискуя при этом одинаково.

На четвертый год летом по городу прошел первый поезд, украшенный гирляндами зелени и флагами. По этому поводу было большое народное гулянье. Для рабочих устроили обед и выставили бочки пива. Инженеры фотографировались на фоне первого локомотива. Проезд в тот день был бесплатный. («Один день за спасибо, зато весь век за звонкую монету», — ехидничал Али-ход-

жа над теми, кто воспользовался этим даровым проездом.)

С вводом в действие железной дороги обнаружилось подлинное ее значение для дальнейшей судьбы моста и жизни города в целом. Дорога шла вдоль Дрины по высеченному уступу прибрежных круч Мейдана, затем огибала город и выходила на равнину у последних домов на берег Рзава. Здесь была станция. Итак, товарное и пассажирское сообщение с Сараевом, а через Сараево и со всем западным миром находилось отныне на правом берегу Дрины. Мертвое затишье воцарилось на левом берегу, а вместе с ним и на мосту. Теперь по мосту проходили только жители левобережных селений, крестьяне со своими низкорослыми, навьюченными лошадами или воловьими телегами, да конные упряжки тащили на станцию лес с дальних разработок.

Проезжий тракт, от моста поднимавшийся через Лиску на Семеч, а оттуда через Гласинац и Романию в Сараево, оглашаемый, бывало, песнями возчиков и звонком дорожных колокольчиков, постепенно зарастал травой и низким зеленым мохом, сопровождающим медленное умирание дорог и строений. Никто теперь по нему не ездил, не провожал уезжающих до моста, в воротах никто не прощался, не вскакивал в седло, не выпивал уже верхом заветный посошок.

Возчики, верховые лошади, крытые пролетки и старомодные коляски, доставлявшие некогда путников в Сараево, пребывали в бездействии. Теперь дорога в Сараево вместо двух полных дней с ночевкой в Рогатице занимала всего четыре часа. Совершенно не укладываясь в сознании, эти цифры в суесловном возбуждении тем не менее на все лады повторялись людьми, занятыми праздными подсчетами выгод и экономии, приносимой скоростью. На первых пассажиров, что вечером того же дня, справившись в Сараеве с делами, возвращались поездом домой, смотрели с изумлением и восторгом.

Как всегда и во всем, исключение составлял Алиходжа, с одержимостью маньяка шедший против течения. Тем, кто восторженно превозносил новые темпы жизни и подсчитывал сэкономленное время, усилия и деньги, он мрачно отвечал, что важно не сколько часов человек сэкономит, а на что он истратит это сэкономленное время; если же он употребит их во зло, лучше бы их у него и вовсе

не было. Главное, доказывал он, не в том, быстро ли идет человек, а в том, куда он идет и по какому делу, и что поэтому быстрота далеко не всегда благо.

— Если идешь в ад, лучше идти помедленнее, — язвительно наставлял Али-ходжа одного молодого торговца. — Круглым идиотом надо быть, чтобы воображать, будто австриец для твоего блага старается, в расходы входит и свою машину запускает. Ты себе знай ездись, а что за этим кроется, кого и что, кроме тебе подобных, привозит и увозит австрийская машина, — это тебе невдомек. Слаб ты в таких делах разбираться. Езди себе на здоровье, разъезжай, сколько влезет, боюсь только, как бы тебе вся эта езда в один прекрасный день боком не вышла. Не завез бы как-нибудь тебя австриец в такие места, куда и в мыслях у тебя не было охоты забираться.

И, едва заслышав гудок паровоза, пересекающего кручу над «Каменным ханом», Али-ходжа хмурился, шептал невнятные слова и, глядя из своей лавки на каменный мост, раскручивал бесконечную нить своей мысли о том, что если одним словом возводятся величайшие сооружения, то одним паровозным гудком могут быть нарушены мир и покой целых городов со всем их населением. Так, по крайней мере, казалось ему, много пожившему, немощному и быстро стареющему человеку.

Но в этом, как и во всем остальном, несговорчиво твердоголовый ходжа был совершенно одинок. Правда, крестьяне тоже с трудом привыкали к железной дороге. И хотя и пользовались ею, никак не могли освоиться с ней и взять в толк ее нрав и обычаи. До зари спустившись с гор, они на рассвете приходили в город и уже у первых лавчонок пытали всех встречных тревожным вопросом:

— А машина-то что, еще не отошла?

— Опомнись, родимый, давным-давно ушла, — бессовестно лгали праздные лавочники.

— Нет, ей-богу, ушла?

— Завтра другая пойдет.

Выспросив все это на ходу, крестьяне торопились дальше, подгоняя криком замешкавшихся женщин и детей.

На станцию они прибегали бегом. Тут кто-нибудь из служащих успокаивал их, объясняя, что их обманули

и что до отхода поезда осталось еще добрых три часа. Переведя наконец дух, крестьяне усаживались под стеной вокзала, развязывали котомки, закусывали, судачили и дремали, но были постоянно начеку и, едва слышав гудок товарного состава, вскакивали, хватая свои разбросанные пожитки и вопя:

— Поднимайся! Машина уходит!

Железнодорожный служащий, бранясь, гнал их прочь с перрона:

— Сказано вам, что еще три часа до отхода? Куда лезете? Ополоумели, что ли?

Крестьяне возвращались на старые места, садились, но недоверчивая подозрительность по-прежнему не оставляла их. И первый же отдаленный гудок или просто сомнительный шум заставляли их снова вскакивать и кидаться гурьбой на перрон, откуда их снова выпроваживали и они снова погружались в оцепенелое ожидание, по-прежнему чутко улавливая все звуки вокзальной жизни. Ибо в глубине души, вопреки всем уверениям, эта самая «машина» представлялась им не чем иным, как хитроумной, проворной и коварной австрийской чертовщиной, так и норовящей улизнуть из-под носа у зазевавшегося простака и о том только и мечтающей, как бы одурачить деревенского пассажира и укатить без него.

Но все это, конечно, были мелочи — и бестолковость крестьян и брюзжание строптивного Али-ходжи. Подтрунивая над ними, люди тем временем быстро привыкали к пользованию железной дорогой, как и ко всем новым благам и удобствам. Они по-прежнему, как спокон века, гуляли на мосту и сидели в воротах, переходили по нему, когда была нужда, но в далекий путь отправлялись тем способом, на который их толкали новые времена. И быстро и легко примирились с мыслью о том, что мост утратил былое свое значение связующего звена между Востоком и Западом и больше уже не ведет в большой мир. Вернее всего, люди в большинстве своем об этом совсем не задумывались.

А мост и дальше стоял такой же, как прежде, сверкая вечной юностью светлого замысла и величественных, добрых творений человеческих рук, не ведающих старости и перемен и не подверженных, казалось, судьбе проходящих явлений этого мира.

Но все же и здесь, по соседству с мостом, в городе, чья судьба так тесно была связана с мостом, созревали плоды новых времен. Наступил 1908 год, и какая-то злобная тревога с той поры нависла над городом.

В сущности, все это началось гораздо раньше: примерно с проведения железной дороги, то есть в первые годы нового столетия. Вместе с ростом цен и непостижимой, но чувствительной свистопляской вверх и вниз скачущих бумаг, дивидендов и денег все больше стали говорить о политике.

До сих пор лишь совершенно близкие и понятные вещи занимали сознание городских обывателей — собственные доходы и удовольствия, дела семейные и околоточные, городские и религиозно-общинные, ограниченные кругом непосредственных интересов каждого, и никто не пытался всматриваться в будущее или оглядываться на прошлое. Теперь же в беседах обывателей все чаще затрагивались вопросы, лежащие далеко за пределами этого круга. В Сараеве появились религиозные общества, сербские и мусульманские национальные партии и организации, вслед за тем и в Вышеграде образовались их отделения. Доходили сюда и новые газеты, основанные в Сараеве. Создавались читальни и певческие общества. Сначала сербские, затем мусульманские и, наконец, еврейские. Гимназисты и студенты из университетов Вены и Праги, приезжая на каникулы, привозили домой новые книги, брошюры и небывалую вольность речей. Пример приезжей молодежи сильно подорвал в глазах подрастающего поколения местных граждан устой векового, с детства внушаемого старшими завета — держать язык за зубами, сначала подумать, потом говорить. Возникали новые религиозные и национальные организации с широким и смелым размахом идей, а вслед за ними и рабочие. Слово «стачка» впервые прозвучало тогда в городе. Призадумались молодые мастеровые. Непонятные для посторонних ушей разговоры вели они в воротах вечерами, а по рукам у них ходили тонкие брошюрки без обложек с такого рода заголовками: «Что такое социализм?», «Восемь часов — труду, восемь часов — отдыху, восемь часов — образованию», «Задачи и пути мирового пролетариата».

Крестьянам разъясняли аграрный вопрос, говорили об арендных отношениях и помещичьих землях. С видимым усилием стремясь запомнить услышанное, чтобы после поразмыслить обо всем на свободе или обсудить со своими, крестьяне хмурили лбы и, шевеля чуть приметно усами, косили взглядом в сторону.

Немало было в городе людей, и теперь еще выжидательно помалкивавших или даже пытавшихся пресечь новомодную дерзость мыслей и речей. Но гораздо больше было тех, в особенности среди малоимущей и еще не закабаленной жизнью молодежи, кто радостно встречал дыхание нового, находя в нем отклик затаенным и подавленным потребностям своей души и обещание внести в их бедную впечатлениями жизнь что-то значительное и возбуждающее. Чтение речей и прокламаций, протестов и меморандумов религиозных и партийных организаций внушало отрадное чувство раскрепощения, распаханувшихся горизонтов, освобожденной мысли и объединения собственных сил с силами остального человечества, о котором раньше и не помышляли. Совсем с иных позиций смотрели они теперь и друг на друга. Словом, жизнь, казалось, убеждала людей в том, что, становясь привольнее и богаче и отодвигая границы запретного и недоступного, она открывает заманчивые перспективы невиданных возможностей и для тех, кто прежде был лишен их начисто.

Довольствуясь, в сущности, все теми же благами и привычным окружением, но обретя зато известный кругозор, возвышающий его над буднями городской повседневности, обыватель упивался волнующей иллюзией вольности и всесия. Пристрастия его остались неизменными, так же как привычный уклад жизни и формы общения, но в древний ритуал бесконечного сидения с трубкой за кофе и ракией все чаще вкрадывались идейные споры, смелые словечки и новомодная манера обращения. Люди стали спланиваться и разъединяться, сходиться и расходиться, руководствуясь новыми понятиями и критериями, однако в отношения свои вкладывали силу исконных страстей и древних инстинктов.

Отголоски далеких событий внешнего мира теперь все слышнее звучали в городе. Вслед за переворотом 1903 года на сербском престоле последовал государственный переворот в Турции. Вышеград, расположенный на

самой границе Сербии, в непосредственной близости от турецкой границы, глубокими корнями связанный с тем или другим из этих государств, откликнулся на эти перемены всплеском волнений и толков, воздерживаясь, однако, от громогласного выявления истинных своих умонастроений и чувств.

В городе усилился нажим и активность властей, вначале гражданских, а затем и военных. И притом в совершенно новой форме: если раньше объектом расследования были поступки и поведение граждан, то ныне под контроль стали брать высказывания и умонастроения людей. В селах пограничной полосы множились жандармские посты. В городскую комендатуру прибыл офицер разведывательной службы, родом из Лики, полиция хватала и штрафовала молодежь за всякое неосмотрительное слово и пение запрещенных сербских песен. Подозрительные иностранцы высылались из города. Среди самих же горожан на почве расхождения во взглядах вспыхивали драки и скандалы.

Железнодорожное сообщение ускорило не только переезд и перевоз товаров; оно словно каким-то образом подстегивало ход событий. Однако жители города, сами захваченные нарастающей исподволь скоростью, пока что этого не замечали. Народ привык к волнующим событиям; перестав быть редкостью и исключением, они превратились в повседневную пищу и насущную потребность. Вся жизнь устремилась куда-то, ускоряя бешеный темп,— так к краю порога несется поток и низвергается с высоты водопадом.

Всего четыре года минуло с той поры, как первый поезд прошел через город, и вот в один октябрьский день на мосту, незадолго до полудня, под самой плитой с турецкой надписью, снова появилось большое белое объявление. Приклеил его Драго, служитель уездной управы. Вслед за ребятишками и праздными зеваками, первыми столпившимися у объявления, потянулся к нему и прочий люд. Грамотные читали его вслух, спотыкаясь на иностранных и заковыристых словечках. Остальные молча слушали, упершись взглядом в землю, и, постояв немного и послушав, отходили, по-прежнему не поднимая глаз и лишь смахнув рукой с усов и бороды как бы готовое сорваться восклицание.

Отстояв полуденную молитву, на мост пришел и Али-ходжа, палкой подперев дверь в знак того, что лавка закрыта. На сей раз воззвание было написано не по-турецки, и ходжа не мог его прочесть. Один малец, бубня по-школьному и запинаясь, читал вслух:

— «Воззвание

к народам Боснии и Герцеговины.

Мы, Франц-Иосиф I, император Австрийский, король Чешский и прочая, и прочая и апо-апостольский король Венгерский населению Боснии и Герцеговины:

Когда одним поко-поколением ранее наше войско перешло границы ваших земель, вам...»

Али-ходжа почувствовал, как зачесалось правое ухо под белой чалмой, и взорам его, словно все это было вчера, предстали сцены яростной схватки с Караманлией и учиненного над ним насилия: красный крест, плывущий в слезах, на рукаве австрийского солдата, бережно снимающего его с гвоздя, и белый лист тогдашнего обращения к народу.

Парнишка читал дальше:

— «...было дано заве... заверение в том, что не врагом, а другом явились они к вам, преи... преисполненным твердой решимости устранить бремя невзгод, долгими годами угнетавшее ваше оте... оте... отечество.

Заверение, данное вам в тот исто... исторический моме... моме...н...т...»

Но тут незадачливый чтец, обшиканный со всех сторон, замешался в толпе, покраснев и сконфузившись, а его место с готовностью занял неизвестный человек в кожаном пальто и зачастил бойко и гладко, словно молитву, давным-давно вытверженную на память:

— «Заверение, данное вам в тот исторический момент, честно нами выполнено. Наше правительство всегда настойчиво стремилось, укрепляя законность и мир, привести отсчество ваше к светлому будущему.

И теперь мы с удовлетворением можем заявить: семена, брошенные в борозды свежей пахоты, поднялись дружными всходами. И вы, должно быть, и сами ощутили благотворность порядка и законности, пришедших на смену произволу и насилию, повышения жизненного уровня, облагораживающего влияния просвещения и надежной защиты прочной власти, дающей возможность каждому наслаждаться плодами своего труда.

Неуклонное продвижение вперед намеченным путем является нашим всеобщим долгом.

Имея перед собой эту цель, мы посчитали своевременным предоставить жителям обеих земель новое доказательство нашей веры в их политическую зрелость. Желая поднять политическую жизнь Боснии и Герцеговины на более высокую ступень, мы приняли решение — дать вышепоименованным двум землям конституционные установления, отвечающие специфике этих земель и их совместным интересам, и таким образом создать законную основу, обеспечивающую им полноту представительства.

Да будет услышано и ваше слово при обсуждении вопросов, касающихся судеб вашей родины, которая в неприкосновенности сохранит за собой автономное самоуправление.

Первейшим условием, однако, для проведения в жизнь намеченной программы государственной реорганизации является необходимость четкой формулировки, определяющей правовое положение обеих этих земель. Исходя из этой предпосылки и памятуя об исконных связях, с давних времен правления достославных наших прадедов существовавших между этими странами и венгерским престолом, нами предусматривается распространение прав нашего суверенитета на Боснию и Герцеговину, так же как и прав потомственного престолонаследия, являющегося неотъемлемой привилегией нашего царствующего дома.

Таким образом, население обеих земель станет творцом великих преобразований, которые явятся следствием окончательного закрепления старинных дружественных уз. Новый правопорядок послужит верной порукой тому, что с этих пор культура и достаток навечно обогатятся под кровом вашей родины.

Боснийцы и герцеговинцы!

Среди бесчисленного множества обременяющих нас забот забота о вашем материальном и духовном благоденствии и впредь не будет последней для нашего престола. Светлые идеалы всеобщего равенства перед лицом закона: участие в законодательстве и государственном управлении и гарантированное полноправие всех типов религиозных, языковых и национальных разновидностей — осыплют вас щедротами возвышенных своих даров.

Девиз свободы личности и всеобщего блага будет сиять нам путеводною звездой в делах управления обеими вашими землями...»

Склонив голову и приоткрыв рот, внимал Али-ходжа смутному потоку мудреных слов, и хоть иные из них и были сами по себе понятны, но в сочетании с другими представлялись странными и туманными: «семена, брошенные в борозды свежей пахоты», «первейшим условием для проведения в жизнь намеченной программы государственной реорганизации является необходимость четкой формулировки, определяющей правовое положение...», «путеводною звездой в делах управления...». Да, опять перед ним те самые «царские слова»! И каждое из них открывает внутреннему взору ходжи опасные, далекие и удивительные горизонты, а то вдруг заслоняет от него весь мир, падая перед ним черной свинцовой завесой. И так поочередно: то впереди полный мрак, то бескрайняя даль, не сулящая ничего утешительного. Вот уж действительно, чего только в жизни не бывает. Вроде и слушаешь внимательно, и ни единого слова толком не понимаешь, а главную-то суть тем временем до косточки раскусишь! Да назови все эти семена, и звезду, и бремя бесчисленных забот какими хочешь иностранными словами, он, кажется, и тут тотчас же разгадает подспудный их смысл и далеко направленный прицел. Вот уже тридцать лет монархи перекликаются через страны и города, через головы своих народов. Дорого обходится каждое слово этих царских воззваний. Распадаются на части страны, головы катятся с плеч. Все эти «звезды», «семена» и «заботы престола» произносятся только затем, чтобы обойти молчанием и не назвать настоящим именем то, что действительно есть: края и страны с живыми людьми, их населяющими, городами и селениями наподобие разменной монеты переходят из одних рук в другие, а у правоверного и благонамеренного человека нет на земле и тех несчастных крох покоя, которых бы ему достало на его короткий век, а его положение и благосостояние совершенно не зависит от него, от его желаний и самых лучших намерений.

И Али-ходже поневоле приходит в голову мысль о том, что ровно тридцать лет тому назад он слышал те же самые слова, и та же самая свинцовая тяжесть давила грудь, и тогда таким же образом доводили до их со-

знания то, что «догорела турецкая свеча», — видимо, это необходимо им время от времени повторять, ибо они не желают это видеть и понимать, предпочитая обманывать себя и прикидываться простофилями.

— «Достойными доверия, оказанного вам, несомненно, покажете себя и вы, и благородное согласие между монархом и народом драгоценнейшим залогом дальнейшего прогресса всегда будет сопутствовать нашей совместной деятельности.

Дано в первопрестольном и столичном граде Будапеште.

Франц-Иосиф, собственной рукой».

Покончив с чтением, человек в кожаном пальто вдруг громко выкрикнул:

— Да здравствует его величество монарх!

— Ур-р-р-а! — как по команде, гаркнул вслед за ним долговязый фонарщик Ферхад.

Остальные в молчании тотчас же разошлись.

В тот же день, еще до наступления ночи, длинное белое воззвание, изодранное в клочья, полетело в Дрину. Наутро нескольких сербских юношей по подозрению, что это сделано ими, арестовали, а на мосту снова прилепили к плите манифест и приставили к нему общинного сторожа.

Всякий раз, когда у предержавшей власти возникает потребность посредством возвания обещать своим подданным мир и благоденствие, следует быть начеку и приготовиться к обратному. Не далее как на исходе октября в город стали прибывать войска, и при этом не только железной дорогой, но и старым, заброшенным трактом. И как тридцать лет тому назад, они спускались по крутой дороге от Сараева и по мосту вступали в город с орудиями и обозами. Были здесь, кроме конницы, всевозможные роды войск и оружия. Казармы переполнились. Разбивали палаточные лагеря. А новые части все шли и шли непрерывным потоком и, постояв в городе несколько дней, размещались в селах вдоль границы с Сербией. Разноязыкая солдатская масса состояла в основном из резервистов и была при деньгах. Солдаты покупали в лавках всякую мелочь и фрукты и сладости на углах. Цены подскочили. Сено и овес полностью исчез-

ли. Вокруг города в предгорьях строили укрепления. А на самом мосту затевалось что-то странное. Посредине, сразу за воротами, если идти из города на левый берег Дрины, наряд специальных рабочих выдалбливал в теле одного из опорных быков шахту сечением в один квадратный метр. Место будущей шахты скрывала зеленая палатка, но слышно было, как проникал все дальше в глубь быка неумолкаемый гул ударов. Вынутый камень тут же сбрасывали через ограду в реку. Но какой бы тайной ни окружали производимую работу, всему городу стало известно, что мост минируют, что в глубокую шахту в одном из опорных быков, доходящую до самого дна, хотят заложить динамит на случай войны и необходимости разрушить переправу. В выдолбленную шахту спустили длинную железную лестницу; когда все было закончено, отверстие закрыли железной крышкой. А через несколько дней покрытая дорожной пылью железная плита совсем сровнялась с мостовой, и по ней катились повозки, ехали кони и проходили пешеходы, торопясь по своим делам и позабыв и думать про мину и взрыв. И только ребятишки по дороге в школу застревали у плиты, с любопытством стучали в железную дверь, пытаясь угадать, что там такое скрывается за ней, и, воображая нового Арапа, затаившегося будто бы в чреве моста, спорили о том, что такое взрывчатка, каково ее действие и можно ли вообще взорвать такую громадину, как этот мост.

Из взрослых один Али-ходжа Мутевелич с мрачной подозрительностью бродил вокруг палатки, пока шли работы, и вокруг чугунной нашлапки, оставшейся после нее. Молва и вслух и шепотом жужжала ему в уши: в быке выдолблено отверстие, узкое, как колодезь, в него заложен динамит, соединенный электрическим проводом с берегом, и теперь комендант в любое время суток может развалить мост на две половины, будто он не каменный, а сахарный. Ходжа слушал, качал головой и размышлял об этом и днем, укрывшись в своем «гробу», и по ночам, лежа в постели; он то верил этим толкам, то не верил, отвергая самую возможность столь безрассудного и безбожного поступка; весь во власти своих мрачных дум, ходжа и во сне не знал покоя, преследуемый строгими допросами своих далеких предков, во времена оно исправлявших обязанности управляющих вакуфом

Мехмед-паши: что это такое у вас творится, что затевают с мостом? Глубоко в душе таил свою тревогу Али-ходжа. Никому ни словом не обмолвился о ней, полагая, что в этом городе человеку рассудительному давно уже не с кем посоветоваться и поговорить по душам, люди либо потеряли совесть и последние остатки разума, либо, как и сам он, впали в отчаяние и сбиты с толку.

Однажды все же Али-ходже представился случай кое-что разузнать. Один из отпрысков бегов Бранковичей из Црнчи, Мухаммед, по истечении положенного срока воинской повинности остался в Вене сверхсрочником и дослужился до фельдфебеля. (Он приходился внуком тому самому Шемси-бегу, который добровольным затворником, не принявшим оккупации, угас в своей Црнче от тоски и до сих пор почитался старыми турками недосяжимым образцом духовного величия и стойкости.) В тот год Мухаммед-бег приехал на родину в отпуск. Это был рыжеволосый, высокий и полный господин, в безукоризненной синей униформе с желтыми шнурами, красными аксельбантами, серебряными звездочками на воротнике, ослепительно белыми лайковыми перчатками и в алой феске. Вылощенный, улыбающийся, безупречно чистый и подтянутый, прогуливался он по торговым рядам, позвякивая на ходу длинной саблей, волочившейся слегка по мостовой, и очаровывал всех безбоязненностью, самоуверенностью и любезностью человека, находящегося на государевом довольствии.

Когда фельдфебель дошел до лавки Али-ходжи и после обычных приветствий сел выпить кофе, ходжа решил воспользоваться случаем и получить от него, человека казенного, далекого от здешних мест, объяснение мучительным своим недоумениям. Ходжа рассказал ему, какие шли работы на мосту и что за слухи они вызвали, и спросил, неужто возможно такое кощунство: намеренно разрушить священное, созданное к общей пользе сооружение.

С первых же слов Али-ходжи фельдфебель насторожился. Широкая улыбка сбежала с лица, и все оно—выбритое и рыжее—приняло то самое деревянное выражение, которое по команде «смирно» приобретают лица солдат на параде. Помедлив в замешательстве с ответом, фельдфебель наконец проговорил, несколько понизив голос:

— Есть тут всего понемногу. Но вот тебе мой искренний совет — не говорить и не расспрашивать ни о каких таких вещах, ибо все это касается военных приготовлений, государственной тайны и так далее и тому подобное.

Ходжа ненавидел все нововведения современной речи, а особенно это «итакдалееитомуподобное». И не только потому, что оно ему резало уши, но еще и потому, что в устах иностранцев оно недвусмысленным образом заменяло собой обойденную молчанием истину и значило лишь то, что все предыдущее тоже чистая отговорка.

— Брось ты, бога ради, это ихнее... «итакдалееитомуподобное», скажи мне лучше по чести, что такое затевают с мостом. Тут тайны быть не должно. Да и что это за тайна, если ее знает каждый школяр? — упорствовал негодующий ходжа. — И что, скажи ты мне на милость, может быть общего у моста с их войной?

— Может, Али-ходжа, еще как может, — снова улыбаясь, отвечал ему Бранкович.

И с благодушием взрослого, снизошедшего до беседы с ребенком, объяснял, что все это предусмотрено военным уставом, что для того и существуют части понтонеров и саперов и что в императорской армии каждый знает только свое дело, а в чужие не вмешивается.

Ходжа слушал и смотрел во все глаза, но непонятные речи фельдфебеля скоро истощили его терпение.

— Пусть будет так, но только знают ли они там, милый человек, что этот мост построен щедротами визиря за упокой его души и во славу господина и что великий грех тронуть в нем хоть единый камень?

В ответ фельдфебель безмолвно развел руками, дернул плечом, сжал губы и прикрыл глаза, придав своему лицу выражение почтительной иронии, приобретаемое лишь долголетней практикой в обветшалом и прогнившем аппарате, где вежливость выродилась в бездушие, а исполнительность — в трусость. Лист белой, неисписанной бумаги — и тот показался бы красноречивее немой непроницаемости этого лица. Мгновением позже, подняв глаза, опустив руки и согнав следы прежнего выражения со своей физиономии, казенный человек снова принял свое обычное обличье самоуверенной и улыбающейся беспечности, в которой венское добродушие и турецкая елейность смешивались воедино, как две реки. Переменив разговор и выразив в изысканнейшей форме свое восхи-

щение моложавой внешностью и завидным здоровьем Али-ходжи, фельдфебель откланялся и удалился все такой же неистощимо любезный, каким и пришел. А ходжа остался один, смущенный и озадаченный, но ничуть не менее встревоженный, чем раньше. Подавленный мрачными мыслями, смотрел он с порога своей лавки на ослепительную красоту первого мартовского дня. Взорам его открывался мост, незыблемый в своем вечном величии; в пролетах его белых арок сияла блестящая, зеленая и беспокойная поверхность Дрины, в обрамлении белого камня искрясь под солнцем переливчатым монисто.

XVIII

Напряжение, возникшее в связи с так называемым «аннексионным кризисом», тень которого зловещей тучей нависла над мостом с прилепившимся к нему городом, внезапно спало. Оно нашло свое мирное разрешение в переписке и переговорах между главами заинтересованных держав.

Граница, обычно столь легко воспламеняемая, на этот раз оставалась спокойной. Войска, в несметном множестве заполнявшие город и пограничные села, с первыми днями весны потекли в обратный путь, тая на глазах. Однако же последствия, вызванные недавним обострением, долго еще, как это всегда бывает, давали себя знать. Постоянный городской гарнизон заметно увеличился. По-прежнему был заминирован мост. Но, кроме Али-ходжи Мутевелича, никто больше не думал об этом. А территорию бывшего уездного питомника на левом плоскогорье у моста, над старинной подпорной стеной, заняли военные власти. На месте вырубленных фруктовых деревьев посреди сада построили красивый двухэтажный дом. Здесь разместилось офицерское собрание, ибо старое одноэтажное здание вверху на Быковаце стало тесным для выросшего гарнизона. Таким образом, по правую и левую руку от моста высились теперь два белых здания, необыкновенно похожих друг на друга — гостиница Лотики и офицерское собрание; между ними, окруженная лавками, простиралась базарная площадь, а над ней на возвышении стояло внушительное здание казармы, окрещенной народом «Каменным ханом» в па-

мать о стоявшем тут когда-то караван-сараяе, основанном Мехмед-пашой и бесследно канувшем в вечность.

Цены, взвинченные прошлой осенью вследствие наплыва войск, держались на прежнем уровне, тяготая скорее к дальнейшему повышению, нежели к возврату на старые рубежи. В тот год открылись два банка — сербский и мусульманский. Вексели восприняли как лекарство. Люди с легкостью залезали в долги. Но чем больше денег, тем больше потребность в них. И только безрассудный мот, чьи траты превышали поступления, находил еще жизнь легкой и приятной. Торговцы и предприниматели были сильно озабочены. Сроки погашения долговых обязательств за товары, взятые в кредит, все сокращались. Солидные и надежные клиенты встречались все реже. Дороговизна охватывала все новые и новые товары, которые становились не по карману рядовому покупателю. Торговля шла вяло и требовала все большего количества дешевых вещей. Некредитоспособные плательщики только еще и чувствовали себя свободными в покупках. Единственно надежным и выгодным делом были поставки для армии или для государственных предприятий, но они доставались не каждому. Государственные налоги и общинные пошлины росли и множились; усиливались строгости при их взимании. Нездоровое колебание биржевого курса ощущалось на расстоянии. Барыши от игры на бирже уплывали в невидимые руки, но вся монархия до отдаленнейших ее окраин расплачивалась за понесенные убытки, тяжким грузом падавшие на плечи мелкого торговца вплоть до последнего перекупщика и потребителя.

А в городе не прекращалось брожение умов. Стремительное ослабление недавней напряженности ни сербам, ни мусульманам не принесло настоящего успокоения; в душе одних оно оставило скрытое разочарование, у других — осадок недоверия и страха перед будущим. Ожидание великих событий без видимых причин и непосредственного повода носилось в воздухе. Тешась непонятными надеждами или терзаясь непонятными страхами (одни надеялись, другие трепетали), люди воспринимали и оценивали окружающую жизнь только лишь под этим своим углом зрения и в связи с ним. Что-то в людях выиграло такое, прискучило им бесцветное существование, влачившееся ими долгими годами и не-

навистное теперь последней, неотесанной и серой, голытьбе, в особенности из числа молодых людей. Растут запросы и потребности одних, усиливается горечь недовольства других. Старики одни только еще и сожалеют о «блаженной тишине», которая в былые времена турецкого владычества считалась высшим благом и подлинным идеалом общественной и частной жизни и в первые десятилетия еще царила здесь и при австрийцах. Но их осталось мало. Всех прочих прельщала шумная, беспокойная, исполненная волнений жизнь. Они стремились к острым переживаниям, пусть даже в отраженном виде, или хотя бы к суете, шуму и волнениям, создающим иллюзию действительных переживаний. Произведя переворот в душе людей, такие настроения сказались и на внешнем облике города. И начали подтачивать устой древнего мирка, обосновавшегося на мосту, между горами, небом и водой, — тихого мирка душевных бесед, молчаливых раздумий, веселых шуток и любовных песен.

Содержатель кофейни приобрел граммофон — нелепый деревянный ящик с огромной жестяной трубой голубого цвета. Его сын менял пластинки и иголки, без усталости накручивая горластое устройство, от которого сотрясались ворота и грозным гулом отзывались берега, но обзавестись им он был вынужден, чтобы не отстать от других; граммофон стал непременной принадлежностью не только всевозможных обществ и читален, но даже самых затрапезных кофейен, где посетители сидели под липой, на траве или на солнечной терраске и вели приглушенный и немногословный разговор. Теперь повсюду надрывались граммофоны, наяривая турецкие марши, сербские патриотические песни или арии из венских оперетт — по заказу посетителей. Ибо где нет шума, блеска, толчеи, туда и публика не ходит, там и дело не спорится.

Расхватывались с жадностью газеты, хотя читали их поверхностно и наспех; публику интересовали одни только сенсационные заголовки, крупными буквами напечатанные на первой странице. Убористые, набранные мелким шрифтом статьи просматривали считанные единицы. Все события сопровождалось шумом и треском громких слов. И если вечером перед сном впечатления истекших суток не отзывались звоном в барабанных перепон-

ках и мелькающей рябью в глазах, молодые считали прошедший день пропавшим.

Строгие и внешне невозмутимые сходятся в ворота городские аги и эфенди послушать газетные новости о ходе турецко-итальянской кампании в Триполитании. С упоением внимают они газетным сообщениям о молодом бесстрашном турецком майоре Энвер-беге, который бился с итальянцами, защищая султанскую землю как истинный потомок Соколовичей или Чуприличей. Морщась от завывания и визга граммофона, сбивавшего течение их мысли, глубоко в душе затаив свою боль, горячо состраждут эфенди судьбе далеких турецких провинций в Африке.

Случилось как-то Пьетро-итальянцу, мастеру Перо, в своей холщовой робе, белой от каменной пыли и выпачканной красками и скипидаром, возвращаться с работы по мосту домой. По-прежнему робкий и безответный, он еще больше ссутулился и постарел. И снова по какой-то непостижимой ему логике, как и при злополучном покушении Луккени на императрицу, он, мастер Перо, был в ответе за все содеянное где-то там в далеком мире его соотечественниками итальянцами, с которыми он давным-давно утратил всякую связь. Какой-то турецкий горлопан при виде его закричал:

— Захотел, сволочь, Триполи? На-ка вот, выкуси, на!

Вслед ему под улюлюканье показывали кукиши и разные прочие непристойности.

А мастер Перо, уставший и сгорбленный, с инструментом под мышкой, лишь глубже надвигал на брови свою шляпу и, крепче стиснув зубами мундштук своей трубки, торопился убраться к себе домой на Мейдан.

Там его ждала Стана,— она тоже сдала и постарела, но не утратила былой своей горластости и языкастости. Горько жаловался мастер Перо, изливая своей жене обиду на турецких сопляков, дерзких в выражениях и взыскивающих с него за Триполи, а он про него до сей поры и слыхом не слыхал. Но Стана, верная себе, ничуть не посочувствовала мужу, а его же самого во всем и обвинила, заявив, что он получил по заслугам.

— Был бы ты мужчина, а не тряпка, треснул бы молотком, а не то долотом какого-нибудь сопляка по баш-

ке, чтобы не цеплялись больше, небось разбегались бы кто куда, как только увидят, что ты по мосту идешь.

— Эх, Стана, Стана,— добродушно сокрушаясь, укорял ее мастер Перо,— да разве это мыслимое дело, чтобы человек человека бил по башке!

Так, наполненные мелкими и крупными страстями и неустанной погоней за ними, протекали эти годы. Наступила осень 1912 года, а затем 1913 год с балканской войной и сербскими победами. Но именно эти события, имевшие чрезвычайное значение для дальнейшей судьбы моста, города и всех его жителей, по странной случайности подошли неслышно и почти незамеченно.

Золотые октябрьские дни с багряными закатами и зорями всходили над городом, ожидающим сбора кукурузы и свежей ракии. На полуденном солнце еще приятно было посидеть в воротах на мосту. Казалось, время, затаив дыхание, остановилось над городом. И тут-то все и грянуло.

Не успели грамотные люди толком разобраться в противоречивых газетных сообщениях, как между Турцией и четырьмя балканскими государствами разразилась война и устремилась издревле проторенными путями через Балканы. И пока еще люди постигали истинный ее смысл и значение, как она уже закончилась победой сербского и христианского оружия. Все это отгремело где-то в стороне, без полыхания огней на границе, без орудийной канонады и без отрубленных в воротах голов. Крупнейшие события в мире, подобно падению денег и росту цен, совершались с такой же невообразимой быстротой и так же далеко, незримо для глаз. Где-то там в большом далеком мире бросают кость, бьет гонг и решается судьба каждого из нас.

Но если внешнее спокойствие города на первый взгляд ничем и не было нарушено, то в человеческих душах недавние события вызвали целую бурю высочайших взлетов воодушевления и глубочайшего отчаяния и тоски. Ибо, как все происходящее за последние годы, и эта развязка войны вызвала у местных сербов и мусульман совершенно различные чувства; лишь по глубине и силе их ощущения, быть может, были сходны. Случившееся превзошло самые радужные надежды одних и, судя по всему, оправдало худшие предположения других. Страстные мечты, долгие сотни лет опережавшие воль-

ным своим полетом неторопливую поступь истории, теперь отказывались угнаться за ней в ее безудержном стремлении вперед по пути феерически смелых свершений:

Единственная сцена из всей этой исторической кампании, доступная непосредственному обозрению местных наблюдателей, разыгралась с удивительной быстротой и неприметностью.

Под Увацем, где граница между Австро-Венгрией и Турцией проходит по речке Увац и где деревянный мост отделяет австрийскую жандармскую казарму от турецкой караульни, турецкий офицер в сопровождении скромного эскорта перешел пограничную черту австрийской зоны. Здесь, театрально переломив об перила моста свою саблю, он передал ее австрийскому жандарму. В эту минуту на горных склонах показалась серая сербская пехота. Она заменила собой несовременные турецкие войска вдоль всей границы Боснии с Санджаком. Не стало стыка трех границ между владениями Австро-Венгрии, Сербии и Турции. Турецкая граница, еще вчера проходившая в пятнадцати километрах от города, единым махом отодвинулась более чем на тысячу километров, куда-то за Адрианополь.

Внезапный шквал исторических перемен потряс город до основания. И роковым образом отразился на судьбе моста на Дрине. Если все его связи с Западом отмерли, как мы видели выше, с установления железнодорожного сообщения с Сараевом, то теперь начисто была обрублена и связь его с Востоком. С тем самым породившим его Востоком, который еще до вчерашнего дня, правда подорванный и подточенный в своем могуществе и мощи, но все-таки живой и вечный, как небо и земля, исчез подобно призраку, оставив мосту лишь роль переправы, соединяющей не более как два городские посада да десятка два прибрежных сел по ту и другую сторону Дрины.

Величественный каменный мост, призванный, согласно замыслу и богоугодному решению визиря из Соколовичей, спаять две части неделимой империи и «во славу всевышнего» облегчить сообщение между Западом и Востоком, теперь оказался полностью отрезанным и от Востока и от Запада и предоставленным самому себе, подобно судну, севшему на мель, или покинутому храму.

Три полных века стойко отражал он бури жизни и, несокрушимый, оставался верным возложенной на него миссии, но прихотью истории, перевернувшей мир, и человека, изменившего недавним своим нуждам, предала его и самая та миссия, возложенная на него в былые времена. Пропуская длинные вереницы войск и караванов, долгими столетиями мог бы еще нести свою службу каменный мост, не превзойденный в своем величии, прочности и красоте,— и что же, вечной ветреностью человеческих отношений визирево наследие в один прекрасный день словно какой-то колдовской силой оказалось вырванным из основного русла жизни и преданным забвению. Отведенная ему отныне роль ни в коей мере не соответствовала его неувядаемой юности и величавости, исполненной гармонии и совершенства. Но взгляду и поныне он являлся таким же, каким когда-то представился внутреннему взору визиря и каким был затем воплощен в граните визиревым зодчим: могучим, прекрасным, вечным, неподвластным никаким переменам.

Длительное время должно было пройти, немалые должны были потратиться усилия, чтобы в городе осознали суть того, о чем здесь сказано в нескольких строках и что в действительности совершилось в течение нескольких месяцев. Ведь даже во сне не могут перемещаться границы государств с такой стремительностью и на такие большие расстояния!

Но вот всколыхнулось разом все то, что издавна с неподвижной каменной безмолвностью моста дремало в человеческих душах и сразу же нашло свой отклик в повседневной жизни, общем настроении и частных человеческих судьбах.

Первые летние дни 1913 года выдались дождливыми и теплыми. Днем, собравшись человек по десять вокруг кого-нибудь из молодых, сидят в воротах старики мусульмане и, оскорбленные в лучших своих чувствах, слушают газетные новости и комментарии чтеца, объясняющего иностранные термины, диковинные имена и географические названия.

Сидят, невозмутимо попыхивая трубками и неотступным взглядом вперившись в пространство, и все-таки не могут скрыть терзающую их тревогу и растерянность. Превозмогая волнение, склоняются они над географической картой с границами предполагаемого раздела Бал-

канского полуострова. Слепо глядя в лист развернутой бумаги с извивами ничего не говорящих им линий, старики прекрасно понимают глубокий смысл происходящего благодаря врожденным представлениям о географии, живущим у них в крови, и биологическому восприятию картины мира.

— Кому же теперь Ущуп отойдет? — бесстрастным тоном спрашивает молодого чтеца один из стариков.

— Сербии.

— О-хо!

— А чьи будут Салоники?

— Греческими.

— О-хо-хо!

— Ну, а Адрианополь? — упавшим голосом вступает другой.

— Болгарским, надо полагать.

— О-хо-хо-хо-хо!

Это не громогласные горестные стенания, столь характерные для женщин или малодушных мужчин, а сдавленные и глухие вздохи, вырывающиеся из-под густых усов вместе с табачным дымом и пропадающие бесследно в летнем воздухе. Многим из этих стариков перевалило за семьдесят. Во времена их детства турецкое владычество простиралось от Лики и Кордуна до Стамбула, а от Стамбула дальше до далеких пустынь и непроходимого Арабистана. «Турецкое владычество» есть не что иное, как великая, неделимая и нерушимая общность сынов Магомета, обнимающая собой всю часть земного шара, где с мечети звучит призыв муэдзина. Но верные памяти прошлого, старики также помнят и то, как потом на их глазах турецкая власть отступила из Сербии в Боснию, а из Боснии в Санджак. А теперь довелось им дожить до того, что эта самая власть накатом чудовищного морского отлива отхлынула в неоглядную даль, оставив их, беспомощных, мыкать свое горе на обнаженной суше один на один со своей черной долей. Конечно, и на это божья воля и несомненное предрешение божьего промысла, но тяжело это разумению смертных; темнеет в глазах, дыхание стесняется в груди, и так и кажется, что почва, как ковер, коварно выскользывает у тебя из-под ног, а некогда вечные и устойчивые границы растекаются игривыми весенними ручьями, податливо теснятся под нажимом и растворяются в неведомых пределах.

С такими мыслями и чувствами сидели старики на мосту и рассеянно, в пол-уха слушали то, что писалось об этом в газетах. Слушали безмолвно, хотя и претила им своей неуместной и непростительной дерзостью развязность газетчиков в отношении царей и государств, как и весь газетный стиль открытого безбожия и попрания исконных жизненных правил, что само по себе «не к добру» и с чем порядочные и разумные люди не могут примириться. Над головами стариков вился табачный дым. В высоком летнем небе проплывали белые пряди дождевых облаков и проносились по земле их быстрые распластанные тени.

А по ночам, засиживаясь допоздна в тех же воротах, сербские парни беззастенчиво распевали песню о сербской пушке, не опасаясь ни наказания, ни штрафа. Нередко примечали среди них студентов и гимназистов. Типичная бледность, худоба и непременные черные плоские широкополые шляпы при длинных волосах выделяли их среди прочих. Этой осенью они то и дело наведывались в город, хотя учебный год уже и начался. Они приезжали из Сараева поездом с паролями и поручениями, встречали ночь в воротах, но еще до наступления утра исчезали, переправленные своими вышеградскими друзьями налаженными путями в Сербию.

А летом, с окончанием учебных занятий и приездом домой на каникулы местной студенческой и гимназической молодежи, оживлялись ворота и город. Влияние молодежи чувствовалось в городе во всем.

В конце июня возвращались домой сараевские гимназисты, а с первой половины июля один за другим в город начинали съезжаться студенты — юристы, медики, философы из Венского, Пражского, Грацкого и Загребского университетов. С их появлением менялся даже внешний облик города. В торговых рядах и в воротах то и дело бросаются в глаза новые незнакомые молодые лица; молодежь манерами, речью, одеждой и всем своим видом разительно отличалась от провинциальной рутин и допотопного облачения городских обывателей. Она носила темные костюмы современного тогда покроя. Это был так называемый *Glockenfaçon*¹, считающийся во всей

¹ Соединение двух слов: немецкого *glocken* — колоколообразный и французского *façon* — фасон, покррой.

Центральной Европе последним словом моды и вершиной хорошего вкуса. Костюм дополняла шляпа из мягкой панамской соломки с опущенными полями и полосатой неяркой тесьмой и тупоносые американские ботинки. Большинство ходило с бамбуковой тростью необыкновенной толщины. В петлицах пиджаков красовались значки «Сокола» или какого-нибудь другого студенческого общества.

Вместе с новыми модами студенты вводили в местный обиход новые словечки и остроты, новые песни, новые танцы, вынесенные с зимних балов, и, что самое главное, новые книги и брошюры, сербские, чешские и немецкие.

И раньше, в первые двадцать лет австрийской оккупации, молодые люди уезжали из города получать образование, но не в таком количестве и не с таким подъемом. Кое-кто за те первые два десятилетия окончил педагогическое училище в Сараеве, а двое или трое — юридический или философский факультеты в Вене, но это было редким исключением, скромные юноши тихо и неприметно сдавали экзамены, а по завершении курсов растворялись в безликом и несметном полчище государственной бюрократии. Но с некоторых пор число студентов из местной молодежи заметно возросло. При поддержке национальных просветительных обществ доступ в университеты получили дети крестьян и мелких ремесленников. Еще сильнее изменился дух и характер самого студенчества.

Нынешние студенты ничем не напоминали тех кротких и наивных юношей первых лет оккупации, с головой ушедших в изучение своей узкой специальности. В то же время это и не те знакомые нам городские повесы или хозяйские сынки из породы будущих торговцев и ремесленников, расточавшие в воротах, — «пока не окружили соловья!», как говорили в семейном кругу, — избытки молодости и здоровья. Это люди совсем иного склада, сформировавшиеся и обучавшиеся в разных городах и странах и под воздействием разных влияний. Из больших городов, из университетов и гимназий, где они обучались, эти юноши приезжали домой ослепленными дерзновенной гордостью, которую порождает обычно в душах молодых людей первое прикосновение к научным знаниям, вдохновленные идеями права народа на свободу и

каждой личности на жизненные блага и уважение. С очередными летними каникулами молодежь приносила в родной город вольнодумство воззрений в общественных и религиозных вопросах и энтузиазм оживившегося национального самосознания, в последнее время, особенно после сербских побед в балканских войнах, принявшего форму общенародного вероисповедания и вызывавшего у некоторой части юношества фанатическую жажду деятельности и самопожертвования.

Обосновалась молодежь в воротах, куда собиралась после ужина. И в темноте, под звездами или в сиянии луны над рокочущей бездной реки, разносились в ночной тишине песни и шутки, громкие голоса и бесконечные споры, новые, смелые, наивные, искренние и бескомпромиссные.

Вместе со студентами приходят на мост и друзья их детских лет, кончавшие с ними начальную школу, но оставшиеся в городе и работавшие подмастерьями, приказчиками и мелкими конторщиками в канцелярии общины или других учреждениях. Они делятся на две категории. Одни довольны своей судьбой и укладом здешней жизни, уготовленным им до конца их дней. С любопытством и симпатией присматриваются они к ученым своим сверстникам, восхищаясь ими и не имея ни малейшего поползновения равнять с ними себя, без тени ревности радуются их успехам и продвижению. Другие не могут примириться со своей провинциальной судьбой, стечением несчастных обстоятельств выпавшей им на долю, и, снедаемые жаждой лучшей участи, терзаются несбывшимися мечтами, с каждым днем уходящими от них все дальше. Несмотря на видимость приятельства, стена угрюмого молчания или грубой иронии неизбежно отделяет недовольных своей судьбой от бывших однокашников. Они не в силах участвовать в разговорах с ними наравне. Постоянно мучимые ощущением собственной отсталости, они то принимаются с лицемерной навязчивостью бравировать своим невежеством и простотой в сравнении со своими преуспевающими товарищами, то с высот своего невежества надо всем глумливо издеваться. И слова их и ехидство проникнуты почти осязаемой, зримой завистью. Однако молодость легко мирится и с худшими страстями и с беспечной непринужденностью продолжает идти своей дорогой.

Было и много еще будет над городом роскошных ночей, мерцающих россыпью щедрых созвездий и залитых светом луны, но вряд ли случалось когда-нибудь в прошлом и бог знает случится ли в будущем юным полуночникам просиживать в воротах до зари в пылу таких же споров, чувств и мыслей, как это было в ту пору. Это поколение восставших ангелов в то краткое мгновенье своего существования, когда они, обладая всей мощью и правами ангелов, не утратили еще неукротимой гордости восставших. Сыновья крестьян, торговцев и ремесленников из захолустного боснийского местечка, без особых усилий получили они от фортуны открытый путь в широкий мир и иллюзию неограниченной свободы. Наделенные всеми особенностями истинных сынов своей родины, они отправлялись в широкий мир и, руководствуясь собственными склонностями, минутной прихотью или капризом случая, более или менее самостоятельно выбирали будущую свою специальность, характер развлечений и круг знакомых и приятелей. Большинство из них не могло и не умело взять много от бесконечного разнообразия благ, представших их взорам, но зато и не было ни одного человека, не возомнившего бы в своей душе, что ему все доступно и все может стать его собственностью. Жизнь (слово, необычайно часто употреблявшееся в литературе, политике и разговорах молодежи тех времен и писавшееся с многозначительной заглавной буквы), эта жизнь представляла их взорам необозримым поприщем для приложения освобожденных чувств, пылливой любознательности и ничем не скованной личной инициативы. Беспредельная даль множества дорог открылась им; по многим из этих дорог им не придется ступить ни шагу, но упоительная сладость жизни заключалась в том, что они могли по собственной воле (по крайней мере, теоретически) свободно выбирать и переходить с одной дороги на другую. Все, что сынам других народностей, времен и государств доставалось усилиями многих поколений, сотнями лет упорства и терпения, часто ценою жизни, лишений и жертв, более тяжких и дорогих, чем сама жизнь,— все это им привалило как неожиданное наследство, опасный подарок судьбы. И сколь бы фантастическим и невероятным это ни казалось, все же совершенно очевидно, что в этой среде, именно в те годы переживавшей глубочайший кризис законов обществен-

ной и личной морали, которые были ограничены где-то вдали лишь смутной чертой недозволенного и сплошь и рядом противоречиво толковались, принимались или отвергались той или иной группировкой или отдельными лицами, — они могли распоряжаться своей молодостью, как им хочется; свободно мыслить и судить обо всем без исключения, говорить что вздумается, нередко заменяя дела словами, удовлетворявшими их атавистическую жажду громкой и геройской славы бунтарей и разрушителей и не вынуждавшими их к решительным поступкам, которые влекли бы за собой какую-либо ответственность. Наиболее одаренные из них презрительно пренебрегали дисциплинами обязательных учебных программ и своими реальными возможностями, со всем пылом юности отдаваясь тому, о чем не имели понятия и что превышало их силы. Трудно вообразить себе более опасный способ вступления в жизнь и более верный путь к высотам беспримерных подвигов или полному краху. Лишь самые блестящие и сильные из них, одержимые фанатизмом факиров, кидались в действие и в нем сгорали, подобно мотылькам, а после в ореоле мучеников и святых (ибо нет поколения, где не было бы своих святых) превозносились до небес своими сверстниками и возводились ими на пьедестал недосягаемого идеала.

Каждое поколение питает свои иллюзии по отношению к цивилизации, при этом одни мнят себя возжигателями ее пламени, а другие — свидетелями ее угасания. На самом же деле огонь цивилизации пылает, тлеет и гаснет в зависимости от того, с каких позиций и под каким углом зрения его рассматривать. Поколение людей, которое сейчас под звездами, в воротах, над водами реки обсуждает вопросы философского, общественного и политического порядка, только иллюзиями богаче других, во всем же остальном оно ничем не отличается от прочих. Оно также полагает, что это оно зажигает факел новой цивилизации и тушит последние вспышки старой, уже догорающей. И может быть, лишь особая приверженность к мечте составляет его неповторимую черту: давно уже на свете не было молодых людей, с такой необузданной смелостью предававшихся мечтам и спорам о жизни, о счастье, о свободе, так мало получивших от жизни и так много принявших от нее ударов, страданий и неисчислимых мук, как предстояло принять им. Однако

же в летние дни 1913 года будущее рисовалось им лишь смелым и неясным предопределением. На этом древнем каменном мосту, сиявшем в лунном свете июльских ночей чистой белизной прекрасной вечной юности, вознесшимся над прихотью времен и человеческих затей и измышлений, все это казалось лишь новой захватывающей игрой.

ХІХ

Как августовские теплые ночи, сменяясь, повторяют друг друга, так изо дня в день на мосту повторялись нескончаемые разговоры местных гимназистов и студентов.

Сразу после быстро проглоченного ужина (необыкновенно вкусного после целого дня, проведенного на пляже у реки) один за другим являются они в ворота. Приходит Янко Стикович, сын портного с Мейдана,— вот уже четыре семестра он изучает в Граце естественные науки. Худощавый, с заостренным профилем и гладким зачесом черных волос, тщеславный и самолюбивый, он недоволен и собой, но еще больше окружающим. Стикович много читает и пишет статьи, печатая их под уже известным псевдонимом в молодежных революционных газетах Загреба и Праги. Помимо того, Стикович пишет стихи и публикует их под другим псевдонимом. Он уже и сборник подготовил, его должна выпустить «Зора» («Издательство национальных книг»). Вдобавок он прекрасный оратор и горячий участник всех студенческих словесных баталий. Приходит на мост и Велимир Стеванович, здоровый, рослый малый, приемыш без роду и племени; ироничный, трезвый, расчетливый, упорный; он завершает в Праге медицинское образование. Приходит Яков Херак, сын добродушного письмоноши, любимца вышеградских жителей, черноволосый невысокий юноша, будущий юрист, с пронзительным взглядом, быстрой речью и полемическим задором убежденного социалиста, стесняющегося своего доброго сердца и любого проявления чувств. Приходит Ранко Михайлович, молчаливый, благодушный юноша, изучающий в Загребе право; заранее избрав себе чиновничью карьеру, он вяло и пассивно откликается на жаркие споры своих сверстников о любви, политике и взглядах на жизнь и общественное

устройство. По материнской линии юноша доводится правнуком тому самому отцу Михайлу, чья голова с самокруткой в зубах, насаженная на кол, была некогда выставлена на всеобщее обозрение в этих самых воротах.

Здесь и несколько сараевских гимназистов. Жадно вслушиваясь в рассказы старших товарищей о жизни в больших городах, своим воображением, подхлестнутым мальчишеским тщеславием и затаенными желаниями, они опережают и превосходят не только все действительное, но и просто возможное. Среди них Никола Гласинчанин, бледный, резкий юноша, вынужденный по нужде, нездоровью и слабой успеваемости уйти из гимназии после четвертого класса, вернуться в город и стать писарем в немецкой фирме по экспорту древесины. Родом он из разорившегося дома с Околиште. Дед его Милан Гласинчанин, спустив в молодые годы в карты большую часть своего состояния, умер где-то вскоре после оккупации в сараевском доме умалишенных. Давно скончался и отец Николы, газда Петар, человек болезненный, безвольный, слабый и незаметный. Сын его, Никола, теперь все дни толчется у реки среди сплавщиков, скатывавших с берега в воду тяжелые сосновые бревна, записывает кубометры промеренного леса, а после в конторе заносит их в ведомость. Однообразная деятельность, бескрылая и бесперспективная, связанная со всяким мелким людом, воспринималась им как унижение и мука, а отсутствие малейшей надежды изменить свое общественное положение или хотя бы преуспеть в нем сделало из самолюбивого юноши преждевременно созревшего и желчного молчальника. Он много читал в свободные часы, но и в этой духовной пище не обретал ни подкрепления, ни поддержки, и она, перебродив, оседала в нем мутным осадком. Его злосчастная доля, страдания и одиночество на многое открыли ему глаза, обострили в нем наблюдательность, но драгоценнейшие находки его проникновенной мысли лишь ярче озаряли убожество его беспросветной участи в этой заштатной глуши и отнимали у него последние остатки мужества, повергая в горькое уныние.

Тут, наконец, и слесарь Владо Марич, весельчак и добрая душа, радостно принятый в кружке высокообразованных друзей как за красивый, сочный баритон, так

и за открытый, приветливый нрав. Силач в кепчонке мастерового, Владо Марич принадлежит к той категории простых людей, которые довольствуются тем, что есть, и, ни с кем не тягаясь и не сравниваясь, спокойно и благодарно принимают от жизни то, что она им дает, простосердечно воздавая ей по мере своих возможностей и сил.

Общество дополняют собой две учительницы, Зорка и Загорка, обе местные уроженки. Юноши наперебой добиваются благосклонности барышень и ведут за них наивные, хитроумные, блестящие и жестокие любовные баталии. Подобно турнирам в честь средневековых дам, в их присутствии разворачиваются дискуссии; из-за них то один, то другой сидит в сторонке и попыхивает в темноте сигаретой или подпевает компании подпивших гуляк; они — причина вспыхивающей между друзьями затаенной ненависти, неумело маскируемой ревности и открытой вражды. Около десяти часов вечера девушки уходят домой. Молодые люди долго еще сидят в воротах, однако общее настроение падает, в борцах сникает полемический задор.

На этот раз молчит и курит главный спорщик Стикович. Он расстроен и недоволен собой и, как всегда, пытается скрыть свое настроение, что, впрочем, никогда ему вполне не удастся. Сегодня днем у него было первое свидание с учительницей Зоркой, красивой пышной и бледной девушкой с блестящими глазами. Настойчивыми усилиями Стиковича им удалось добиться самого трудного в здешних условиях: увидеться наедине, потихоньку от всех. Они встретились в школе, пустующей во время летних каникул. Он вошел туда со стороны сада, она — с улицы через главный вход. Молодые люди очутились в полутемном, пыльном помещении, до потолка загроможденном партами. Такова уж судьба любовных страстей, нередко вынужденных искать себе приюта в местах, весьма запущенных и неприглядных. Ни сесть, ни лечь здесь было негде. Оба были смущены и растеряны. Но вскоре в неудержимом порыве забыли обо всем на свете, соединившись в объятии на одной из столь хорошо знакомых ей обшарпанных парт. Первым пришел в себя он. И грубо, без перехода, по обыкновению молодости, стал приводить в порядок свой костюм и прощаться. Девушка расплакалась. Разочарование было обоюдным.

Кое-как успокоив ее, он почти выбежал вон через черный ход.

Дома Стикович застал почтальона, принесшего ему молодежный журнал с его статьей «Балканы, Сербия и Босния с Герцеговиной». Перечитывая заново статью, он несколько отвлекся мыслями от недавнего своего приключения. Но и статьей остался недоволен. Помимо типографских опечаток он находил и собственные недочеты. Многие фразы выглядели смешными; теперь, когда уже ничего нельзя было изменить, ему казалось, что о многом можно было сказать лучше, яснее и лаконичнее.

И вот пожалуйста, теперь они будут весь вечер сидеть здесь в воротах и обсуждать его статью в присутствии той же самой Зорки. Речистый и напористый Херак, который все на свете рассматривал и критиковал с позиций ортодоксального социализма, был его главным противником. Прочие лишь изредка вставляли слово. А обе учительницы, Зорка и Загорка, молча плели невидимый венок для победителя. Стикович оборонялся вяло, подавленный, во-первых, неожиданно самому ему открывшимися слабостями и нелогичностями его статьи, в чем, впрочем, он не признался бы никогда вслух, и, во-вторых, мучительным воспоминанием о том, что было с ним сегодня в духоте пыльного класса и что сейчас представлялось ему в комичном и постыдном свете, хотя хорошенькая учительница долго составляла предмет его страстных желаний и упорных домогательств (она и сейчас посматривала на него из ночной темноты своими сияющими глазами). Ощущение должника и виновника терзало Стиковича, и он бы дорого отдал, чтобы его не было сегодня в школе, а Зорки не было сейчас в воротах. А тут еще Херак одолевал его с упорством назойливой мухи, от которой не отобьешься. И он словно отвечал не только за свою статью, но также и за то, что совершилось в школе. А между тем ему больше всего хотелось сейчас перенестись куда-нибудь в такое место, где он был бы один и мог бы не думать ни о статье, ни о девушке. Но самолюбие заставляло его защищаться. Стикович цитировал Цвинича и Штроссмайера, Херак — Каутского и Бебеля.

— У вас ноги голову обгоняют, — в критическом пылу набрасывался Херак на статью Стиковича. — С балканским крестьянством, закосневшим в невежестве и

нищете, ни при каких условиях, нигде и никогда не может быть основана устойчивая и разумная государственная формация. Только предварительное экономическое освобождение эксплуатируемых классов, крестьянства и рабочих, иными словами громадного большинства народных масс, может создать реальные предпосылки для формирования самостоятельных государств. Вот естественный процесс и путь, которым надлежит идти, а никак не наоборот. Поэтому национальное освобождение и объединение должны производиться в духе социального освобождения и возрождения. В противном случае крестьянин, рабочий и городское низшее сословие и новую государственную формацию непременно отравят смертоносной заразой своего пауперизма и рабской психологии, а малочисленная прослойка эксплуататоров — своей паразитической, реакционной сущностью и антисоциальными инстинктами, что не приведет, понятно, ни к устойчивости государственной формации, ни к оздоровлению общества.

— Все это чужеземная книжная премудрость, мой дорогой,— отвечал Стикович,— она бледнеет перед живым подъемом пробудившихся национальных сил, в первую очередь сербов, а затем словенцев и хорватов, тяготеющих к единой цели. Пути развития общества не совпадают с прогнозами немецких теоретиков, но идут в согласии с глубоким смыслом нашей истории и национального предназначения. Со времен призыва Карагеоргия: «Пусть каждый убьет своего субашу!» — социальные проблемы на Балканах решаются путем национально-освободительных движений и войн. В этом есть своя логика: от меньшего к большему, от регионального и племенного к национальному и государственному. Разве наши победы на Куманове и Брегалнице не являются в то же время величайшими победами прогрессивной мысли и социальной справедливости?

— Это мы еще увидим,— возражает Херак.

— Кто сейчас не видит, тот никогда не увидит. Мы верим...

— Вы верите, а мы ни во что не верим, кроме вещественных доказательств и фактов,— перебивает его Херак.

— Так неужели поражение Турции и ослабление Австро-Венгрии, как первый шаг к ее окончательному кра-

ху, не есть фактически победа малых демократических народов и поработенных классов в их стремлении занять свое место под солнцем? — продолжает свою мысль Стикович.

— Если бы решение национального вопроса означало также торжество социальной справедливости, тогда бы в странах западной Европы, в большинстве своем реализовавших свои национальные идеалы, не должно было быть глубочайших социальных проблем, кризисов и конфликтов. Но между тем это не так. А как раз наоборот.

— А я тебе еще раз повторяю,— устало возражает Стикович,— что без образования самостоятельных государств на базе национального единства и современных принципов личной и общественной свободы не может быть и речи о «социальном освобождении». Ибо, по выражению одного француза, политика прежде всего...

— Прежде всего желудок,— вставляет Херак.

Тут загалдели все разом. И наивный студенческий диспут, перешедший в обычную перепалку, где каждый говорит, перебивая и не слушая другого, при первой же удачной шутке рассыпался брызгами веселых возгласов и смеха.

Для Стиковича это был спасительный предлог прекратить спор и умолкнуть, не будучи заподозренным в бесславном поражении и сдаче.

Вслед за Загоркой и Зоркой, которые около десяти часов в сопровождении Велимира и Ранко отправились по домам, начали понемногу расходиться и другие. И на мосту в конце концов остались Стикович и Никола Гласинчанин.

Были они сверстники. Когда-то вместе поступали в гимназию и вместе снимали квартиру в Сараеве. Должно быть, слишком близкое знакомство мешало им по-настоящему любить и признавать достоинства друг друга. С годами отчуждение, естественно, росло, разлад углублялся. Сталкиваясь теперь в городе каждые каникулы, они придирчиво присматриваются друг к другу и состязаются с неотступностью неразлучных соперников-друзей. А тут еще красивая и восторженная учительница Зорка встала между ними. Долгие месяцы минувшей зимы она дружила с Гласинчанином, который не скрывал, да и не сумел бы скрыть свою горячую в нее влюблен-

ность. С отчаянием и жаром ожесточившегося неудачника он отдался этому чувству. Но с приходом летних месяцев и появлением студентов от болезненно впечатлительного Гласинчанина не укрылось то внимание, которым учительница дарила Стиковича. На этой почве сильно обострилась давнишняя натянутость их отношений. В эти каникулы они еще ни разу не оставались с глазу на глаз.

Первой их мыслью, когда они вдруг оказались в воротах одни, было бежать, избавив себя от объяснений, не суливших ничего приятного. Однако чувство непонятной неловкости, свойственной только молодости, не позволило приятелям выполнить свое желание. На помощь им пришел случай, на время избавив их от тягостного молчания, столь угнетавшего обоих.

В темноте послышались вдруг голоса, — медленно прогуливаясь, двое собеседников остановились у ворот за выступом ограды, и хотя Гласинчанин и Стикович не могли их видеть с дивана и те их тоже не видели, зато слышали каждое слово и тотчас же узнали по голосам. Это были их товарищи, немного помоложе их, Фома Галус и Фехим Бахтияревич. Оба они сторонились кружка студенческой и гимназической молодежи, каждый вечер собиравшейся в воротах вокруг Стиковича и Херака. Галус, хотя и был моложе, но, как поэт и проповедник национально-освободительных идей, соперничал со Стиковичем, не вызывавшим в нем ни уважения, ни симпатии, а замкнутого, неразговорчивого и нелюдимого Бахтияревича отличала гордость истинного беговского внука.

Фома Галус — высокий голубоглазый и румяный юноша. Отец его, Албан Галус (Alban von Gallus), последний отпрыск старинного рода из Бургенланда, приехал в город в качестве чиновника оккупационного режима. Здесь он двадцать лет прослужил главным управляющим лесничества, а теперь доживал свой век на пенсии. Вскоре после своего приезда в город Албан Галус женился на перезрелой дочери одного из первых местных богатеев, хаджи Фомы Станковича, черноволосой девице, здоровой и волевой. С ней он имел троих детей: двух дочерей и сына, крещенных в сербской церкви, выросших в местных традициях и настоящих внуков хаджи Фомы. Старый Галус, высокий и некогда красивый человек, с благородной улыбкой и буйной гривой совершен-

но белых волос, «господин Альбо», давно уже считался в городе своим, так что подрастающему поколению и в голову не приходило, что он переселенец и чужак. Им владели две вполне безобидные страсти: охота и трубка. По всему уезду у него водились старые и добрые дружки как среди сербов, так и среди мусульман, разделявшие его пристрастие к охоте. Словно бы родившись и выросши бок о бок с ними, старый Альбо вполне усвоил многие привычки своих друзей, в том числе искусство легкого молчания и необременительного разговора, столь характерное для заядлых курильщиков и истинных любителей охоты, леса и жизни на природе.

Молодой Галус в этом году закончил гимназию в Сараеве, сдал экзамены на аттестат зрелости и осенью должен был ехать в Вену продолжать образование. В связи с этим в семье возникли разногласия. Отец хотел пустить его по технической части или лесоводству, а сын мечтал заняться философией. Кроме внешнего сходства с отцом, юный Галус был полной его противоположностью. Безупречный и примерный ученик, с небрежной легкостью и как бы между прочим усваивал он положенные науки, но, по примеру многих своих сверстников, истинную пищу для сердца и ума черпал в своих несколько разбросанных и прихотливых интересах, не связанных со школьной программой и обязательными предметами. Простодушная ясность сочетается в таких натурах с беспокойной и пытливой любознательностью. Им почти неведомы опасные кризисы эмоциональной и чувственной жизни, болезненно переживаемые большинством их ровесников, но тем труднее они удовлетворяют духовные свои запросы и очень часто до конца своих дней остаются дилетантами и любопытными чудаками без определенных занятий и направления в жизни. Отдавая дань современным интеллектуальным веяниям, а отчасти требованиям моды, столь же обязательным, как извечные требования молодого естества в пору созревания, Галус тоже писал стихи и был активным членом революционных национальных организаций учащейся молодежи. Вместе с тем вот уже пять лет Галус факультативно изучал французский язык, занимался литературой и в особенности философией. Чтению он предавался с ненасытной и неукротимой страстью. Главным поставщиком иностранной литературы, которая была в ходу у питомцев сара-

евской гимназии, в те времена была мощная популярная немецкая издательская фирма «Reclam's Universal-Bibliothek». Маленькие недорогие томики в желтых переплетах с невероятно мелким шрифтом составляли основную духовную пищу гимназистов тех лет; этим томикам они были обязаны знакомством не только с немецкими писателями, но и с крупнейшими произведениями мировой литературы в немецких переводах. Из них же черпал Галус сведения о современных немецких философах, главным образом о Ницше и Штирнере, и мог потом, прогуливаясь вдоль Миляцки, в холодном и веселом вдохновении вести о них бесконечные дискуссии, нисколько не заботясь по обыкновению молодости о применении своих знаний на практике. Столь раннее посвящение в разнообразные, но бессистемные знания было не редкостью среди преждевременно повзрослевших гимназистов той поры. Такой прилежный и чистый юноша, как Галус, приобщался к вольному миру необузданной молодости лишь смелым полетом мысли и неумеренным чтением.

Фехим Бахтияревич был местным лишь наполовину. Отец его, родом из Рогатицы, и по сей день состоял там на должности судьи, а мать принадлежала к большому вышеградскому семейству Османагичей. С малых лет Фехим проводил часть лета вместе с матерью в городе у ее родных. Хрупкость этого стройного и грациозного юноши сочетается в нем с неожиданной силой. В нем все соразмерно и мягко. Изящной линией очерчен тонкий овал лица, смуглая матовость кожи просвечивает томной голубизной, движения скупые и плавные; глаза темные, с синеватым отливом белков; в горячем взгляде прячется притушенный огонь; густой почерк сросшихся бровей; над красивым изгибом рта черная ниточка усов. Такими пишут мужские лица на персидских миниатюрах.

Этим летом и Фехим сдал экзамены на аттестат зрелости и дождался государственной стипендии, чтобы заняться изучением восточных языков в Вене.

Молодые люди продолжали давний спор. Речь шла о выборе Бахтияревичем будущего рода занятий. Галус высказывался решительно против ориенталистики. В силу своей привычки пользоваться вниманием слушателей и любви к ораторству, Галус распалился и говорил не умолкая, тогда как Бахтияревич был краток и сух, непоколебимо убежденный в своей правоте и не испытываю-

щий потребности убеждать других. С наивным простодушием начитанного юноши Галус упивался красочной образностью и метафоричностью своей речи, склонной к обобщениям и столь отличной от лаконичных и скупых, почти небрежных замечаний Бахтияревича.

Затаившись на каменных скамьях, Стикович и Глашинчанин, скрытые в тени, не проронили ни звука, как бы скрепив безмолвный договор незримо присутствовать при дружеской беседе у ворот.

В заключение спора Галус произнес горячую тираду:

— Вот тут-то вы, мусульмане, беговские сыновья, часто ошибаетесь. Ошеломленные натиском новых времен, вы перестали ощущать истинное свое предназначение и место на земле. Ваше пристрастие ко всему восточному является лишь современной формой выражения «жажды власти»; восточный образ жизни и образ мыслей теснейшими узами связаны для вас с определенным общественным и правовым устройством, служившим опорой вашего векового господства. И это понятно. Но, взятое само по себе, оно еще не означает, что вы отмечены особыми способностями к научному востоковедению. Ориентальцы по природе, вы сильно заблуждаетесь, считая ориенталистику своим призванием. Да и вообще к науке у вас нет ни склонности, ни призвания.

— Вот как!

— Точно. И в этом моем утверждении нет ничего обидного или оскорбительного. Напротив. В этой стране вы — единственная господствующая прослойка, по крайней мере были таковой; столетиями вы утверждали, отстаивали и расширяли свои права властителей — мечом, книгой, законами, верой и армией, что создало из вас воинов, правителей и собственников, а эта категория людей нигде не жалуется абстрактные науки, предоставляя заниматься ими тем, кто не годится ни на что другое. Экономика и право гораздо ближе конкретному характеру ваших познаний. Уж это спокойствие веков свойственно представителям господствующего класса во всем мире!

— Значит, мы должны оставаться непросвещенными?

— Нет, не значит, вы должны лишь оставаться тем, что вы есть на самом деле, или, если хочешь, тем, чем вы были; потому что истинную свою сущность никому

не дано совместить с тем, что ей совершенно противоположно.

— Но на сегодняшний день мы не являемся господствующим классом. На сегодняшний день все мы равны,— с легким вызовом, приправленным иронией и грустью, перебивает его снова Бахтияревич.

— Ну, разумеется, не являетесь. Условия, некогда создавшие из вас то, что вы есть, давно изменились, но из этого не следует, что и вы можете измениться с такой же быстротой. Не в первый и не в последний раз у определенной общественной прослойки выбивается почва из-под ног, а она при этом остается собой. Жизненные обстоятельства меняются, общественная же прослойка остается неизменной, ибо только такой она и может существовать до конца своих дней.

Бахтияревич промолчал, и разговор двух невидимых собеседников на мгновение осекся.

В прозрачной глубине безоблачного неба над черными горами взмошел обломок ущербного месяца. Белая плита с турецкой надписью на приподнятой части ограды вдруг засветилась тусклым квадратом слабо освещенного окна, глядящего в синюю тьму.

Бахтияревич снова что-то говорил, но из его неслышной речи до слуха Стиковича и Гласинчанина на сей раз долетали лишь отдельные бессвязные обрывки. Неожиданные ассоциации, столь свойственные юности, как видно, изменили тему разговора. И, перейдя с проблемы изучения восточных языков к надписи на белой плите, разговор обратился затем к мосту и личности его создателя.

И снова выделился выразительный и сильный голос Галуса. Воспользовавшись похвалой Бахтияревича по адресу Мехмед-паши Соколовича и тогдашних турецких властей, возводивших подобные грандиозные сооружения, Галус с воодушевлением пустился развивать свои национально-социальные взгляды на прошлое и будущее народа, а также на его культуру и цивилизацию. (В этих гимназических дискуссиях каждый следует течению собственной мысли.)

— Ты совершенно прав,— ораторствовал Галус.— Мехмед-паша был гениальной личностью. И он не первый и не последний из наших братьев по крови, выдвинувшихся на службе у иноземных владык. Сколько сотен

талантов, государственных деятелей, полководцев, художников подарили мы Стамбулу, Риму, Вене. Объединение наших народностей в единое, большое и мощное современное национальное государство в первую очередь и предполагает, что все национальные силы останутся в родной стране, получают развитие на местной почве и будут вносить вклад в общечеловеческую культуру под своим именем, а не из центров чужеродных цивилизаций.

— По-твоему, эти «центры» возникли случайно и новые могут быть созданы произвольно, где кто пожелает?

— Случайно или нет, сейчас вопрос не в этом; не важно, как они возникли, важно, что они сегодня приходят в упадок, что они отжили, деградируют и должны уступить место новым центрам цивилизации, где получают свободное и непосредственное развитие молодые освобожденные народы, только выходящие на арену истории.

— Не думаешь ли ты, что Мехмед-паша Соколович, оставшись в горах, в своих Соколовичах, мог бы стать тем, кем он стал, и наряду с прочим возвести этот мост, на котором мы с тобой сейчас беседуем?

— В те времена, конечно, нет. Но в конце концов Стамбулу не так уж тяжело было возводить подобные сооружения, он и у нас, и у великого множества других покоренных народов отнимал не только достояние и труд, но и лучшие наши людские силы, отборную кровь. Если вспомнить, сколько отнято у нас в течение столетий, все эти постройки покажутся, право же, мизерными. И лишь добившись раз и навсегда свободы и государственной независимости, мы сможем располагать всеми богатствами наших расовых и материальных ресурсов и употребить их на подъем культуры, национальной по духу и преследующей своей единственной целью счастье и благосостояние самых широких слоев нашего народа.

Бахтияревич молчал, и молчание это сильнее самого красноречивого и яростного сопротивления раздувало в Галусе полемический жар. Словами тогдашней молодежной политической литературы декларировал он с присущей ему страстностью программу и задачи революционной молодежи. Прежде всего — пробуждение и активизация всех жизнеспособных сил нации. Под их натиском наступит крах Австро-Венгерской монархии, этой тюрьмы народов, как это случилось с европейской Турцией. Полное и окончательное подавление и преодоление все-

го того антинационального и реакционного, что усыпляет, разъединяет и сковывает наши национальные силы. Дух времени и усилия прочих поработанных малых народностей, являясь лучшими нашими союзниками, делают все это вполне осуществимым. Лозунг национального единения восторжествует над религиозными различиями и устарелыми предрассудками и освободит народ от чужеродных и антидемократических влияний и гнета иноземной эксплуатации. И тогда произойдет рождение национального государства.

Галус затем обрисовал достоинства и преимущества нового национального государства, которое, подобно Пьемонту, объединит вокруг сербов всех южных славян на основе национального равноправия, религиозной терпимости и гражданского равенства. Смелые и отвлеченные проекты перемежались в его речи с конкретными задачами современности; сокровеннейшие чаяния национального самосознания, обреченные по большей части навек остаться в области несбыточных надежд,— с вполне достижимыми и оправданными требованиями повседневности; великие истины, вынашиваемые многими поколениями, и только юностью, интуитивно их предвосхищающей, высказываемые вслух,— с извечными иллюзиями, столь же неосуществимыми, сколь и незатухающими, подобно мифологическому факелу, который передается одной молодой порослью другой. Юношеская его речь, быть может, и пестрела утверждениями, не выдерживающими критики действительности, и содержала в себе немало предпосылок, несостоятельных с точки зрения реального опыта, но зато дышала очищающей свежестью, этим драгоценным эликсиром юности, питающим и омолаживающим древо человечества.

Бахтияревич молчал.

— Вот увидишь. Фехим,— в приливе вдохновения уверял своего друга Галус, как будто это дело сегодняшней ночи или, по крайней мере, завтрашнего дня,— вот увидишь, мы создадим государство, которое явится неопенимым вкладом в дело общего прогресса человечества; благословенно будет в нем любое усилие, любая жертва — священна, любая мысль — самобытна и выражена нашим языком, любое творение — отмечено печатью нашего имени. Мы станем творцами деяний, которые будут продуктом нашего свободного труда и выра-

жением нашего национального гения, деяний, превращающих в сравнении с собой в ничтожную безделку то, что сделано под вековым ярмом иноземных властителей. Мы перекинем переправы через широчайшие реки и глубочайшие пропасти. Мы возведем новые мосты, еще более величественные и прекрасные, чем этот, которые свяжут не иноземные столицы и их покоренные провинции, а воссоединят наши земли в единое целое и нашу страну со всем миром. Ибо,— и в этом больше нет сомнения,— нам суждено претворить в действительность то, о чем мечтали все предшествующие поколения, создать государство, рожденное свободой и основанное на справедливости, воплотить на земле часть божьего промысла.

Бахтияревич молчал. Стихал постепенно и Галус. По мере развития его основной идеи все ниже и ниже спускался его осипший голос, перейдя на сильный, страстный шепот и растворившийся наконец в необъятной ночной тишине. Теперь они оба молчали. Но все же в ночи обособленно, тяжело и упорно затаилось молчание Бахтияревича и давящей тяжестью глухой, почти осязаемой стены решительно опровергало все, что говорил другой, с безмолвной непреклонностью провозглашая категорический ответ:

«Основы мира, жизни и человеческих отношений утверждены на веки вечные. Это не значит, что они никогда не меняются, но по сравнению с длительностью человеческой жизни эти основы представляются вечными. Продолжительность их существования в той же степени сопоставима с веком, отпущенным людям, с какой изменчивая поверхность бурной и быстрой реки сопоставима с незыблемостью ее твердого дна, меняющегося медленно и незаметно. Самая мысль заменить одни «центры» другими является нездоровой и нереальной. Это все равно, что возыметь желание перемещать истоки крупных рек и ложа гор. Жажда быстрых перемен и мысль о насильственном их осуществлении нередко, как болезнь, распространяется среди людей, с особой легкостью овладевая молодыми, но только в их головах нет настоящего понимания, и они недолго, как правило, красуются на молодецких плечах. И все впустую! Ибо не человеческой волей определяется порядок на земле. Подобные ветру, взмывают порывы желаний и, подхватив тучи пыли, перемещают их с места на место, заслоня иной раз весь

горизонт, но ветер стихает, пыль оседает, и взорам предстает привычная картина старого мира. Все долговечное на земле возводится промыслом божьим, а человек—его слепое и покорное орудие. Людской замысел или умирает, не дождавшись своего воплощения, или же живет недолго; и уж, во всяком случае, не приводит к добру. Все эти неистовые желания и смелые речи на мосту под ночным небом ничего не изменяют в существующем порядке вещей; пронесясь над огромным, незыблемым миром, они исчезнут там, где смиряются желания и ветры. И как всегда, так и сейчас свыше будет определяться то место на земле, где божьим промыслом должны родиться великие мужи и грандиозные строения, независимо от преходящих и пустых желаний и людского тщеславия».

Но ничего из всего этого Бахтияревич вслух не произнес. Кто носит свою философию в крови, как этот мусульманский юноша, беговский внук, кто с ней живет и умирает, тот не умеет выразить ее словами и не испытывает в этом никакой необходимости.

После долгого молчания Стикович и Гласинчанин видели еще, как недокуренная сигарета, брошенная за ограду незримой рукой, прочертила в воздухе огненный след, падая в Дрину. Вслед за тем, по-прежнему в молчании, невидимые собеседники неспешно двинулись к площади. Отзвуки шагов постепенно затихали.

Снова оказавшись одни, Стикович и Гласинчанин вдруг очнулись и будто только сейчас заметили друг друга.

В сиянии бледной луны, искаженные резкими переходами света и тени, молодые люди выглядели гораздо старше своих лет. Огоньки их сигарет мерцали фосфорическим отсветом. Оба были подавлены. У каждого на то свои причины, но состояние подавленности общее. Владеет ими одно желание: подняться и уйти домой. Однако оба словно прикованы к каменным сиденьям, хранящим еще тепло солнечного дня. Разговор их младших товарищей, которому они случайно и тайно оказались свидетелями, очень кстати отложил их собственное объяснение и разговор. Но вот неизбежное настало.

— Как тебе понравился Херак с его аргументацией? — начал Стикович первым, возвращаясь к вечерней

дискуссии и тут же почувствовав в этом известную свою слабость.

Воспользовавшись, в свою очередь, минутным преимуществом своего положения судьи, Гласинчанин медлил с ответом.

— Нет, каково,— продолжал в нетерпении Стикович,— говорить о классовой борьбе и проповедовать теорию малых дел, тогда как у нас уже нет человека, который не понимал бы, что национальное объединение и освобождение, произведенное революционным путем,— первейшие задачи общества! Право же, просто смешно!

В голосе Стиковича звучал вопрос и вызов к разговору. Но Гласинчанин и тут не отозвался. В тишину этого мстительного и злобного молчания вторглись звуки музыки, долетавшей сюда из офицерского собрания на берегу реки. Освещенные окна первого этажа были распахнуты настежь. Пела скрипка, сопровождаемая фортепьяно. Это играл военный врач, *Regimentsarzt*, д-р Балаш, аккомпанировала ему жена начальника гарнизона, полковника Бауэра. (Они разучивали вторую часть сонаты Шуберта для фортепьяно и скрипки.) Начали уверенно и дружно, но, не дойдя до середины, рояль забежал вперед. Скрипка прервала игру. После краткой паузы, ушедшей, вероятно, на разбор спорного места, музыканты начали снова. Так упражняются они, засиживаясь допоздна, едва ли не ежедневно, между тем как полковник в соседнем зале сидит за бесконечными партиями преферанса или просто клюет носом за стаканом мостарского вина и австрийской сигарой, а офицеры помоложе изощряются в остротах по адресу влюбленных музыкантов.

У госпожи Бауэр и молодого доктора и в самом деле вот уже несколько месяцев плетется нить непростых и нелегких отношений. Но даже самые прозорливые из господ офицеров не в состоянии разгадать их истинную природу. Согласно утверждению одних, связь эта носит чисто духовный характер (что, конечно же, подвергается ими всяческому осмеянию), по мнению других, и плоти тут отводится положенное место. Как бы там ни было, но только эти двое, с полного отеческого благословения полковника, добрейшей души человека, успевшего изрядно отупеть от службы, лет, спиртного и курения, совершенно неразлучны.

Всему городу известна эта пара. Вообще же офицерское общество держится совершенно обособленно не только от местных, но и от приезжей чиновничьей среды. Запрещая выпускать собак в офицерские парки с круглыми или звездообразными клумбами, полными редких цветов, те же самые таблички не разрешали входить туда и штатским. Танцевальные вечера и собрания офицеров недоступны тем, кто не носит мундира. Замкнутые в своем кругу, они вели типично кастовую жизнь и, культивируя исключительность, как основную силу своего могущества, под личиной блестящей и непроницаемой внешности скрывали то, чем одинаково одаривает жизнь всех смертных — великолепием и нищетой, блаженством и отчаянием.

Но есть на свете вещи, по самой своей сути не созданные оставаться в тайне,— ни самые крепкие замки, ни глухие барьеры не могут спрятать их от людских глаз и ушей. («Три вещи в мире невозможно скрыть,— говорили турки,— любовь, кашель и бедность».) Один из этих случаев и представляла влюбленная чета. Не было в городе старика или ребенка, женщины или мужчины, которые не натыкались бы на влюбленных во время их прогулок, когда они, поглощенные разговором, слепые и глухие ко всему вокруг, брели уединенными дорожками в окрестностях города. Пастухи привыкли к ним, словно к майским жукам, парами усеваящим придорожные листья. Встречали их повсюду: у Дрины, и у Рзава, и у развалин Старого града, на тракте по выходе из города, в окрестностях Стражиште. Встречали во всякое время дня. Ибо время для влюбленных всегда идет слишком быстро, и нет такой тропы, которая показалась бы им достаточно длинной. Они скакали верхом, катались в легких пролетках, но больше всего ходили пешком, особым шагом влюбленных, существующих только друг для друга и совершенно безразличных ко всему, кроме того, что они говорят друг другу.

Он был омадьярившийся словак из бедной чиновничьей семьи, обучавшийся на государственный кошт, молодой и несомненно музыкально одаренный, болезненно ранимый и самолюбивый, главным образом из-за своего происхождения, мешавшего ему быть на равной ноге с офицерами немцами или венграми из именитых или зажиточных семейств. Она тридцати с чем-то лет, восемью

годами старше его. Высокая блондинка, тронутая первым увяданием, но с прекрасной бело-розовой кожей и лучистым сиянием больших синих глаз, она всем своим обликом и осанкой напоминала портреты королей, пленяющих воображение девиц.

У каждого из них были свои личные причины для недовольства жизнью, действительные или мнимые, однако же достаточно глубокие. Но кроме этого, у них была еще общая и главная причина: оба они чувствовали себя несчастными изгнанниками в этой заштатной глуши, в обществе офицеров, по большей части людей ничтожных и пустых. И поэтому держались со скорбной обреченностью потерпевших кораблекрушение. Они разговаривались друг в друге, забываясь в бесконечных разговорах или музыке, как сейчас.

Такова была невидимая пара, заполнявшая музыкой тяжелое молчание, воцарившееся между двумя молодыми людьми.

Но вот что-то снова смешалось в мелодии, разлившейся в безмятежном спокойствии ночи, и на какое-то время она прервалась. В наступившей тишине, продолжая последние слова Стиковича, Гласинчанин каким-то деревянным голосом проговорил:

— Смешно?! Да, по правде говоря, во всей этой дискуссии много смешного.

Стикович поспешно вырвал сигарету изо рта, а Гласинчанин неторопливо, но уверенно стал излагать свою мысль, давно уже, как видно, его мучившую.

— Я внимательно прислушиваюсь ко всем этим дискуссиям, и между вами двумя, и между другими образованными людьми в городе; читаю газеты и журналы. И чем больше слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что большинство этих устных или письменных дискуссий не имеет никакой связи с жизнью, ее насущными потребностями и проблемами. Ибо я-то на себе самом чувствую и ощущаю эту самую натуральную жизнь,— жизнь, которой живут все вокруг. Возможно, я неправ или, может быть, недостаточно удачно выражаюсь, но часто мне на ум приходит мысль о том, что технический прогресс и относительный покой создали иллюзорную, искусственную атмосферу затишья, в которой определенный класс людей, так называемых интеллигентов, получил возможность совершенно беспрепятственно предаваться празд-

ной и увлекательной игре в идеи и «взгляды на жизнь и мир». Этаким род интеллектуальной оранжереи с искусственным климатом и экзотической флорой, без всякой связи с землей и настоящей твердой почвой, по которой перемещаются массы живых людей. Вы думаете, что печетесь о судьбе этих масс и их использовании в борьбе за достижение высших целей, намеченных вами для них, в действительности же ваши умствования не имеют никакой связи с подлинной жизнью масс, как и с жизнью вообще. И в этом смысле игра ваша становится опасной, или, во всяком случае, может стать опасной как для других, так и для вас самих.

Гласинчанин на мгновение остановился. Пораженный продуманностью и стройностью излагаемой ему концепции, Стикович и не пытался возражать или противоречить. Единственно при слове «опасной» он изобразил рукой иронический жест. Задетый за живое, Гласинчанин заторопился дальше:

— Бог ты мой, да послушать вас, так подумаешь, что все вопросы на земле счастливо разрешены, все опасности устранены на веки вечные, все дороги укатаны и открыты, так что остается только двинуться по ним. А в действительности ничего еще не решено, и нелегко решить, и часто нет надежды решить, ибо все трудно и запутанно, дорого и сопряжено с неоправданным риском; нигде ни следа не видать ни от смелых проектов Херака, ни от твоих безбрежных перспектив. Бьется человек весь свой век, но и самого необходимого не получает, не говоря уж о том, чего он хотел бы. Что же до теорий, вами проповедуемых, то они лишь удовлетворяют извечную потребность человека в игре, льстят тщеславию, да еще обманывают и вас и других. Такова истина или, по крайней мере, таковой она мне представляется.

— Ничего подобного. Сравни, пожалуйста, разные исторические эпохи, и перед тобой воочию предстанет так называемый прогресс и смысл человеческой борьбы, а соответственно и «теорий», которые дают ей направление.

Немедленно заподозрив в этой фразе намек на его прерванное образование, Гласинчанин, как всегда в подобных случаях, внутренне вздрогнул.

— Я историю не изучаю,— начал он.

— Вот видишь, а если б изучал, ты бы сразу увидел...

— Но и ты ведь ее не изучаешь.

— Как?.. То есть... вот именно что изучаю.

— Помимо естественных наук?

Дрожь озлобления в голосе Гласинчанина на мгновение смутила Стиковича, и он произнес каким-то мертвым голосом:

— Да, если хочешь знать, именно так: наряду с науками естественными я занимаюсь еще политическими, историческими и социальными вопросами.

— Здорово ты это успеваешь. Ведь ты еще, насколько мне известно, и оратор, и пропагандист, и поэт, и любовник.

Стикович вымученно хохотнул. Далеким, но болезненным воспоминанием представился ему послеполуденный час в запустении загроможденного партами класса, и соображение о том, что Зорка с Гласинчанином любезничали до его приезда в город, впервые пришло ему в голову. Тот, кто не любит, не способен понять силу чужой любви, безумства ревности и заключенной в ней опасности.

Взаимная враждебность, грозившая все время выйти наружу, вылилась в желчную ссору. Но молодежь не страшат ссоры, как молодых зверят — буйная жестокая возня.

— Кто я такой и чем занимаюсь, это в конце концов никого не касается. Я же не спрашиваю у тебя про твои кубометры и бревна.

Напоминание о его положении острой болью отозвалось в незаживающей ране Гласинчанина.

— Оставь мои кубометры в покое. Я этим живу, а не пускаюсь в авантюры, не одурачиваю никого и не обольщаю.

— А кого же это обольщаю я?

— Всякого или всякую, кто подвернется.

— Это неправда!

— Нет, правда. Сам знаешь, что правда. И уж если зашла об этом речь, я тебе скажу все напрямик.

— Я не любопытен.

— А я все равно скажу, потому что, даже скача по бревнам целый день, можно кое-что увидеть и понять, осмыслить и прочувствовать. И я хочу наконец выложить тебе все, что я думаю о твоих разнообразных заня-

тиях и дарованиях, твоих смелых теориях, стихах и любовных интригах.

Стикович сделал движение, как бы порываясь встать, но остался на месте. Фортепьяно и скрипка в офицерском собрании давно уже снова играли (они исполняли третью, самую веселую и оживленную часть сонаты), звуки музыки сливались в ночи с шумом реки.

— Спасибо, об этом я слышал от людей поумнее тебя.

— Ну нет. Другие либо тебя не знают, либо лгут, либо думают так же, как я, но молчат. Все твои теории, все твои бесчисленные интеллектуальные занятия, как и любовь и дружба, — все они порождены амбицией, ложной, нездоровой амбицией, основанной на одном только тщеславии.

— Ха, ха!

— Да, да. И самая эта идея национального освобождения, столь пламенно тобой пропагандируемая, — и она тоже не что иное, как своеобразное проявление все того же тщеславия. Ибо ты не способен любить ни мать, ни сестер, ни родного брата, не говоря уж о какой-то там идее. Только из тщеславия ты можешь быть добрым, щедрым и самоотверженным. Оно — единственная сила, которая движет тобою, твоя святыня, единственное в мире, что ты любишь больше самого себя. Твоя показная горячность и преданность национальным идеалам, науке, поэзии или еще какой-нибудь другой высокой цели, вознесшейся над интересами личности, конечно, введет в заблуждение любого, кто тебя не знает. Но ты не можешь надолго отдаваться чему-то одному — тщеславие не позволяет! Едва пропадает тщеславный интерес, как сейчас же охлаждается весь твой пыл и ты пальцем не пошевелишь в защиту некогда близких тебе идей. В конце концов из-за него ты сам себя предашь, ибо ты не что иное, как раб собственного тщеславия. Мету своего тщеславия ты и сам не знаешь. Я же вижу тебя насквозь, и только я один знаю, что ты чудовищное порождение тщеславия.

Стикович ничего не отвечал. Ошеломленный страстной убежденностью этой речи, он с изумлением смотрел на своего товарища, столь неожиданно представшего перед ним в новой роли и новом свете. Протест и возмущение первых минут постепенно сменились в нем любопыт-

ством к язвительному потоку обличений, даже чем-то льстившим ему. Отдельные слова, правда, больно задевали его за живое, однако же все в целом, — беспощадное проникновение в его характер, — доставляло Стиковичу странное удовольствие. Ибо назвать молодого человека чудовищем — значит лишь польстить его самолюбию и гордости. Ему и в самом деле не терпелось, чтоб Гласинчанин продолжил это яростное копание в его душе, ослепительное высвечивание его скрытого «я»; в этом он видел как бы лишнее подтверждение его исключительности и всеисилия. Застывший взгляд Стиковича остановился на белой плите мемориальной доски, ярко выступавшей в лунном свете. Пристально вглядываясь в загадочные письма турецкой надписи, он как бы стремился вычитать в них истинный, сокровенный смысл того, что с такой жестокой убедительностью преподносил ему озлобившийся приятель.

— Ни до чего тебе дела нет, и по-настоящему ты не можешь ни любить, ни ненавидеть, ибо и для того, и для другого надо хотя бы на минуту отрешиться от самого себя, уйти на второй план, позабыть себя, превозмочь свое тщеславие. А на это ты не способен; да и если бы и был способен, на свете нет такой вещи, ради которой ты бы пошел на это. Чужое горе тебя не заботит и, уж конечно, никак не трогает; даже и к своему ты равнодушен, если только оно не льстит тщеславию. У тебя нет желаний, и радоваться ты не умеешь. Ты даже зависти не знаешь, но не по доброте души, а от безграничного себялюбия; чужое счастье для тебя не существует так же, как и чужая беда. Ничто не может вывести тебя из равновесия, ничто не может тебя взволновать. И ты не останешься ни перед чем, но причиной тому не бесстрашие, а отсутствие здоровых инстинктов, ибо ни кровное родство, ни внутренняя убежденность, ни бог, ни мир, ни свойственник, ни друг при твоём тщеславии для тебя не значат ничего. Ты не ценишь и свои собственные способности. И не совесть, лишь голос оскорбленного тщеславия иной раз может заговорить в тебе, ибо всегда и во всем оно одно диктует тебе и навязывает свою волю.

— И все это из-за Зорки? — невольно вырвалось у Стиковича.

— Если хочешь, поговорим и об этом. Из-за Зорки, да. Ведь и до Зорки тебе нет никакого дела, ни на вот

столько! И все потому, что ты не способен устоять перед тем, что неожиданно само идет к тебе в руки и льстит твоему тщеславию. Да, ты покоряешь бедных неискушенных и взбалмошных учительниц с той же легкостью, с какой пишешь свои статьи и стихи, произносишь речи и проповеди. Но, не успев их покорить до конца, ты уже тяготишься ими, ибо тщеславие твое, томясь от скуки, жадным взором уносится дальше. Но эта же ненасытная алчность и неспособность на чем-то остановиться, в чем-то найти удовлетворение — проклятие твое. Все подчинив своему тщеславию, ты стал его рабом и мучеником. Возможно, впереди тебя ждут триумфы и бóльшие успехи, чем победа над слабыми, потерявшими голову женщинами, но и они не принесут тебе радости, ибо, подгоняемый тщеславием, ты устремисься дальше, позволяя ему с одинаковой поспешностью заглатывать на ходу крупные и мелкие успехи, тотчас забывая их, но навечно сохраняя в памяти ничтожнейшие обиды и поражения. Когда же все будет оборвано, обломано, опозорено, унижено, втоптанно в грязь и уничтожено, в образовавшейся вокруг тебя пустыне ты встретишься лицом к лицу с твоим тщеславием и ничего, кроме себя, не сможешь ему предложить, но самоедство ему, привыкшему к более жирным кускам, придется не по вкусу, и оно отвергнет тебя, как негодную к употреблению пищу. Таков ты есть, хотя в глазах других и выглядишь иным и сам себя иным воображаешь. Но я-то тебя знаю.

Тут Гласинчанин умолк.

На мосту уже давала себя знать ночная свежесть, ширилась тишина, нарушаемая только вечным шумом воды. Они и не заметили, когда оборвалась музыка. С самозабвением юности отдавшись своим мыслям, приятели потеряли представление о том, что с ними и где они находятся. Терзаемый ревностью, несчастный «обмерщик» древесины в отчаянном порыве излил сейчас с неожиданной силой красноречия все выстраданное и передуманное им с такой отчетливой и горькой ясностью, которая ему еще до сих пор ни разу не давалась. Стикович слушал в оцепенении, вглядываясь в белую плиту с турецкой надписью, словно это был экран кинематографа. Язвительные стрелы обвинения, которые пускал в него из темноты его невидимый друг, не причиняли ему более ни боли, ни вреда. Напротив, с каждым словом Гласин-

чанина он как бы возносился ввысь и на незримых крыльях неслышно парил, стремительно, вольно и смело летел над землей и всеми ее обитателями, их путами, законами и чувствованиями, летел одинокий, гордый и великий, исполненный каким-то непонятным счастьем или, во всяком случае, чем-то в этом роде. Летел надо всем. И этот голос и речи его соперника, как рокот воды и гул невидимого нижнего мира, затаившегося где-то под ним в глубине со всеми его достоинствами и недостатками, со всеми его осуждениями и упреками, были ему безразличны, ибо он пролетал над ними, как птица, и больше их не видал.

Мгновение наступившего молчания как бы отрезвило обоих. Оба не поднимали глаз. Бог знает, куда завела бы их ссора, если бы на мост с громкими возгласами и пением не ввалилась с базара компания подвыпивших гуляк. Кто-то прерывающимся фальцетом тянул старинную песню:

И умна ты и собою хороша,
Дочь Авдаги, раскрасавица Фата!

По голосам гуляк они узнали кой-кого из молодых торговцев и хозяйских сыновей. Одни еще держались бодро на ногах, другие выделывали кренделя и спотыкались. Недвусмысленные шутки говорили о том, что они явились «из-под тополей».

В предыдущем своем повествовании мы забыли упомянуть еще об одном здешнем новшестве. (Но, вероятно, вы заметили и сами, как мы забывчивы во всем, что касается вещей, нам неприятных.)

Так вот, пятнадцать с чем-то лет тому назад, еще до прокладки железной дороги, в городе объявился некий венгр с женой. Он именовался Тердиком, жену его звали Юлка, и говорила она по-сербски, так как была родом из Нового Сада. Тотчас же стало всем известно, что прибыли они сюда с намерением открыть такое заведение, какого отродясь не видывали здешние края. Они и открыли его на самой окраине города под высокими тополями, у подножия Стражиште, в одном старом беговском доме, заново перестроенном.

Дом этот был позором города. Окна его занавешены целыми днями. А с наступлением темноты над входом

зажигался белый ацетиленовый фонарь, горевший всю ночь. Из нижнего этажа неслись звуки песен и пианолы. Распутники и молодежь то и дело склоняли имена девиц, привезенных Тердиком. Вначале их было четыре: Ирма, Илона, Фрида и Аранка.

Каждую пятницу «Юлкины девицы» отправлялись в двух пролетках в больницу на еженедельный врачебный осмотр. Нарумяненные и набеленные, в шляпках с цветами, они покачивали зонтиками на длинных ручках, трепетавшими кружевом своих воланов. Ограждая своих дочерей от вида этих экипажей, горожанки и сами отворачивались от них со смешанным чувством брезгливости, стыда и сострадания.

С началом строительства железной дороги и приливом денег и рабочей силы увеличилась и численность девиц. На смену старому, турецкому дому Тердик выстроил новое здание «по специальному проекту», под красной черепичной крышей, видной издалека. Оно состояло из трех отделений: общего зала, Extra Zimmer и Offizierssalon'a. И гости и цены в них были разные. Но сыновья и внуки тех, кто пил когда-то горькую у Зарии в трактире, а потом в гостинице у Лотики, теперь, по выражению горожан, получили новую возможность свои наследственные или благоприобретенные капиталы спускать «под тополями». Здесь происходили самые крупные розыгрыши, самые знаменитые кулачные бои, безудержные пьянки и сентиментальные драмы. Сюда тянулись нити многих личных и семейных бед.

Центром пьяной компании, высыпавшей освежиться в воротах после первой половины ночи, проведенной «под тополями», был некий паренек Никола Зубоскал, безответный недоумок, которого хозяйские сынки спаивали себе на потеху.

Но до ворот гуляки не дошли. Сгрудившись у парапета, они о чем-то пьяно раскричались. Никола Зубоскал вызвался на спор перейти мост по ограде за два литра вина. Пари составилось, и, встав на перила и раскинув руки, Никола нога за ногу, как лунатик, двинулся вперед. Достигнув ворот и обнаружив здесь двух запоздалых посетителей, он, не сказав ни слова, миновал их и, мурлыча про себя какой-то неясный напев, продолжал, пьяно шатаясь, свой опасный путь, сопровождаемый ор-

дой ликующих собутыльников. Его вытянутая тень в бледном свете луны плыла по мосту, преломляясь на ограде противоположной стороны.

Но вот и пьяная компания с разнузданными воплями и криками прошла. Тотчас же поднялись и, не прощаясь, двинулись по домам и бывшие друзья.

Гласинчанин сразу скрылся во мраке, повернув к левому берегу Дрины, к своему дому на Околиште. Стикович пошел в противоположную сторону, к площади. Шагал он нерешительно и медленно. Светлая прохлада моста удерживала его от темноты, поглотившей город. Он остановился, прислонившись к парапету. Он так сейчас нуждался в опоре и поддержке.

Луна зашла за Видову гору. Облокотившись на каменные перила моста почти у самого его конца, юноша долго изучал размытые тени и редкие огоньки родного города, словно видел его впервые. Два окна светились еще в офицерском собрании. Музыки слышно не было. Бедные влюбленные, полковница и доктор, должно быть, до сих пор разговаривали о музыке и о любви или о горькой своей доле, не отпустившей им счастья ни вместе, ни порознь.

И в гостинице Лотики одно окно было освещено — Стикович узнал его с моста. Молодой человек всматривался пристально в квадраты этих освещенных окон по ту и по другую сторону моста, как будто бы чего-то ждал от них. Он был подавлен и опустошен. Страшное пари безумца Зубоскала живо воскресило в нем воспоминание раннего детства, когда однажды по дороге в школу, в морозной дымке зимнего утра, он увидел Кривого, неуклюже приплясывающего на коньке этой самой ограды. А всякое воспоминание о детстве вызывало в нем тягостное чувство и тоску. Безвозвратно ушло ощущение отверженного, но гордого величия и метеорного полета надо всем и вся, внушенное ему суровой непреклонностью Гласинчанина. Внезапно свергнутый с высот, он принужден был теперь наравне со всеми прочими тащиться по земной грязи. Стиковича мучили воспоминания о том, что было у него с учительницей и чего не должно было быть (как будто бы кто-то другой действовал тогда вместо него!), и о статье в журнале, слабой и беспомощной на его теперешний взгляд (как будто бы кто-то другой написал эту статью и, вопреки его воле, опубликовал в

журнале под его фамилией!), и, наконец, об обвинительной речи Гласинчанина, злобно-враждебный, смертельно-оскорбительный и откровенно-вызывающий смысл которой он только сейчас осознал до конца.

Он содрогнулся, пронизанный внутренней дрожью и сыростью, веющей с реки. И, как бы пробуждаясь от сна, заметил, что два освещенные окна в офицерском собрании погасли. Оттуда выходили последние гости. Волочась по мостовой, звенели сабли, гулко разносились голоса. С усилием отрываясь от ограды и еще раз взглянув на светящееся окошко гостиницы — последний огонек уснувшего города, юноша стал медленно взбираться на Мейдан, к своему бедняцкому жилищу.

XX

Последним знаком бодрствующей жизни, светившимся в ту ночь над городом, было окошко верхнего этажа, где находилась комната Лотики. Лотика в эту ночь засиделась допоздна за своим заваленным бумагами столом. Как засиживалась двадцать и больше лет тому назад, забежав в свою каморку отдохнуть хоть немного от гама и сутолоки своего заведения. Только теперь внизу темно и тихо.

Не было еще и десяти, когда Лотика удалилась к себе, собираясь лечь спать. Она подошла к окну еще раз вдохнуть речной прохлады и бросить взгляд на последнюю арку моста, которая с извечным постоянством открывалась ей в озарении бледной луны. Тут ей вспомнился какой-то старый счет, и Лотика подошла к столу, чтобы его найти. Но, начав просматривать бумаги, углубилась в дела и, забыв про время и про сон, больше двух часов провела за столом.

Было уже далеко за полночь, а Лотика, погруженная в расчеты, нанизывала цифры одну на другую и переворачивала страницу за страницей.

Лотика устала. Днем в делах и хлопотах она по-прежнему оживлена, проворна и речиста, но тем чувствительней давит на нее тяжесть прожитых лет и усталости, когда вот так ночью она остается наедине с собой. Лотика сильно сдала. Одни воспоминания сохранились от былой ее красоты. Она похудела и пожелтела лицом, замет-

но поредели и потускнели ее волосы; а зубы, ослепительные, белые и крепкие, словно градины, повывпадали и потемнели. Взгляд ее по-прежнему блестящих черных глаз был тверд и порой печален.

Лотика устала, но не той благотворной и приятной усталостью напряженных и прибыльных трудов, заставлявшей ее некогда искать минутной передышки и покоя в этой самой комнате второго этажа. Просто подошла старость и настали плохие времена.

Трудно это выразить словами и даже объяснить самой себе, но буквально на каждом шагу ощущала она перемены к худшему, во всяком случае для того, кто печется лишь о своем благополучии и своих близких. Когда три с лишним десятка лет тому назад она обосновалась в Боснии и развернула дело, жизнь казалась ей простой и понятной. Все, как и Лотика, держались тогда семьи и стремились как можно больше заработать. Каждый был на своем месте, и для каждого было место. И для всех был один порядок и один закон — твердый порядок, строгий закон. Таким тогда представлялся Лотике мир. Теперь же все сместилось и перепуталось. Люди разделялись или выдвигались по какой-то совершенно непонятной ей логике. Закон барыша и убытка, прекрасный закон, спокон веков управлявший поступками людей, как бы вдруг утратил силу, — столько теперь делалось, говорилось и писалось, по ее понятиям, бессмысленного и никчемного, могущего принести одни лишь убытки и вред. Жизнь истощалась, мельчала и оскудевала. Похоже, нынешнему поколению их взгляды на жизнь вообще дороже самой этой жизни. Безумие, совершенно ей непонятное, но это было так. И оттого жизнь теряла свою ценность, растрачиваясь на слова. В этом Лотика убеждалась на каждом шагу.

Хозяйственные хлопоты, отарой резвых ягнят, бывало, мельтешившие у нее перед глазами, теперь тяжелым мертвым грузом каменной плиты с еврейского кладбища давили на нее. Вот уже десять лет, как гостиница в упадке. Вокруг города леса сведены, и лесоразработки, отодвигаясь все дальше и дальше, увлекали за собой лучшую Лотикину клиентуру, а вместе с ней уходили и доходы. Бессовестный Тердик, этот наглый плебей, открыв свой пресловутый «дом под тополями», сманил у Лотики изрядное число ее гостей, с циничной прямоотой предло-

жив к услугам их то самое, что ни в какие времена ни за какие деньги они не могли получить в ее гостинице. Долго возмущалась Лотика недостойной и позорной конкуренцией и кляла гиблые времена беззакония и произвола, когда нет места честным заработкам. В пылу негодования она обозвала как-то Тердика «сводней». Тот подал в суд, и Лотику приговорили к штрафу за оскорбление личности. Но и по сей день, хоть и с оглядкой на тех, кто был рядом, она его иначе не называла. В новом офицерском собрании был свой ресторан с погребок отличных вин и номерами, где останавливалась вся приличная приезжая публика. Замкнутый и хмурый, но такой, казалось бы, надежный и незаменимый Густав, столько лет проработав в гостинице, тоже покинул ее и открыл кофейню на базаре, на самом бойком месте, из недавнего компаньона превратившись в беспардонного конкурента. Певческие общества и всевозможные читальни, пооткрывавшиеся за последние годы, как мы видели, в городе, в свою очередь тоже обзавелись кофейнями и привлекали множество народа.

Нет больше прежнего оживления ни в общем, ни особенно в отдельном зале. Здесь теперь, случается, обедают холостяки-чиновники, читают газеты и пьют кофе. Среди дня в гостиницу заглядывает непременно Али-бег Пашич, молчаливый и преданный друг Лотикиной молодости. Он по-прежнему размеренный и сдержанный в словах и движениях, подтянутый и тщательно одетый, только что совсем седой и погрузневший. Вот уже много лет ему подается кофе с сахарином из-за диабета, которым он давно страдает. Невозмутимый, как всегда, он молча курит и слушает Лотику. И так же молча и невозмутимо в положенное время встает и отправляется домой в Црнчу. Ежедневно здесь бывает и газда Павле Ранкович, сосед Лотики. Давно уж отказавшись от национального костюма, он облачился в «тесное» партикулярное платье, сохранив только плоскую красную феску. Круглые манжеты его рубахи с неизменно накрахмаленной грудью и твердым воротничком, как всегда, исписаны пометками и набросками счетов. Он давно уже выбился в первые среди вышеградских торговцев, но, при всей прочности положения, и у него свои заботы и волнения. Как и всех имущих людей старшего поколения, и его пугало нашествие новых времен с оглушительным натиском

новых идей и понятий, мыслей и выражений. Все это совмещалось для него в одном слове «политика». И эта «политика» была тем самым источником негодования и беспокойства, омрачавшим ему последние годы, которые после стольких лет труда, экономии и воздержания надлежало бы провести в довольстве и покое. А он, не желая отрываться или обособляться от своих земляков, в то же время стремился избегать конфликтов с властями, с которыми он всегда предпочитал жить в мире или, по крайней мере, в видимом согласии. Трудно, почти что невозможно этого добиться. Со своими сыновьями и то он не может поладить. Они, как и вся нынешняя молодежь, недоступны его пониманию и кажутся ему просто невменяемыми. (А между тем из выгоды или по слабости за молодежью тянутся и взрослые.) Всем поведением своим, повадками и поступками зеленые эти юнцы словно отметали от себя и начисто предавали забвению то, что не носиться им по горам отпетыми головорезами, а жить в этом самом порядке вещей до самой смерти. Безответственная в словах, поступках и тратах, нынешняя молодежь ела хлеб, нимало не задумываясь над тем, откуда он берется и, меньше всего занимаясь своим непосредственным делом, говорила, говорила, говорила, — «брехала на звезды», как выражался газда Павле, бранясь с сыновьями.

Неограниченная вольность суждений, безудержная болтовня и жизнь без расчета и расчёту вопреки его, не сделавшего за свою жизнь ни одного бездумного нерасчетливого шага, приводили в отчаяние и бешенство. Послушать их да поглядеть, поневоле содрогаешься от непростительного легкомыслия, с каким они вторгаются в самые основы жизни, в ее святая святых. А попросишь объяснения, чтобы убедиться в их правоте и успокоиться, в ответ получишь презрительно и свысока кинутые громкие и смутные слова: свобода, будущее, история, наука, слава, величие. От всей этой зауми по коже пробегает мороз. Вот почему газда Павле так любит посидеть за чашкой кофе с Лотикой. С ней можно обсудить дела и новости на языке проверенного и утвержденного раз навсегда расчета, и близко не подходя к «политике» с опасными громкими словами, все подвергающими сомнению, но ничего не объясняющими и ничего не доказывающими. Говоря, он нередко вытаскивал огрызок не-

разлучного карандаша,— точно такого же сточенного и измызганного, как и двадцать пять лет тому назад, и подвергал свои слова суду беспристрастных и неумолимых цифр. Припомнится и оживет еще в беседе какой-нибудь давнишний случай или веселая проделка, участницы которой по большей части давно уже мертвы, а потом и газда Павле отправится, понурый и задумчивый, в свой магазин на площади. И Лотика остается одна со своими тревогами и расчетами.

Не лучше, чем с доходами от заведения, обстояли у Лотики дела и с биржевыми операциями. В первые годы оккупации довольно было купить любые акции любого предприятия, чтобы быть уверенным в надежном помещении денег и думать лишь о размерах процентов. Но тогда гостиница только открылась, и Лотика не располагала ни достаточными наличными деньгами, ни кредитными возможностями, полученными ею позднее. Когда же у нее появилось и то и другое, положение на рынках совершенно изменилось. Крупнейший экономический кризис конца XIX — начала XX века захватил и Австро-Венгерскую монархию. Подобно пыли на ветру заплясали приобретенные Лотикой бумаги. Она плакала от злости, читая воскресные выпуски венского «Merkur'a» с курсами акций. Весь доход гостиницы, процветавшей в то время, не мог покрыть убытки и заполнить зияющих пустот, образованных общим падением ценностей. Целых два года не могла оправиться Лотика от тяжелого нервного потрясения, которое она тогда перенесла. Она почти помешалась от горя. Не слышала обращенных к ней слов, не думала, что отвечает сама. И, глядя на кого-нибудь в упор, вместо живого лица видела набранные столбцы «Merkur'a», заключавшие в себе ожидавшее ее несчастье или счастье. Лотика бросила приобретать билеты лотерей. Раз все на свете игра и воля случая, надо играть до конца. У нее были билеты лотерей всего мира, выпускавшиеся в те времена. Ей удалось приобрести даже четверть большой рождественской испанской лотереи с главным выигрышем на 15 000 000 пезет. Она дрожала от страха перед каждым тиражом, плакала над таблицами розыгрышей и молила бога сотворить чудо и послать ей главный выигрыш. Но никогда не выигрывала.

Семь лет тому назад зять Лотики Цалер вместе с

двумя состоятельными компаньонами основал в городе новое молочное товарищество. Три пятых основного капитала внесла Лотика. Дело было задумано с размахом. Первые носомненные успехи должны были, по их расчетам, привлечь внимание предпринимателей не только за пределами города, но и за пределами Боснии. Но как раз в то время, когда товарищество переживало начальную стадию развития и роста, разразился аннексионный кризис. И всякая надежда на привлечение свежих капиталов рухнула. При крайней неустойчивости положения в пограничных областях из дела стали уходить вложенные капиталы. Просуществовав два года, товарищество было ликвидировано с полной потерей основных капиталов. Для покрытия убытков Лотике пришлось продать наиболее надежные и ценные акции, вроде акций сараевской пивоваренной К° или тузланской фабрики соды Солвай.

Финансовые незадачи тянули за собой словно на привязи семейные невзгоды и крушения. Правда, одна из двух дочерей Цалера, Ирена, неожиданно удачно вышла замуж. (Приданое дала Лотика.) Но старшая, Мина, осталась дома. Озлобленная замужеством младшей сестры и невезением с женихами, она, до срока записавшись в желчные и раздражительные вековуши, делала поистине невыносимым домашнее существование и работу в гостинице. Не отличавшийся и в прошлом избытком активности и предприимчивости, Цалер совсем замкнулся и притих и был в своем доме безгласным и благодушным постояльцем, от которого ни пользы, ни вреда. Его болезненная жена Дебора, будучи уже сильно в годах, родила мальчика, — недоразвитого и увечного. Ему уже шел десятый год, но он по сию пору не умел членораздельно говорить и держаться на ногах, только мычал и ползал по дому на четвереньках. Но до того было привязчивым и ласковым убогое это создание, с таким отчаянием цеплялось оно за свою тетку Лотику, любимую им несравненно больше родной матери, что в добавление ко всем своим обязанностям и хлопотам Лотика еще ухаживала и за ним, кормила, одевала и укладывала спать. И, видя каждый день перед собой этого маленького уродца, Лотика изнывала душой, кляня и скверные дела, и безденежье, не дающее ей возможности отправить ребенка в Вену к знаменитым светилам или в какой-

нибудь санаторий, и равнодушие небес, не желающих господней волей исцелить параличных, несмотря на все молитвы и добродетели верующих.

Немало огорчений и разочарований приносили Лотике и подопечные ее из Галиции, обученные или выданные замуж в счастливые времена благополучия. Правда, были среди них такие, которые, обзаведясь семьей, преуспели и сколотили себе состояние.

Лотика регулярно получала от них поздравления и письма, исполненные благодарности и почтения, и отчеты обо всех семейных новостях. Но собственными же ее руками выведенные в люди Апфельмайеры, в свое время получившие образование и пристроенные ее благодеяниями, рассеявшись по чужим городам, заботились только о себе и своем потомстве и думать не хотели о нищих родственниках, во множестве плодившихся и подраставших в Галиции. Как можно скорее полностью и навсегда изгладить из памяти Тернополь с убогой нищетой породившей их среды, из которой им посчастливилось вырваться, они считали едва ли не главным залогом жизненного своего успеха. Самой же Лотике теперь уж не по силам было, отрывая, как когда-то, от себя, ставить на ноги горькую тернопольскую голытьбу. Но не было такого дня, чтобы, вставая и ложась в кровать, ее больно не пронзала мысль о том, что кто-то из ее родных в тернопольском безвестье безвозвратно погрязает в трясину нужды и невежества, столь хорошо знакомую ей самой, всю жизнь отчаянно сопротивлявшейся постыдной бедности.

Однако же и те, кого она вызволила из ничтожества, доставляли ей немало поводов для огорчений и неудовольствия. При этом самые незаурядные из них после первых же успехов, открывавших перед ними прекрасные перспективы, свернули на скользкий и порочный путь. Дочь ее сестры, талантливая пианистка, настояниями Лотики и при ее поддержке окончившая венскую консерваторию, отравилась несколько лет тому назад в пору своих первых и шумных триумфов. Причина осталась неизвестной.

Один из ее племянников — Альберт, надежда семейства и гордость Лотики, блестяще окончил гимназию и университет и лишь как еврей не удостоился отличия

«sub auspiciis regis»¹ и королевского перстня, о чем Лотика втайне мечтала. Тем не менее тетка прочила ему, коль скоро, будучи евреем, он не мог быть высокопоставленным чиновником, что более всего отвечало ее честолюбивым притязаниям, карьере крупного адвоката в Вене или Львове. И в этом видела награду всем жертвам, принесенным ею на алтарь его образования. Но и тут ее постигло жестокое разочарование. Молодой доктор права ушел в журналистику и стал членом социалистической партии, при этом экстремистского ее крыла, занявшего наиболее твердую позицию во всеобщей венской забастовке 1906 года. И Лотике однажды собственными глазами довелось прочесть сообщение венских газет о том, что «в целях очищения Вены от неблагонадежных инородных элементов, из города по отбывании в тюрьме положенного двадцатидневного срока заключения выслан в числе прочих известный еврейский подстрекатель д-р Альберт Апфельмайер». По местным понятиям, это было все равно что объявить человека гайдуком. Несколько месяцев спустя Лотика получила от своего любимого Альберта письмо из Буэнос-Айреса, его эмигрантского пристанища.

В те дни Лотика не находила покоя даже в своей комнатухе. С письмом в руках врываясь к зятю и сестре, она в пароксизме отчаяния яростно потрясала им перед носом Деборы, умевшей только плакать, и гневно зывала:

— Что с нами будет? Что с нами будет, спрашиваю я тебя, когда никто не может самостоятельно сделать ни шага? Стоит убрать руки, и сразу падают. Что из таких людей может получиться? Прокляты мы, прокляты, вот что!

— Gott, Gott, Gott!² — вздыхала бедняжка Дебора, проливая крупные слезы и не зная, что ответить Лотике. Но Лотика и сама не находила ответа, и, сцепляя руки, устремляла взор к небу, но не слезливый, а гневный и яростный.

— Социалистом стал! Со-ци-а-ли-стом! Мало нам того, что мы евреи, так на тебе еще и это! О, великий и единый боже, чем я перед собой согрешила, что ты так меня караешь? Социалист!

¹ Под покровительством короля (лат.)

² Боже, боже, боже! (нем.)

Она оплакала Альберта как покойника и больше никогда о нем не вспоминала.

Спустя три года одна из ее племянниц, сестра известного уже Альберта, удачно вышла замуж в Пеште. Лотика позаботилась о ее приданом и стояла насмерть в нравственной борьбе, вспыхнувшей в связи с этим браком в большом семействе тернопольских Апфельмайеров, богатых лишь детьми и непоколебимыми религиозными традициями. Жених племянницы, богатый биржевик, был христианином, кальвинистом, и непременно условием брака ставил переход невесты в его веру. Родители девушки воспротивились этому, но Лотика утверждала, что в интересах всей семьи надо сбросить кое-что из груза за борт с их переполненного людьми корабля, который немисливо вести по житейским волнам, не лавируя. Она встала за девушку горой. И слово Лотики оказалось решающим. Девушка крестилась и венчалась. Лотика надеялась с помощью вновь обретенного зятя ввести в пештские деловые круги еще кого-нибудь из подрастающего поколения племянниц и племянников. Но злой судьбе угодно было, чтобы богатый биржевик умер на первом году брака. Молодая жена потеряла рассудок от горя. Время шло, но она не поправлялась. И вот уже четвертый год, как жила молодой вдовой в Пеште, преданная нездоровой скорби, схожей с тихим помешательством. Просторные богатые покои в ее доме и поныне затянуты черным крепом. А сама она ежедневно отправляется на кладбище и, часами сидя у могилы мужа, тихо и самозабвенно читает ему свежие сводки биржевых курсов. На все попытки отвлечь ее от этого и вывести из летаргии она спокойно возражала, что чтение биржевых сводок было любимейшим занятием покойного и самой сладкой для него музыкой.

Вот сколько разных человеческих судеб собралось в тесной маленькой комнатке! Сколько расчетов, сомнений и навсегда утраченных и списанных граф в сложной и разветвленной бухгалтерии Лотики! Но принципы ведения дел остались прежними. Лотика устала, но не сдавалась. И при очередном поражении и неудаче только еще злее стискивала зубы и продолжала отбиваться. Последнее время она только и делала, что оборонялась, но и в обороне была столь же неотступна и целенаправленна, как некогда, когда дела шли в гору. У себя в гостинице

она «глава дома», для всего города — «тетушка Лотика». Много еще людей и здесь, и по всему свету ждет ее помощи, совета или хотя бы доброго слова, не помышляя при этом о том, что, может быть, она сама устала. А она действительно устала; устала так, как никто и представить себе не мог, устала больше, чем сознавала сама.

Маленькие деревянные ходики на стене пробили час. Держась за поясицу, Лотика тяжело поднялась. Осторожно потушила большую зеленую лампу на деревянной подставке и, дав себе поблажку в этот поздний час ночного одиночества, мелким старческим шагом пошла к постели.

Над спящим городом сомкнулась темнота.

XXI

И, наконец, настал год 1914, последний в летописи дринского моста. Неспешной поступью земного времени подошел он в свой срок, как и все предыдущие годы, сопровождаемый отдаленным гулом наката опережающих друг друга невиданных событий.

Столько ниспосланных всевышним лет пролетело над городом у моста и скольким предстояло еще пролететь! Но в пестрой череде минувших и грядущих лет 1914 год навек будет стоять особняком. По крайней мере, в представлении тех, кто его пережил. Сколько бы о нем ни спорили и ни писали, им казалось невозможным — по недостатку средств, а может быть, и мужества — выразить словами то, что приоткрылось им тогда в глубинах человеческой судьбы за временным и преходящим. Кто (так полагали они!) сумеет передать лихорадочный озноб, потрясший людские массы и перешедший затем с живых существ на неодоушевленные предметы, края и сооружения? Как описать падения и взлеты людей от немого животного ужаса до самоотверженного героизма, от низменного кровопийства и грязного разбоя до величайших подвигов святой самоотдачи, превозмогшей личное «я» и на мгновение приобщающей смертного к сфере высших миров с иными законами? Нет, никогда этого не высказать словами, ибо тот, кто выжил, видев это, лишился дара речи, а мертвые говорить не умеют. Про это не рассказывают, об этом забывают.

Иначе как могло бы повторяться это вновь?

Тем летом 1914 года, когда вершители человеческих судеб с игровой площадки всеобщих равных избирательных прав перевели европейские народы на заранее подготовленный плац всеобщей воинской повинности, наш город являл собой миниатюрный, но выразительный пример первых симптомов заболевания, ставшего впоследствии общеевропейским, а затем и общемировым. Это был рубеж исторических эпох, когда гибель одной, доживавшей свой век, несравненно явственней, чем начало второй, открывалась взорам с границы раздела. Насилию в эту пору еще искали оправданий и, заимствуя их из духовной ризницы прошлого, находили названия для зверств. В обманчивой дымке внешней благовидности происходящее еще обладало прелестью новизны, той жутковатой, мгновенной и неизъяснимой прелестью, от которой вскорости не осталось и следа, так что даже тот, кто так живо ее когда-то ощутил, не мог воскресить ее в памяти.

Но обо всем об этом мы здесь упоминаем лишь вскользь, поэты и ученые грядущего еще исследуют это, изобразят и истолкуют, используя методы и средства, недоступные нам сейчас, и с той ясностью свободного и смелого духа, которая далеко превышает наши возможности. Им, надо полагать, удастся найти объяснение этому удивительному году и определить его истинное место в истории мира и развитии человечества. Для нас же, в этой повести, он прежде всего и только год, оказавшийся роковым для моста на Дрине.

В воспоминаниях жителей этих краев лето 1914 года останется самым отрадным и светлым из всех до сих пор пережитых, ибо оно сверкает и переливается всеми красками на мрачном необъятном горизонте страданий и горя.

Поначалу оно — это лето — и вправду обещало быть счастливей многих прежних. Слива уродилась как никогда, хлеба задались на славу. И людям вдруг забрезжила надежда после невзгод и треволнений последнего десятилетия поправить хоть немного пошатнувшиеся за последнее время дела в затишье безбедного года. Самой трагической и жалкой из слабостей, присущих человеческому роду, несомненно является полная его неспособность к предвидению, столь резко противоречащая всем

прочим многочисленным его дарованиям, способностям и познаниям.

Счастлирое сочетание солнечного тепла и влаги благоприятствовало началу этого поразительного года, когда во всю свою ширь вышеградская долина затрепетала от избытка жизненных сил и неудержимого стремления к воспроизводству. Вспучилась земля, и все, что в ней было живого, набухло, взошло, оделось листьями, распустилось, зацвело и уродило сторицей. Простым глазом можно было различить над каждой бороздой, над каждым кустом голубоватую дымку парящего дыхания плодородия. Расставив ноги, едва тащили козы и коровы свое тяжелое вымя, набрякшее от прилива молока. Белуга — рыба, в начале лета ежегодно косяками приходившая в низовья Рзава на нерест, в этот раз прибыла в таком множестве, что ребятишки зачерпывали ее ведерками на мелководе и выбрасывали на берег. Пористый камень моста и тот, как живой, отпотел и налился прибывшей вдруг мощью и щедростью, той самой, что неудержимо рвалась из земли, горячей радостью заливая округу, учащая дыхание в груди и порождая буйство всякого произрастания.

Нечасто в вышеградской долине случается такое лето. Когда же выпадает такое, люди забывают все прежние свои невзгоды и, не помышляя о новых, могущих еще прийти, живут утроенной жизнью этой долины, благословенной благодатью плодородия, и сами сливаясь с природой в этой ее игре прибывших соков, влаги и тепла.

Тут даже и крестьянин — а у него повод к жалобе вечно найдется — вынужден отдать должное удачному началу лета, не преминув при этом каждое свое одобрительное слово сдобрить оговоркой, что, «мол-де, если так пойдет и дальше...». С неистойвой алчностью пчел и шмелей, страстно вонзающихся в чашечку цветка, кидается на промысел вышеградский коммерческий люд. Растекаясь по округе, скупает под задаток зерно на корню и сливу в завязи. Смущенный наплывом лукавых покупателей, как и небывалым урожаем, крестьянин мнется возле сливы, что и теперь уже сгибается под тяжестью плодов, или у края волнующейся нивы и под напором горожанина теряет необходимую сдержанность и осторожность. Однако и той, что есть, довольно для того, чтобы придать его физиономии то выражение напряжен-

ной озабоченности, которое, подобно брату-близнецу, сродни печальной маске на крестьянских лицах в лихие годы недорода.

К городским тузам, что посолдней и покрепче, крестьяне стекаются сами. В базарный день жаждущие займа осаждали лавку газды Павле Ранковича. Как и лавку Санто Папо, давно уже ставшего первым среди вышеградских евреев. (Несмотря на учреждение банков и возможность получения кредита по ипотеке, крестьяне, в особенности люди старого покроя, предпочитают одалживать старинным испытанным способом у тех же самых городских торговцев, у которых они покупали товар и у которых занимали их отцы.)

Лавка газды Санто одна из самых основательных и видных в вышеградских торговых рядах. Прочной каменной кладки, с толстыми стенами и полом, мощенным каменными плитами. Тяжелые двери и ставни окованы железом, высокие, узкие окна забраны густыми и массивными решетками.

Передняя его часть — торговый зал. Глубокие деревянные полки вдоль стен заставлены эмалированной посудой. К невероятно высокому потолку, теряющемуся в темноте, подвешены товары полегче: фонари всевозможной величины, джезвы для варки кофе, клетки, мышеловки и прочая плетеная из проволоки утварь. Все это гроздьями свисает с потолка. Ближе к длинному прилавку высятся наставленные друг на друга ящички с гвоздями, мешки с цементом, гипсом и разными красками; мотыги, лопаты и кирки без ручек, нанизанные на проволоку тяжелыми ожерельями. Углы занимают большие жестяные бидоны с керосином, скипидаром и олифой. Здесь и летом прохладно, и в полдень сумрачно.

Основная часть товаров хранится в пристроенном за лавкой помещении, куда ведет железная дверца. Здесь держат тяжелую справу: железные печки, шины, траверсы, лемехи, ломы и другой громоздкий инвентарь. Сложенный горами, он оставляет лишь узкие проходы, пролегающие как бы между высокими стенами. Здесь царство вечного мрака, и без фонаря сюда не входят.

Промозглый и едкий дух металла и камня, не поддающийся ни сквознякам, ни воздействию тепла, исходит от стен, каменного пола и нагромождения скобяных изделий. Румяных и шустрых мальчишек-подсобных за не-

сколько лет этот дух превращал в неразговорчивых, одутловатых, бледных, но при этом дошлых, неуступчивых и бессменных приказчиков. Он, безусловно, был вреден и поколениям владельцев, но впитывался ими как нектар, благоухающий доходной собственностью и верными барышами.

Человек, сидевший в настоящее время в передней части сумрачного и прохладного лабаза за столиком с громадой стальной кассы марки Вертгейм, ничуть не походил на того безудержного, порывистого Санто, который с такой лихостью кричал лет тридцать назад: «Рому для Кривого!» Годы и работа изменили его. Он погрузнел, обрюзг и пожелтел лицом; темные круги, спускаясь к середине щек, залегли под глазами; зрение ослабло; из-за толстых стекол очков в металлической оправе строго и испуганно глядели его выпученные черные глаза. Феска вишневого цвета — последняя примета ушедших в прошлое турецких одеяний — и по сей день красовалась у него на голове. Отец Санто, Менто Папо, маленький, белый как лунь старичок, в свои восемьдесят с лишним лет держался молодцом, только вот зрение подвело. В солнечную теплую погоду старый Менто любит вернуться в лабаз. Слезаящимися глазами, готовыми как бы вот-вот расплыться за толстыми лупами очков, оглядев сына у кассы и внука за прилавком и втянув ноздрями дух лабаза, он полегоньку поворачивал к дому, опираясь правой рукой на плечо десятилетнего правнука.

У Санто шесть дочерей и пять сыновей, по большей части замужних и женатых. У старшего сына Рафо и у самого уже взрослые дети, и он работает вместе с отцом в лабазе. Один из Рафиных сыновей, названный в честь деда, учится в сараевской гимназии. Бледный, близорукий, стройный юноша, в восьмилетнем возрасте прекрасно декламировавший стихи Змая-Иовановича на всех школьных праздниках, в учении успевает слабо, не любит ходить в синагогу так же, как и помогать в каникулы в дедовской лавке и грозитя сделаться артистом или еще какой-нибудь такой же необыкновенной знаменитостью.

Итак, согнувшись над большим, выдавшим виды, засаленным грессбухом с алфавитным реестром, сидит в своей лавке газда Санто, а перед ним на порожнем ящике из-под гвоздей примостился Ибро Чемалович, крестьянин из Узваницы. Санто вычисляет, сколько в общей

сложности должен ему Ибро и сколько сообразно с этим и на каких условиях ему можно выдать еще под новый урожай.

— Синкуэнта, синкуэнта и очо... Синкуэнта и очо, си-сиента и трес...¹ — шепчет, вычисляя, хозяин Санто по-испански.

Крестьянин с напряженным ожиданием следит за операциями Санто, как будто речь идет не о расчете, даже и во сне с точностью до последнего гроша хранимом им в уме, а о каком-то вражьем колдовстве. Услышав от гзды Санто окончательно подведенный итог с процентами, крестьянин непременно и только ради выигрыша времени, позволяющего ему сопоставить свой собственный расчет с результатом своего заимодавца, недоверчиво процедит сквозь зубы: «По-твоему, выходит, значит, так?»

— Так, Ибро, и никак иначе, — ответит Санто своей освещенной временем формулой, неизменно употребляемой им в подобных случаях.

После того, как по взаимному согласию сторон уладился вопрос со старым долгом, крестьянину, казалось бы, не оставалось ничего другого, как назвать сумму вновь испрашиваемого займа, а Санто объявить свои возможности и требования. Но тут, однако, дело осложнилось и затягивалось. Между ними начинался разговор, во всех подробностях своих напоминавший тот, что пять десятков лет тому назад вот так же перед жатвой на этом самом месте вел с Менто, отцом Санто, отец этого самого Ибро из Узваницы. И так только и мог на гребне пустых околичностей, ненужных и как бы даже бессмысленных, выйти на поверхность настоящий и главный предмет разговора. Непосвященный человек, прислушавшись со стороны к их разговору, не сразу догадался бы о том, что речь идет о займе и деньгах. О них в нем долго не было ни звука.

— Слива нынче у нас задалась и всякий прочий фрукт, как ни в одном другом уезде, — говорит Санто, — давно такого года не бывало.

— И то сказать, неплохо задалось, благодарение богу; если аллаху угодно будет и дальше так продержатъ, будет у нас и хлеба и плодов; уж тут ничего не скажешь.

¹ Пятьдесят, пятьдесят восемь... пятьдесят восемь, шестьдесят три (исп.).

Только кто тому цену узнает,—неопределенно тянет крестьянин и, разглаживая пальцем шов своих грубых суконных зеленых штанов, поглядывает исподлобья на Санто.

— Теперь, конечно, неизвестно, а вот снесешь в Вышеград и узнаешь. Недаром говорится: цену назначает хозяин.

— Оно, понятно, так. Если только, бог даст, и дальше так продержится и вызреет,— снова оговаривается крестьянин.

— Это уж дело известное, что без божьей воли не уберешь и не пожнешь; как ты ни дыши над посевом своим, а если нет божьего благословения, никакого прока не будет,— в свой черед замечает газда Санто, вздевая руку вверх, к высокому черному потолку с висящими под ним снопами жестяных деревенских фонарей всевозможных размеров и прочей мелкой утвари, откуда, по всей видимости, и должно было снизойти то самое благословение.

— Не будет прока, верное твое слово, не будет,— вздыхает Ибро.— Бывает, посадишь, посеешь, а все равно, истинным богом клянусь, чтопустишь по воде: и окучиваешь, и поливаешь, и обрезаешь, и рыхлишь. И все впустую! Если не судьба, не видать тебе прибыли от твоих трудов. Ну, а если, бог даст, нынешний год урожаем доспеет, нечего таить, как-нибудь и старые долги наш брат покроет и в новые влезет. Только бы здоровья бог послал!

— Да, здоровье прежде всего. Со здоровьем ничего не сравнится. Уж такое человек создание пустое: все ему дай, а здоровье отними — и словно ему и не давал ничего,— убежденно подтверждает газда Санто, окончательно переключая разговор на эту тему.

Воззрениями своими на здоровье, своей общеизвестностью и самоочевидностью ничуть не уступающими взглядам Санто, спешит поделиться и крестьянин. Разговор грозит растечься в бессодержательности общих мест. Но в какой-то решительный миг по канонам старинных традиций он возвращается к своей исходной точке. И наконец вплотную приступают к соглашению о новом займе, его сумме, процентах, сроке и условиях погашения. То оживленное, то приглушенное и озабоченное, долго длится объяснение, но в конце концов дело слаживается

и сделка заключается. Санто встает, вытаскивает из кармана ключи на цепочке и, не снимая с цепочки ключа, отмыкает кассу, и она, скрежетнув, открывается с величавой торжественностью всякой уважающей себя кассы и затворяется затем с деликатным металлическим придыханием, подобным легкому вздоху. И так же торжественно, с суровой и как бы прискорбной придиричностью вплоть до последнего геллера отсчитывает Санто крестьянину деньги. И восклицает после, оживившись и повеселев:

— Ну как, порядок, доволен ты, Ибрага?

— Порядок, благодарствуй,— отвечает в раздумье тихим голосом крестьянин.

— Ну, дай бог тебе прибытка и удачи! В согласии и добром здравии встретимся еще, бог даст, не раз,— говорит Санто, окончательно повеселев и взбодрившись. И посылает внука заказать хозяину кофейни напротив два кофе — «один горький и один с сахаром».

А следующий крестьянин, томимый теми же нуждами и надеждами, дожидался уже своей очереди перед лавкой.

Густое, знойное дыхание грядущего небывало урожайного лета вместе с крестьянами и расчетами их на сбор плодов и злаков проникало в сокровенные глубины лавки Санто. Зеленая стальная касса покрывалась испариной, а Санто указательным пальцем раздвигал пошире ворот у своей оплывшей жиром, желтой, мягкой шеи и протира л платком отпотевшие стекла очков.

Таким было преддверие этого лета.

Но и его благословенный небосклон омрачила с самого начала зловещая и пугающая тень. Ранней весной того года в Уваце, маленьком местечке на бывшей турецко-австрийской, а ныне сербско-австрийской границе, вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Район был пограничный, а так как и в самой жандармской казарме было два случая заболевания тифом, военный вышеградский врач д-р Балаш с санитаром и медикаментами выехал в Увац. По приезде доктор предпринял срочные меры для полной изоляции больных и взял на себя контроль над уходом за ними. Благодаря его опеке из пятнадцати заболевших скончалось только двое, эпидемия не получила распространения, и очаг ее был погашен в зародыше. Последним заболевшим был сам д-р Балаш. Необъясни-

мость заражения, скоротечное развитие усугубленной осложнениями болезни и внезапная смерть — все это носило на себе печать невыразимой трагичности.

Ввиду опасности распространения инфекции молодого врача надлежало похоронить в Уваце. Госпожа Бауэр с мужем и еще несколько офицеров присутствовали при погребении. Госпожа Бауэр распорядилась воздвигнуть на могиле памятник из грубо отесанного камня и сразу после этого покинула и мужа и здешние края. В Вышеграде говорили, будто она уехала в какой-то санаторий под Веной. Вернее, об этом перешептывались городские девицы, а публика солидная, едва миновала опасность инфекции и был снят карантин, забыла и доктора и полковницу.

Необразованные и неискушенные юные наши горожанки не знали хорошенько, что значит слово «санаторий», зато прекрасно знали, что значит бродить неразлучной парой по тропинкам и склонам, как до недавних пор бродили доктор и жена полковника. И употребляя иностранное слово «санаторий» в доверительных своих девичьих откровениях о несчастной чете, любили рисовать его себе таинственным, далеким и печальным приютом прекрасных и грешных женщин, искупающих там свою запретную любовь.

Тем временем сверкающее лето неслыханного изобилия пышно цвело и наливалось соками над холмами и долинами, окружающими город. Освещенные окна офицерского собрания над рекой по вечерам, как и прошлым летом, держались открытыми настежь, только не лились из них теперь звуки рояля и скрипки. За своим обычным столиком, в обществе нескольких офицеров постарше, сидел полковник Бауэр, благодушный, улыбчивый, взмокший от летней духоты и красного вина.

В воротах теплыми ночами засиживалась, распевая песни, молодежь. Близился конец июня, и в городе, как обычно летом, ожидали приезда гимназистов и студентов. В такие ночи с высоты ворот казалось, будто время остановилось, а жизнь течет и бурлит, щедрая и легкая, не зная конца и края.

На главных улицах теперь светло и ночью, ибо с весны этого года город получил электрическое освещение. Год тому назад у реки в двух километрах от города выросла электрическая лесопильня, а возле нее фабрика по

переработке отходов хвойной древесины на скипидар, а также канифоль. По соглашению с городской общиной фабрика подрядилась от своей станции снабжать электроэнергией и городские улицы. Так канули в прошлое зеленые фонари с керосиновыми лампами, а с ними вместе и долговязый Ферхад, чистивший и зажигавший их когда-то. Главная улица, пересекавшая город из конца в конец от моста до новых кварталов, освещалась большими лампами белого молочного стекла, а боковые улочки, ответвлявшиеся от нее направо и налево, петляя по Быковацу или взбираясь на Мейдан и Околиште, довольствовались обыкновенными из простого стекла. В обрамлении нанизанных цепочек светящихся огней залегали неправильные пятна темноты. Это были дворы или обширные сады, раскинутые по склонам.

В одном из таких садов сидели в темноте учительница Зорка и Никола Гласинчанин.

Размолвка, происшедшая между ними прошлым летом, когда в каникулы здесь объявился Стикович, длилась долго, почти до Нового года. В канун его, как и каждую зиму, в Сербском собрании началась подготовка к празднику дня св. Саввы с концертом и спектаклем. В ней принимали участие Зорка и Никола. Как-то, возвращаясь с репетиции домой, Зорка и Никола впервые заговорили за все время ссоры. Сначала это был высокомерно-выжидательный обмен отдельными словами. Но по молодости лет самые жестокие любовные раздоры им были милее угрюмой отчужденности без надежд и волнений любви, и они продолжали видеться и говорить. В процессе бесконечного выяснения отношений они и помирились, сами не заметив как. А теперь под покровом летней ночной темноты встречались уже постоянно. Тень Стиковича еще нет-нет и вставала между ними, вздувая снова безысходный старый спор, но это больше не разъединяло их, не отделяло друг от друга, а наоборот, сближало все сильнее с каждым новым примирением.

Сидя сейчас в теплой темноте на старом повалившемся ореховом стволе, увлеченные потоком своих мыслей, они смотрели на россыпь мелких и крупных городских огней внизу у глухо шумящей реки. Долго говоривший перед этим Гласинчанин только что умолк. Зорка, не проронив звука за весь вечер, по-прежнему молчала, как это умеют только женщины, занятые про себя разбором сво-

их сердечных дел, которые для них превыше и важней всех прочих дел на свете.

Год назад в эту самую пору появился Стикович, и ей показалось, что она на пороге райского блаженства вечной любви, где общность желаний и мыслей, гармония взаимных чувств обладают сладостью поцелуя и продолжительностью человеческой жизни. Но эта иллюзия длилась недолго. Сколь ни была она неопытной и ослепленной, все же и она не могла не заметить того, что этот человек охладевает так же быстро, как воспламеняется, следуя каким-то своим внутренним законам, не связанным ни с ней, ни с тем, что она считала неизмеримо более значительным и важным, чем они оба. И уехал он почти не попрощавшись. Девушка осталась в горьком недоумении, страдая от него, как от тайной язвы. Присланное им письмо изысканностью слога являло собой подлинный образчик эпистолярного искусства, но отличалось адвокатской умеренностью и прозрачностью пустого стеклянного сосуда. В нем об их любви писалось так, как будто бы они уже сто лет спят в земле — каждый в своей могиле, вкушая праведный покой. На ее непосредственное, теплое письмо, посланное в ответ, пришла открытка. «Раздираемый тяготами бесчисленных дел и обязанностей, думаю о тебе, о, моя блаженная вышеградская ночь, исполненная мерного гула реки и аромата невидимых трав!» И это все. Тщетно пыталась Зорка в своих воспоминаниях отыскать какой-нибудь намек на этот мерный гул реки и аромат невидимых трав. Напрасный труд. Ничего подобного она решительно не помнила, как, видимо, он не помнил того, что было между ними. И черная тоска овладевала Зоркой при мысли, что она обманута и обманулась, и она опять призывала на помощь себе самые немыслимые и невероятные доводы. «Он непонятен нам и чужд, эгоистичный, своенравный, холодный рационалист,— внушала себе Зорка,— но может быть, все незаурядные люди таковы?» Во всяком случае, все это больше напоминало пытку, чем любовь. И по тому, как в самой потаенной глубине своего существа она, раздавленная, корчилась от боли, Зорка понимала, что на нее одну пало тяжкое бремя вызванного им чувства, в то время как сам он ускользал от нее, растворяясь в туманной дымке, назвать которую ее истинным именем у нее не доставало сил. Потому что влюбленная

женщина, и потеряв последнюю надежду, продолжает любить свое чувство, словно нерожденное дитя. Скрепясь сердцем, она оставила открытку без ответа. Но после бесконечного двухмесячного молчания получила вторую. Он писал ей откуда-то с Альп. «На высоте двух тысяч метров, окруженный разноязычной и разноплеменной толпой, озирая беспредельные просторы, я думаю о тебе и о прошедшем лете». Этого было довольно и для ее наивной неискушенной юности. Если бы там было сказано: «Ни раньше, ни теперь я тебя не любил и никогда не полюблю», — ей не стало бы ни понятней, ни больнее. Ведь главное-то было в любви, а не в далеких воспоминаниях и не в том, с какой высоты над уровнем моря и в окружении каких народностей и наречий пишут тебе письмо. Но любви-то и не было!

Круглая сирота, Зорка выросла в городе в доме родственников. И, получив место в Вышеграде после окончания Сараевского педагогического училища, вернулась снова к ним, людям простым и состоятельным, но совершенно ей далеким.

Зорка побледнела, осунулась, замкнулась в себе, но так и не открылась никому и не ответила на его рождественское поздравление, столь же лаконичное, сухое и безукоризненное стилистически, как и предыдущие его послания. Она хотела сама с собой, без чьей-либо поддержки и утешения разобраться в своем позоре и своей вине, но, слабая, надломленная, юная, несведущая и неискушенная, запутывалась все сильнее в тенетах, сотканных неумолимой правдой и страстной мечтой, ее раздумьями и его бездушным и необъяснимым поведением. Если бы она доверилась кому-нибудь, если бы она спросила у кого-нибудь совета, ей было бы, конечно, легче, но стыдливость не позволила ей это сделать. И так-то ей нередко мерещилось, что весь город знает о ее падении и что злорадные и глумливые взгляды испепеляют ее, когда она идет по улицам. И нигде не найти объяснения — ни у людей, ни в книгах. А сама она не может ни в чем разобраться. Если он ее и правда не любит, к чему тогда была прошлогодняя комедия страстных уверений и речей? И чем, как не одной только любовью и может быть очищено и ограждено от ужаса невыносимого унижения то наваждение на школьных партах? Возможно ли, что есть на свете люди, столь мало уважающие се-

бя и других, чтобы с легкостью пускаться в такую игру? Что, если не любовь, толкает их на это? И чем были тогда его пылкие взгляды, прерывистое, жаркое дыхание и бурный порыв поцелуев? Что это, если не любовь? Нет, не любовь! Ей это ясно, слишком ясно. Хотя она и не может примириться с этим полностью и до конца. (А разве кто-нибудь когда-нибудь мог?) Логическим завершением душевных ее мук явилась мысль о смерти, неизменно витающая над конечными рубежами наших снов о счастье. «Умереть,— думала Зорка,— сорваться с моста в реку, как бы случайно, без письма и прощания, без признания и унижения». «Умереть»,— думала она в последние секунды перед сном и первые после пробуждения, в разгар оживленной болтовни под маской улыбок и смеха. И все твердило в ней и повторяло одно и то же слово — умереть! умереть!— но между тем она не умирала, а жила, неотделимая от этой страшной мысли.

Облегчение пришло к ней оттуда, откуда она менее всего смела его ожидать. С приближением рождественских каникул тайные терзания Зорки достигли крайнего предела. Неразрешимые и безысходные, они подтачивают человека сильнее, чем самая жестокая болезнь. Разительные перемены, происшедшие с девушкой, не укрылись от окружающих, и ее родные, и директор школы, сердечный человек, обремененный множеством детей, и подруги — все в один голос посылали Зорку к докторам.

Счастливый случай захотел приурочить как раз к тем дням начало праздничных приготовлений, и после многих месяцев молчания Зорка в первый раз снова заговорила с Гласинчанином. До этого он всячески старался ее избегать. Но атмосфера дружественности и тепла, обычная для простодушных репетиций любительских провинциальных вечеров, и светлая прохлада ночей, когда они расходились по домам,— все это вместе способствовало сближению двух разлученных. Ее влекло к нему желание найти сочувствие, его к ней — сильная, глубокая любовь, умеющая так легко прощать и забывать.

Первые слова их и первые их объяснения были презрительно-высокомерны и холодно-язвительны. Но даже и они приносили Зорке облегчение. Наконец-то обрела она возможность излить живой душе всю скорбь своего невысказанного горя, не касаясь при этом сокровенных и постыдных подробностей. Горячее витийство Гласин-

чанина на этот счет деликатно и чутко щадило ее гордость. Даже говоря о Стиковиче, он избегал резкостей, выходящих за рамки неизбежного. Как некогда в воротах на мосту, Никола и сейчас дал ему точную характеристику. Сжатую, четкую и беспощадную. Чудовищное порождение эгоизма, Стикович не способен кого-нибудь любить и обречен до конца своих дней, терзаясь и мучаясь сам, мучить близких, попавших в его обольстительные сети. О своей любви Гласинчанин редко говорил, но она сквозила в каждом его слове, в каждом взгляде, в каждом жесте. Девушка обычно молча слушала его. Всем существом своим она жадно впитывала отраду его слов. И каждый раз умиротворялась и прояснялась душой. Впервые после стольких месяцев страданий она могла воспользоваться часом передышки от бушевавшей внутри нее бури, впервые получила право восстановить в собственных глазах свою поруганную честь. Почтительно-любовная взволнованность слов юноши доказывала ей, что не все еще погибло безвозвратно и что отчаяние ее такое же заблуждение, как и ее любовный прошлогодний сон. Вызволяя из плена черной бездны, уже готовой ее поглотить, речи Гласинчанина снова обратили Зорку к простой человеческой жизни, где всему или почти всему находится лекарство и утешение.

Не прекращались их беседы и после празднования дня св. Саввы. Миновала зима, а за ней и весна. Молодые люди встречались ежедневно. И, уступая здоровому зову юности, на глазах оживала и хорошела, неизнаваемо расцветая, девушка. Так подошло тревожное и благодатное лето. Гласинчанин с Зоркой давно уже считались влюбленной парой.

Правда, теперь нескончаемые рассуждения Гласинчанина, целительный бальзам, которому она, вся обратившись в слух, так жадно внимала недавно, мало занимали Зорку. Ее тяготила порой его назойливая страсть к взаимным излияниям и исповедам. Озадаченная и смущенная интимной доверительностью установившихся между ними отношений, Зорка, как добросовестный должник, подавляла досаду и старалась возможно внимательней слушать его, помня о том, что зимой он был ее «душе-спасителем».

В летней ночной темноте он, как всегда, прикрыл своей ладонью ее руку (предел его целомудренной дерзо-

сти). И теплое богатство ночи от этого прикосновения тотчас же сообщилось и ему. С новой силой его потрясло сознание того, как дорога ему сидящая с ним рядом женщина, одним присутствием своим способная преобразить всю горечь неудавшейся его жизни кипением плодоносных сил, достаточных для того, чтобы привести их к самой возвышенной цели, если только взаимная любовь будет служить им поддержкой и опорой.

Под наплывом переполнявших его чувств в этой темноте Гласинчанин уже не тот, что был днем, мелкий, заурядный служащий вышеградской фирмы, а человек, вполне уверенный в себе, независимо и дальновидно управляющий своей судьбой, могуществом всепоглощающей, самоотверженной, пусть даже и неразделенной любви, перед ним открываются горизонты, возможности и пути, неведомые и навсегда закрытые натурам, может быть, и более блестящим, но ослепленным чванством себялюбия.

Он говорил сидящей рядом девушке:

— Думаю, я тут не ошибаюсь. Если и не почему другому, то хотя бы потому, что тебя я не мог бы обмануть. Пока одни разглагольствуют и несут всякий бред, а другие в поте лица наживаются, я наблюдаю и анализирую и уверяюсь все сильнее, что тут жизни нет. И долго еще не будет ни мира, ни порядка, ни полезной деятельности. И никакие Стиковичи и Хераки их не создадут. Наоборот, будет только хуже. Отсюда надо бежать, как из грозящего рухнуть дома. Бесчисленное множество растерянных спасителей, что вертятся тут под ногами на каждом шагу, есть лучшее доказательство, что мы идем навстречу катастрофе. И если ее невозможно предотвратить, надо хотя бы спастись.

Девушка молчала.

— Я никогда еще не говорил тебе об этом, но много думал, а кое-что и сделал. Ты знаешь, вероятно, что Богдан Джурович, мой друг с Околиште, вот уже третий год в Америке. Мы с ним с прошлого года переписываемся. Я тебе показывал его фотографию, которую он мне прислал. Он зовет меня к себе и обещает постоянную работу и хороший заработок. Понятно, дело это непростое и нелегкое, но все же, как мне кажется, осуществимое. Я уже давно продумал все и рассчитал. Прежде всего я продаю свой дом на Околиште со всем хозяйством. За-

тем, если ты согласна, мы с тобой сейчас же обвенчаемся и, никому ни словом не обмолвясь, отправляемся в Загреб. В Загребе имеется компания по отправке в Америку переселенцев. Там мы ждем один-два месяца визу от Богдана. И учим тем временем английский. В случае затруднений из-за моей воинской повинности, перебираемся в Сербию и выезжаем оттуда. Я постараюсь сделать все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А там, в Америке, мы вместе стали бы работать, и ты и я. Там много наших школ и везде нужны учителя. И я тоже найду себе работу, ведь там перед людьми открыты все возможности. Мы были бы свободны и счастливы. Все это я берусь устроить, если только ты... если только ты согласна.

Молодой человек замолчал. Она вместо ответа накрыла его руку своей. Он ощутил в этом безмолвный знак признательности. Но на словах она была уклончива и не хотела связывать себя ни обещанием, ни отказом. Поблагодарив его за участие и заботу, за его бесконечную доброту и к ней же взывая, девушка просила дать ей месяц для окончательного ответа, — месяц, оставшийся до завершения учебного года.

— Спасибо, спасибо тебе, Никола! Ты такой добрый, — шептала Зорка, сжимая его руки.

Снизу от ворот до них доносились звуки песен. Местной вышеградской молодежи вторили уже, быть может, гимназисты из Сараева. Еще каких-нибудь пятнадцать дней, и в город приедут студенты из университетов. А до тех пор она не в силах принять какое бы то ни было решение. Как это все ей тяжело, как мучительно для нее его доброта, но в этот миг она и под угрозой страшной казни не могла бы вымолвить «да». Она ни на что не надеется, только бы увидеть еще раз того, кто «не способен никого любить». Еще один раз, а там будь что будет. А Никола, она знает, подождет.

Они поднялись и крутой дорогой, рука об руку, медленно стали спускаться к мосту, навстречу доносившейся песне.

XXII

На Видов-день сербские общества устроили, как каждый год, гулянье на Мезалинском лугу. Здесь, у слияния двух рек, Дрины и Рзава, на высоком зеленом берегу под

кронами густых орехов, раскинулись питейные палатки, а перед ними в тихом пламени жаровен на вертелах уже румянились барашки. Семьи, принесшие с собой обед, расположились в тени. Под навесом из зеленых веток всю играла музыка. На утоптанном лугу с утра кружилось коло. Плясали самые беспечные и молодые, сейчас же после службы в церкви пришедшие сюда, на Мезалинский луг. Большое общее гулянье начнется после полудня. Но коло и теперь уже лихое и задорное, погорячей того, что будет после, когда его красивый строй разбавится замужними женщинами, неугомонными вдовцами и несмышленной детворой и понесется галопом, беспорядочной цепью. Пока еще в его овальном обруче преобладают парни, и огневое коло их летит, летит, как брошенное в воздух ожерелье. И все вокруг них летит и кружится, сливаясь с ритмом музыки: и небо, и пышные кроны деревьев, и белые летние облака, и быстрые воды двух рек. Плывет кругами земля под танцорами и вертится с ними, и им только надо поспеть за этим стремительным общим вращением. Молодые парни с разбегу с дороги врезаются в цепь. Девушки выжидательно медлят, присматриваясь к танцу и как бы про себя отсчитывая такт до некоего неслышного удара, дающего им знак вскочить пригнувшись, в хоровод, как в холодную воду. Мощная пульсация земли от разомлевшей почвы сообщается ногам и разливается по цепи взмокших рук, неразрывно связывая танцоров в единое существо, разгоряченное одной кровью, захваченное единым движением. Молодые парни, побледнев и раздувая ноздри, пляшут, чуть откинувшись назад, девушки, алея пунцовыми щеками, стыдливо опускают взоры, боясь выдать наслаждение бешеным танцем.

И только было развернулось общее гулянье, как на дальнем конце Мезалинского луга, сверкая на полдневном солнце оружием и новизной мундиров, показалась черная группа жандармов. Их было больше, чем в обыкновенном патруле, объезжающем ярмарки и гулянья. Они проследовали прямо под навес, где сидели музыканты, и инструменты один за другим вразбивку замолкали. Приостановилось, дрогнув, коло. Раздались протестующие возгласы. Танцевавшие пока не разнимали рук. В запале кое-кто еще приплясывал на месте, ожидая возобновления музыки. Но оркестранты быстро свертывались,

заматывая в тряпки и клеенки свои трубы и скрипки. Жандармы между тем уже шагали дальше к палаткам и семейным группам, сидевшим там и сям на траве. Тихий, но резкий односложный оклик фельдфебеля магическим заклятием мгновенно тушил всякое веселье, прекращал танец, прерывал разговор. Бросая все свои занятия при приближении жандармов, люди суетливо складывались и уходили. Распался, наконец, и хоровод парней и девушек. Им не хотелось ни за что прерывать танцы на лугу и примириться с тем, что наступил конец веселью и забавам. Но перед бледным лицом и налитыми кровью глазами жандармского фельдфебеля отступились и самые упрямые.

Разочарованные и все еще недоумевающие люди возвращались с Мезалинского луга по широкой белой дороге, а навстречу им из города полз все более упорный слух о совершенном нынче утром в Сараеве покушении и убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги и ожидавшемся суровом гонении на сербов. У Конака им попала первая партия арестованных во главе с молодым отцом Миланом; жандармы вели их в тюрьму.

Вторая половина этого летнего дня, обещавшего быть веселым и праздничным, обернулась волнением, тревогой и настороженным ожиданием.

На мосту вместо праздничного оживления и радости царил мертвая тишина. Тут уже стояла охрана. Солдат в новой форме неторопливо мерил расстояние от дивана до железной крышки люка в теле заминированного опорного быка и, преодолев его, при каждом повороте как бы давал сигнал ослепительной вспышкой отражавшего солнце штыка. А утром следующего дня под мраморной плитой с турецким изречением спозаранку белело официальное извещение, набранное крупным шрифтом и обведенное жирной траурной каймой. В нем сообщалось об убийстве престолонаследника в Сараеве и выражалось негодование по поводу совершенного злодеяния. Но прохожие, понурившись и не читая, спешили поскорее проскользнуть и мимо стражника, и мимо извещения.

С тех пор так и остался на мосту маячить часовой. Остановилась и вся жизнь города, прерванная на ходу одним ударом, как хоровод на Мезалинском лугу, как тот июньский летний день, который должен был стать днем праздника и веселья.

Потянулась вереница смутных дней, проходивших под знаком беззвучно-напряженного проглядывания газет, боязливого перешептывания, страха, арестов сербских граждан и подозрительных проезжих и лихорадочной военной подготовки на границе. Одна за другой проходили и летние ночи, не оживляемые ни песнями, ни сходками в воротах, ни шепотом влюбленных в темноте. Город наводнили солдаты. А после девяти часов, когда на Быковаце в бараках и в большой казарме у моста трубачи отыграют печальную мелодию австрийского отбоя, улицы вымирали совсем. Плохие времена настали для любителей уединенных встреч и долгих разговоров в темноте. Ежедневно под вечер Гласинчанин приходил к Зоркиному дому. Она уже поджидала его у раскрытого окна высокого первого этажа. Обменявшись наспех несколькими фразами, они расставались, так как он торопился дотемна перейти мост и добраться к себе на Околиште.

И этим вечером пришел он к ее окну. Бледный, держа шляпу в руках, он попросил ее выйти к нему, чтобы сказать что-то совершенно секретное. Она, поколебавшись, вышла. Стоя на пороге, она была с ним вровень, и он зашептал ей в ухо жарким шепотом:

— Мы решили бежать. Сегодня вечером. Владо Мариц и еще двое с ним. Все подготовлено, и мы, надеюсь, проберемся. Но если это все-таки сорвется... если случится что-то вдруг... Зорка!

Шепот его пресекся. В ее расширенных глазах застыли смятение и страх. Да и сам он был растерян, едва ли не раскаиваясь в том, что вообще пришел прощаться.

— Я думал, все-таки лучше сказать.

— Спасибо! Значит... значит, не будет ничего из той нашей Америки!

— Как это «не будет»? Если бы ты тогда, когда я месяц тому назад предлагал тебе тотчас же все устроить, согласилась, мы были бы, наверное, уже далеко отсюда. Но может, это и к лучшему. Сама знаешь, что происходит. Я должен быть с товарищами. Идет война, и всем нам место сейчас в Сербии. Понимаешь, Зорка, это мой долг. Если же я выберусь из этой кутерьмы живым и мы завоем свободу, может быть, и не потребуется вовсе уезжать за океан в какую-то Америку, потому что здесь у нас будет своя Америка, страна упорного и честного труда, достатка и свободы. И нам двоим, если только

ты захочешь, найдется применение. Все зависит от тебя. А я... я буду думать о тебе... и ты иной раз тоже...

Ему не хватало слов.

В порыве невысказанных чувств он вдруг подался к ней и быстро провел рукой по ее роскошным темным волосам. Это всегда было его заветной мечтой, и теперь, как осужденному, ему дозволено было ее осуществить. Девушка в испуге отшатнулась, и рука его повисла в пустоте. Дверь неслышно затворилась, и какое-то мгновение спустя, бледная, с остановившимся взглядом расширенных глаз и нервно сплетенными пальцами, Зорка появилась в окне. Он прошел совсем рядом под ним и, закинув голову, обратил к ней улыбающееся и просветленное, почти красивое лицо. И словно бы боясь увидеть то, что будет дальше, девушка сейчас же отступила от окна и скрылась в темноте неосвещенной комнаты. И тут расплакалась, в изнеможении рухнув на постель.

Сначала тихие рыдания ее наполняли невыносимое чувство общей безысходности. Чем дольше плакала она, тем больше находила поводов для слез и тем мрачнее рисовала себе будущее. Нет выхода, нет спасения: никогда не сможет она полюбить по-настоящему этого достойного, доброго и честного Николу, покидавшего ее сейчас; никогда не дожидаться ей того, чтобы ее полюбил тот, другой, который никого любить не может; никогда не вернуться счастливые, безоблачные дни, светлой зарей всходившие над городом всего лишь прошлым летом, никому из них не вырваться из окружения мрачных гор, не увидеть Америки и здесь не построить страны, по их словам, упорного и честного труда, достатка и свободы. Нет, никогда!

Наутро в городе распространился слух, что Владо Марич, Гласинчанин и кое-кто еще из молодых людей перебежали в Сербию. Все остальные сербы с семьями и всем имуществом оказались запертыми в этой бурлящей котловине, как в ловушке. Грозовая атмосфера сгущалась с каждым днем. И тут в один из последних июльских дней на границе грянул гром, раскатами своими потрясший вскорости весь мир и ставший роковым для стольких городов и стран, и в том числе и для моста на Дрине.

Вот когда развязалось в городе настоящее гонение на сербов и на все, что с ними связано. Люди поделались

на преследуемых и преследователей. Хищный зверь, живущий в человеке и не смеющий обнаруживать себя, пока не устранены преграды добрых обычаев и законов, вырвался на волю. Знак дан, преграды сняты. И как в истории не раз уже бывало, насилие, грабеж и даже убийство снова получили молчаливую поддержку, лишь бы они совершались во имя высших интересов, под флагом соответствующих лозунгов и применительно к немногочисленной группе людей определенного круга и убеждений. На глазах того, кто мог тогда непредвзято и открыто смотреть на мир, произошло чудо полного перерождения общества в течение одного-единственного дня. Мгновенно распался и кончил свое бытие мир торговых рядов, основанный на вековых традициях, где наряду с затаенной враждой, ревнивой завистью, религиозной нетерпимостью, исконной грубостью и жестокостью всегда имели место взаимовыручка, товарищество и чувство порядка и меры, державшее в границах допустимого проявление диких инстинктов и грубой силы, в конце концов утихомиривая их и подчиняя общим интересам совместного существования. Люди, сорок лет подряд правившие торговым миром города, за одну ночь исчезли, будто вымерли вместе с теми устоями, понятиями, обычаями, которые они собой олицетворяли.

На следующее же утро после объявления Сербии войны по городу стал шнырять карательный отряд. Вооруженный на скорую руку для оказания помощи властям в преследовании сербов, он набран был из пьяниц, цыган и прочего сброда, давно отвергнутого порядочным обществом и находящегося в конфликте с законом. Цыган Хусо Курокрад, человек без чести и определенных занятий, на заре своей юности лишившийся носа вследствие дурной болезни, командовал теперь десятком голодранцев, вооруженных допотопными ружьями системы Werndl с длинными штыками, и заправлял порядками в торговых рядах.

Перед лицом нависшей угрозы Павле Ранкович как председатель сербской церковно-приходской общины с четырьмя другими видными членами общины отправился к предводителю уездной управы Сабляку. Этот породный и совершенно лысый человек с бескровным лицом был родом из Хорватии и в теперешней должности состоял в Вышеграде недавно. Он предстал перед посети-

телями невыспавшимся и раздраженным: веки красные, губы пересохли. Одет он был в сапоги и зеленый охотничий сюртук с двухцветным черно-желтым бантом в петлице. Он принял делегацию стоя и не предложил ей сесть. Газда Павле, изжелта-бледный, кося прищуром черных глаз, проговорил чужим и сильным голосом:

— Господин предводитель, вы знаете, что происходит и что готовится, знаете и то, что мы, вышеградские граждане-сербы, не были тому потворниками.

— Я ничего не знаю, уважаемый,— с желчным нетерпением прервал его предводитель,— и знать ничего не желаю. У меня сейчас множество других, гораздо более серьезных дел, чем выслушивание всяких речей. Это все, что я имею вам сказать.

— Господин предводитель,— не сдавался газда Павле, своим спокойствием пытаясь усмирить желчную раздраженность своего собеседника,— мы явились предложить вам свои услуги и заверить в том...

— Не надо мне ваших услуг и заверений. Вы себя в Сараеве достаточно показали.

— Господин предводитель,— не повышая тона, но все настойчивей продолжал газда Павле,— мы бы хотели с помощью закона оградить...

— Ага, теперь вы вспомнили закон! И на какие же законы осмеливаетесь вы ссылаться?

— На государственные, господин предводитель, обязательные для всех.

Предводитель насторожился и притих. Газда Павле поспешил воспользоваться этим затишьем.

— Господин предводитель, мы вправе задать вам вопрос, гарантируется ли нам и нашим семьям, жизни и имуществу безопасность, а если нет, то что мы должны делать?

На это предводитель развел руками, вывернув ладони наружу, пожал плечами, прикрыл глаза и стиснул свои бледные, тонкие, перекосившиеся губы. Столь хорошо знакомое ему слепо-глухо-немое выражение безучастности, типичное для предержавших властей в критический момент, показало Павле Ранковичу всю бесполезность дальнейших разговоров. Предводитель между тем, вернувшись в прежнее свое состояние, проговорил чуть мягче:

— Военные власти укажут каждому, что должно делать.

Тут и газда Павле развел руками, закрыл глаза, пожал плечами и проговорил затем осевшим и сдавленным голосом:

— Благодарю вас, господин предводитель!

Четверо членов общины чопорно и неумело поклонились и вышли с видом осужденных.

На базаре брожение и приглушенный заговорщический шепоток.

В лавке Али-ходжи собрались именитые местные турки: Наил-бег Туркович, Осман-ака Башанович, Сулейман-ага Мезилджич. Бледные и озабоченные, с тяжелой неподвижностью в лицах, выдающей страх людей, у которых есть что терять в надвигающихся переменах и ломке. Их тоже вызывали власти, предлагая возглавить отряды карателей. Встретившись как бы ненароком в лавке Али-ходжи, именитые граждане держат совет. Одни за то, чтоб идти в отряды, другие за то, чтоб не ходить, выждать. Возбужденный, с пылающим лицом и горящими, как в старину, глазами, Али-ходжа с негодованием отвергает всякую мысль о каком бы то ни было касательстве к карателям. С особой яростью обрушивается он на Наил-бега, стоящего за то, чтобы вместо цыгана почтенные и уважаемые люди возглавили вооруженные добровольческие отряды мусульман.

— Я, пока жив, таким делам не пособник. Будь у тебя ума побольше, и ты не был бы. Или не видишь, что гяуры нашими руками жар загребают, чтобы потом с нами рассчитаться легче было?

Оружием того же красноречия, которым он крушил, бывало, на мосту Осман-эфенди Караманлию, доказывал Али-ходжа, что турецкой душе ни там, ни тут хорошего ждать не приходится, а будут нос совать куда не надо, и вовсе не поздоровится.

— Давно нас никто не спрашивает ни о чем и с нами не считается. Шваб в Боснию вступил, а ни султан, ни кесарь и не подумали узнать: мол, есть ли, господа турецкие беги, на то ваше согласие? Потом поднялись Черногория с Сербией, вчерашняя райя, отняли половину Турецкой империи, опять на нас никто не посмотрел. Теперь кесарь на Сербию двинулся, нас ни о чем и тут не спрашивают, а хотят всучить ружьишки и портки и науськать, как гончих, на сербов, чтобы швабу даром не мараться самому. Да ты сам посуди, с чего бы это после

стольких лет, когда нас не спрашивали о делах и поважнее, вдруг этакая зубодробительная милость? Говорю тебе, тут дальний расчет и лучше всего сколь возможно подальше от этого держаться. На границе уже прорвало, и бог его знает, куда все это пойдет. За Сербией еще кто-то стоит. Иначе быть не может. Это тебе в Незуках окошко гора заслоняет, и ты из-за нее ничего не видишь. Брось затею свою: и сам в каратели не лезь, и других не подбивай. Пока еще хоть что-то можно выжать, дон лучше испольщиков своих, какие там остались у тебя,— и ладно будет.

Турецкие беги молчат, оцепеневшие, сосредоточенные. Молчит и Наил-бег, явно оскорбленный, но не подающий виду, и, бледный как мертвец, вынашивает какое-то решение. Кроме Наил-бега, Али-ходжа всех поколебал и остудил. Попыхивая трубками, все безмолвно следили за непрерывной вереницей военных повозок и вьючных лошадей, проходивших по мосту. Потом один за другим стали вставать и прощаться. Последним уходил Наил-бег. В ответ на его хмурое приветствие Али-ходжа глянул испытующе ему в глаза и с тихой грустью произнес:

— Вижу, что ты надумал все-таки идти. Не терпится тебе шею сломать, боишься, как бы цыгане тебя не опередили. Запомни только, что издавна сказывали старики: напрасно на рожон лезть — доблесть невелика. Ты лучше в трудный час на деле себя покажи!

Площадь, отделявшая лавку Али-ходжи от моста, запружена повозками, конями, служивыми всех родов войск и призванными резервистами. От времени до времени сквозь толчею пробивались жандармы с группой арестованных сербов — горожан и крестьян. Воздух пропитан пылью. Все говорят громче и суетятся больше, чем надо,— несоразмерно тому, что говорят и делают. Потные красные лица, ругань на всех языках. В хмельном блуждании опаленных бессонницей глаз — тревожное предчувствие грядущего кровопролития.

Посреди площади перед мостом венгерские резервисты в новой униформе обтесывают наспех бревна. Споро стучат молотки, визжат пилы. По площади проносится тихий шепоток: «Виселицу будут ставить!» Тут же вертятся дети. С порога своей лавки Али-ходжа смотрит, как устанавливают первые две слепы и как затем усатый резервист лезет вверх и скрепляет их третьей, попереч-

ной перекладиной. Народу набралось, словно халву бесплатно раздавали: живое кольцо окружило виселицу. Больше всего тут солдат попеременно с турецкой сельской голытьбой и городскими цыганами. И вот уж расчищают проход, несут откуда-то стол и два стула для офицера и писаря. Каратели подводят двух крестьян, а вслед за ними одного городского. Крестьяне — арендаторы из пограничных сел Поздерчича и Каменицы, а горожанин — некий Вайо, личанин родом, предприниматель, с давних пор обосновавшийся в городе и тут женившийся. Все трое связаны, запылены и ошарашены. Армейский барабанщик стал отбивать громкую дробь. В гудящем вареве толпы она прокатывается отзвуками отдаленного грома. В кругу у виселиц наступает тишина. Офицер, поручик запаса из венгров, чеканным голосом оглашает по-немецки текст смертных приговоров, сержант вслед за ним переводит. Военно-полевым судом все трое приговариваются к смертной казни по обвинению, под присягой заверенному свидетелями, в подаче ночью световых сигналов на сербской границе. Казнь через повешение должна быть произведена публично на площади перед мостом. Крестьяне часто моргают, безмолвно, с видом крайней озадаченности. Предприниматель Вайо, стирая пот с лица, расслабленным голосом жалобно твердит, что он не виновен, и одичавшим взором высматривает, кому бы это сказать.

Оставалось привести приговор в исполнение, когда сквозь толпу к месту казни протиснулся приземистый рыжий солдат с раскоряченными ногами. Это был Густав, бывший обер-кельнер из заведения Лотики, а теперь содержатель кофейни в нижних торговых рядах. В новом мундире с капральскими нашивками, красный, с еще более безумным, чем обычно, взглядом налитых кровью глаз. Завязался спор. Сержант пытался унять его, но воинственно настроенный трактирщик не сдавался.

— Я здесь пятнадцать лет состою на осведомительной службе, я доверенное лицо высших военных кругов, — кричал он по-немецки пьяным голосом, — и мне еще в позапрошлом году в Вене обещали, что я собственноручно вздерну пару сербов, когда придет время. Вы не знаете, с кем имеете дело. Я заслужил это право. А вы тут...

По толпе прошелся гул и ропот. Сержант находился в замешательстве. Густав упорствовал, во что бы то ни стало требуя, чтобы двух осужденных ему дали повесить самому. Тогда поднялся поручик, сухощавый, хмурый человек господского обличья, глядевший на все с таким отчаянием, словно его тоже приговорили к смерти. Густав, хотя и пьяный, тотчас встал навтыжку, лишь тонкая щетина рыжих усов продолжала вздрагивать и дико бегали глаза. Подойдя к нему, офицер придвинулся вплотную к красной физиономии капрала, как бы намереваясь в нее плюнуть.

— Если ты не уберешься сию секунду прочь, я прикажу тебя связать и отвести в тюрьму. Завтра явишься на рапорт. Понял? А теперь убирайся! Марш!

Негромкие эти слова, произнесенные по-немецки с венгерским выговором, своей непререкаемой властностью заставили трактирщика сразу съежиться и раствориться в толпе, мыча невнятные слова извинения и беспрестанно отдавая честь.

Внимание толпы снова обратилось к осужденным. Крестьяне были в том же оцепенении. И лишь моргали и щурились от жары и знойного дыхания сгрудившейся массы тел, как бы только тем и обеспокоенные. А Вайо слабым и плаксивым голосом по-прежнему твердил, что он не виноват, что это конкурент его взял грех на душу, а сам он сроду не был в армии и не слышал, что можно подавать сигналы светом. Он знал кое-что по-немецки и, задыхаясь, частил словами, в отчаянной попытке найти убедительный довод, который остановит наконец безудержный поток, со вчерашнего дня увлекавший его за собой, грозя ни за что ни про что унести из этого мира.

— Herr Oberleutnant, Herr Oberleutnant, um Gottes willen... Ich unschuldiger Mensch... viele Kinder... Unschuldig! Lüge! Alles Lüge!¹ — безостановочно сыпал Вайо словами в поисках заветного и спасительного.

Солдаты между тем окружили первого крестьянина. Быстро скинув с головы баранью шапку и обернувшись в сторону Мейдана, где стояла церковь, крестьянин дважды перекрестился мелко и поспешно. Поручик взглядом показал сначала кончить с Вайо. В ужасе по-

¹ Господин поручик, господин поручик, умоляю вас господом богом... Я не виновен... много детей... Не виновен! Ложь! Все ложь! (нсм.)

няв, что он на очереди, личанин, потрясая руками, взвыл не своим голосом. «Nein! Nein! Nicht um Gottes willen! Herr Oberleutnant, sie wissen... Sie wissen, alles ist Lüge! Gott... Alles Lüge! ¹» — истошно вопил Вайо, в то время как солдаты, подхватив его сзади, тащили и ставили на деревянную подставку под петлей.

Дрожая и замирая, следила любопытная толпа за ходом рокового поединка между предпринимателем и поручиком.

Увидев вдруг безумно искаженное лицо Вайо, вознесшееся над головами толпы, Али-ходжа, до сей поры в неведении внимавший глухому невнятному гомону, доносившемуся до его слуха из плотного круга толпы, кинулся запирать свою лавку вопреки строжайшему наказу военных властей держать все торговые заведения открытыми.

Новые армейские соединения в сопровождении обозов провианта, снаряжения и оборудования все прибывали в город, и не только перегруженной железной дорогой, но и старым трактом через Рогатицу. День и ночь по мосту тянулись повозки и лошади, и первое, что их встречало на площади у въезда в город, были трое повешенных. А так как передние обычно застревали в тесноте запруженных улиц, то каждая из подходивших в город колонн должна была подолгу топтаться на мосту или под виселицами на площади, пока не рассосется пробка. Взмыленные, грязные, охрипшие от ярости и крика, конные сержанты продирались в скопище повозок и вьючных лошадей, отчаянно жестикулируя и бранясь на всех языках многобожной Австро-Венгерской монархии.

Ранним утром, на четвертый или пятый день, когда мост был, как обычно, запружен очередным обозом, с трудом продвигавшимся тесным лабиринтом торговых рядов, над городом пронесся резкий, непривычный свист, и в самую середину моста, в каменный парапет у ворот ударил снаряд. Обломки камня и металла засыпали обоз, началась давка, лошади вставали на дыбы, люди разбежались кто куда. Одни устремились к площади вперед, другие кинулись назад — на дорогу, по которой пришли.

¹ Нет! Нет! Нет, ради бога, нет! Господин поручик, вы знаете... все ложь... Боже... все ложь! (нем.)

Вдогонку за первым просвистели подряд еще три снаряда — два угодили в воду, третий — в самую гущу людского и лошадиного месива посредине моста. Мост в один миг опустел; перевернутые повозки, убитые люди и лошади темнели на расчистившейся мостовой. С Бутковых скал отозвалась австрийская полевая артиллерия, пытаясь накрыть горную батарею сербов, осыпавшую шрапнелью разметавшийся по обе стороны моста обоз.

С того дня горная батарея с Паноса упорно была по мосту и прилегающей к нему казарме. По прошествии нескольких дней и тоже утром, с востока, откуда-то с Голеша, раздался новый звук. Хотя и заглушенный расстоянием, он отдавал глубоким гулом и тяжело раскатывался над городом. Это били гаубицы; их было, видимо, две. Первые снаряды попали в Дрину, следующие — в площадь у моста, где повредили ближайшие дома, в том числе гостиницу Лотики и офицерское собрание, а после, войдя в определенный ритм и все точнее достигая цели, стреляли только по казарме и мосту. Не прошло и часа, как казарма запылала. Солдат, пытавшихся унять огонь, поражала шрапнелью горная батарея с Паноса. И казарму предоставили ее судьбе. В раскаленном пекле солнечного дня дружно занимались деревянные части, а внутренние стены обваливались в дымящиеся руины под ударами досылавшихся время от времени снарядов. Так во второй раз был разрушен «Каменный хан» и снова превращен в груды мусора и щебня.

Две гаубицы с Голеша упорно и размеренно обстреливали мост, особенно его центральный бык. Снаряды хлопались то в реку слева и справа от моста, то разбивались о массивные столбы, то попадали в самый мост, но ни один из них не попал в железную крышку над люком в теле среднего опорного быка, таящего в себе взрывчатку мины. Десятидневный прицельный обстрел не причинил мосту серьезного ущерба. Отскакивая от гладких стен быков и закругленных сводов, снаряды разрывались в воздухе, оставляя на каменных плитах лишь легкие, белые, едва приметные глазу ссадины. А мелкая шрапнель отлетала, как град, от твердого и гладкого гранита. И только на проезжей части укатанный гравий пестрел колдобинами, но они были видны лишь тогда, когда ступишь на мост. Так, и под натиском налетевшего нового шквала, вывернувшего с корнем и переломавшего

древние устои города, судьбы живых и всего неживого, белый мост по-прежнему стоял нерушимый и неуязвимый.

XXIII

Из-за непрекращающегося артиллерийского огня передвижение по мосту в дневное время стало невозможно: если это безнаказанно сходило горожанам и даже солдатам, перебегающим мост поодиночке, то стоило только группе повиднее ступить на мост, как ее осыпали с Паноса шрапнелью. Вскоре в артобстреле наметилась известная периодичность, и, пользуясь минутами затишья, а также попустительством австрийских часовых, граждане проходили по мосту, если была на то безотлагательная надобность.

Горная батарея с Паноса стреляла только днем, а гаубицы из-за Голеша били и ночью, стараясь помешать передвижению воинских частей и обозов с одного берега на другой.

Домовладельцы с семьями из центра города и прилегающих к мосту и дороге кварталов перебирались, спасаясь от обстрела, к родным и знакомым на Мейдан и другие окраины. Бегство жителей с детьми и самыми необходимыми пожитками вызывало в памяти ночи, когда на город надвигалось большое наводнение. Только на сей раз и в помине нет чувства солидарности, заставлявшего когда-то людей разных вер объединяться перед лицом общей беды и во взаимной поддержке черпать мужество и силу. Турки спасаются в турецких домах, а сербы, словно зачумленные,— в сербских. Но и в этой разобщенности живут они примерно одинаково. Сбившись под чужими кровлями, не зная, как убить время, праздные и неприкаянные, словно погорельцы, страшась за жизнь, томясь неведением о брошенном имуществе, они терзаются противоположными мечтами и надеждами, которые, впрочем, и те и другие в равной мере таят в душе.

И как когда-то встарь при грозных наводнениях, и там и тут наивным балагурством и напускным спокойствием и удальством тшчатся старики развеселить и подбодрить своих. Но, видно, в нынешнем несчастье не помогают дедовские присказки и шутки и, потеряв былую остроту, не тешат слушателей обветшалые прибаутки старых времен, а новые изобретаются медленно и туго.

Ночью все притворяются спящими, но на самом деле не смыкают глаз. Говорят только шепотом, хотя и сами не понимают, зачем такая осторожность, когда то с сербской, то с австрийской стороны ежеминутно грохочут орудия. Страшный призрак «световых сигналов врагу» держит народ в трепете, хотя никто не знает толком, ни как их давать, ни что это вообще такое. Страх, однако, столь огромен, что никто не решается и спичкой чиркнуть. Огонь не разводят совсем. Курильщики уходят в душные чуланчики без окон или курят, накрывшись одеялом. Духота донимает и давит. Люди исходят потом, но двери тщательно заперты и окна плотно занавешены и закрыты. Город напоминает бессильную жертву, закрывшую глаза руками в ожидании ударов. Дома стоят как будто замурованные наглухо. Ибо кто хочет выжить, должен прикинуться мертвым; только и это не всегда помогает.

В мусульманских домах все же чувствуют себя свободнее. Здесь кипят несвоевременно пробужденные старые воинственные страсти, несколько обесцененные, правда, артиллерийским поединком двух христианских армий, ведущимся у них над головой. Но есть, как водится, тайные заботы и горести, которым не найти ни помощи, ни исхода.

В доме Али-ходжи под Градом образовалась чуть ли не школа. К ораве собственных детей прибавилось еще девятеро ребят Муяги Мутапджича; из них только трое постарше, остальные несмышленыши, мал мала меньше. Чтоб они не расползались без присмотра по двору, всех их вместе с Али-ходжиными отпрысками поместили в прохладную и просторную комнату на первом этаже, предоставив им возиться и пицать под неусыпным надзором матерей и старших сестер.

Муяга Мутапджич, по прозвищу Ужичанин, был переселенец (но об этом разговор впереди). Это высокий, совершенно седой человек пятидесяти лет с орлиным носом и изборожденным морщинами лицом, с резкими солдатскими манерами и низким голосом. Он выглядит намного старше Али-ходжи, хоть и моложе его на десять лет. Муяга сидит с Али-ходжой, курит беспрерывно и почти не говорит, подавленный неотступными мрачными мыслями. На месте ему не сидится. Он то и дело вскакивает, выходит из дома во двор окинуть взором при-

брежные холмы по ту и по другую сторону реки. Постоит, закинув испытующе голову, словно учуял ненастье. Ни на минуту не оставляя его одного, вслед за ним выходит в сад и Али-ходжа, стараясь разговорить его и отвлечь.

В саду, круто сбегающем вниз, но красивом и большом, царит покой летнего созревания. Лук вырван и повален; подсолнечник в самом соку, вокруг его отяжелевших черных шапок жужжат шмели и пчелы. Мелкие цветочки по краям завязываются семечками. Отсюда, с высоты, прекрасно виден город, рассыпавшийся по песчаной косе в развилке Дрины и Рзава, причудливая зубчатость горной короны вокруг, окрестные склоны и долина, испещренные лоскутной мозаикой желтых ячменных посевов и зеленью кукурузных полей. Белеют дома, чернеет венчающий вершины лес. В безбрежном океане света и пространства встающего над городом летнего дня вполне невинно и торжественно ухают то с той, то с другой стороны залпы размеренной орудийной перестрелки.

И как ни тягостно на сердце у Муяги, но тут и у него развязывается язык. Поддавшись ласковым уговорам Али-ходжи, он рассказывает ему о своей судьбе не потому, что она неизвестна его другу, а потому, что ему надо как-то ослабить стянутый под горлом узел, а судьба эта решается сейчас и здесь каждым мгновением этого летнего дня и каждым новым залпом несмолкаемой перестрелки.

Ему не сравнялось еще и пяти лет, когда турки должны были оставить сербские города. Османлии ушли в Турцию, но отец его Суляга Мутапджич, в то время еще молодой, но видный человек, один из первых среди ужицких турок, решил переселиться в Боснию, откуда вел происхождение их род. С детьми в переметных корзинах и теми деньгами, которые при тогдашних обстоятельствах ему удалось выручить за землю и дом, он навсегда оставил Ужице. В числе нескольких сотен ужицких переселенцев перешел в Боснию, бывшую еще тогда под властью турок, и обосновался с семейством в Вышеграде, где издавна проживала ветвь ужицких Мутапджичей. Здесь он прожил десять лет, и только занял было прочное место в торговых рядах, как пришла австрийская оккупация. Строгий и непримиримый, он считал бессмысленным бежать от одной христианской власти, чтобы

жить под другой. И через год после прихода австрийцев, в числе немногих семей, не желавших жить под «колокольный звон», перебрался с чадами и домочадцами в Новую Варош, в Санджак. (Наш Муяга был тогда парнишкой пятнадцати лет с небольшим.) И тут, в Новой Вароши, Суляга Мутапджич начал дело, тут родились его меньшие дети. Но так никогда и не смог он изжить в себе боль по тому, что бросил в Ужице, и привыкнуть к новым людям и обычаям. Это и было причиной его преждевременной смерти. Дочери его, одна другой красивей и на самом хорошем счету, благополучно повыходили замуж. Сыновья, приняв дело, приумножали скромное отцовское наследство. Но только что они пережились, пустили корни в новую среду, началась балканская война 1912 года. В отпоре, оказанном турецкими войсками сербско-черногорской армии при Новой Вароши, принимал участие и Муяга. Непродолжительный, но и не совсем безуспешный отпор этот тем не менее каким-то таинственным образом показал, что судьба войны и многих тысяч жизней решается не здесь, а где-то там, в неведомой дали и совершенно независимо от силы или слабости оказанного сопротивления, и повлек за собой отход турецкого войска из Санджака. И Муяге, ребенком уже спасавшемуся на Ужице от вражьей силы, против которой столь безуспешно выступил он сейчас, не оставалось ничего другого, как опять податься в Боснию, под ту самую власть, от которой однажды бежал его отец. Так, троекратный беженец, он вместе со своим семейством оказался в городе, где прошло его детство.

С помощью кой-какой наличности и при поддержке вышеградских турок, среди которых у него нашлась родня, за эти два истекших года Муяге удалось наладить дело. Далось это ему, однако, нелегко, ибо при нынешних разорительных и неустойчивых временах и местным тузам, как мы видели, приходилось нелегко. В ожидании лучшего будущего Муяга главным образом жил на свои сбережения. И вот после двух лет несладкой переселенческой жизни на город налетает новая буря, и он против нее совершенно бессилён; в тревоге следить за ее ходом и ждать, замирая от страха, исхода ее и развязки,— единственно, что остается Муяге.

Об этом и идет у них сейчас разговор, сбивчивый, отрывистый, тихий; говорят они о вещах, настолько им

близких и знакомых, что разговор можно начинать с конца, с начала или с середины. Неутомимый Али-ходжа старается хоть как-нибудь развеять и утешить горячо и искренне любимого и уважаемого им Муягу не потому, что верит в самую возможность чем-нибудь ему помочь, но просто из потребности и ощущения внутреннего долга принять участие в горестной судьбе этого достойного, несчастного человека и истинного мусульманина. Муяга сидит и курит, — живое воплощение жертвы злого рока. Крупные капли пота выступают у него на лбу и на висках, и, постояв на месте и налившись, они, сверкнув на солнце, светлой струйкой скатываются вниз по его морщинистому лицу. Но он не замечает их и не стирает. Замутившимся взором уставясь перед собой в траву, Муяга отрешенно слушает голос своей души, звучащий в нем громче и яснее всех утешений и залпов самой оглушительной канонады. И, коротко отмахиваясь по временам рукой, отрывисто что-то бормочет, скорее в продолжение неслышного своего разговора, чем в ответ на то, что говорят и делают вокруг.

— На этот раз приперло так, Али-ходжа, что некуда податься. Бог свидетель, что и отец покойный мой, и я все сделали ради того, чтобы жить под турецкой звездой в чистой вере и законах ислама. Дед мой кости свои сложил в Ужице; теперь, наверно, не найти следов его могилы. Отца похоронил я в Новой Вароши, может, и его могильный холм сровнял с землей христианский скот. Думалось мне, что хоть я умру там, где еще с минарета сзывает муэдзин правоверных к молитве, но похоже, что судьба хочет извести под корень наше семя и в память о нас не оставит даже могилы. Или такова божья воля. Вижу только, некуда нам больше податься. Пришло время, о котором сказано, что истинно верующим нет иного пути, нет исхода, кроме как подышать. К кому пристать? Пойти с Наил-бегом в каратели и принять смерть со швабским оружием в руках, покрыв свое имя позором в глазах живых и мертвых, или сидеть сложа руки и ждать, пока и сюда придет Сербия и установит тут все то, от чего бежали мы когда-то и целые полвека провели в скитаниях?

Али-ходжа открыл было рот, собираясь приободрить и обнадежить чем-нибудь Муягу, как его прервали залпы австрийской батареи с Бутковых скал и последовав-

шая за ними орудийная пальба с Паноса. Отозвались и гаубицы из-за Голеси. С тоскливым, ледяющим душу воем, от которого переворачивает все нутро, сновали, подобно челнокам, совсем низко над головами снаряды разного калибра. Али-ходжа поднялся, предлагая укрыться хотя бы под крышей, Муяга, как лунатик, поплелся за ним.

В сербских домах, обступивших мийданскую церковь, нет ни сожалений о былом, ни страха перед будущим; все заслонили тревоги сегодняшнего дня. Здесь безраздельно властвует безгласный, не похожий ни на что другое ужас, неизбежное следствие первых актов бесчинства и террора, повальных арестов и казней без суда и следствия. Но за этим ужасом, как было раньше и как велось спокон веков, таится свет неугасимой надежды, той, что сто с лишним лет тому назад поддерживала пламя повстанческих костров на Паносе, и та же напряженность ожидания, и та же самая решимость, уж если иначе нельзя, все выдержать, и та же вера в благополучный исход где-то там вдалеке, в конце всех концов.

Внуки и правнуки тех, кто в тревоге и страхе, но с радостной дрожью в глубине души, так же затворившись в домах, с тех же самых холмов, напрягая слух, пытались уловить слабые отголоски залпов карагеоргиевской пушки, долетавшие к ним с гор от Велетова, прислушивались теперь к тяжкому гулу гаубичных ядер в теплой ночной темноте и, стараясь угадать по звуку, сербский или швабский пролетает над ними снаряд, нежно подбадривали его ласковыми именами или проклинали, посылая ему вслед оскорбительные клички и прозвища. Но это только до тех пор, пока снаряды, пущенные поверху, пролетали мимо, когда же стрельбой накрывало город и мост, они, осекшись на полуслове, замолкали, готовые поклясться в том, что во всей необъятности ночи, в оцепенении жуткой тишины и та и другая сторона стараются нащупать только тот дом, где укрылись они. И изменившимися голосами в наступившем после грохота недалекого взрыва затишье отмечали его особенную близость и вредоносную силу.

В доме Ристича, что сразу над домом священника, но более просторном и красивом и защищенном от артиллерийского огня с двух сторон крутыми склонами сплошного сливняка, нашло прибежище множество православ-

ных с торговой площади. Мужчин тут немного, все больше женщины с малыми детьми, чьи мужья или брошены в тюрьмы, или взяты заложниками.

Дом Ристича большой и богатый, а живут в нем только хозяин Михаило Ристич с женой и вдовой невесткой, которая по смерти мужа, не пожелав вторично выйти замуж или вернуться в отчий дом, осталась растить детей при стариках. Старший ее сын двумя годами раньше перешел в Сербию и погиб в отряде добровольцев на Брегалнице. Было ему в то время восемнадцать лет.

Старый газда Михаило, его старуха и невестка, словно на каком-то званом празднике, хлопочут вокруг своих необычных гостей. Особенно неутомим старик. Простоволосый, вопреки обыкновению, ибо, как правило, он не расстаётся с алой феской, с разметавшимися космами седых волос и густыми, серебристыми, подпаленными у корней табачной желтизной усами, окаймляющими рот как бы никогда не сходящей улыбкой. Едва заметив, что кто-нибудь особенно встревожен или приуныл, Михаило спешит с утешением и угощает кофе, ракией или табаком.

— Спасибо, кум Михаило, отец родной, спасибо, не могу, ничего в горло не идет, — отнекивается одна еще совсем молодая женщина, проводя ладонью по своей округлой белой шее.

Женщина эта — жена Петара Гаталы с Околиште. По торговым делам Петар отправился не так давно в Сараево. Там его застигла война, и с тех пор жена не имела от него никаких вестей. Войска выселили их из собственного дома, и она с детьми приютилась в доме у кума Михаила, с которым по мужниной линии состояла в давнем свойстве. Неотвязные думы о пропавшем муже и брошенном на произвол судьбы хозяйстве терзали женщину. И она то вздыхала, то всхлипывала, заламывая руки.

Кум Михаило не спускает с нее глаз и не отходит. Утром еще он узнал, что взятый заложником в поезде на обратном пути из Сараева Петар был переправлен в Вардиште и тут в сумятице какой-то напрасной тревоги по ошибке расстрелян. Все это пока еще скрывалось от нее, и кум Михаило следит за тем, чтобы кто-нибудь нечаянно ей это не открыл. Женщина то и дело порывается встать, выйти во двор и взглянуть оттуда на Околиште, но с помощью всевозможных отговорок и уловок газда

Михаило ее не пускает, ибо прекрасно знает, что дом Гаталовых на Околиште тоже горит, и всеми правдами и неправдами хочет уберечь несчастную хотя бы от этого страшного зрелища. С шутками и прибаутками он беспрестанно потчует свою гостью.

— А ну-ка опрокинь, кума Станойка, ярка белая, одну чарочку! Ведь это ж целебный елей, а не ракия!

И женщина покорно выпивает. Так, обнося ракией всех подряд, газда Михаило своим настойчивым и неотступным радушием заставляет подкрепиться каждого. И снова возвращается к жене Петара Гаталы. Ей заметно полегчало, комок в горле исчез. И теперь она сидит притихшая, уставившись перед собой отсутствующим взглядом. Но кум Михаило по-прежнему ее не оставляет и, словно малому ребенку, нашептывает сладкий сон о том, что все будет хорошо, Петар ее вернется из Сараева целый и невредимый, и они снова заживут в своем доме на Околиште.

— Твоего-то Петара я с пеленок ведь знаю, на крестинах его был. После о них долго толки шли. А я все помню как сейчас: сам я как раз для женитьбы поспел, и вот с покойным папашей моим, а он крестил всех детей газды Янко, отправился на Околиште крестить твоего Петара.

И кум Михаило принимается в который раз пересказывать давно известную историю крестин Петара Гаталы, но в эти необычные часы бессонной ночи она воспринималась как новая.

Придвинувшись ближе к хозяину дома, мужчины и женщины слушают его, забывая об опасности и пропускаемая мимо ушей пушечный гром, между тем как кум Михаило неторопливо повествует:

— В добрые старые времена, когда в городе у нас служил знаменитый поп Никола, после долгих лет супружества и целой вереницы девочек у старого Янко Гаталы родился сын. И вот в ближайшее воскресенье сияющий отец с кумом и кое-кем из близких соседей понесли ребенка крестить. По дороге с Околиште кумовья частенько останавливались и прикладывались к фляге с забористой ракией. А подойдя к воротам на мосту, присели отдохнуть и еще немного выпить. День выдался холодный, и на пустующем по поздней осени балконе не было ни хозяина кофейни, ни турок, постоянных его кли-

ентов. И поэтому жители Околиште расположились тут как дома, развязали торбы с припасами и начали новую флягу. В сердечном усердии цветисто славили они друг друга и позабыли про младенца и священника, который должен был крестить его после обедни. А так как в те времена, в семидесятих годах XIX века, церковный звон был еще запрещен, подгулявшая компания не замечала, что время идет и служба давно уже кончилась. Но в смелых их предначертаниях самое отдаленное будущее ребенка так тесно переплеталось с прошлым родителей, что время утратило всякую меру и смысл. Несколько раз крестный отец спохватывался и принимался звать кумовьев продолжить путь, но те быстро заставляли его замолчать.

— Пошли все же, братцы, закончим начатое, исполним то, что требует закон и наш христианский долг,— заикался было крестный отец.

— Да чего ты пристал, ей-богу, никто у нас еще в приходе некрещеным не оставался,— унимали кума, наперебой потчuya его спиртным.

Отец новорожденного вначале тоже порывался идти дальше, но скоро и его, как и других, уgomонила ракия. Мать, державшая до сей поры ребенка на посиневших от стужи руках, умотав его в рядно, положила на каменное сиденье, и там он, как в люльке, спал или тарашил любопытные глазки, как бы участвуя в общем веселье. («Видать тотчас, что наш,— заметил кум,— ишь как нравится ему застолье и компания!»)

— Янко, будь здоров,— кричал тем временем один сосед.— Пусть сын твой будет долговечен и счастлив; дай бог ему быть нашей гордостью и славой и жить в чести и почете, в благополучии и всяческом достатке. Дай бог ему...

— Пстой, а может, все-таки с крещением дело кончим,— прерывал тост родитель.

— Успеется с крещением,— хором кричали ему, снова прикладываясь к фляжкам.

— Вон Рагиб-эфенди Боровац не крещен, а каков вымахал: аж конь проседает под ним,— под общий смех выкрикивал кто-то из кумовьев.

Но если для подвыпившего общества в воротах время утратило меру и смысл, то не утратило оно его для отца Николая, который ждал сначала возле церкви, а после,

рассердившись и накинувши кафтан, подбитый лисьим мехом, сошел с Майдана в город. Тут ему кто-то сказал, что люди с младенцем на мосту. И он пошел туда отчитать их по-свойски, но встречен был таким восторженным и искренним радушием и столь неподдельным раскаянием, а также пылкими заверениями в преданности и любви, что отец Никола, слывший человеком строгим и суровым, но остававшийся в душе истинным сыном своего родного города, уступил и сам взялся за флягу и закуски. И чертыхнулся в умилении, нагнувшись над малышом, а тот бестрепетно смотрел на крупное лицо священника с большими синими глазами и окладистой рыжей бородой.

Конечно же, напрасно говорили, что будто бы и крестили младенца в воротах, но совершенно справедливо отмечается обилие здравиц, бесконечных разговоров и щедрых возлияний. Дело шло к вечеру, когда веселая компания поднялась на Майдан и отворила церковь, и кум, одолеваемый злостной икотой, от имени нового прихожанина отрекся от дьявола заплетающимся языком.

— Таким путем и был твой Петар крещен и вот уже перевалил за сорок, а, слава богу, ничего ему не делается,— заключил свою повесть кум Михаило.

И люди снова принимаются за ракию и кофе, ища в них спасение от настоящего, постепенно оживляются, у всех развязываются языки, и все укрепляются в убеждении, что все же есть в жизни более отрадные и человеческие вещи, чем этот страх и эта темнота с грохотом смертоносных разрывов.

Так протекает ночь, а вместе с ней часы их жизни, полной страданий и опасности, но вместе с тем ясной в своей непреложности и простоте. Врожденной чуткостью древних инстинктов она разбита и расчленена на краткие мгновения отдельных впечатлений и поглощающей необходимости непосредственных нужд. Живя одними этими мгновениями и не заглядывая ни в будущее, ни в прошлое, в такие времена только так и можно перебиться и как-нибудь дотянуть до лучших дней.

Светает наконец. Но это означает лишь то, что в блеске солнечного дня ожесточится перестрелка и снова работает машина бессмысленной и нескончаемой военной игры. Ибо, сами по себе как таковые, дни теперь лишились имени и назначения, время потеряло свою цен-

ность. Людям остается в страхе ждать. И они действуют, движутся и говорят как заведенные автоматы.

Так, примерно, протекает жизнь обитателей верхних крутых кварталов под Градом и на Мейдане.

А внизу, в торговом центре, и совсем почти нет никого. Изданный в первый день войны приказ повелевал всем лавочникам производить бесперебойную торговлю якобы для удобства проходивших мимо военных частей, а еще более для убеждения граждан в отсутствии какой-либо опасности и угрозы вторжения неприятеля в город. И хотя, несмотря на обстрел, приказ этот все так же оставался в силе, каждый под благовидным предлогом норовил держать свою лавку закрытой большую часть дня. Если же она, как у Павле Ранковича и Али-ходжи, стояла у самого моста и «Каменного хана» и непосредственно подвергалась обстрелу, то не открывать ее совсем. Также покинута всеми и заперта гостиница Лотики; крыша ее пробита снарядами, стены выщерблены осколками шрапнели.

Али-ходжа всего один-два раза в день спускался вниз со своего крутогорья и, проверив, все ли в порядке, тотчас же возвращался домой.

Лотика со всей семьей покинула гостиницу в первый день обстрела моста. Они перешли на левый берег Дрины и укрылись в большом, построенном недавно турецком доме, по самый конек красной крыши скрытом зарослями разросшегося сада. Дом этот стоял в ложине в стороне от проезжей дороги. Его владелец со всей семьей находился в деревне.

Они покидали гостиницу в сумерки, когда обычно было тихо. Из слуг один только верный Милан, закоренелый холостяк и старый франт, давно лишенный практики вышибалы из стен заведения, оставался по-прежнему с ними; прочая челядь, как часто бывает в таких обстоятельствах, разбежалась с первым пушечным залпом, прогремевшим над городом. Переселением семейства безоговорочно и единолично руководила, как водится, Лотика. Она определяла, что из самого необходимого и ценного имущества надлежало взять с собой и что оставить; как кому одеться; кто понесет безногого и слабоумного Деборино сына; кто поведет ее саму, болезненную и слезливую, и кто возьмет на себя Мину, смертельно перепуганную расплывшуюся старую деву. Так, под покро-

вом душной летней ночи, с маленьким калекой и кое-чем из поклажи в тачке, нагруженные узлами и картонками, Лотика, Цалер, Дебора и Мина перешли мост. За тридцать лет своего существования гостиница впервые была закрыта на замок и оставлена без всякого присмотра. Погруженная во мрак, поврежденная первыми снарядами, она приобрела печальный вид заброшенных развалин. А обитатели его, едва ступив на мост, с этой своей колченогой непривычностью к пешему хождению, немощные, престарелые, увечные и ожиревшие приняли облик еврейской бедноты, горемычных беглецов, что месят пыль больших дорог, скитаясь с незапамятных времен по белу свету.

Так перешли они на другой берег и обосновались в большом турецком доме. И тут все устроила Лотика, распорядившись беженскими пожитками и разместив своих домочадцев. Но когда пришло время лечь ей самой в полупустой чужой комнате, без ее привычных вещей и бумаг, среди которых прошла ее жизнь, что-то у нее внутри оборвалось, и в первый раз с тех пор, как она помнила себя, она сдалась и рухнула без сил. И пустоту покинутого мусульманского жилища огласили наводящие ужас звуки — звуки никогда никем до этого не слышанных, не виданных и даже и в воображении не мыслимых судорожных, страшных, сдавленных и по-мужски глухих рыданий Лотики, безудержных и неудержимых. Ее домашние сначала онемели, почти благоговейно прислушиваясь к ним, а после разразились потоками слез, причитаний и стонов. Для ее родных и близких душевный крах тетки Лотики, которая всегда была для них поддержка и опора, был ударом более жестоким, чем война и бегство, чем потеря дома и имущества.

И когда наутро над землей занялся лучезарный летний день с гомоном птиц, розовыми облаками и обильной росой, он застал вместо прежней Лотики, до вчерашнего вечера управлявшей судьбами многочисленной своей родни, свернувшуюся на полу старую и дряхлую еврейку, не способную отныне позаботиться о самой себе, дрожавшую в смертельном испуге и плачущую, как дитя, не умеющее назвать причину своих слез и страха. И тогда совершилось другое чудо. Цалер, — тот самый старый, тучный, флегматично-сонный Цалер, с молодых лет не отличавшийся характером и самостоятельностью и по-

корно предоставлявший свояченице Лотике руководить собой и всем своим семейством, да и не бывший никогда в действительности молодым, вдруг показал себя истинным главой семьи, наделенным мудрой предусмотрительностью и волей, достаточной для того, чтобы не только принимать решения, но и проводить их в жизнь. Заботясь о своих, как некогда она, Цалер успокаивал теперь свою свояченицу и ухаживал за ней, как за больным ребенком. Пользуясь затишьем, он уходил в город и перетаскивал из брошенной гостиницы необходимые вещи, одежду и провизию. Он разыскал где-то врача и привел его к больной. Врач нашел у нее тяжелое нервное расстройство и общий упадок сил и советовал быстрее вывезти ее отсюда, подальше от военных действий, прописал капли и уехал с транспортом раненых. Цалер договорился с военными властями о подводе, чтоб на ней перевезти семейство сначала в Рогатицу, а затем в Сараево. Надо было только повременить несколько дней, чтобы Лотика хоть немного оправилась для переезда. Но она лежала пластом, точно парализная, в голос плакала и на своем живописном смешанном наречии лепетала жалкие слова безумного отчаяния, ужаса и отвращения. Возле нее ползал по полу увечный Деборин мальчик, с любопытством заглядывая в теткино лицо, и звал ее невразумительными гортанными звуками, которые она так хорошо недавно понимала, а теперь оставляла без ответа. Лотика не принимала пищи и не могла никого видеть. Почти реальной физической болью преследуют ее кошмары. То с вероломством ловушки под ней проваливались половицы в полу и она летела в бездну, надеясь задержаться и спастись только пронзительным собственным визгом. То сама себе казалась огромной, невесомой и мощной, с гигантскими ногами и сильными крыльями, подобной страусу, и куда-то бежала, одним своим шагом покрывая расстояние отсюда до Сараева. Под ногами у нее мелкими плавнями плескались реки и моря, хрустели города и села песком и гравием. Сердце у нее в груди колотится от бега, дыхание стесняется. Она не знает, куда приведет ее и где остановится этот крылатый бег, но ей надо уйти, спастись от подлой видимости сомкнутых досок, что разверзаются под человеком с молниеносной быстротой. Позади нее земля, где ей нельзя оставаться, селения и большие города она переступает

как грязные лужи, в них царствует обман, люди лгут словами и цифрами, пока не запутаются в них, и тогда, сорвав с себя лживую маску, с неуловимой ловкостью фокусника вопреки прежним заверениям и расчетам выставляют вперед орудия и пушки и невесть откуда взявшихся незнакомых людей с налитыми кровью глазами, с которыми бессмысленно вступать в какие бы то ни было переговоры, пререкательства и соглашения. И перед их неукротимым натиском она уже не стремительно бегущая исполинская птица, а слабая, сломленная, убогая старуха, распростертая на жестком полу. А те, невесть откуда взявшиеся люди, роятся тысячами, миллионами; стреляют, колют, душат и сеют всюду и везде уничтожение и смерть без снисхождения и разбора. Один из них нагнулся над ней; лица она не видит, но чувствует, как жалом своего штыка нащупал он слабинку в разводе между ребрами, где человек всего мягче.

— Ах-аааах! Спасите! Спасите!— с отчаянным воплем пробуждается Лотика и обрывает кисти легкой серой шали, укрывавшей ее. Несчастный идиотик, притулившись на пятках у стены, вперился в нее непонимающим и безучастно-любопытствующим взглядом своих больших черных глаз. Вбегает Мина из соседней комнаты и унимает Лотику, стирая ей холодный пот со лба, и поит больную водой, предварительно добавив в нее тщательно отсчитанные капли валерьянки.

А длинный летний день над зеленой долиной кажется бесконечным, заставляя позабыть, что когда-то был рассвет и когда-то наступит мрак. Тепло, но жары не чувствуется. Дом отзывается топотом шагов. Поминутно заходят горожане. Случается, заскочит офицер или солдат. Еды и фруктов всем хватает вдосталь. Милан, не прекращая, варит кофе. Поистине все это могло бы походить на затянувшуюся загородную поездку, если бы не жуткий вой, временами издававшийся Лотикой, и не гул громыхавших вдали залпов, злобным рыком указующий на неполадки в мире, более грозно нависшие над головами всех и каждого в отдельности, чем это представлялось в беспечной необъятности прозрачного дня.

Вот что сделала война с гостиницей Лотики и ее обитателями.

Заведение газды Павле Ранковича также закрыто. Сам газда Павле на следующий же день после объяв-

ния войны в числе других видных сербских горожан взят заложником. Часть заложников держали на станции как гарантию спокойствия, порядка и бесперебойности железнодорожного сообщения, другую часть — вблизи моста, в глубине площади, в небольшом дощатом бараке, где в базарные дни находились общинные весы и собирались пошрины. Эти отвечали своей головой за целость и сохранность моста.

Здесь на каком-то стуле из кофейни сидел газда Павле. С поникшей на грудь головой и упавшими на колени руками, он, казалось, в изнеможении присел отдохнуть на минуту, да так и застыл, часами не меняя своей оцепенелой позы. У дверей на груди порожних мешков сидели два солдата-резервиста. Двери заперты, и в бараке стоят духота и полумрак. При звуке снарядов, выпущенных с Паноса или с Голеша, газда Павле сглатывает слюну и старается определить на слух, куда он попадет. Он знает, что мост с давних пор заминирован, и теперь неотступно думает о том, можно ли точным попаданием взорвать заряд. При каждой смене караула унтер-офицер отдает при нем инструкции заступающим на пост солдатам. И заканчивает их неизменно одними словами: «При любой попытке совершить диверсию на мост или хотя бы малейшем подозрении на таковую заложник должен быть немедленно расстрелян». Газда Павле к ним привык и слушает их с безразличием, как будто они его не касаются. Гораздо больше, чем эти слова, его тревожат снаряды и шрапнель, так близко рвущиеся от барака, что комья земли и осколки глухо барабанят в его дощатые стены. Но самое мучительное для него — это нескончаемо длинное время и неотступные мысли.

Они, эти мысли, постоянно возвращают Павле Ранковича к тому, что стряслось с ним самим, его домом и обширным хозяйством. И чем упорней думает он, тем больше кажется ему, что все это ужасный сон. Иначе как могло бы столько бед свалиться на него и всех его родных за какие-то несколько дней! Двух сыновей его, студентов, жандармы забрали в первый день войны. Жена осталась дома с дочерьми одна. Большая бочарня в Осойнице сгорела у него на глазах. Погорели, должно быть, и разбрелись кто куда все его исполщики по окрестным селам. Разбросанные по всему уезду, безвозвратно пропали кредиты. Лавка его, лучшая в городе, здесь, в двух

шагах от него, стоит под замком и будет, конечно, разграблена или сгорит от шального снаряда. А сам он заложником сидит в этом темном бараке, отвечая головой своей за то, что от него нисколько не зависит: за судьбу моста.

Непривычно бурно роились мысли, беспорядочные, сумбурные, сталкивались и гасли. Какое отношение имеет он к мосту, он, который всю свою жизнь занимался лишь своим делом и своей семьей? Не он его минировал, не он обстреливает его сейчас. Даже в бытность свою холостым приказчиком у него не было привычки, по примеру прочих вышеградских молодых парней, расслаиваться в воротах, коротая время за песнями и праздным зубоскальством. И весь его жизненный путь во всех подробностях, давно уже было стершихся в памяти, проходит у него перед глазами.

Четырнадцатилетним мальчонкой, вспоминается ему, голодным и в драных опанках, пришел он сюда из Санджака. И за харчи да одну смену платья и две пары опанок в год попал в услужение к газде Петару. Он нянчил детей, помогал в лавке, таскал воду, скреб лошадей. Спал в каморке под лестницей, узкой и темной, без окна, где нельзя было вытянуть ноги. Но он все это вынес и в восемнадцать лет перешел «на жалованье» в лавку, а на его место был взят из Санджака новый деревенский мальчик. Тогда-то и познал он великий смысл экономии и целиком проникся жгучей и сладостной страстью накопительства. Пять лет он спал в клетушке за лавкой. За эти пять лет ни разу не развел огня и не лег при свече. Было ему двадцать три года, когда газда Петар самодично женил его на пригожей и состоятельной девушке из Чайниче. И она была из семьи торговца. Стали они копить вдвоем. Пришла оккупация, оживилась торговля, увеличились заработки, а с ними и траты. Он использовал возможности новых заработков, а трат избегал. Так и он завел свою лавку и начал наживаться. В те годы это было нетрудно. Многие тогда быстро богатели и еще быстрее разорялись. Сохранить нажитое было труднее всего. Но он держался крепко за свое и каждый день прикладывал к тому, что уже было. А когда подошли новые времена, а с ними беспорядки и «политика», он, хотя и был уже в годах, всеми силами старался в них разобрататься, чтобы не поддаться им и приспособиться без

урона и для чести и для состояния. Он стал помощником председателя городской управы, председателем церковной общины, председателем сербского певческого общества «Гармония», основным акционером Сербского банка, членом административного совета Земельного банка. И умудрялся, не греша против совести и устава торговых рядов, лавировать в чудовищном нагромождении с каждым днем растущих противоречий, умея при всех передрягах соблюсти свою выгоду, расположение властей и уважение народа. В глазах своих сограждан он был недостижимым идеалом сметливой хватки, оборотистости и прозорливости.

Так большую половину отпущенного ему века он наживался, копил, корпел и изворачивался, стараясь мухи не обидеть, никого не задеть и не смотреть по сторонам и молчком продвигаться своей дорогой. И вот куда она его привела: в барак под охрану двух солдат, как какого-нибудь отпетого головореза, где он должен дожидаться, когда подорванный снарядом или адским механизмом мост бросит его самого под штыки или пули. Этак невольно приходится думать о том (и это особенно его терзает), что напрасны все его лишения и муки и неверен выбранный путь и, должно быть, правы его сыновья и прочие юнцы, говоря о бесполезности каких-либо расчетов и прикидок в наши дни, по крайней мере тех, какими руководствовались до сих пор; его, во всяком случае, расчет и его прикидки оказались ошибочными и куцыми.

«Вот так-то в жизни и выходит,— рассуждал сам с собой гасда Павле,— вот так-то оно и выходит: все тебе велит и заставляет работать и копить — и церковь, и власть, и собственный твой разум. И ты впрягаешься послушно, и тянешь, и тянешь, живешь как праведник, и, верней, не живешь, а надрываешься, копишь, хлопочешь, в том и проводишь весь век. И вдруг в один прекрасный день все становится с ног на голову; приходят времена, когда здравомыслие поднимается на смех; церковь закрывается и умолкает, власть заменяется грубой силой; честные труженики, кровавым потом добывавшие свой хлеб, разоряются, а лодыри и насильники богатеют. Никто не признает твоих стараний, и нет ни единой души, которая могла бы делом и советом помочь тебе сберечь добытое трудом и бережливостью. «Может ли такое быть? Неужто может?» — снова и снова спрашивал

себя газда Павле и, не находя ответа, возвращался опять к своей исходной мысли о всеобщей гибели и крахе.

И как бы ни хотел он отвлечься мыслями на что-нибудь другое, никак это ему не удавалось. И он все думал и думал, неотступно думал об одном и том же. А время ползло убийственно медленно. И ему начинало казаться, что этот мост, по которому он тысячи раз проходил, ни разу хорошенько к нему не присмотревшись, всей своей тяжестью давит на его грудь, как непостижимая роковая тайна в кошмарном болезненном сне, чудовищном сне без пробуждения.

И он, не поднимая головы, не разгибая плеч, сидел согнувшийся под этим тяжким бременем, чувствуя, как под твердой накрахмаленной рубашкой с манжетами и воротником из каждый поры его кожи проступает холодный пот. Из-под фески пот стекал ручьями. Он его не утирал, предоставляя ему тяжелыми каплями падать на пол, словно это вытекала из него сама жизнь.

Двое солдат-караульных, из немолодых венгерских крестьян, молча ели хлеб и щедро подперченное сало; с медлительной степенностью, точно на пашне, совершали они свою трапезу, складным перочинным ножом отрезая ломоть хлеба или шматок сала. Потом отхлебнули на запивку по глотку вина из жестяной баклажки и закурили свои короткие трубки. Один, попыхивая, проговорил:

— В жизни не видывал, чтобы кто-нибудь этак потел.

После чего оба в молчании продолжали курить.

Но не один только газда Павле, теряясь в море кошмарного сна без пробуждения, исходил кровавым потом. На маленьком клочке земли между Дриной и сухопутной границей, в городе, по селам, дорогам и лесам в те дни многие в поте лица сеяли смерть и принимали ее, всеми средствами пытаясь в то же время от нее оборониться и уйти. Необъяснимая человеческая игра, именуемая войной, приобретала все больший размах, распространялась и вовлекала в свой оборот все живое и неживое.

Невдалеке от вышеупомянутого общинного барака тем утром расположился необычный отряд. На людях была белая форма и белые тропические шлемы. Это был так называемый Скадарский отряд немецкой армии. Перед войной он в составе международных войск был направ-

лен в Скадар с целью поддержания порядка и спокойствия. По объявлении войны отряд получил приказ покинуть Скадар и отправиться в распоряжение командования ближайших соединений на границе Сербии. Он прибыл сюда ночью и отдыхал теперь в ложбине между площадью и торговыми рядами. И здесь, в заветрии, дожидался приказа к выступлению. Отряд насчитывал около ста двадцати человек. Капитан, рыжий и дородный человек, изнемогающий от жары, как раз сейчас отчитывал жандармского сержанта Данилу Репача и осыпал его бранью, как это только офицерские чины немецкой армии и могут делать,— громкоголосо, бесцеремонно и педантично. Они, умирая от жажды, лишены самого необходимого,— возмущался капитан,— а лавки, набитые, должно быть, всякой всячиной, стоят вокруг закрытыми, несмотря на приказ производить бесперебойную торговлю.

— Вы для чего тут поставлены? Жандармы вы или куклы? Мне что же, подыхать здесь со своими людьми? Или, может быть, взламывать двери, как налетчику? Немедленно разыскать владельцев и обеспечить нас необходимыми продуктами и надлежащим питьем! Немедленно! Понятно вам: немедленно!

С каждым выкриком кровь все сильнее прилиwała к его лицу. В белой униформе с наголо бритой, красной как мак головой капитан пылал, словно факел, от неукротимой ярости и гнева.

Сержант Репач, съезжившись, хлопал глазами и бубнил:

— Так точно, господин капитан. Будет исполнено. Так точно. Будет исполнено.

И с места в карьер, из каталептической оцепенелости впадая в судорожную поспешность, он повернулся и ринулся к торговым рядам. Казалось, близкое соприкосновение с кипящим гневом капитаном воспламенило и самого сержанта и он пустился бежать, изрыгая проклятия, брань и угрозы.

Первым живым существом, попавшимся на пути этой безумной гонки, был Али-ходжа. Он как раз спустился вниз проведать лавку. Завидев своего доброго знакомого «господина вахмистра» Репача, летевшего ему навстречу с неузнаваемо искаженным лицом, ходжа сначала даже усомнился, что этот потерявший голову безумец

действительно и есть тот самый «господин вахмистр», ежедневно из года в год с учтивым и гордым достоинством проходивший мимо его лавки. Угрюмый и костлявый Репац уставился на ходьбу совершенно не своим взглядом, ничего не видящим и ничего не различающим, кроме собственного своего панического страха. И, как бы зараженный примером негодующего немецкого капитана, разразился криками и бранью:

— Повесить всех вас к черту, гром вас разрази! Не вам, что ли, было приказано держать лавки открытыми! А я тут должен из-за вас...

И прежде чем остолбеневший ходжа смог выговорить слово, закатил ему такую пощечину, что чалма у несчастного переехала с правого уха на левое.

Сержант все в том же невменяемом состоянии понесся дальше открывать другие лавки. А ходжа, водворив на прежнее место чалму, откинул прилавок и сел, не в состоянии прийти в себя от изумления. Возле лавки столпились странного вида вояки в белых сроду им не виданных мундирах. Все это было похоже на сон. Но после того как с неба на людей ни с того ни с сего стали сыпаться затрешины, ходжа ничему уже не удивлялся.

Так, в страданиях и насилии всякого рода, под периодический обстрел моста и пальбу с окрестных гор, прошел в ожидании еще более жестоких испытаний целый месяц. Большая часть населения в первые же дни войны покинула город, оказавшийся между двух огней. А в конце сентября город был эвакуирован полностью. Последние должностные лица выехали ночью через мост, так как железнодорожная линия была перерезана. За ними следом с правого берега Дрины постепенно отступили и войска. В городе некоторое время, помимо незначительной охраны, оставался малочисленный отряд саперов и рассредоточенные жандармские пикеты. Пока наконец очередь не дошла и до них.

Мост, как обреченный, но пока еще нетронутый и целый, стоял между двумя враждебными мирами.

XXIV

За ночь по-осеннему нахмурилось; облака цеплялись за горы и обложили все небо. Воспользовавшись непроглядной темнотой, австрийцы отводили последние части. Еще до света они не только переправились на ле-

вый берег Дрины, но отступили за Лештанскую гряду и оказались таким образом вне неприятельского поля зрения и за пределами досягаемости сербских орудий.

На рассвете зарядил по-осеннему мелкий дождь. Под этим дождем последние патрули обходили дома и лавки близ моста, проверяя, не остался ли в них кто-нибудь. Вокруг все словно вымерло: офицерское собрание, гостиница Лотики, разрушенная казарма и три-четыре лавки в начале торговых рядов. Лишь перед лавкой Али-ходжи патруль наткнулся на самого ее хозяина, — он только что пришел сюда из дома и опускал ставень-прилавок. Увидев этого неисправимого, по их мнению, чудака, жандармы самым строгим образом велели ему немедленно закрыть лавку и очистить базар, так как находиться сейчас у моста опасно для жизни. Ходжа посмотрел на них как на пьяных, которые сами не знают, что несут, и хотел было ответить, что жизнь здесь от века в опасности и все мы и так уже мертвы и только хороним друг друга по очереди, но, наученный горьким опытом последних дней, передумал и непринужденно и покладисто сказал, что вот только возьмет из лавки кое-что и сейчас же пойдет домой. Явно торопясь, жандармы повторили еще раз, чтоб он поскорее убирался отсюда, и через площадь направились к мосту. Али-ходжа смотрел, как они удалялись, ступая неслышными шагами по толстому ковру прибитой дождем пыли. И дальше провожал их взглядом, пока они шли по мосту, скрытые наполовину каменным барьером, так что были видны лишь плечи, головы и длинные штыки винтовок. Вершины Бутковых скал озарили первые лучи восходящего солнца.

«Таковы все их приказы, непререкаемые и повелительные, а по существу, совершенно бессмысленные», — как школьник, перехитривший учителя, торжествовал про себя Али-ходжа. Он приподнял ставень, протиснулся внутрь и притворил его за собой так, что лавка снаружи казалась закрытой. В темноте пробрался в заднюю каморку, столь часто укрывавшую его от людской назойливости, утомительного суесловия, от семьи и гложащих забот. Сел, подогнув под себя ноги, на жесткий короткий топчан и перевел с облегчением дух. Вскоре все тревоги и волнения пережитого дня улеглись и в душе установилось равновесие исправных и точных весов. Ходжа быстро нагрел своим дыханием узкую клетушку

«гроба», и его охватило сладостное ощущение одиночества, забытья и покоя, превращающего пыльный сумрак тесной комнатухи в райский сад с зелеными кущами и миротворным лепетом незримых струй.

Свежесть дождливого рассвета проникала с улицы в полумрак тесной каморки. За ее стенами — о чудо! — установилась небывалая тишина, — не было слышно ни выстрелов, ни человеческих голосов, ни даже шагов. Чувство благодарности и счастья переполняло Али-ходжу. «Нескольких досок, — думал он про себя, — довольно, чтобы с божьей помощью, словно на чудесной ладье, спасти правовежного от беды и гибели, безысходных забот и адской стрельбы, которую армии неверных душегубов, один другого ненавистней, ведут над его головой. С того дня, как началась война, не было еще такой отрадной, такой блаженной тишины, — упивался ходжа про себя, — пусть мимолетно, но она все же напоминала о подлинной человеческой жизни, давно уже идущей на убыль и совершенно вытесненной из этого мира громаханием орудий неверных. В тишине приходят молитвы; и сама она подобна молитве...»

В этот миг ходжа почувствовал, как топчан вместе с ним взлетел под потолок, подбросив его, как игрушку; «блаженная» тишина раскололась и загрохотала мощными раскатами и треском, потрясшим воздух оглушающим вселенским гулом, уже неразличимым ухом; полки на противоположной стене закрипели, и все, что было в них, обрушилось на ходжу, брошенного им навстречу. «Ох!» — вырвалось у ходжи, а скорее пронеслось в его сознании, так как сам он не имел больше ни голоса, ни слуха и как бы даже места на земле. Сотрясенный страшным грохотом и ревом, мир вместе с ходжой несся в неостановимой круговерти. Вместе с клином земли меж двух рек, вместилищем города, с диким ревом выхваченным из земли и пущенным кружить в пространстве; вместе с рукавами рек, поднятыми из ложа и брошенными к небу потоками могучих водопадов, и сейчас всей тяжестью своей водной массы низвергавшихся в пустоту. Быть может, это и есть киямет-день, день Страшного суда, предсказанный книгами и многими учеными людьми, в чьем пламени, как искра, сгорит в мгновение ока этот лживый мир? Но для чего понадобилось богу, один взор которого зажигает и гасит светила, это громоизверже-

ние? Нет, нет, это не от бога. Но кто же дал такую силу человеческой руке? И найти ли на это ответ в ослеплении предательски настигшего тебя удара, стремящегося все вокруг повергнуть, раздавить, заглушить,— даже самую мысль. И сейчас не знает он, что его несет и куда он летит, где остановится, и только понимает, что он, Али-ходжа, был прав всегда и во всем. «Ох!»— снова испустил он стон. На этот раз от боли, ибо та же сила, поднявшая его вверх, грубо и резко швырнула его вниз и бросила, но не на прежнее место, а в закуток между дощатой стеной и опрокинутым топчаном. Он почувствовал тупую боль в голове, в спине и под коленями. В неумолкавшем грохоте он различил еще отдельный удар, пришедшийся по кровле лавки, и бряканье и стук за тонкой переборкой металлических и деревянных предметов, словно вдруг оживших и в дикой пляске сталкивавшихся друг с другом. Вслед за ним на крышу и на мостовую обрушился град мелкого камня. Но Али-ходжа уже не слышал его,— он потерял сознание и, недвижимый, затих в своем «гробу».

Было уже совсем светло.

Сколько он так пролежал, ходжа даже приблизительно не знал. Из состояния глубокого обморока его вывели свет и чьи-то голоса. С трудом он приходил в себя. Помнится, он сидел тут в полной темноте, теперь сквозь узкий дверной проем в каморку из лавки просачивался свет. И был непереносимый треск и гром, оглушающий, выворачивающий нутро у человека. Теперь стояла тишина, нисколько, правда, не похожая на ту, которой наслаждался он до повергшего его на землю взрыва, а как будто бы ее злая сестра. Слабый голос словно из неведомой дали звал его по имени и лучше всего свидетельствовал о глубине и непроницаемости этой тишины.

Осознав, что он жив и все еще в своем «гробу», ходжа выбрался из-под груды вещей, слетевших с полок на него, и с невольными страдальческими стонами поднялся на ноги. Теперь он ясно слышал голоса, звавшие его с улицы. Согнувшись, он через низкий ход прошел в лавку. В ней все было расколото и перебито и залито ярким светом. Неплотно притворенный ставень сорвало взрывом, и лавка была раскрыта настежь.

В хаосе и свалке сброшенных товаров вперемешку с осколками и черепками посреди лавки лежала каменная

глыба, величиной с человеческую голову. Ходжа глянул вверх. Оттуда в лавку тоже лился свет. Значит, камень пробил крышу и тонкий потолочный настил. Ходжа снова посмотрел на камень, бело-пористый, зеркально отшлифованный с боков, с грубыми и резкими краями раскола. «Ох, да это мост!»— внезапно поразило ходжу, однако голос с улицы, все более настойчиво и громко его звавший, не дал ему довести эту мысль до конца.

Пошатываясь как бы в полусне, весь избитый, ходжа вышел и оказался перед группой в пять-шесть человек, молодых, небритых, пропыленных, в серой униформе, в пидотках и опанках. Все они были вооружены и перепоясаны патронташами, набитыми блестящими пулями. Среди них был слесарь Владо Марич, сменивший свою кепку мастерового на барашковую папаху, с патронташем через грудь. Один из группы, очевидно командир, молодой, с черной ниточкой усов, резкими чертами правильного лица и воспаленными глазами, решительно шагнул к ходже. Винтовка у него была закинута за спину поохотничьи, в правой руке он держал тонкий ореховый хлыст. Злобно выругавшись, он яростно напустился на ходжу.

— Где ты там, эй? Кто ж это держит лавку отворенной? А после что-нибудь пропадет, и будешь говорить, что это мои солдаты тебя ограбили. Или прикажешь мне твой товар стеречь?

Застывшее лицо командира было при этом почти безучастно, но голос звучал резко и сердито, и хлыст в руке взвивался угрожающе. К нему подошел Владо Марич и что-то тихо ему прошептал.

— Ладно, ладно, пусть будет честный и хороший, но, если в другой раз оставит свою лавку без надзора, это ему так легко не сойдет.

С тем вооруженные люди ушли.

«Это уже другие,— подумал про себя ходжа, провожая их взглядом.— И надо же им было сразу наткнуться на меня? Нет, не было еще такой перемены в городе, чтоб по мне не ударила!»

Так он стоял, оторопелый, у своей пробитой лавки с тяжелой головой и ноющей болью от ушибов. Перед ним в блеске утреннего солнца простиралась базарная площадь, словно поле битвы усеянная мелкими и крупными осколками камней, щебнем и обломками деревьев.

Взгляд его перешел на мост. Ворота были на месте, но сразу после них мост обрывался. Седьмой опорный столб отсутствовал; между шестым и восьмым столбами зияла пустота, наискось виднелась зеленая вода. Начиная с восьмого быка мост продолжался и уходил к другому берегу, такой же гладкий, правильный и белый, каким был вчера и извечно.

Не веря себе, ходжа мигнул один раз, другой, потом зажмурился, и вспомнились ему солдаты, лет пять или шесть тому назад под прикрытием зеленой палатки долбившие отверстие в теле того самого быка, и выплыло видение чугунной покрышки, долгими годами таившей под собой зев заминированного отверстия, а рядом с ней загадочно-красноречивое лицо фельдфебеля Бранковича, замкнувшегося в глухонемой непроницаемости. Отогнав видение, ходжа вздрогнул и открыл глаза, но взгляду его явилась та же картина: базарная площадь, усеянная мелкими и крупными обломками камней, мост с одним недостающим опорным быком и зияющая пустота между грубо оборванными сводами.

Во сне только можно увидеть нечто подобное. Только во сне. Но стоило ему отвернуться от страшного призрака, как перед ним вставала собственная лавка с каменной глыбой, частью седьмого быка, посреди нагромождения разбросанных товаров. Если это сон, то он, должно быть, объял целый мир.

Из торговых рядов до него долетели переключка голосов, крики сербской команды и топот быстро приближавшихся шагов. Али-ходжа поскорее поднял ставень, закрыл его на засов, навесил замок и заторопился наверх, домой.

И раньше случалось ему чувствовать одышку при подъеме в гору и перебой куда-то сместившегося сердца. Давно уже, с тех пор как он перевалил за пятьдесят, родное взгорье становилось для него все круче и отвесней и удлинялся путь к дому. Но таким тяжелым, как сегодня, когда он торопился поскорее уйти от торговых рядов и добраться до дому, подъем еще никогда не был. Сердце билось как-то совершенно несуразно, стесняя дыхание и заставляя ходжу то и дело отдышаться.

Внизу, казалось, раздавалось пение. И там же, за его спиной, был разрушенный, варварски разъятый надвое мост. Ему не нужно оглядываться назад (этого он не

сделал бы ни за какие блага в мире!), чтобы увидеть весь ужас того, что осталось внизу: гладко скошенный у самого основания исполинский ствол опорного быка, тысячью осколков разнесенный по округе, с грубо расторгнутыми сводами справа и слева. Между ними зияла пустота в пятнадцать метров. Искалеченные остатки сводов страдальчески тянулись друг к другу.

Нет, ни за что на свете не согласится оглянуться ходжа! Но и вперед, в гору, он не в силах идти, сердце подкатывает к горлу, ноги не слушаются. Он остановился, стараясь дышать размеренно, свободно и глубоко. Раньше это всегда помогало. Помогло и сейчас. В груди как будто полегчало. Между глубоким и ровным дыханием и работой сердца установилось некое согласие. Он двинулся дальше, подгоняемый вдохновляющей мыслью о доме и постели.

Медленно и трудно продвигался вперед Али-ходжа, а призрак разорванного надвое моста неотступно шел за ним. Невидимый въяве, он продолжал преследовать ходжу и мучить. И даже если он совсем сомкнет глаза, он все равно только его и будет видеть.

Вот теперь,— переведа дух и обретя способность рассуждать, стал думать Али-ходжа,— вот теперь окончательно выяснилось, к чему вели на самом деле все эти их усовершенствования и нововведения, вся эта их суета и рвение. (Он всегда оказывался прав, во всем и вопреки всем. Но сегодня даже эта мысль не доставляла ему истинного удовлетворения. Впервые в жизни ему не до того. Хотя он более чем прав!) Столько лет подряд он наблюдал, как они не давали мосту покоя,— чистили, скребли его, чинили, перекладывали, проводили по нему водопровод, освещали электричеством, а потом в один прекрасный день все это подняли взрывчаткой в воздух, как будто это простая скала в горах, а не священный дар, пожертвование и красота. Вот теперь и вышли наружу истинные их намерения и цели. Он-то это знал всегда, а теперь — теперь это ясно последнему глупцу. На нерушимое и вечное осмелились руку поднять, у бога отнимают! И чем же все это кончится! Уж если мост визиря разорвался, как монисто, тому конца не будет; теперь уж ничего не сделаешь.

Он снова остановился передохнуть. Дыхание прерывалось, подъем был все круче. Он снова глубоко и разме-

ренно дышал, пытаясь успокоить колотившееся сердце. И, укротив его, с новыми силами быстрее зашагал вперед.

Но, однако,— размышлял он дальше,— если рушат здесь, то ведь где-то, надо полагать, должны и возводить. Ведь есть же, надо думать, где-нибудь на свете края и люди с головой, которые помнят бога. И если отвернулся господь от горемычного города на Дрине, то, наверное, все же не от всей земной юдоли, что простерлась под небом? Но и этим не вечно здесь оставаться. Впрочем, как знать? (Ах, хоть бы немного больше воздуха вдохнуть!) Как знать? Может быть, эта поганая вера, которая все переделывает, чистит, перестраивает и обновляет, чтоб потом все разом поглотить и разрушить, может быть, она захватит всю землю и превратит весь божий свет в пустыню для своего бессмысленного строительства и варварского разрушения, выпас для утоления своего ненасытного голода и непонятных притязаний? Все может быть. Одного только не может быть: не может быть, чтобы на свете перевелись и вымерли великие и мудрые, наделенные душевной щедростью мужи, возводящие во имя божье вечные постройки для украшения земли и облегчения жизни человеческой. Если бы не стало их, исчезла бы, угасла и божья милость в мире. А этого не может быть.

Погруженный в думы, ходжа шел все медленней и тяжелей.

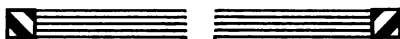
Из торговых рядов теперь вполне отчетливо доносилось пение. Ах, только бы вдохнуть побольше воздуха, только бы преодолеть эту крутизну, только бы дотянуть до дому, повалиться на свою постель и увидеть, услышать кого-нибудь из близких! Это было все, о чем он мечтал. Но и этого ему не было дано. Он был уже не в силах справиться с дыханием и сердцем; сердце замирало, дыхание прерывалось, как бывает иногда во сне. Однако спасительного пробуждения не было. Он широко открыл рот, чувствуя, как глаза вылезают из орбит. Вздыбившееся взгорье бросилось ему в лицо. Своей кремнистой утопанной твердью оно загородило от него весь мир, погрузив во тьму.

На дороге, круто поднимавшейся к Мейдану, в смертельной агонии расставался с жизнью Али-ходжа.





**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**



ВЕЛЕТОВЦЫ



то случилось в последние дни восстания Карагеоргия, когда ужицкие турки решили полностью очистить от повстанцев горы и освободить дороги. При известии, что Сербия покорена, гайдуки отступили сами и старались без крайней необходимости не попадаться на глаза даже пастухам, а уж тем более туркам. Однако турки, вознамерившись навсегда потушить очаги восстания, повсюду разыскивали повстанцев и загоняли их все выше в горы.

Это и привело Стояна-велетовца в Боснию, в родные места, неподалеку от села Велетова, что стоит на самой границе. Пять лет бродил он в четах по Сербии, перевез туда и жену и ребенка. И вот теперь семья была далеко, а он с товарищем, пареньком из Ариля, оказался окруженным и отрезанным в разрушенном доме бегов Црничей, в местности Обарак, близ Велетова. У них было немного пороху и свинца, еда дней на десять, а в подвале стояла по колено вода.

Некогда знаменитый дом бегов Црничей — узкое и высокое каменное строение в три этажа — стоял у отвесной стремнины, с боков его окружали сливовые сады, а позади находился двор. Только фасад башни оставался открытым и гордо смотрел на луга, зеленевшие по крутым склонам вышеградской долины. Несколько лет назад повстанцы обстреливали эту башню из пушки с Тетребицы и подожгли крышу. Црничи тогда покинули свой дом и с тех пор не возвращались. Дождь, снег и ветры продолжали разрушать его — камень за камнем; из щелей в закопченных стенах пробивалась трава и вырастали маленькие деревца.

В этом доме и засели теперь Стоян и юноша из Ариля. Двери завалили бревнами и камнями. Окна в замке

были пробиты высоко над землей и только с двух сторон. Из этих окон осажденные сражали каждого, кто бы ни появился на лужайке перед домом. Десяток турок-ужичан, окруживших его, вначале считали дело пустячным. Но прошли день и ночь, а гайдуки не сдавались. Правда, им не удавалось ускользнуть, но и турки никак не могли прорваться в замок. Гайдуки так ловко перебежали от окна к окну и так метко стреляли, что порой туркам казалось, будто в замке не двое, а куда больше осажденных. Они ранили уже четвертого человека. Прячась за сливовые деревья, за выступы скал или укрываясь за сплетенными из ветвей заслонами, турки подходили к башне и уговаривали Стояна сдаться. Они то обещали отпустить его в Велетово целым и невредимым, а то вдруг начинали рассказывать, будто уже схватили его жену и детей, и грозились прирезать их, если он тотчас же не сдастся. Стоян или молчал, или отвечал на все это бранью. А паренек из Ариля целый день пел, свистел во всю мочь, заложив в рот пальцы, и тоже ругал турок. В общем, шумел за троих.

Кое-кто из турок подходил поближе, только чтоб выкрикнуть ругательства. Но из башни отвечали еще крепче. Некоторых турок Стоян узнавал по голосу:

— Это ты, что ли, Устамунч, падаля поганая?

А Устамунч ему в ответ:

— Долго задумал поститься, Стоян? Надоест!

— Заботься о своем брюхе, а о нас не горюй: хватит нам и еды и пороха — хоть с самим султаном воевать.

— Знаю, знаю. Недаром у тебя щеки провалились, небось третий день один кусок воска жуешь.

Словно подтверждая слова Стояна, грянул из башни выстрел, и пуля чмокнула где-то рядом с притаившимся за плетнем Устамунчем, который ответил на это громким смехом.

— Да благословит аллах твое ружье, Стоян! Слышал я, что ты хороший стрелок, да не знал, что такой меткий. Вот жаль, нет в живых Карагеоргия — сделал бы он тебя воеводой! Да где там, подох он на крюке в Белграде!

— Не печалься о Карагеоргии, высунь-ка лучше нос из-за своего плетня, если не трусишь. Отправлю тебя без носа к твоей зазнобе в Ужице.

Так переругивались они целыми часами. Особенно старался не остаться в долгу паренек из Ариля. И за эту свою страсть поругаться с турками он заплатил головой.

На третий день прибыл из Ужице жандармский начальник с двумя стражниками. Приехал с ними и прославленный стрелок, некий Даиджич — турок из Рогатицы, молодой и хмурый верзила. Его спрятали за одним из заслонов, а немного подалее устроились двое ужичан и давай задираť юношу из Ариля, на все лады понося его родных, перечисляя всех по именам. Юноша в ответ бешено ругал турок, припав к маленькому окошку, забранному железной решеткой. А Даиджич из своего укрытия тем временем караулил его, пока не взял на мушку. Пуля пролетела между прутьями решетки, куда бы, кажется, и пчела не пролезла, и разворотила юноше правую половину черепа, так что мозг вывалился наружу. Стоян, защищавший башню с другой стороны, бросился к нему. Он только перекрестился над умирающим и тут же принялся свистеть и осыпать бранью турок, чтобы они не поняли, что товарищ его погиб. Но те догадались и уже ликовали:

— Сдавайся, Стоян! Погибнешь без толку!

— Сдавайся, готов твой дружок!

— Куда же он делся? Что не воркует больше?

В рощице турки целуются с Даиджичем, похлопывают его по плечу. А тот горделиво расхаживает среди них, полный достоинства, словно памятник себе воздвиг. И ружье его еще дымится.

Обрадовавшись успеху, турки решили вечером ударить на замок с двух сторон и захватить Стояна живым или мертвым. Но в тот же самый день к ним пришел Зулфо, почтенный турок из нижнего Велетова. Он посоветовал жандармам не губить людей напрасно и не атаковать замок, потому что Стоян есть Стоян и дешево свою голову не отдаст. Но, сказал он, в Велетове у Стояна есть близкий родственник, дядюшка Милое, одинокий старик, который слывет среди крестьян самым мирным и самым разумным человеком. Стоян всегда его почитал и слушался больше, чем отца родного. Нужно привести этого Милое и заставить его уговорить Стояна сдаться. Можно уверить старика, что Стояну не сделают ничего плохого, а потом сдержать свое слово так же, как это

делал сам Стоян в прошлые годы, расправляясь с ужицкими турками.

— Я вам говорю: как ему дядюшка Милое скажет, так он и сделает.

Жандармского начальника уже начала раздражать эта маленькая война против одного-единственного гайдука, были у него и личные причины не затягивать дело на границе, а как можно скорее вернуться в Ужице, и он согласился с доводами Зулфо, и, желая как-то затушевать то, что он просто-напросто вступает в переговоры с преступником, жандарм громко прикрикнул на тех, кто отправлялся за стариком:

— Тотчас же приведите мне эту тварь!

До Велетова было рукой подать, и стражники вскоре оказались возле дома дядюшки Милое. Сначала старик всячески отпирался и отнекивался. Говорил, что он уже на ладан дышит, что Стоян и раньше, когда был подданным султана, не слушал ничьих советов, а где уж теперь его уговорить, когда он стал повстанцем и обагрил руки турецкой кровью.

— Я этих дел не знаю,— говорил старик, прикидываясь совсем дряхлым и слабым,— меня уже отпевать пора, а не на гайдуков водить. Прошу вас, не впутывайте вы меня, дайте умереть спокойно там, где я родился.

Но ничего не помогало. С жалобными стонами, словно он был очень болен, Милое собрался и поплелся за ними. Шел он тяжело и никак не мог попасть в ногу со стражниками. По дороге несколько раз останавливался, просил отпустить. Но когда его начали бить, втянул голову в плечи и перестал жаловаться и сопротивляться. Он только прерывисто и сипло дышал, будто нарочно присвистывая, и, еле поспевая, семенил за стражниками как-то по-детски, вприпрыжку.

Не прошло и получаса, как они пришли в Обарак. Вокруг замка все было тихо. Укрывшись в сливовом саду, некоторые турки спали, другие лежали, ели, курили. Дядюшку Милое заперли в сарай. Тут он и сидел в ожидании начальника, притворяясь, что дремлет, и чутко прислушивался к каждому шороху. Вскоре подошли двое ужицан и уселись на траву, прислонясь к ветхой стенке сарая. Не подозревая, что там заперт дядюшка Милое, они громко обсуждали, какая кара ожидает Стояна, если обман удастся и его убедят сдать. Они вспоминали

жестокости самого Стояна по отношению к ужицким туркам и заранее предвкушали мучения, которыми теперь отомстят гайдуку.

А дядюшка Милое лежал неподвижно, зажмурив глаза и поджав колени к самой груди, как спят уставшие старые крестьяне. Теперь ему стало ясно, зачем его привели и чего от него хотят. Он старался не пропустить ни единого слова, и перед ним вставали отчетливые картины тех унижений и пыток, каким подвергнут Стояна турки, если захватят его живым. Порой ему самому казалось, что он спит и видит страшный и вещий сон, который завтра должен исполниться. Так он лежал и прислушивался, страдая от душевного возбуждения и своей полной беспомощности.

Мысли стремительно проносились в голове дядюшки Милое. Быстро рождались и тут же умирали всевозможные планы. Все у старика пропало, умерло, сгорело в несколько последних лет. И этого Стояна, которого прежде он любил больше всех своих племянников, старик, по сути дела, давно уже похоронил и оплакал. Но теперь самому обмануть его, ложными обещаниями убедить сдать туркам, которые будут издеваться над ним и мучить его,— такой поистине чудовищный замысел слишком тяжелое испытание для его слабой и старой головы. О такой беде он не мог и думать, сделать так он считал последней низостью. А его принуждают к этому. От тяжких мыслей, от мучительного сознания своего бессилия у него на лбу крупными каплями выступил пот и смочил седые волосы, выбившиеся из-под шапки. Но тут в сарай вошел жандарм с Зулфо и одним из стражников.

Дядюшка Милое дал им вдоволь накричаться, притворяясь спящим, а потом вдруг вскочил, растерянный и испуганный, словно вдруг пробудился от глубокого сна. Опустив голову, он стоял перед жандармами и слушал Зулфо, который подробно объяснял, что от него требуется. Он должен выйти из сада, залезть на серый камень, чтобы его хорошо было видно из замка, и оттуда обратиться к Стояну, советуя ему поскорее сдать, а иначе турки убьют не только его, дядюшку Милое, но и жену и детей самого Стояна и сожгут все Велетово. Он должен был заклинять племянника тем, что для него всего дороже, и уговаривать его поверить туркам... Все это

следовало кричать Стояну, пока тот не ответит и не согласится.

— Так нужно, Милое! Тогда окончится бунт, все несчастные, и стар и мал, что остались в Велетове, не погибнут, а твой Стоян живым-здоровым домой вернется.

Последние слова Зулфо сказал как-то глухо и неуверенно. Старик слушал не шевелясь, явно погруженный в свои мысли. Зулфо замолчал, и тогда Милое снова начал умолять их, но уже вяло и без особой надежды в голосе:

— Господи, не гожусь я для такого дела. Не сумею, да и не послушает он меня, такого...

И правда, он был таким жалким: весь съезжился, ноги подкашиваются, на лице, заросшем седой бородой, еле заметен рот, еле видны глаза под седыми лохматыми бровями, да еще улыбается робкой молящей улыбкой.

Нетерпеливым движением жандарм оборвал причитания старика и приказал вести его.

— Эх, э-эх!— не переставал вздыхать старик.

Стражники схватили Милое и потащили через сад. Дойдя до последнего заслона, они вытолкнули его вперед и велели идти прямо к башне, взобраться на камень и кричать то, что ему было велено.

Теперь он шел по открытому пространству, разделявшему турок и осужденного гайдука. В траве валялись брошенные турками лестницы, по которым прошлой ночью они тщетно пытались подняться к окну замка. Милое обошел их и продолжал спокойно идти дальше осторожными, маленькими шажками. В доме было тихо. Дойдя до большого камня, лежавшего среди пустыря, шагах в тридцати от дома, старик опасливо огляделся и, бросив быстрый и испуганный, как у зайца, взгляд в ту сторону, где прятались турки, повернулся к замку и начал разглядывать высоко прорезанные окна. Он все больше горбился. Опершись ладонями о колени, почти присел на корточки. Вокруг стояла глухая тишина знойного дня. Наконец он негромко, отрывисто позвал:

— Стоян!

Откашлявшись, крикнул громче:

— Эй-эй, Стоян!

Трижды звал он его плаксивым старческим голосом. Потом помолчал немного, словно уверяя себя в том, что гайдук узнал его по голосу и, укрывшись, смотрит на не-

го и слушает. Тогда старик вдруг снял руки с колен и вытянул шею. Волосы на его голове встали дыбом, словно живые; заколыхались складки одежды. Он сложил руки рупором, приложил ко рту и крикнул уже совсем другим голосом:

— Не сдавайся живым, Стоян, не сдавайся ни за что!

Среди турок, которые из-за деревьев и заслонов внимательно следили за стариком, выжидая, что он скажет и как ответит гайдук, наступило минутное замешательство. Каждый как бы спрашивал самого себя, так ли он расслышал, и, не веря собственным ушам, пытался прочесть ответ на лице соседа. А на всех лицах было одинаковое недоумение. Старик же повторял свой наказ:

— Слушай меня, Стоян, не попадайся живым в руки туркам. Верь моему слову. Я знаю, что они тебе готовят.

Среди турок все еще растерянность и тишина. В чувство их привел лишь охрипший от бешенства голос жандарма:

— Пали! Стреляй!

Теперь все вдруг подхватили этот резкий, злобный приказ и один за другим закричали:

— Стреляй! Стреляй!

Все кричали, но еще никто не выстрелил, так как не был к этому готов. А внизу, на пустыре, старик в это время все твердил и твердил гайдуку, чтоб тот не сдавался живым. Но теперь среди вражеских криков его голос был еле слышен:

— Не сдавай...

Раздался первый выстрел, он заглушил слова, но пуля пролетела мимо. Сразил старика второй выстрел. Дядюшка Милое как-то странно согнулся, мягко, словно лист, упал на землю и скрылся в траве за тем серым камнем, на котором только что стоял.

Турки сделали еще несколько выстрелов в его сторону. Из замка дважды без перерыва ответил Стоян (вероятно, выстрелил сначала из своего ружья и затем сразу же из ружья арильца). Он мстил за дядюшку Милое. И все смолкло.

В хибарке жандарм не может прийти в себя от ярости. Стиснув зубы, он молчит и ни на кого не смотрит, но видно, что внутри у него все кипит. Растерявшийся, смущенный Зулфо готов провалиться сквозь землю, но

так как это невозможно, он пристаёт ко всем и пытается объяснить, что его намерение было и хорошим и дельным. Никто его не слушает, каждый хочет казаться умнее неудачника и угодить начальству. И Зулфо с горя разговаривает сам с собой, впадая в ярость при мысли о том, что сделал с ним дядюшка Милое:

— Э-э, люди! Я говорил, чтобы не тянуть зря... думал, так-то будет лучше... Да разве что сделаешь с этой собачьей породой. Э-э!

— Ну, что было, то было! Чужим умом не живи — обожжешься, — говорит жандарм, обрывая причитания Зулфо, встает решительно, как человек, умеющий пересилить свой гнев, и отдает распоряжение приготовить лестницы и два воза сена, чтобы с наступлением темноты снова ударить по замку и покончить наконец с этим гайдуком.

А тем временем в воздухе все больше парит, и откуда-то издалека уже доносятся глухие раскаты грома. Темные легкие облачка со стороны Гостиля растут, окутывают окрестные горы, становясь все чернее и тяжелее. Солнце скрывается раньше времени, задолго до захода. И вот вдруг стало совсем темно, и сквозь палящий зной и духоту прорвался, словно из преисподней, резкий холодный ветер. А потом, как это часто бывает в тех краях, хлынул проливной дождь с громом и молнией. Ветер стих, молнии угасли, но дождь не прекратился, а стал еще сильнее, не стихал ни на минуту и заволок все окрестности мраком и сырым туманом. Ливень погасил костры, а потоки воды подхватили и унесли лестницы. Турки забились в сарай. Никто не сменил часовых у ворот замка и не интересовался ими. Казалось, всем было суждено погибнуть в этом потоке. Жандармский начальник, подавленный, сидел в лачужке, которая сотрясалась и скрипела. Крыша протекала, вода просачивалась под плетеные стенки. Вокруг прокопали канаву, а над жандармом натянули одеяло.

Турки попрятались и умолкли, словно забыли, зачем пришли в этот Обарак. Так продолжалось до глубокой ночи. Наконец дождь перестал, буря улеглась, потянулись долгие часы непроглядного ночного мрака без звезд и месяца, наполненного гулом невидимых потоков. Об атаке замка не могло быть и речи. Да начальник уже и не сомневался, что гайдук сбежал.

Утром взошло из тумана солнце и осветило безоблачное, ясное, словно умытое, небо. Над лужайками курились густые белые облачка пара и подымались вверх, как дым. Часовые от обоих ворот замка еще до рассвета приплелись в лачужку и спали как убитые. Начальник не стал их будить. Он был уверен, что Стоян воспользовался грозой и убежал, никем не замеченный. Чтобы убедиться в этом, он приказал двинуться на башню сразу с четырех сторон и, таким образом, вызвать огонь гайдука, если тот еще там. Скрываясь за мокрыми заслонами (буря размыла оба стога сена), стражники начали медленно приближаться к башне, в которой по-прежнему все было тихо. Ворвавшись в замок, они обнаружили там только труп юноши из Ариля. Стояна и след простыл.

Тело дядюшки Милое нашли в траве и грязи, прибитое водой к самому замку. У обоих трупов отрубили головы. И, после того как безуспешно обыскали весь дом сверху донизу, начальник приказал возвращаться.

В Ужице начальник откровенно признался мутеселиму в своей неудаче. Они долго совещались. Мутеселим приказал просолить обе головы, обработать их как следует, а затем, завернутые в папоротник, они были положены в мешок и отправлены в Белград. В письме, сопровождавшем головы, мутеселим извещал о том, что бунт на границе полностью усмирен, а в доказательство он посылает «голову старого гайдука Стояна-велетовца, закоренелого преступника, а также голову его товарища и помощника в злых и бесчестных делах».

Так старик Милое заменил Стояна, мутеселим провёл своих начальников и так произошло то, чего уж никто не мог ожидать: безобидный дядюшка Милое после семидесяти двух лет мирной крестьянской жизни погиб как гайдук. И на белградской крепостной стене рядом с темной и посиневшей головой юноши из Ариля оказалась и его голова, чистая; светлая, сверкающая серебряной белизной седин.



РАССКАЗ О СЛОНЕ ВИЗИРЯ



оснийские местечки и города полны преданий. В этих часто *фантастических* рассказах о невероятных событиях и выдуманных людях нередко содержится *подлинная*, непризнанная история края, история живых людей и давно ушедших поколений. Это та восточная ложь, о которой турецкая пословица говорит, что она «правдивее любой правды».

Предания эти живут удивительной, скрытой жизнью. Они напоминают боснийскую форель. Есть в речонках и ручьях Боснии особый вид форели — небольшая, с двумя-тремя красными пятнами на совершенно черной спине, необычайно прожорливая и необычайно хитрая и быстрая рыба. Она бросается, как слепая, на удочку в искусной руке, но недостижима и даже невидима для того, кто незнаком с местными водами и с этим видом рыбы. Такой человек может целый день пробродить с удочкой по каменистому берегу, ничего не поймав и даже ничего не увидев, кроме черной, быстрой, как молния, стрелки, время от времени мелькающей в воде между камнями и похожей на что угодно, только не на рыбу.

Так и с этими преданиями. Вы можете прожить месяцы в боснийском местечке, не услышав как следует ни одного, а может случиться, заночуете где-нибудь — и вам расскажут и три, и четыре такие невероятные истории, которые как раз больше всего говорят об этом крае и его людях.

Травничане, мудрейшие люди в Боснии, знают множество таких историй, только редко их рассказывают чужим людям — так богачи труднее всего расстаются с деньгами. Но зато каждая рассказанная ими история стоит трех других (разумеется, по местному курсу).

Такова история о слоне визиря.

Когда был смещен визирь Мехмед Ружди-паша, травничане призадумались, и не без причины. Беззаботный и легкомысленный весельчак, небрежный в делах, он был неплохим человеком, и поэтому ни Травник, ни Босния не ощущали его присутствия. Умные и проницательные люди давно уже были озабочены, ибо предвидели, что долго так продолжаться не может. А теперь и вовсе задумались и о хорошем визире, который уезжал, и о новом, неизвестном, что должен его сменить. И тут же пустились разузнавать о визире, который должен был приехать.

Многие иностранцы удивлялись, что травничане, услышав о назначении нового визиря, столько расспрашивают о нем, и смеялись над ними, приписывая это их самонадеянности, любопытству и привычке совать свой нос в государственные дела. Между тем они были неправы. (Насмешники вообще редко бывают правы.) Не любопытство и не гордость заставляли травничан столько расспрашивать о каждом новом визире, о мельчайших чертах его внешности, о его характере и привычках, но многолетний опыт и насущная необходимость.

В длинной веренице визирей были всякие — и мудрые, и человечные, и беспечные, и равнодушные, и смешные, и порочные, но были такие мерзкие и отвратительные, что даже предание умалчивает о самом страшном, подобно тому как народ из суеверного страха не любит называть своим именем болезни и другие напасти. Каждый такой визирь был напастью для всего края, но хуже всего приходилось Травнику, потому что в других местах он правил чужими руками, а здесь был он сам, со своим никому не известным нравом, со своей свитой и прислугой.

Травничане расспрашивали всех встречных и поперечных, подкупали, угощали, только бы узнать что-нибудь о человеке, который назначен к ним визирем. Случалось, что они платили людям якобы осведомленным, а потом выяснялось, что это были обманщики и лгуны. Но и тут они не считали, что деньги брошены на ветер: то, что можно солгать о каком-нибудь человеке, иной раз тоже немало о нем говорит. И травничане, опытные и дальновидные, умели и из этой лжи извлечь крупицу ис-

тины, о которой не подозревал и сам обманщик. Если же они никак не могли использовать эту ложь, она служила им отправной точкой, и, узнав истину, они легко отбрасывали ложь.

Старые травничане не зря говорят, что в Боснии есть три города, где живут мудрые люди. И сразу добавляют, что один из них, и притом мудрейший,— Травник. Правда, обычно они забывают назвать два других города.

Таким образом, и на этот раз им удалось собрать кое-какие сведения о новом визире задолго до его приезда.

Нового визиря звали Сеид Али Джелалутдин-паша.

Родом он был из Адрианополя, образованный человек, но, когда окончил все школы и должен был стать священником в бедняцком квартале, вдруг бросил все, уехал в Стамбул и поступил в военное ведомство. Тут он выдвинулся, искусно вылавливая воров и недобросовестных поставщиков и подвергая их строгим и немилосердным наказаниям. Рассказывали, что однажды он поймал еврея, поставлявшего смолу для военных верфей, на том, что тот продает слишком жидкую, негодную смолу. Разобравшись в этом деле и получив авторитетное заключение двух офицеров-интендантов, он приказал утопить еврея в его собственной смоле. В действительности дело было не так. Уличенный в обмане еврей держал ответ перед комиссией, которая должна была на месте определить пригодность смолы. Он бегал вокруг деревянного бассейна со смолой, доказывая необоснованность обвинения, а Джелалутдин-эфенди не спускал с него своего неподвижного взгляда. Не в силах ни скрыться от этого взгляда, ни отвести от него глаз, окончательно смешавшись и ничего перед собой не видя, несчастный поставщик поскользнулся, упал в бассейн и захлебнулся так быстро, что это явилось лучшим доказательством слишком жидкого состояния смолы.

Так было на самом деле. Но Джелалутдин-эфенди ничего не имел против распространения фантастической версии, так же как и других легенд о его строгости. Он хорошо рассчитал, что эти рассказы создадут ему славу «человека с твердой рукой» и обратят на него внимание великого визиря. И он не ошибся.

Люди рассудительные и трезвые, служившие с ним в армии, быстро поняли, что Джелалутдин-паше, в сущности, очень мало дела до какой-то там справедливости, до неприкосновенности государственной казны, а все, что он делает, он делает по непреодолимому побуждению и врожденной потребности судить, наказывать, мучить и убивать, а закон и государственные интересы служат для него лишь ширмой и удобным поводом. Знал это, вероятно, и великий визирь, но учреждениям и властям, которые доживают свой век и не находят в себе ни здоровых сил, ни средств для борьбы и защиты, нужны именно такие люди. Так началось возвышение Джелалутдина, а дальше все пошло само собой, согласно нуждам слабого, пережившего себя государства и разлагающегося общества и согласно тем инстинктам, с которыми Джелалутдин появился на свет. Вершиной этого возвышения было назначение его визирем в Битоль.

Там забрали силу несколько знатных родов. Они совершенно независимо управляли своими владениями, воевали друг с другом и никого над собой не признавали. Вероятно, Джелалутдин-паша покончил с этим, к удовольствию своего повелителя, и через год был назначен визирем в Боснию, где одряхлевшая и ущемленная в своих правах знать давно утратила и способность управлять, и умение повиноваться. Надо было обуздать и покорить это гордое, непокорное, но бесполезное и бессильное сословие. Это и было поручено Джелалутдин-паше.

«Идет на вас острая сабля в руке скорой и немилосердной»,— сообщал травницким бегам их друг и осведомитель из Стамбула. И дальше писал о том, как обошелся Джелалутдин-паша с бегами и знатными людьми в Битоле.

По прибытии в Битоль он тотчас призвал бегов к себе и приказал каждому срубить дубовый кол длиной в три аршина и написать на нем свое имя. Словно околдованные, беги послушно выполнили унижительное приказание. Один бег не повиновался, решив лучше уйти со своими людьми в лес, чем подвергнуться такому унижению, но приближенные визиря изрубили его в куски, прежде чем кто-либо из сородичей пришел ему на помощь. Затем паша приказал вбить эти колья в землю перед своим дворцом, еще раз собрал всех бегов и ска-

зал, что теперь каждый из них знает «свое место» в этой роше и в случае малейшего сопротивления он всех их посадит на эти колья, расположенные по алфавиту.

Травничане и верили и не верили: за последние тридцать лет до них доходило много таких жутких и странных историй, а видеть довелось и куда более страшные вещи, так что даже самые сильные слова утратили для них ясность и убедительность. Они хотели увидеть все своими глазами и сами во всем убедиться. Наконец пришел и этот день.

В том, как прибыл в город новый визирь, не было ничего, что подтверждало бы все эти рассказы. Другие грозные визири въезжали шумно и торжественно, стараясь уже одним своим появлением нагнать страху, а этот прибыл незаметно, ночью — просто однажды встретил февральский рассвет в Травнике. Все знали, что визирь здесь, но никто его не видел.

А когда визирь принял «первых людей» города и они увидели его и услышали, многие были поражены еще больше. Визирь был человек еще молодой, лет тридцати пяти — сорока, рыжий, белокожий, с маленькой головой на длинном и худом теле. Лицо у него было бритое, круглое, какое-то детское, с едва заметными рыжими усиками и округлыми, как у фарфоровой куклы, лоснящимися скулами. И на этом белом лице с бесцветной растительностью — темные, почти черные и чуть разные глаза. Во время беседы он то и дело прикрывал их длинными, совершенно светлыми, розоватыми ресницами, и на лице появлялось выражение холодной любезности. Но как только ресницы поднимались, по этим темным глазам становилось ясно, что первое впечатление обманчиво — на лице не было и тени улыбки. Бросался в глаза бледный маленький рот (рот куклы), при разговоре он еле открывался, и верхняя губа всегда оставалась неподвижной, но под ней почему-то угадывались гнилые, неровные зубы.

Когда после первого визита беги собрались, чтобы обменяться впечатлениями, большинство было склонно смягчить свое мнение об этом неудавшемся имаме, недооценивая его и считая, что слухи о нем преувеличены. Большинство, но не все. Несколько человек, более опытных и проницательных, «хорошо знавших время», молча смотрели перед собой, не решаясь даже про себя выра-

зить окончательное мнение о визире, но чувствуя, что это человек незаурядный, убийца особо гнусного рода.

Джелалутдин-паша прибыл в Травник в начале февраля, а во второй половине марта была устроена резня бегов и других именитых людей.

Согласно фирману султана, Джелалутдин вызвал в Травник всех виднейших бегов Боснии, всех старшин и градоначальников для важного разговора. Прибыть должно было ровно сорок человек знати. Тринадцать не явилось, — одни, поумнее, заподозрив неладное, другие — из традиционной фамильной гордости, которая в этом случае оказалась равносильна мудрости. А из тех двадцати семи, что прибыли, семнадцать сразу же были убиты во дворе конака, а десять на следующий день, скованные одной цепью, с железными кольцами на шее, были отправлены в Стамбул.

Свидетелей нет, и никто никогда не узнает, как удалось заманить столь опытных и видных людей в такую западню и тихо и незаметно перерезать их, как овец, посреди Травника. Эта расправа со знатью, совершенная расчетливо и хладнокровно во дворе конака, на глазах визиря, без всяких церемоний и без малейшего соблюдения формы, так, как не убивал еще ни один визирь, казалась людям дурным сном или колдовством. С этого дня о Джелалутдин-паше, которого в народе звали «Джелалия»¹, все травничане были одного мнения, что вообще случалось редко. До сих пор они говорили о каждом злом визире (а часто и о тех, которые были не так уж плохи), что он хуже всех, но об этом они ничего не говорили, потому что от худшего из известных им визирей к Джелалии вел длинный и страшный путь, и на этом пути люди от страха теряли дар речи, память и способность сравнивать и находить слова, которые могли бы определить, что такое и кто такой этот Джелалия.

Апрель травничане прожили ошеломленные, в напряженном, немом ожидании, что же будет дальше, если после этого еще что-нибудь может быть.

И тогда, в первые дни мая, визирь завел слона.

В Турции люди, добившиеся высокого положения, достигшие власти и богатства, часто проявляют обостренный интерес ко всякого рода необыкновенным жи-

¹ От «джелат» — палач (арабск.).

вотным. Это что-то вроде охотничьей страсти, но страсти извращенной, связанной с отвращением к движениям и усилиям. Случалось и ранее, что визирь привозили с собой какое-нибудь необычайное животное, какого местные жители никогда не видели: обезьяну, попугая, ангорскую кошку. Один завел даже молодую пантеру, но, очевидно, травницкий климат не подходил для тигриной породы. После первых порывов ярости и попыток проявить свою кровожадную природу зверь перестал расти. Правда, бездельники из свиты визиря поили его крепкой ракией и давали ему шарики опиума и гашиша. Вскоре у пантеры выпали зубы, шерсть утратила блеск и вытерлась, как у больной скотины. Недоразвитая и разжиревшая, она лежала во дворе, жмурясь на солнце, равнодушная и совсем неопасная: ее клевали петухи, а озорные щенки без стеснения, проходя мимо, поднимали заднюю ногу. На следующую зиму пантера бесславно издохла, как обычная травницкая кошка.

И прежде визирь, люди необыкновенные, тяжелые и строгие, заводили странных животных, но Джелалия, судя по его причудам и жестокости, должен был бы держать целые стада такого страшного зверья, о каком только в сказке можно услышать или увидеть на картинках. И поэтому травничане не очень удивились, узнав, что визирю везут слона — зверя, доселе не виданного.

Это был африканский слон, еще молодой и буйный: ему исполнилось всего два года. И еще прежде самого слона в Травнике появились легенды о нем. Откуда-то все было известно: и как он путешествует, и как его охраняет свита и ухаживает за ним, и как его перевозят, как кормят, как встречают его народ и власть имущие. И все называли его «фил», что по-турецки значит «слон».

Слона перевозили медленно и с трудом, хотя это был всего только слоненок, не больше хорошего боснийского вола. Этот своенравный слоновий ребенок то и дело задавал своей свите задачи. То он не хотел есть, укладывался на траву, закрывал глаза и начинал реветь так, что свита умирала со страху — не случилось ли с ним что-нибудь — и содрогалась при мысли о визире. А слоненок лукаво приоткрывал один глаз, оглядывался вокруг, поднимался на ноги и принимался бегать, помахивая

вая своим коротким хвостиком, так что слуги с трудом ловили его и успокаивали. То он не желал идти. Его тащили, уговаривали на всех языках, называли ласковыми именами и украдкой ругали, а кто-нибудь незаметно для других колол его в мякоть под хвостом, но все напрасно. Приходилось почти нести его или запрягать волов, взятых у крестьян, и везти в специальной низкой телеге, которая называлась «техтерван». Причудам слона не было конца (что поделаешь, господский!). Люди из боснийской прислуги только стискивали зубы, чтобы не вылетело случайно то, что они в этот момент думали обо всех слонах и визирях на свете. Они проклинали тот час, когда им выпало на долю сопровождать это не виданное еще в Боснии животное. Вообще все в свите — от самого главного до последнего — были озабочены и встревожены, все дрожало при мысли о том, что их ждет, если они не выполнят точно приказание. Лишь некоторое удовольствие они находили в общем смятении и страхе, который сеяли всюду, где проходили, и кое-какое вознаграждение в грабежах, безнаказанно совершаемых якобы для нужд слона, любимца визиря.

Во всех городах и селах, через которые следовал слон со своей свитой, воцарялись страх и смятение. Стоило только процессии показаться в каком-нибудь боснийском местечке, лежащем близ главного тракта, как дети со смехом и веселыми криками выбегали на дорогу. Взрослые обычно собирались на площади, чтобы посмотреть на невиданное чудо, но, заметив хмурых стражников и услышав имя визиря Джелалутдина, умолкали, лица у всех вытягивались, и каждый торопился кратчайшим путем к своему дому, стараясь сам себя убедить, что нигде не был и ничего не видел. Офицеры, чиновники, старосты и полицейские, которые по долгу службы не могли поступить иначе, почтительно и со страхом представляли перед невиданным визиревым зверем и, не решаясь расспрашивать, быстро и без разговоров забирали у жителей все, что от них требовала свита слона. Большинство из них приближались не только к свите, но и к слоненку с заискивающими улыбками, умильно поглядывали на невиданное животное и, не зная, что ему сказать, поглаживали бороды и шептали, но так, чтобы слышала свита: «Машаллах, машаллах! Упаси бог от дурного глаза!» А в душе трепетали, как бы со слоном что-нибудь не слу-

чилось здесь, в подчиненном им округе, и с нетерпением ожидали момента, когда весь этот поезд вместе с чудищем двинется дальше, в соседний округ, где за него будут в ответе тамошние власти. И когда процессия покинула город, они выпускали вздох облегчения, в который вкладывали годами накопленное отвращение и ненависть ко всему на свете. Так вздыхают иногда чиновники и «царские люди», но затаенно, чтобы и сырая земля не слыхала, а не то что живой человек, пусть даже самый близкий. Да и народ — маленькие люди, которые ничего не значат, ничего не имеют, — не решался говорить громко и открыто о том, что видел. Лишь за плотно закрытыми дверьми они посмеивались над слонем и издевались над теми, кто с такими расходами и церемониями, словно святыню, перевозит зверюгу злодея визиря.

И только дети, забыв обо всех предостережениях, громко говорили о слоне, бились об заклад, споря о длине слоньего хобота, о толщине его ног и величине ушей. На лужайках с едва пробивающейся травой дети играли в «фила и его свиту». Неумолимые, неподкупные, неустрашимые и всевидящие дети! Один из них изображает слона: он идет на четвереньках, покачивает головой, на которой висят воображаемый хобот и огромные уши. Другие представляют свиту — надменных и наглых слуг и стражников. А один из мальчишек исполняет роль мутеселима: он с неподдельным страхом и наигранной любовью приближается к воображаемому слону и, поглаживая бороду, шепчет: «Машаллах, машаллах! Прекрасное животное! Да, да, дар божий!» И подражает так удачно, что все дети хохочут, даже тот, что выступает в роли слона.

Когда слон со своей свитой достиг Сараева, на него было распространено правило, которое имело силу только для визирей: на пути в Травник не заезжать в Сараево, а ночевать в Горице, причем проводить там не больше двух суток и это время город Сараево обязан посылать им все, что нужно, — еду и питье, освещение и топливо. Слон со свитой заночевал в Горице. Никто из сараевской знати не проявил ни малейшего интереса к заморскому животному (недавняя резня коснулась многих знатных семей). Сараевская знать, богатая и чванная, с опаской относившаяся к визирю и ко всему, что его касалось, прислала лишь слугу спросить, как велика сви-

та, чтобы послать ей все, что нужно. О слоне — ни слова, потому что, говорили они, «мы знаем, что́ ест визирь, господин слона, но чем питается слон визиря, мы не знаем, а то бы послали все, что надо».

Так, от города к городу, слон прошел без особых приключений половину Боснии и наконец прибыл в Травник. При въезде слона в город было отлично видно, как относится народ к визирю и ко всему, что ему принадлежит. Одни поворачивались спиной и делали вид, что ничего не видят, ничего не замечают; у других страх сменялся любопытством; третьи размышляли о том, как оказать внимание слону визиря, чтобы это было замечено и записано где следует. И наконец, много было бедноты, которой не было дела ни до визирей, ни до слонов и которая на это, как и на все на свете, смотрела с одной точки зрения: как бы раздобыть хоть раз в жизни, хоть на короткое время все необходимое для себя и семьи.

Надо сказать, что даже самые ревностные верноподанные сомневались, выйти ли навстречу слону и таким образом оказать внимание визирю и всему, что ему принадлежит, или разумнее остаться дома. Никогда не знаешь, как может обернуться дело, думали они, и где настигнут тебя всяческие несчастья и убытки (кто может предвидеть и угадать причуды своевольных султанских слуг и тиранов?). Этим, вероятно, и объяснялось то, что слона не встречали толпы народа и что улицы, по которым он шел, были почти пусты.

В тесной травницкой чаршии слон выглядел крупнее, чем был на самом деле, а также страшнее и уродливее, потому что, глядя на него, люди больше думали о визире, чем о самом животном. И многие из тех, кто едва разглядел его в процессии, окруженного свежими зелеными ветками, долго болтали в кофейнях, рассказывая чудеса о страшном виде и необыкновенных свойствах «господской скотины». Этому не следует удивляться, ибо здесь, как и всюду на свете, глаз легко находит то, чего ищет душа. И, кроме того, босниец так создан, что предпочитает свои рассказы о жизни самой жизни, о которой рассказывает.

О том, как слона устроили в конаке и как он провел здесь первые дни, никто ничего не знал и не мог узнать, потому что если бы и нашелся человек, который бы решился об этом спросить, не было бы такого, кто осмелил-

ся бы рассказать. При нынешнем визире нечего было и подумать, чтобы чаршия, как прежде, вслух судила и рядила о том, что происходит в конаке.

Но то, чего травничане не могут узнать, они умеют выдумать, а о том, о чем не осмеливаются говорить громко,— храбро и упорно шепчутся. В воображении толпы слон рос, получал прозвища, которые отнюдь не отличались благозвучием и пристойностью, даже произносимые шепотом, не говоря уже о том, чтобы их написать на бумаге. И все же о слоне не только говорили, но и писали. Долацкий священник отец Мато Микич сообщал своему другу настоятелю Гучегорского монастыря о прибытии слона, правда секретно, замысловато и частично поллатыни, используя цитаты из Апокалипсиса об огромном звере «*Et vidi bestiam*»¹. А попутно, как обычно, извещал его вообще о положении дел в резиденции визиря, в Травнике и в Боснии.

«Были, как ты знаешь, и среди нас,— писал отец Мато,— такие, кто, глядя, как визирь истребляет турок и их «первых людей», говорил, что из этого может получиться какое-то благо для райи, потому что наши дураки думают, будто чужое горе должно непременно обернуться для них добром. Можешь им прямо сказать, пусть хоть теперь поймут, если не могли раньше, что ничего подобного нет и в помине. Единственная новость — это то, что «зверь завел себе зверя» и что праздный народ об этом болтает и прибавляет бог знает что. А каких-либо реформ и улучшений нет и не будет».

И, из осторожности мешая латинские слова с сербскими, как в каком-нибудь шифре, отец Мато заканчивал свое письмо так: «*Et sic Vosna ut antea neuregiena sine lege vagatur et vagabitur forte do sudgnega danka*»².

И действительно, проходили дни, а из конака ни звука, в том числе и о слоне. С того момента, как за слонем, чудищем из травницких рассказней, закрылись ворота, его как будто поглотил огромный конак. Он исчез без следа, точно слился воедино с невидимым визирем.

А визиря и правда травничане видели редко. Он почти не выходил из конака. То простое обстоятельство, что

¹ И увидел я зверя (лат.).

² И так, Босния, как и раньше, блуждает без порядка и закона и будет блуждать, быть может (лат.), до Судного дня (сербско-хорватск.).

визиря трудно было увидеть в городе, пугало само по себе, давало повод ко всяким домыслам и стало еще одним средством устрашения. Люди из чаршии с самого начала хотели во что бы то ни стало узнать хоть что-нибудь о визире, и не только в связи с появлением необыкновенного животного, но и вообще о его образе жизни, привычках, страстях, прихотях,— не найдется ли хоть какой-нибудь «лазейки», через которую можно было бы влиять на него.

Служитель из конака, которому хорошо заплатили, смог сказать об этом замкнутом, молчаливом и почти неподвижном визире только то, что никаких крупных и явных страстей и прихотей он не выказывает. Живет тихо, курит мало, пьет еще меньше, ест умеренно и скромно, одевается просто, не особенно жаден до денег, не тщеславен, не развратен, не алчен.

Однако всему этому трудно было поверить. И травничане, нетерпеливые и насмешливые, спрашивали друг друга, выслушав это сообщение: кто же это вырезал столько народу в Боснии, если в конаке живет такой ягненок? И все же эти сведения были верными. Единственная страсть визиря, если это можно назвать страстью, состояла в том, что он собирал разнообразные перья, хорошую бумагу и чернильные приборы.

В его коллекции была бумага со всех концов света — китайская, венецианская, французская, голландская, немецкая. Были чернильные приборы всевозможных форм — из металла, из слоновой кости, из особым образом обработанной кожи. Сам визирь писал редко и не был особенно искусен в письме, но со страстью собирал образцы каллиграфического искусства и хранил их свернутыми в трубочку в круглых деревянных или кожаных футлярах.

Особенно дорожил визирь своей коллекцией калемов (калем — заостренная палочка, которой на Востоке пользуются вместо гусиного пера). Делаются они обычно из стеблей бамбука, заостренных с одной стороны, а с другой — расщепленных в виде пера.

Сидя неподвижно, визирь с упоением перекатывал с ладони на ладонь калемы всех видов, цветов и размеров. Тут были бледно-желтые, почти белые, были красные — от розовых до почти черных, сверкавших, как во-

роненая сталь, и всех других цветов, какие только встречаются в природе; одни — тонкие, совершенно гладкие, как металлический прут, другие — с палец толщиной, узловатые. Некоторые носили следы причудливой игры природы: одни заканчивались наростом в форме черепа, на других узлы напоминали глаза. Калемы всех видов — из Турецкой империи, Персии и Египта — были представлены в коллекции хотя бы одним экземпляром. Она насчитывала более восьмисот калемов, из которых ни один не был похож на другие. Здесь не было ни одного из тех простых, дешевых калемов, которые можно купить на базаре, а были экземпляры, неповторимые по форме или по цвету; их визирь хранил в вате в особых лакированных китайских шкатулках:

В большой комнате, где было тихо, как в склепе, часами не было слышно ничего, кроме шуршания бумаги и стука этих калемов в руках визиря: он измерял их и сравнивал, писал ими стилизованные буквы и вензеля чернилами разных цветов, затем вытирал их и чистил специальной губкой и опять убирал на место.

Так он коротал время, а в Травнике оно тянется невероятно медленно.

И пока визирь проводил время за своими калемами, весь поглощенный этим невинным занятием, люди по всей Боснии с затаенным страхом и тревогой спрашивали себя: «А что там делает и замышляет визирь?» И каждый был склонен верить худшему и в замкнутости и молчании невидимого визиря усматривать неопределенную опасность даже лично для себя или для своих близких. И каждый представлял себе визиря совсем другим, занятым каким-то иным делом, значительным и кровавым.

Кроме занятий калемами, бумагой и каллиграфией, визирь каждый день навещал слона, осматривал его со всех сторон, бросал ему траву или фрукты, давал шепотом шуточные прозвища, но никогда не дотрагивался до него.

Вот и все, что люди из чаршии могли узнать о невидимом визире. Для чаршии этого было явно мало. Страсть к калемам или бумаге не казалась им правдоподобной и понятной. Со слонем дело было проще и понятнее. Тем более что слон начал появляться перед глазами изумленного народа.

Прошло немного времени, и слона в самом деле начали выводить из конака: это пришлось сделать, так как молодому животному, лишь только оно подкормилось и отдохнуло после долгой и утомительной дороги, конак стал тесен. Все понимали, что молодого слона нельзя держать в стойле, как послушную корову, но никому не приходило в голову, что животное окажется таким беспокойным и капризным.

Легко было вывести слона — ему и самому хотелось простора и зелени, но сдерживать его и пасти было не просто. Уже на второй день он, высоко подняв хобот от радости, вдруг пустился через обмелевшую Лашву, разбрасывая брызги во все стороны. Подбежав к садовой ограде, он начал, играя, толкать ее прутья, как бы пробуя, крепко ли они держатся, гнуть и ломать хоботом ветви. Слуги бежали за ним, а он мчался обратно в реку и поливал водой и их и себя.

Через несколько дней слуги придумали выводить слона связанным, разумеется, связанным на особый манер, изящно и со вкусом. На него надели нагрудник из жесткой кожи, обшитый полосками красного сукна, с блестками и колокольчиками. От нагрудника отходили длинные цепи, концы которых держали слуги. Впереди шел высокий плечистый мулат, темнокожий, с косыми глазами; это был своего рода воспитатель и укротитель молодого слона, единственный, кто умел воздействовать на него движением руки, окриком или взглядом. Народ прозвал его Филфилом.

Сначала слона водили по берегу около конака, а затем прогулки стали удлиняться, пока наконец его не начали водить через город. Когда слона первый раз провели по базарной площади, народ держался так же, как и в день его прибытия в Травник: сдержанно, робко, с показным равнодушием. Но прогулки участились и наконец стали регулярными. Слон освоился и начал проявлять свой нрав.

И тогда чаршия стала свидетелем необычного зрелища. Едва только слон со своей свитой покажется издали, на базарной площади поднимается волнение и суета. Многочисленные городские псы, почуяв заморского зверя, какого им еще не приходилось встречать, вскидыва-

ются и в смятении покидают свои места возле мясных лавок. Старые, заплывшие жиром, удаляются молча, а молодые, поджарые и проворные, твякают из-за заборов или, высунувшись в какую-нибудь дыру в стене, заливаются злобным отрывистым лаем, стремясь заглушить свой собственный страх. Кошки суеются, перебегают улицу, вцепляются в тент, прикрывающий чью-нибудь лавку, взбираются по лозе, растущей во дворах, кидаются на балконы или даже на крыши. Куры, которые собираются на базарной площади поклевать свою долю овса под торбами крестьянских лошадей, испуганно кудахта и хлопая крыльями, спасаются за высокие заборы. Крякая, неуклюже ковыляют утки и плюхаются прямо в ручей. Но особенно пугаются слона крестьянские кони. Эти низкорослые, терпеливые и выносливые боснийские лошадки с лохматой гнедой шерстью и густой косматой гривой, падающей на веселые бархатистые глаза, просто теряют голову, едва завидят слона и услышат звон его колокольчиков. Они рвут уздечки, сбрасывают с себя груз вместе с седлом и бешено брыкают задними ногами невидимого врага. Крестьяне в отчаянии бегут за ними и зовут их, чтобы успокоить и остановить. (Есть что-то необычайно горестное в облике крестьянина, когда он, широко расставив руки и ноги, стоит перед взбесившейся лошадью, пытаясь со своим небольшим умишком быть умнее и своей обезумевшей скотины, и тех безумцев, которые с жиру бесятся и водят по городу чудище.)

Городская детвора, особенно цыганята, выбегают из переулков и, спрятавшись за углы домов, со страхом и сладостным волнением разглядывают невиданное животное. А иногда дети вдруг становятся смелее и предприимчивее, кричат, свистят и со смехом и визгом выталкивают друг друга на главную улицу, под ноги слону.

Женщины и девушки, спрятавшись за деревянные решетки окон или выглядывая с балкона, рассматривают слона в красном уборе, который идет в сопровождении хорошо одетых, надменных слуг. Соберутся по три-четыре к одному окну, шепчутся, отпускают шутки насчет необыкновенного зверя, щекочут друг дружку и приглушенно хихикают. Матери и свекрови запрещают беременным дочерям и снохам подходить к окну, а то как бы ребенок, которого они носят, не походил потом на чудище.

Хуже всего в базарные дни. Кони, коровы и мелкий скот со страху бегут сломя голову. Женщины из окрестных деревень в своих длинных белых платьях, с белыми, нарядно повязанными платками на голове мчатся в боковые улочки, крестясь и охая от волнения и страха.

И в завершение торжественно проходит слон, притопывая, извиваясь и заставляя свиту плясать вокруг себя, и все это так ново и необычно, что временами кажется, будто движутся они под какую-то странную, неслышную музыку и будто шествие слона сопровождается не звоном колокольчиков, смехом и криками свиты и цыганят, а бубнами, цимбалами и другими невиданными инструментами.

Слон переступает своими массивными, сильными ногами, в легком и спокойном ритме перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, как движется всякое молодое существо, в котором гораздо больше сил, чем нужно для того, чтобы нести и передвигать собственное тело, и поэтому весь излишек сил выливается в проказы и шалости.

Слон совсем освоился в городе и с каждым днем проявляет все больше озорства, все больше упрямства и изобретательности в осуществлении своих прихотей, а эти прихоти нельзя ни угадать, ни предвидеть, столько в них дьявольской хитрости и почти человеческого коварства— по крайней мере, так кажется взбудораженной и оскорбленной чаршии. То опрокинет у какого-нибудь бедняка корзину с ранними сливами, то взмахнет хоботом и сбросит на землю вилы и грабли, которые крестьянин выставил на продажу, прислонив к базарной ограде. Люди прячутся, как от стихийного бедствия, сдерживают гнев и молча терпят убытки. Один только раз пирожник Вейсил попытался защититься. Слон протянул хобот к деревянному блюду, на котором были разложены пироги, Вейсил замахнулся на него крышкой, и слон в самом деле тотчас убрал хобот; но тут подскочил этот самый Филфид, мускулистый и сильный, с длинными, как у обезьяны, руками, и отвесил Вейсилу такую пощечину, какой еще не помнил Травник.

Когда пирожник пришел в себя, слон со своей свитой был уже далеко, а вокруг него суетились люди, отливая его водой. На щеке у пирожника остались четыре

больших синяка и кровавая ссадина от перстня, который Филфил носил на среднем пальце. И все находили, что пирожник легко отделался и что все это ничто в сравнении с тем, что могло случиться.

Вообще слоновья свита больше досаждала горожанам, чем сам слон — существо неразумное и непонятное. Со слонем был всегда его неперемный страж и главный телохранитель с длинными руками и зверским лицом, которого звали Филфил — настоящего имени его никто не знал. Потом два стражника, а очень часто к шествию присоединяется и еще какой-нибудь бездельник из свиты визиря, которому просто доставляет удовольствие видеть всеобщий переполох и суету, замешательство, комические сцены и смех. Горожане издавна и хорошо знают эту прихоть слуг и прихлебателей в стране бессильных законов и плохих господ, ибо еще старые травничане говорили: горе нам от злых господ, но еще горше от наглых насильников — их слуг и прихлебателей.

Никто и не пытается обуздать животное, напротив, все его дразнят и подстрекают ко всяким выходкам.

Городские бездельники и цыганята с самого утра собираются и ждут появления слона, чтобы насладиться его фокусами и теми бедами, которые за ними последуют. И ни разу их ожидания не были обмануты. Однажды слон остановился, замешкался, как бы размышляя, а затем направился к лавке Авдаги Златаревича, мелкого торговца, но видного и уважаемого в городе человека (а сам он себя уважал еще больше!). Слон подошел, прислонился задом к деревянной балке, на которой держалась передняя часть лавки, и начал с удовольствием чесаться. Авдага исчез за дверцей, ведущей на склад, в заднюю, каменную часть дома, а свита стоит и ждет, пока слон вдоволь начешется, народ хохочет, лавка ходячим ходит и трещит по всем швам.

Назавтра Авдага, уже не дожидаясь, когда слон подойдет к его лавке, раздраженный и злой, сразу спрятался на складе, а слон подошел прямо к его дому и снова прислонился к той же балке, но не стал чесаться, а, чуть расставив задние ноги, помочился громко и обильно перед самым прилавком. Потом встряхнулся, поиграл мускулами спины, довольно пошевелил ушами и отправился дальше своим размеренным, торжественным шагом.

Цыганята, шедшие на расстоянии десяти шагов от слона, заливались хохотом, отпускали грубые шутки, а прислуга ласково похлопывала слона по боку.

Бывают дни, когда слон пройдет по базарной площади и ничего из ряда вон выходящего не произойдет; случается, что его водят по другой части города, но все так привыкли к его выходкам, что если их не было, их выдумывают.

Среди бездельников, которые ежедневно поджидают слона, ведутся разговоры.

— Не было вчера слона,— скажет кто-нибудь.

— Здесь-то его не было, а знаете, что было в цыганском квартале? — откликнется некто Каришик, пьяница и болтун.

— А что такое? — спросят двое в один голос, забывая в этот момент, что перед ними человек с прочной репутацией самого большого лгуна во всем Травнике и его окрестностях.

— Выкинула одна цыганка, как увидела слона, вот что! Чтоб мне провалиться на этом месте! Вышла на улицу женщина, беременная на восьмом месяце, ополоснуть блюдо, и только подняла руку, чтобы выплеснуть воду, как вдруг дернуло ее обернуться, а тут—слон, прямо на нее. Она блюдо выронила, крикнула только: «А-ах!» И свернулась. И сразу как польет из нее. Внесли ее в дом с ребенком, родила семимесячного мальчика. Женщина до сих пор не приходит в себя. Ребенок-то жив и здоров, да... немой, голоса не подает. Онемел от страха! Да, брат ты мой!..

Этими словами «да, брат ты мой» заканчивается всякая ложь Каришика, это как бы клеймо, опознавательный знак на всякой его басне и выдумке.

Праздные люди расходятся и разносят это дальше, причем большинство забывает сказать, что слух идет от Каришика. А чаршия так и кипит, ожидая завтрашнего дня и появления слона или хотя бы новостей, ложных или правдивых, о нем.

Нетрудно представить, как чувствовали себя травницкие торговцы и владельцы лавок, самые спокойные и достойные деловые люди Боснии, серьезные, непреклонные, самолюбивые, гордые своим чаршийским сословием, чистотой и тишиной в городе.

Беды, причиняемые слонем, не проходят, а растут, и никто им конца не видит. Кто знает, что на уме у скотины, даже у своей, боснийской, так где уж там угадать, когда она чужая, привезенная из далекого, неведомого края? Кто знает, на какие муки придуман этот слон? Но в чаршии принято думать не о жизни и чужой беде, а о своих делах и о своей выгоде. И пока государство трещит по всем швам, пока Босния прозябает, замерев в страхе и ожидании, пока беги грустят и замышляют месть, чаршия думает только о слоне и в нем видит главного врага. Согласно вере и традициям, здешний люд обычно охраняет животных, даже вредных, кормит собак, кошек и голубей, не убьет и букашки. Но на слона визиря этот обычай не распространяется. Чаршия ненавидит его, как ненавидят человека, и думает лишь о том, как бы его извести.

Проходят дни и недели, слон растет, крепнет и становится все беспокойнее.

Временами он бешено носится по городу, точь-в-точь как когда-то сосунком носился по широкой африканской равнине, по буйной жесткой траве, которая хлестала его со всех сторон, разжигала его юную кровь и вызывала невероятный аппетит. Носится, как будто что-то ищет, и, не найдя того, чего хочет, опрокидывает и рушит все на своем пути. Слон, может быть, тоскует, слону, наверно, хочется поиграть с подобными ему; у слона начали прорезываться клыки, и поэтому ему не сидится на месте, он ощущает непреодолимую потребность грызть и рвать что попало; а чаршии видится в его поступках дух Джелалии и дьявольские козни.

Иногда слон пробежит по городу кротко и весело, ни на кого не глядя и ничего не трогая, как будто бежит в стаде молодых слонов и сам себя, играючи, шлепает хоботом по голове. А то вдруг остановится посреди площади и стоит неподвижно, грустно свесив хобот, опустив веки со светлыми редкими щетинистыми ресницами, как будто ждет чего-то, и тогда он производит впечатление потерянного и обескураженного.

А люди в лавках с издевкой подталкивают друг друга.

— Знаешь, на кого, по-моему, похож этот слон? — спросит какой-нибудь золотых дел мастер своего соседа.

— ?!

— На визиря. Вылитый визирь! — уверяет ювелир, который и глаз не смел поднять, когда визирь проезжал мимо его лавки. А сосед, не глядя на животное, находит, что это вполне возможно, и только отплевывается, бормоча что-то нелестное по адресу визиря и слоновьей матери.

Такова ненависть чаршии! И если эта ненависть направлена на какой-нибудь один предмет, она его не оставляет, сосредоточивается на нем, охватывает его со всех сторон, со временем изменяет его облик и значение, перерастает его и превращается в самоцель. Самый предмет уже что-то второстепенное, от него сохраняется только название, а ненависть сгущается, сама себя питает, согласно своим законам и потребностям, и становится всепоглощающей, изобретательной и ослепляющей, как извращенная любовь; она во всем находит для себя новую пищу, сама создает повод к еще большей ненависти. И тот, кого чаршия однажды возненавидит глубоко и злобно, рано или поздно должен пасть под невидимым, но гнетущим грузом этой ненависти, тому нет спасения, разве только стереть чаршию с лица земли, истребить ее в корне.

Ненависть чаршии слепа и глуха, но отнюдь не нема. На улице люди говорят немного, потому что Джелалия — это Джелалия, но по вечерам, когда сойдутся в своих кварталах, языки развязываются, воображение разыгрывается. Да и погода располагает к этому. Осень. Ночи еще теплые. Темное небо полно низко висящих звезд, каждую минуту они падают, огоньки их пересекают небесный свод, и в глазах людей, глядящих на небо, оно колышется, как полотно.

На крутых склонах горят костры. Доваривают повидло из последних слив.

У костров ходят или сидят люди, делают дело, разговаривают. И повсюду смех, рассказы, и фрукты, и орехи, и кофе, и табак, и почти всюду — ракия. И не найдется компании, где бы речь не зашла о визире и его слоне, хотя никто их не называет по имени.

— Переполнилась чаша!

Обычно большая часть разговоров начинается с этих веками освященных слов. Не один раз сказаны они в Травнике за годы и столетия. Нет поколения, для которого не переполюнялась бы и не переполюнялась чаша, и

притом несколько раз за его жизнь. Трудно определить, когда действительно горе переполняет чашу, когда слова эти произносятся по праву. Они подобны глубокому вздоху или тихому стону сквозь зубы и всегда искренни и правдивы с точки зрения тех, кто их произносит.

У всех костров говорят об одной и той же беде, только обсуждается она по-разному. У одних костров сидят юноши, которые ведут разговоры большей частью о девушках и о любви, об играх или трактирных подвигах. У других костров собирается торговый люд поплоче, мелкие торговцы и ремесленники. У третьих — крепкие хозяева, богачи, потомственные «деловые люди».

Вот у одного костра сидят всего двое молодых людей. Хозяин Шечерагич и его гость Глухбегович. Хозяину нет еще и двадцати лет, он горбатый и болезненный, единственный сын у родителей, а гость — его ровесник, высокий, крепкий и стройный парень с острым взглядом голубых глаз, над которыми сходятся прямые тонкие брови, похожие на металлический прут, заостренный на концах и прогнутый в середине. Разные во всем, они неразлучные друзья и любят уединиться от общества и свободно поговорить обо всем, что радует или печалит людей их возраста.

Сегодня пятница. Вся молодежь отправилась в город — шептаться с девушками сквозь заборы или приоткрытые ворота.

Вокруг котла с кипящим повидлом хлопочут две девочки и парень, который его помешивает, юноши курят и тихо разговаривают.

Пристально глядя в огонь, словно уйдя в себя, горбатый говорит сидящему подле него другу:

— Ни о чем другом и не толкуют, кроме как о визире и его слоне.

— Так ведь лопнуло терпение у людей!

— Надоело мне слушать все одно и то же: «Визирь — слон, слон — визирь». И если хорошенько подумать, то становится жаль эту животину. Она-то в чем виновата? Ее поймали где-то там, за морем, связали и продали, а визирь ее привез мучиться сюда, в чужую землю, одну-единешеньку. Потом как-то думается: ведь и визирь приехал не по своей воле, и его послали другие, не спрашивая, хочет он того или нет. И тот, кто послал его, тоже должен был кого-то послать, чтобы усмирить и наве-

сти порядок в Боснии. И так, мне кажется, и идет: каждый толкает другого, никто не живет там, где хочет, а там, где не хочет и его не хотят; все по какому-то непонятному закону, все по чужой воле.

Глухбегович прерывает его:

— Э, далеко ты зашел, чудак-человек! Не годится так думать. Пока ты дознаешься, кто кого послал, он тебе на шею и сядет. Поэтому ничего не доискивайся, а лучше не давай никому взнуздать себя и бей, кто поближе и кого можешь.

— Эх,— вздыхает горбун,— если каждый будет бить того, кто ему мешает и кто ему попадет под руку, то такое пойдет побоище — до самого другого края света!

— Ну и пусть идет! Что мне за дело до другого края света!

Шечерагич ничего не ответил, лишь глубже задумался и еще пристальнее стал смотреть в огонь.

То, что было сказано у этого костра, не имело никаких последствий ни для города, ни для слона, да и не могло их иметь, так как разговор дела не делает.

У другого костра, по соседству, другие люди и другой разговор. Здесь целое сборище — человек десять торговцев из тех, кто «поплоче». Попивают ракию: одни — спокойно, с наслаждением; другие — с оглядкой, откекиваясь. Разговор идет своим чередом, разрастается. Шутки, обидные уколы, высокопарные монологи, полные хвастовства и искусно вплетенной лжи; мелькают, подобно молниям, блестящие житейской мудрости. Ракия поднимает в людях неожиданные ощущения и всякого рода мысли, помогает находить новые слова и смелые решения, которые здесь, на границе веселого огня и тьмы, что заволокла спящий, притихший мир, кажутся вполне естественными и легко осуществимыми.

— Ей-ей, друзья, эта свинья нашего визиря — пятно для нас и для всей чаршии. Жизнь мне, ей-богу, не мила,— говорит тихо и горько Авдага Златаревич.

И сразу завязывается приглушенный, но живой разговор, в котором участвуют все и каждый на свой лад выражает озлобление согласно своему нраву, имущественному положению и степени опьянения. Среди беседующих быстро возникают две группы. Одни — активные и настойчивые, смелые на словах и в планах, другие — не столь непримиримые, осторожные в речах, более

склонные к обходным путям и таким средствам, которые без лишнего шума и крика, незаметно, но наверняка ведут к цели.

Какой-то ага, рыженький, костлявый, злобный маленький человечек с короткими, торчащими вверх усами, готов на все, он содрогается от позора, который придется сносить в своем собственном городе. И клянет Травник и того, кто его создал. Поджечь бы его, говорит он, да так, чтобы сгорела и последняя мышь в стене. Ругает всю Боснию вдоль и поперек. Да разве это страна, говорит он, весь красный от гнева. И кто ее не топтал? Только что слона не хватало! Так вот, и его привезли. Эх, говорит, руки чешутся взять ружье и, как подойдет он к моей лавке, всыпать ему двадцать драхм свинца в лоб. Пусть меня потом четвертуют на площади.

Только один из собеседников, пришедший сюда уже нетрезвым, хрипло бурчит что-то в знак одобрения. Все остальные молчат. Они знают этого человека, знают цену его угрозам. Много раз он стрелял этими двадцатью драхмами свинца, а все, в кого он целился, и по сей день живы и здоровы, едят свой хлеб и греются на солнце. Известно также и то, что в Травнике не легко спускают курок, и уж когда действительно стреляют, то делают это без лишних слов.

Разговор продолжается. Маленький ага все грозит. Грозились и другие, только тише и не так решительно, больше перешептываются. Многие того мнения, что «нужно что-то сделать», хотя и не могут сказать точно, что именно.

Другие стоят за умеренные, но верные средства, а до поры до времени — ждать и терпеть.

— До каких пор мы будем ждать, — не выдерживает один из самых активных, — пока слон не вырастет и не начнет к нам в дома влезать и людей топтать, что ли? А знаете ли вы, что слон живет больше ста лет? А?!

— Слон — может быть, но не его хозяин, визирь, — спокойно говорит пожилой, с бледным лицом торговец.

На это все умеренные значительно кивают головой; задиры, вдруг вспомнив, кто хозяин слона, на мгновение притихают; опять переходят на шепот.

Даже у таких костров, как этот, где громко похвалялись и шепотом бранились, не возникало ни сколько-нибудь реальных выводов, ни практических решений. Сме-

лые замыслы освобождения города от слоновьего гнета воодушевляли лишь своих авторов, иногда слушателей, но на следующий день, при дневном свете, никто уже и не думал об их осуществлении. На следующий вечер снова у костра разыгрывалось воображение и начинались разговоры. Если иногда в виде исключения и зайдет речь о вчерашних предложениях, то уже несерьезно, и дело обычно завершалось какой-нибудь новой историей. Так возникла и эта история об Алё и слоне.

Была сентябрьская ночь, теплая и ясная. Пьют те, кто варит повидло, разговаривают те, кто сидит без дела у костра, попивая кофе и ракию или покуривая. Мило человеку каждое слово, которое он сам скажет, и все, что видят его глаза и чего коснутся его руки.

Жизнь нельзя назвать ни легкой, ни свободной, ни обеспеченной, но о ней можно сколько угодно мечтать и говорить — мудро, пронизательно, с иронией.

У одного костра особенно громкий гомон. Вокруг Алё Казаза¹ собралось с десятков торговцев, из тех, кто «поплоше», но именно поэтому и самых беспокойных.

Алё — владелец маленькой, но хорошей и многим известной лавки шелковых изделий, где плетут шнуры и тесьму, продают шелковые кошельки и пояса. Казазы ведут свой род от большой и крепкой, теперь уже вымершей семьи Шахбеговичей. Одна ее ветвь в силу обстоятельств осталась без земли, занялась ремеслом и вот уже больше пятидесяти лет удерживает свое место в цехе позументщиков. Отсюда и происходит их прозвище. Все они считались хорошими людьми и искусными мастерами. Таков был и Алё, только слыл он чудачком и оригиналом. Высокий, плотный. Румяное лицо с черными смеющимися глазами, обросшее черной редкой неровной бородой. Его любили как шутника, наивного и беззлобного, мудрого и славного, как человека, который умеет и не боится сказать то, чего другие не скажут, и сделать то, чего другие не решились бы сделать. Трудно было понять, когда он смеется над всем светом, а когда позволяет другим смеяться над собой, когда у него под шуткой скрывается правда, а когда он шутит над тем, что другие называют правдой.

¹ Позументщик (тур.).

Юношей он ходил с войском под началом Сулейман-паши в Черногорию, где выдвинулся столько же благодаря своей храбрости, сколько и благодаря своим шуткам.

Алё не успел еще сесть, а его уже засыпают вопросами:

— Алё, мы вот спорим, что на свете хуже всего и страшнее всего, а что лучше всего и слаще всего.

— Хуже всего ветреной ночью оказаться в черногорских скалах, когда впереди один отряд черногорцев, а за спиной — другой.

Отвечает Алё быстро, не размышляя, как по писаному, но затем сразу останавливается, умолкает и задумывается. Все пристают к нему, требуют ответа и на второй вопрос. Он долго смотрит блестящими черными глазами, упрямыми и озорными, и наконец тихо говорит:

— Что слаще всего?.. Что милее всего?.. Что слаще всего, да?.. Да это может спрашивать только дурак, а каждый умный человек сам знает, что слаще всего. Это знают, об этом не спрашивают... Отвяжитесь!

Но после первых невинных шуток разговор вдруг переходит на слона. Обычные жалобы, угрозы, похвалы. Кто-то предлагает выбрать пять человек из чаршии, с тем чтобы они пошли к визирю и открыто пожаловались ему на слона и его слуг.

Маленький, болезненный Тосун-ага, портной, опрокинул стаканчик ракии, громко откашлялся (ракия требует громких слов) и заявил:

— Да вот я первым пойду!

Это какая-то тень мужчины, человек порочный, с плохой репутацией, и именно потому в нем столько суетности, что она подавляет в нем все прочее и даже страх. В ярком свете костра он кажется еще более бледным, изможденным и слабее, чем обычно, еще более безжизненным; и лишись он в этот момент головы, вряд ли кто-нибудь сказал бы, что Тосун-ага многое потерял.

— Ну! Ну! Если ты идешь первым, я хоть третьим пойду, — сказал сквозь смех Алё.

Но и остальные выпили и стали перебивать друг друга:

— И я пойду!

— И я!..

Долго они так хабрились, стараясь превзойти друг друга в словесной перепалке. В ту ночь они разошлись

поздно, составив план действий и торжественно поклявшись, что завтра перед лавкой Тосун-аги соберутся пятеро выбранных, отправятся в конак, потребуют, чтобы их допустили к визирю, и скажут ему всю правду — подлинное мнение чаршии и народа о слоне и его бессердечной и своевольной свите,— и попросят его убрать эту напасть.

Этой ночью не один из них просыпался, спрашивал себя со страхом, возможно ли, чтобы он, за вином и разговорами, дал слово предстать перед лицом Джелалии, или это только страшный сон.

III

Назавтра, когда рассвело и наступил условленный час, на место встречи вместо пятерых пришли трое. Двух других нигде не могли разыскать. По пути у одного из этой тройки так заболел живот, что он свернул в чей-то сад, выходящий на дорогу, и там бесследно исчез.

Остались Алё и Тосун-ага.

Они шли не торопясь, оба с мыслью отказаться от этого опасного и бессмысленного предприятия. Но так как ни один из них не хотел первым высказать эту мысль, они продолжали идти. Так, косясь друг на друга, они дошли до моста через Лашву, который вел к конаку.

Тосун-ага слегка отстал, Алё собирался остановиться у самого моста, чтобы тут с обоюдного согласия вернуться и не рисковать попусту. Из этого раздумья его вывели резкие голоса. Двое из стражи, стоявшей по другую сторону моста, что-то кричали в один голос. В первую минуту Алё показалось, что его гонят, и он, обрадованный, хотел повернуть обратно, но они, наоборот, звали его к себе, размахивая руками:

— Поди сюда!

— Сюда, сюда!

Охрана была усиленная, как будто кого-то ждали. Два безусых стражника пошли ему навстречу. Алё опешил, но деваться было некуда, и он предупредительно поспешил к ним.

Стражники строго спросили его, куда он собрался и что ему здесь нужно. Простодушным и вполне естественным тоном Алё ответил им, что шел в село Халило-

вичи за сливами, да заговорился с соседом, которого встретил по дороге, и за разговорами вот незаметно дошел до самого конака. И он смеялся сам над собой и над своей рассеянностью, улыбаясь широкой, до глупости доброй и наивной улыбкой. Стражники секунду смотрели на него подозрительно, а затем старший сказал уже совсем нестрого:

— Ладно, проходи!

Оправившись от испуга, уже пришедший в себя Алё почувствовал огромное облегчение и даже желание поговорить с этими симпатичными юношами, пошутить с только что миновавшей опасностью.

— Да, да, родимые, охраняйте, охраняйте хорошенько! И слушайтесь! Дай бог еще много лет жизни вашему господину.

Солдаты Джелалии, закоренелые, искушенные убийцы, смотрели на него с тупой улыбкой.

Поднимаясь вверх по обрыву, вдоль которого тянулась наружная стена, ограждавшая сады визиря, он еще раз обернулся с улыбкой к солдатам, которые на него уже и не смотрели. В то же время он бросил быстрый взгляд на другой берег Лашвы, где давно бесследно исчез Тосун-ага, бросивший своего товарища и нарушивший все клятвы, данные накануне.

Поднявшись довольно высоко по размытой дождями тропинке, проходившей между огородами, Алё увидел небольшую площадку под высокой, уже обобранной грушей с засохшими листьями. Здесь он присел, достал табак и закурил.

Под ним далеко внизу был невидимый конак и весь правый берег Лашвы, а Травник казался кучей черных и серых крыш, над которыми вились синие и белесые дымки. Они соединялись по нескольку в один, расплывались, таяли и терялись в небе.

И только здесь после первых затяжек, когда он уже немного пришел в себя и успокоился, ему вдруг стало ясно, как отвратительно обманули его сегодня утром и что с ним сделала чаршия, толкнув к этому страшному месту, чтобы он в одиночку боролся с тем, что ему в конце концов меньше всего мешало, чтобы он защищал то, что у них у самих не хватает смелости защищать.

Он разглядывал свой родной город в странной, кося перспективе и видел его как-то по-новому. Давно уже

ему не случилось выходить из своей лавки в это время дня, а тем более приходить сюда, да еще забираться так высоко. Местность казалась ему чужой и незнакомой, а в мозгу беспрестанно возникали новые мысли, настолько необычные и серьезные, что они вытесняли все остальное, и время летело незаметно и быстро. Так он просидел на обрыве и обед, и всю вторую половину дня. Кто может сказать, какие мысли роились в тот нежаркий сентябрьский день в голове этого ремесленника, у которого озорство и грусть сменялись, как прилив и отлив, бесследно вытесняя друг друга. Он думал не переставая, думал много, как никогда, обо всем на свете: о том, что случилось утром, о слоне, о Боснии и об империи, о власти и о народе, о жизни вообще. Мозг его не привык мыслить логично и последовательно, но в этот день и в него проник слабый и короткий луч сознания того, в каком городе, в какой стране и империи живет он, Алё, и тысячи таких, как он, чуть глупее или чуть умнее, победнее или побогаче; какой они живут скудной и недостойной человека жизнью, которую до безумия любят и за которую так дорого платят; а если подумать, так ведь не стоит, ей-ей, не стоит. И все эти мысли сводились в его сознании к одной: нет у людей ни отваги, ни сердца.

Труслив, ничтожен человек — приходил Алё все к тому же заключению, — труслив и поэтому слаб. В чаршии каждый в большей или меньшей степени труслив, но есть сотни способов, с помощью которых люди скрывают свою трусость, оправдывают ее перед собой и перед другими. А ведь не таким бы должен быть человек, нет, не таким! Он должен быть гордым и отважным, никому не позволять косо посмотреть на себя. Потому что стоит человеку один раз стерпеть даже малейшую обиду и не вспыхнуть (а он не вспыхивает, так как нет в нем огня) — и готово дело, каждый может топтать его, не только султан или визирь, но и его слуги, и слоны, и всякая тварь, вплоть до гниды! И ничего из этой самой Боснии не получится, пока в ней властвует Джелалутдин. Сегодня Джелалутдин, а завтра — бог знает кто, еще в тысячу раз хуже его. Нет, надо эту ржавчину стереть песком, выпрямиться во весь рост и никому не поддаваться. Никому! Но как? Разве что-нибудь сделаешь с этой чаршией, где и пяти человек не соберешь, чтобы

сказать в лицо визирю одно-единственное правдивое слово? Ничего, ничего не сделаешь! Так здесь повелось издавна: кто смел и горд, тот легко и быстро теряет хлеб и свободу, имущество и жизнь, а тот, кто живет в страхе и перед всеми гнет шею, тот настолько теряет самого себя, настолько его страх съедает, что жизнь его ничего не стоит. И кому выпало жить во времена Джелалии, тот должен выбирать одно из двух. Конечно, тот, кто может выбирать. А кто может выбирать? Да вот хотя бы он сам, который все это думает. Что он сам может сказать о себе? Он всегда выделялся храбростью и хвастался, что храбрости его хватает на троих, на десятерых, на половину Травника, и притом на ту, что храбрее. Хвалили его и другие. И что же? Прошлой ночью, у костра, он был смелым и сейчас чувствует себя смелым, но где была его смелость, когда он разговаривал со стражей: ведь у него не осталось в душе ничего, кроме дикого страха, и ноги с трудом вынесли его сюда, в гору? Разве из-за этих четырех вероломных лавочников правда перестала быть правдой и то, что верно, уже неверно? Нет, нет больше горячей крови и сил ни у Травника, ни у его чаршии. А то, что еще осталось, растрачивается на шутки, насмешки и лукавство, с помощью которого стараются перехитрить соседа, обмануть крестьянина и из одного гроша сделать два. Поэтому они так и живут (думают, что живут!), поэтому и жизнь у них такая никуда не годная.

Долго думал Алё обо всем этом и о многих других необычных вещах, и все вопросы так и остались нерешенными, только завели его в тупик.

Очнулся он от своих мыслей, услышав звон колокольчиков стада, которое пастухи гнали с горы обратно в город. В сумерках он, не торопясь, направился вниз. И по мере того как он спускался с горы, улетучивались эти беспокойные мысли, которые завладели им там, наверху, и он снова становился прежним Алё, человеком из чаршии, всегда готовым посмеяться и пошутить. И с каждым шагом росло все более определенное желание отомстить за свой позор всем торговцам, проучить их за пустые похвалы и за трусость, так, как они того заслужили. И от этой мысли лицо его снова растягивалось в прежнюю озорную усмешку. Стараясь незаметно, боковыми улочками добраться до своего дома, он обдумывал,

как бы отомстить чаршии и всласть поиздеваться над всеми.

Жена и дети встретили его со слезами радости, которые приходят после невыносимой тревоги. Он хорошо поужинал, еще лучше выспался и на другой день, когда вышел из дому, в голове у него не осталось и следа от вчерашних мучительных мыслей, но зато был обдуманый во всех подробностях рассказ о посещении конака и о свидании с визирем.

Когда люди в чаршии накануне открыли свои лавки, они сразу заметили, что лавка Алё Казаза закрыта. Вскоре стало известно, что Тосун-ага вернулся ни жив ни мертв и что Алё в окружении стражников исчез в конаке. Одни, озабоченные, бросали из своих дверей незаметные взгляды на его лавку, другие то и дело посылали подмастерьев, но мальчишки возвращались все с той же вестью, что лавка Алё Казаза на запоре.

В такой тревоге в тот вечер рынок и закрылся. А когда утром Алё вышел, живой и невредимый, как всегда, с улыбкой, открыл свою лавку и стал спокойно разматывать огромный моток желтого шелка, всем сразу стало легче. И если накануне они тревожились за судьбу Алё (а значит, и за свою), то теперь, негодуя за свои вчерашние страхи, уже холодно отмахивались и говорили: они знали, что все хорошо кончится — дурные головы крепко держатся на плечах. Кое-кто из любопытных и бездельников уже прошелся к лавке Алё. Он перебрался с ними двумя-тремя словами, но, кроме добродушно-лукавой улыбки, никто ничего из него не выудил. И так целый день. Чаршия сгорала от любопытства, но Алё упорно молчал. И только в сумерки он рассказал тихо и доверительно одному из соседей и товарищей по цеху свою историю.

— Тебе я могу сказать все,— шептал Алё,— потому что знаю, ты никому не передашь. По правде говоря, нелегко мне пришлось, когда попал я в руки стражников и увидел, что Тосун-ага исчез за углом, но, вижу, деваться некуда. Я было притворился, что иду по своим делам в Халиловичи, но они мне и пикнуть не дали. Мы, говорят, все знаем, вы шли в конак. Вот и пожалуйста, конак открыт. И повели меня в конак через двор, потом через другой и ввели в какую-то огромную темную залу. Гляжу я по сторонам, а сам дорого бы дал, чтобы очу-

тяться где-нибудь в другом месте. Оставили меня одного. Жду, жду, всякие мысли в голову лезут, и все сам себя спрашиваю, увижу ли я еще свой дом. Смотрю, кругом двери, но все закрыты, вдруг вижу, на одной сквозь замочную скважину что-то сияет, как солнце. Подошел я на цыпочках и пригнулся, чтобы заглянуть, да не успел, дверь распахнулась, и я так и ввалился, на корточках, в комнату, светлую и просторную. Встал я на ноги и прямо ахнул. Богатый ковер и всякая роскошь. Пахнет амброй. И стоят два человека в суконных кафтанах при тяжелом оружии, а между ними, чуть подалее, сам Джелалутдин-паша. Я его сразу узнал. Спрашивает он меня что-то, а я так смешался, что ничего не слышу. Спрашивает еще раз: кто я и чего хочу, а голос у него как шелк. Я начал что-то лепетать, а губы не слушаются, словно чужие: что мы, мол, вот насчет слона, договорились, мол, и вот пришли просить.

«А кто еще с тобой?»— спрашивает меня визирь все тем же голосом, как будто откуда-то издалека, а сам смотрит мне прямо в глаза.

Я так и окаменел, и кровь у меня в жилах застыла. Оборачиваюсь. Была бы у меня за спиной хоть эта падаль Тосун, а то ведь знаю, что никого нет, все меня предали и оставили одного в этом страшном месте, и надо теперь самому как-то выпутываться. Тут во мне что-то перевернулось. Выпрямился я, повернулся лицом к визирю, голову склонил, а руку приложил к груди (точно я так и собирался сделать!) и заговорил без всякого стеснения:

«Меня, о светлый паша, послала вся чаршия не затем, чтобы тебя обеспокоить (кто бы об этом смел и подумать?), но затем, чтобы просить тефтедар-эфенди¹ передать наше пожелание и нашу просьбу: твой слон— это гордость и украшение нашего города, и наша чаршия рада будет, если ты купишь еще одного, мы тогда сможем гордиться перед всей Боснией, да и слон тогда уже не будет один, без пары. А мы его так полюбили, что свою скотину стали меньше любить. Вот что меня послали сказать и о чем просить от лица всей чаршии, а ты лучше знаешь, что и как тебе делать. Только что до нас, до

¹ Господин секретарь (тур.).

торговых людей, то хоть и трех... четырех таких заведи, нам не будет в тягость. И не верь, если услышишь какие-нибудь другие слова, их могут сказать лишь лгуны и негодяи, а мы в чаршии ничего общего с ними не имеем и не хотим иметь. И прости, что я невольно явился пред твои очи!»

Говорю я так, а сам даже не знаю, откуда все это в голову приходит. Кончил я, упал на колени и поцеловал руку визиря и край его одежды, а он что-то сказал одному из свиты, что — я не расслышал, и куда-то исчез. А должно быть, что-нибудь хорошее сказал, потому что те двое в суконных кафтанах вывели меня как нельзя лучше опять в темную залу, а затем во двор. И тут вижу: собралась вся свита визиря, человек десять — двенадцать, все мне улыбаются и кланяются, как будто я по меньшей мере судья. Двое из них подошли ко мне и вложили в одну руку окку хорошего табака, а в другую — мешочек со всякими сладостями и вывели меня на мост, как невесту какую.

Ну, дорогой мой, когда я увидел мост и Лашву, я будто второй раз на свет родился.

Так я и остался в живых. А знаешь, если бы сделать, как хотела чаршия и те, кто было со мной пошел, не открылась бы сегодня моя лавка и солнышко бы меня уж не грело.

Только очень прошу, никому не рассказывай, ни за что... Сам знаешь, как все это может обернуться.

— Да, конечно, знаю, будь спокоен. А как ты думаешь, неужели и вправду визирь заведет еще одного слона?

Алё пожимает плечами и разводит руками:

— Ах! Об этом только бог единый знает, и пусть об этом думает чаршия, потому что я после всего этого никогда в жизни не стану заниматься ни визирями, ни слонами.

— Уф! — отдувается сосед и хочет вытянуть из него еще хоть слово, но Алё молчит и только улыбается.

Закончив свой рассказ и простившись со своим собеседником, Алё знал, что это все равно что пустить по чаршии глашатая. И действительно, к ночи не осталось ни одной лавки, где бы не знали во всех подробностях историю о том, как он был в конаке.

В эти осенние дни рассказ Алё часто повторялся в лавках и у костров. Одни ругали его, как придурковатого и подлого человека, который насмеялся над всей чаршией; другие одобряли его и осуждали тех, кто заварил кашу, а в последний момент бросил человека; третьи оскорбленно отмалчивались и утверждали, что иначе и не может быть, когда всякие портные и казазы берутся за дело и составляют прошения визирю; четвертые в грустном недоумении качали головой, не зная, что и подумать о таких людях и о таких временах. Но рассказ Казаза продолжал быстро распространяться и, переходя из уст в уста, слегка изменялся как по форме, так и по содержанию. А сам Алё никогда ничего не скажет: ни черное, ни белое, ни да, ни нет,— а если и завернет вечером к какому-нибудь костру, то на все расспросы лишь посмеивается, поглаживает бороду и говорит:

— Хороший урок дала мне чаршия, спасибо ей, вот какое спасибо!

И низко кланяется, приложив руку к груди.

А люди сердятся, считая его балагуром, с которым нельзя серьезно разговаривать, и говорят это вслух, когда его нет.

Существует и третий вид костров. Это самые немногочисленные, возле них сидят тоже торговцы, но настроенные господствуют здесь совсем другие. Здесь «первые люди» чаршии, в большинстве немолодые, седые и спокойные и все без исключения богатые. Тут нет ни ракии, ни смеха, ни веселого гомона, идет размеренная беседа, в которой длинные паузы, красноречивые взгляды и немые движения губ говорят больше, чем слова.

И среди них обычно ведется разговор о слоне, но только все в общих выражениях и безобидных словах, которые сами по себе ничего не значат и которым только взгляды и мимика придают подлинный смысл, потому что это и есть второй и настоящий язык высшего слоя чаршии. И тем не менее именно у такого рода костров, без воплей и громких слов, без угроз и клятв, решалось, как чаршии защититься от слона или сбросить его со своей шеи раз и навсегда. Только здесь, среди старых и богатых торговцев, и мог быть решен этот вопрос, если его вообще можно было решить. Ибо он мог быть решен только хитростью, а хитрость идет рядом с богатством, она ему предшествует и неизменно его сопровождает.

Так чаршия в домах, на огородах и у костров издевалась и выдумывала истории, шепотом или вслух проклинала слона и того, кто его сюда привез, мечтала, огорчалась, жаловалась и втихомолку строила коварные планы.

Проклятия и жалобы, тайные сговоры и планы вообще редко ограничиваются только словами, и меньше всего в Боснии. Долгое время все это кажется пустым и бессмысленным — все слова и слова, да бессильные жесты, да желваки над стиснутыми зубами. Но в один прекрасный день — никто не знает, как и почему — все это сгустится, примет определенную форму и станет делом. Дети или беззаботная молодежь обычно первыми находят в себе достаточно сил и изобретательности осуществить беспомощные угрозы старших.

Когда начали поспевать грецкие орехи, оказалось, что слон большой до них охотник. Он стряхивал их с ветвей, и, падая на землю, они освобождались от высохшей темно-зеленой кожуры, слон подбирал их хоботом, щелкал своими огромными невидимыми зубами, искусно выплевывал скорлупу вместе со слюной и с удовольствием жевал молочное ядро.

Мальчишки бросали орехи на мостовую перед слонем, а он старательно собирал их, смешно нагибая свою большую голову на короткой шее. И тогда кому-то из детей пришла в голову озорная мысль. Он расколол орех пополам, вытащил из одной половинки ядро, а на его место посадил живую пчелу, затем сложил половинки ореха так, чтобы он казался целым, и бросил его перед слонем. Слон разгрыз орех, но в ту же минуту начал трясти головой, издавать странные звуки и вырываться у своей свиты. И только когда слон добрался до Лашвы и стал как одержимый пить холодную воду, он немного успокоился. Сопровождавшие его люди подумали, что его укусила овод.

Это средство, жестокое и хитроумное, хотя и наивное, оказалось ненадежным и слишком слабым. В большинстве случаев слон глотал и орех и пчелу не моргнув глазом. Но это было только начало. Объединенные общей ненавистью, люди становятся упрямыми, злыми и изобретательными.

В детских проказах осторожно и незаметно приняли участие старшие. Перед слонем в переулках стали бро-

сать яблоки, и не какие попало, а хорошие, крупные, так что свита ничего не могла заподозрить. А между тем у некоторых яблок травничане вырезали черенок вместе с сердцевинкой и на это место сыпали немного толченого стекла и мышьяку, затем снова вставляли черенок, и яблоко казалось целым. Из-за дверей и прикрытых окон люди подсматривали, как подействует эта отравка, о которой было известно, что она действует медленно, но так надежно, что и слона может доконать. Однако тут травничанам пришлось убедиться, как трудно отравить слона, способного вынести любую отравку. Слон, отравляемый упорно и методично, долго еще творил что хотел в травничанской чаршии. И все же с приближением зимы он стал худеть, начали обнаруживаться неполадки в пищеварении. Сначала народу было запрещено давать ему что-либо съестное, а потом его совершенно перестали водить через чаршию. Его только ненадолго выводили на берег у конака. Здесь слон немного оживал. Он осторожно и размеренно ступал по неглубокому снегу, ощупывал его хоботом, подносил ко рту, а затем сердито бросал вверх. Но и эти прогулки становились все короче, потому что слон сам возвращался в свое стойло. Там он лежал на соломе, тихо стонал и поглощал огромное количество воды.

Пока слон болел, чаршия старалась всеми возможными способами разузнать, что с ним происходит. Многого о происходящем в конаке не узнаешь, но за хорошие деньги верный человек сообщил, что, во-первых, слон «все время лежит и из него течет и сзади и спереди» и, во-вторых, слуги в конаке уже спорят о том, «сколько стоит слоновья шкура»: одни утверждают, что она стоит тысячу грошей, другие не верят этому, а третьи допускают, но добавляют, что ее надо дубить целый год. Чаршии, с ее врожденной способностью схватывать суть дела, этого было достаточно. За эту новость заплатили сколько полагалось и продолжали ждать без лишних слов, лишь обмениваясь короткими, немymi, но многозначительными взглядами. И долго ждать не пришлось.

Однажды по чаршии тихо пронеслась весть, что слон погиб.

— Слон подох!

Сколько бы вы ни старались, вы никогда не узнаете, кто первым произнес эти слова. Когда я говорю — «про-

изнес», вы, чего доброго, представите себе громкий, оживленный разговор, почти победные крики. Но подумать что-либо в этом роде — значит совершенно не знать этого города. Здесь никогда так не говорили, а особенно во времена слона и Джелалии. И не могут здесь так говорить. Не умеют. Рожденные и выросшие в сырости и на ветру, в окруженном горами городе, где, сколько помнят люди, всегда сидит визирь со своей свитой, вынужденные жить в страхе, причины или названия которого меняются, но содержание остается все тем же, они отягощены сотнями чаршийских предрассудков, никогда не умирающих прежде, чем появятся новые. А если и случится так, что у них в груди возникнет что-то похожее на гордость победителя, она поднимается на известную высоту, кое у кого даже до горла, а затем возвращается назад, чтобы навсегда улечься рядом с восторгами, печалью, протестами, которые когда-то точно так же поднимались и, невысказанные, безмолвные, ложились в эту могилу.

Итак, кто-то таким вот образом шепнул эти слова, и они, словно невидимая вода из таинственного источника, которая угадывается только по журчанию, потекли по чаршии из уст в уста. Так «прошел слух», и так его боснийские глотки, которые ни разу до конца не прокашлялись, и рты, всегда полузакрытые, пронесли через весь город:

— Слон подох!

— Подох?

— Подох, подох!

Прошипит это слово, словно вода на горячей глиняной крышке,— и каждый уже знает все, ни о чем не спрашивает и ничего не говорит. Одно зло ушло под землю.

Но пока в чаршии судили и рядили о том, где похоронят слона, и в то же время со страхом ожидали, что скажет и что станет делать визирь, нашелся другой человек, еще вернее, и за гораздо меньшие деньги продал травницкой чаршии новую весть, на сей раз правдивую: слон жив. Несколько дней назад слон на самом деле чуть не издох, но один из приближенных визиря стал его лечить какой-то смесью из ромашки, отрубей и растительного масла. И сейчас ему лучше; уже встает на ноги. В конаке веселье среди слуг и чиновников, которые вме-

сте со слоном умирали от страха перед визирем. Вот какую весть доставил невидимый человек, чья правда была дешевле, чем ложь.

И чаршии случается обманываться.

Неприятная весть пронеслась по городу почти так же быстро, как первая, но без слов и без шепота. Посмотрят только один на другого, опустят глаза и оттопырят губы.

— Жив? — спросит разочарованно какой-нибудь незакаленный юнец, а ему не ответят, только сердито и укоряюще махнут рукой и отвернутся.

И действительно, он был жив. Как-то раз в начале марта слона впервые вывели из просторного стойла. Чаршия послала специального человека, на вид незаметного и простодушного, но надежного и проникательного, чтобы оценить положение дел. А увидел тот вот что. Слон страшно исхудал, почти вполонину; голова у него стала маленькая и угловатая, потому что под кожей проступал череп; глаза ввалились в огромные глазницы и, кажется, стали крупнее, кожа на нем висит, словно чужое платье, редкая шерсть еще больше вылезла и пожелтела. Слуги суетятся, усердно ухаживают за ним, а он их будто и не замечает, только все поворачивается спиной к солнцу, уже начавшему греть, и, не переставая, медленно покачивает головой вправо-влево, обнюхивая бледные клочки травы среди тающего снега.

С каждым днем, приближающим Травник к весне, а весну — к Травнику, прогулки слона становились все продолжительнее. Он медленно, но бесспорно поправлялся. Разочарованная чаршия с трепетом и удвоенной ненавистью ждала, когда слон совсем выздоровеет и его снова начнут водить по рыночной площади бог знает с какими новыми фокусами и пакостями.

Слуги визиря, а особенно мулат, которому был поручен надзор за слоном, уверены, что в чаршии его намеренно и методично отравляли, поэтому они водят слона с победоносным видом и бросают вокруг свирепые взгляды, обдумывая месть. Еще зимой, когда слон болел, уже из одного страха, что наказание обрушится на них самих, они уговаривали визиря наказать чаршию. Но визирю не до того. Его мысли с некоторых пор далеко, так как речь идет не о голове слона, а о его собственной. Исполнилось его непреодолимое желание властвовать, судить, карать и убивать; и если бы запутанные дела в Боснии

и в тогдашней Турецкой империи могли решаться только насилем, кровью и страхом, он мог бы говорить об успехе; но для их разрешения требовалось нечто большее, чего не было в империи, и меньше всего это могли сделать такие люди, как Джелалутдин. А когда насилие оказывается неспособным решить поставленную задачу, оно оборачивается против самого насильника. Так было в Турции всегда, а тем более сейчас, в 1820 году, когда империя дышит третью своих легких, когда на нее нападают со всех сторон — извне и изнутри. Так было и с Джелалией. Он из тех насильников, которые могут быть только палачами, и ничем больше, и которых поэтому можно использовать только для одного удара, и, если этот удар получается неудачным, они сами от него погибают.

Все это не было известно Джелалии раньше и не стало ясно теперь, но было очевидно, что его удар не уничтожил бегов и не усмирил Боснию и что сам он после этого удара не знает, что делать, как продолжать дело, для которого одной жестокости недостаточно. Нужно было искать новый способ действий и нового визиря для Боснии, а это значило, по господствующему обычаю, что для прежнего визиря немного осталось места на земле, что его ожидает смерть или изгнание, равносильное смерти.

Это понимал и Джелалия, об этом говорили и дошедшие до него вести.

Эгоистичный и нелюдимый, он не имел в Стамбуле ни родни, ни каких-либо особых связей, и у него не было ни малейшей надежды со временем выйти из немилости и снова добиться свободы и высокого назначения, как это бывало с другими визирями. Для него изгнание означало конец всего, медленное и позорное умирание. И у него не было сомнения, что добровольная и мгновенная смерть лучше этого.

По природе своей насильник и мучитель, он не мог жить без насилия над другими, но не мог сносить его и над собой.

В марте из Стамбула прибыл специальный гонец с фирманом, гласившим, что в Боснию назначен новый визирь, а Джелалутдин-паша должен передать управление страной чехайя-паше, сам же удалиться в Адрианополь и там ждать дальнейших распоряжений.

На словах гонец сообщил ему, как о деле уже решенном, что он будет назначен наместником в Румелию и послан подавлять восстание на один из островов, и поздравил его с новым назначением. Все это он выговорил быстро, механически, как заученный урок. Джелалутдину было нетрудно подпоить его, подкупить и вытянуть у него признание, что ему нарочно приказано сказать это визирю, а на самом деле румелийским наместником уже назначен другой человек «с твердой рукой». Значит, это западня. И тогда Джелалия понял, что настал роковой момент и что этот Травник — высшая точка, к которой его привели и самому ему непонятные причины.

И тогда стало ясно, насколько близка была Джелалутдину мысль о смерти, даже о своей собственной, насколько он с ней сроднился.

Внимательно и обдуманно он написал завещание и разделил все, что имел, между своими помощниками, такими же палачами, как и он сам. Он выделил солидную сумму денег на мавзолей, который должны были поставить над его могилой, и предусмотрел все мельчайшие расходы, связанные с погребением. Оставил он и надпись, которую должны были вырезать на надгробном камне. Она начиналась словами Корана: «Он жив и вечен...» Свою богатую коллекцию калемов, перьев из бамбука, он сжег своими руками, кладя их один за другим в огонь, который горел в его комнатах в последние дни марта так же, как и в середине зимы. Обо всем этом в городе никто не знал, как никто не мог знать и о том, что он оставил в наследство своему писарю Омер-эфенди сборник стихотворений — драгоценный образец каллиграфического искусства. В этом сборнике были переписаны тридцать два лучших стихотворения персидских и арабских поэтов, где все переливалось и гудело от роз, гиацинтов, вина, красавиц, фонтанов, флейт и соловьев во славу черной земли и яркого солнца, «которые все это щедро дают человеку, а затем отнимают, чтобы дать другому».

Покончив со всеми распоряжениями, визирь удалился в свою спальню, приказав разбудить себя через час к обеду. Здесь он взял ложечку белого порошка, растворил его в стакане холодной травяной воды, выпил, как выпивают горькое лекарство, и исчез с этого света так же тихо и незаметно, как в свое время появился в Травнике.

Когда среди дня с минаретов мечетей в Травнике начали кричать муэдзины, народ сразу понял, что это не обычная полдневная молитва, а дженаза — молитва по покойнику. А по продолжительности молитвы и усердию муэдзинов нетрудно было догадаться, что речь идет о богатом и знатном покойнике.

О смерти визиря скоро стало всем известно, и это была первая весть, которая хотя и исходила от Джелалии, но на которую тем не менее чаршии нечего было возразить. В общем молчании его похоронили в тот же день. На похоронах присутствовала и молилась вся чаршия, не говоря о визире ни во время погребения, ни после него ничего хорошего и ничего плохого (это была победа, которая не нуждалась в ликовании). Никто не имел ничего против того, чтобы Джелалия покаялся здесь у них в городе, на два аршина под землей, неподвижный и бессильный, с каждым днем все менее и менее похожий на человека.

Чехайя-паша еще до похорон въехал в конак, а приближенные Джелалии разбежались в разные стороны, стараясь замести следы и избежать расплаты.

Слона визирь завещал тому мулату, который его привез и все время ухаживал за ним в Травнике и которого чаршия прозвала Филфилом и ненавидела больше, чем самое животное. Визирь поручил ему перевезти слона в Стамбул и оставил необходимые для этого деньги. Но нелегко было исполнить это завещание мулату, который сам не знал, куда деваться. При таких обстоятельствах из Боснии трудно было вывезти иголку, а не то что слона, который теперь уже не принадлежал визирю. И случилось так, что всем ненавистный мулат той же ночью сбежал в неизвестном направлении, и люди в чаршии сразу нашли способ пронести в конак и подсунуть слону яд — более сильный и надежный, чем толченное стекло в яблоках.

На четвертый день после похорон Джелалии умер и слон. Он оставил свое соломенное ложе у дверей и забился в самый дальний угол. Здесь его нашли на следующее утро мертвым. И сразу же его где-то зарыли, где и как — никто не спрашивал, потому что когда чаршия избавится от какого-нибудь зла, она о нем некоторое время не упоминает в своих разговорах, и лишь позднее, когда оно войдет в предание, о нем опять заговорят, но

тогда уже как о чем-то далеком и давно прошедшем, о чем можно, смеясь, рассказывать, испытывая иные невзгоды.

Так и слон сошел в землю, как и визирь. В здешней земле есть место всякому.

* * *

Наступила первая весна без Джелалли. Страх меняет свой облик, забота — имя. Сменяются визири. Жизнь течет своим чередом. Доживает свой век империя. Угасает Травник, но в нем еще живет чаршия, как червяк в сорванном яблоке. Приходит весть, что в Боснию едет визирь Орносбег Заде Шериф Сири Селим-паша. Первые слухи о нем говорят, что это человек хороший, образованный и предки его родом из Боснии. Но кое-кто в чаршии уже озабоченно покачивает головой:

— Если он такой хороший, зачем у него такое длинное имя?

— Кто знает, брат мой, что несет с собой этот и кого он везет?

Так и живет чаршия в ожидании новых вестей и более надежных сведений. Народ страдает, шепчется и зашищается, за неимением других средств, преданиями, в которых живет его неясная, но неугасимая тоска по справедливости, по иной жизни и лучшим временам. На могиле Джелалутдина мастера воздвигают мавзолей. Каменотес вырезает надпись на его надгробном камне и уже закончил первую фразу. А по Боснии идет и по пути разрастается рассказ об Алё и слоне.



РАССКАЗ О КМЕТЕ СИМАНЕ



пальбой, какой еще не слышало ухо боснийцев, 19 августа 1878 года австрийские войска вступили в Сараево. За пальбой последовало и все остальное: кровь, трупы, полевые суды, виселицы и расстрелы, страх, неожиданные лица, новые распоряжения и порядки.

Многое изменилось и перевернулось в душах потрясенных людей, многое начало меняться в их отношениях. Случилось такое и с кметом Симо Васковичем, или попросту Симаном.

Небольшой, но хороший надел земли, на котором жил Симан с женой и двумя малолетними сыновьями, находился неподалеку от Сараева, сразу за селом Швракином. Земля принадлежала шорнику Ибраге Колошу, державшему лавку на Башчаршии, скромному мастеру из мелких землевладельцев. То ли нрава он был мирного, незлобивого, то ли просто не умел обращаться со своим кметом иначе, даже если бы и захотел, но вел он себя сравнительно с другими агами робко и осмотрительно.

Ведь называют некоторых землевладельцев в народе «добрыми господами»! Наверно, они не лучше и не добрее прочих, а просто слабее и по характеру не такие напористые и жестокие, как иные крупные землевладельцы, что сидят на шее кметов и чьи бессердечные субаши забирают с гумна кмета в счет произвольно отмеряемого хака все до последнего зерна. Разница только в том, что иногда в таком «добром» аге побеждает мудрость маленького слабого человека. Так было и с Ибрагой. Однако в нескончаемых и запутанных расчетах между ним и его кметом властвовал тот же страшный принцип, по которому один человек ест другого, того, кто отдает ему все силы и кто в каждый урожай, готовя под него почву,

вкладывает безвозвратно часть своей жизни, без всякой надежды на то, что когда-нибудь положение изменится в пользу крестьянина.

Таков был хозяин Симана и такова была его доброта.

О самом Симане тоже не скажешь, что он плохой кмет, хотя и хорошим его назвать трудно. Вернее всего, он по-своему и хорош и плох.

Другие кметы стараются отравить жизнь аге: отлынивают от работы, обманывают, тянут, пускаются на мелкие хитрости при внесении хака, то есть трети урожая зерна, половины сбора овощей и фруктов и половины укоса сена. Симан не умел хитрить, не способен был на бессмысленное упрямство. Аге он отдавал почти все, что было положено, но решительно отказывался доставлять хак на дом, в город; ни за что не соглашался, подобно другим кметам, быть кулучаром, то есть пять-шесть дней в году работать в хозяйстве аги. Вообще держался перед агой гордо, с достоинством и вел себя независимо.

Ибрага мог найти способ сбить спесь со своего кмета, однако почитал, что выгоднее ничего не замечать и получать хороший хак. Поэтому он терпел мелкие причуды кмета, считая их тем наименьшим злом, которое неминуемо, как тень, сопровождает все хорошее и полезное в мире, в том числе и положенную ему третину. Он сам ежегодно отправлялся за своей долей урожая, делая вид, что это для него забава и развлечение, и никогда не заставлял Симана выполнять домашние работы, говоря, что в этом нет надобности.

Так, без особых столкновений, жили кмет и его ага — скрытые, но непримиримые враги, как цепью, связанные землей, которая кормила их и притягивала, каждого на свой лад.

Той осенью, когда австрийские войска заняли Боснию, нередко случалось, что ага, страшась ехать в село и требовать свою долю, оставался без хака, а кмет, пользуясь общим замешательством и желая увидеть, какие будут законы «под новым царем», придерживал и свою и господскую часть.

У Ибраги положение было особое. Его кмет был, можно сказать, под боком, в часе пути от лавки, к тому же он и раньше сам ездил за своей долей. Как только в Сарраеве немного утихло и наладился какой-то порядок, он

стал наводить справки у сведущих людей и у новых властей, и все его заверили, что в отношениях между агами и кметами «пока» ничего не меняется, ага, как и прежде, пользуется правом на хак.

И вот однажды Ибрага решил съездить в свое поместье за сливами,— уродилось их в тот год видимо-невидимо, но из-за войны и всяческих перемен их еще не снимали.

Начало сентября. Солнечное утро. В саду на траве, заложив руки под голову, лежит Симан, над ним синеют сгибающиеся под тяжестью плодов ветви. Он блаженно улыбается, с головы до пят его наполняет одно чувство: все это принадлежит ему! Словно сквозь сон, доносится до него скрип калитки и голоса. Бросив в ту сторону беглый взгляд, он сразу смекает, в чем дело. Шорник приехал с работником на четырех лошадях за сливами. Симан подпускает его к себе совсем близко, прикидываясь, что ничего не видит и не слышит.

— Доброе утро, Симан!

— Воистину доброе,— отвечает Симан, не вставая.

Ибрага проводит рукой по глазам и хватается за дерево, будто земля под ним закачалась.

Смотрит ага на дерзкого кмета, который вопреки закону и обычаю не встает перед ним, и не верит своим глазам: так вот каков кмет, когда в нем исчезают смирение и почтительность и он предстает во всей своей силе и мощи.

Долго смотрел Ибрага: с тех пор как аги — аги, а кметы — кметы, такого в заводе не было. Под личиной спокойствия «добрый ага» весь кипел от злости и оскорбленной гордости собственника, между тем победила трусливая предусмотрительность: кмет явно задумал недоброе, а времена сейчас тяжелые, смутные. И, взяв себя в руки, ага сел.

— Вот приехал сливы свои прибрать,— проговорил он глухим голосом.

— Ни к чему. Сливы в порядке, а понадобится прибрать — я и сам сумею.

Завязался необычный спор. Симан чуть приподнялся, но лишь для того, чтобы прямо в лицо аге бросать слова, к которым и сам прислушивался с удивлением.

Симан и раньше нередко впадал в горестные раздумья и где-нибудь в поле или на дороге разговаривал

вполголоса сам с собой, еле приметно двигая головой и руками и шепча при этом то, что сказал бы каждый кмет, если бы вдруг произошло чудо и аги перестали быть агами, а кметы превратились бы в хозяев своей земли. (То были минуты дерзкого, но неслышного и потому безопасного бунта, когда угнетенный отводит душу и хотя бы в воображении вознаграждает себя за каждодневную муку своей серой жизни.) Да, у него бывали подобные минуты, но даже тогда он не находил таких сильных и смелых слов. Тысячи безмолвных бунтарских обличений прошлого, как тысячи потоков, слились в громогласную лавину слов. И Симан говорил.

Под ним — теплая сентябрьская земля, над головой — согнувшиеся от тяжести синих плодов ветви, а сквозь них виднеется глубокая светлая синева неба с легкими хлопьями белых облаков. Рот его полон сладостного, обжигающего напитка слов. Он и сам удивляется, откуда ему приходят в голову такие смелые слова, и каждое новое слаще прежнего. Слаще урожая, который он теперь считал своим, слаще сада со всеми деревьями от корней до макушек. Широким взмахом руки разрезает Симан осенние просторы и небо над собой, он задыхается от дерзких слов и на все вынужденно мягкие и вроде бы разумные увещевания и уговоры аги отвечает суровым и кратким «нет», которое щелкает и жжет, словно огненный бич.

(Когда из поколения в поколение, из года в год, изо дня в день один человек работает на другого, понимая, что это несправедливо, но не осмеливается не только что-либо изменить, но даже высказать свои истинные чувства, в нем как бы скапливается гнев сотен тысяч людей и десятков поколений.)

Трудно поверить, что один-единственный слог может вместить столько ярости и победного ликования. Симан несколько раз произнес свое «нет», сначала повернувшись поочередно на все четыре стороны света, а потом вскинув голову к небу, словно выстрелами из ружья оповещая весь мир о своей радости. Наконец он повернулся к аге и произнес свое «нет» тише, спокойнее, и в этой мгновенной перемене тона была какая-то особенная значительность и торжественность.

— Нет, не будет по-твоему, Ибрага.

— А как же будет? — мягко спрашивает Ибрага.

— Сам видишь, как: другие времена, другие права и закон другой.

— Это ты правильно говоришь, времена другие! На то воля божья! Но ты ведь умный человек, Симан, и хорошо знаешь, что нет и не может быть такого закона, по которому мое вдруг стало бы твоим.

Симан вскипает:

— Есть, Ибрага! Есть! Ведь твое когда-то было нашим, и только потом по какому-то там закону стало нашим. Э-гей, а раз мое могло быть твоим, значит, и то, что зовется твоим, может снова ко мне вернуться.

— Это ты, Симан, далеко зашел!

— А я могу сейчас куда захочу идти.

— Мо-о-жешь...

— Могу, Ибрага, еще как могу!

Замолчали. Каждый думает о своем. Симан — о том, что бы такое сказать еще более грубое и обидное, но не этому Ибраге — его он сейчас ни во что не ставит, да и, по совести говоря, не такой уж этот ага дурной человек, — а всем агам на земле, всему миру, который, кажется ему, наблюдает сейчас за этим извечным поединком. А Ибрага — о том, как бы уломать взбесившегося мужика, чтоб тот дал набрать хоть две корзины слив: стыдно возвращаться домой с пустыми руками. И он цедит слова сквозь зубы кротко и опасливо.

— Нет! — отвечает Симан. — Вот тебе сливы, залезай и ешь на здоровье, сколько влезет, но с собой ни одной, даже червивой, не унесешь. Не дам! Хочу посмотреть, как ты будешь возвращаться с пустыми руками оттуда, откуда всегда с полными возвращался. Это утеха и для меня, и для душ всех моих покойных родичей за четыре сотни лет.

Тут Симан захлебывается от переполняющей его гордости и замолкает. Ибрага лишь крепче стискивает зубы и еле заметно протестуяше машет рукой, сопровождая этим жестом безмолвный внутренний диалог.

Снова наступает молчание. Ибрага смотрит прямо перед собой, а у Симана все внутри кипит и бурлит, и он бросает вокруг беспокойные взгляды.

— Как же мы дальше жить будем, Симан? — нарушил молчание ага.

— Я — хорошо, а как ты — не знаю.

— Ну что же, храни тебя бог, а как быть со сливами?

— Со сливами? Как сказал, так и будет: было твое, да сплыло!

— Нельзя так, Симан, нельзя. Ты человек умный, тебе не нужно объяснять...

— Ясное дело, не нужно. Но тебе я кое-что скажу, чтобы не тянуть волынку. Так вот, четыре сотни лет вы на нас ездили, теперь мы на вас четыре сотни лет поедем, а потом поговорим, кому на ком следующие четыре сотни лет ездить.

Ибрага не дослушал до конца. Встал и, не простившись, пошел к подводам, стоявшим с работником поодаль, и они двинулись восвояси.

Пастбище, которое ага должен был пересечь, прежде чем скрыться с глаз кмета, показалось ему бесконечным, — обратный путь был гораздо длиннее, хотя сейчас дорога шла под гору. А Симан, глядя вслед аге, жалел, что так быстро закончил разговор, доставлявший ему такое удовольствие. Ему представлялось, что он выложил далеко не все, в голове роились невысказанные слова. Симан потянулся, вздохнул полной грудью и, задержав в себе сладкий воздух, выдыхал его медленно и звучно сквозь стиснутые зубы. Ему было обидно, что ага ушел: есть ли смысл в богатстве и силе, если некому их показать?!

Той осенью Симан так и не отдал аге ни трети зерна, ни половины овощей, фруктов и сена, как предписывали закон и обычай, которых он никогда до тех пор не нарушал.

Ибраге был нанесен не только материальный ущерб, его оскорбил сам поступок Симана, оскорбил и напугал, потому что кмет не удовлетворялся скандалом в сливняке.

Год выдался урожайный, хак аги остался у Симана, сбывать излишки не представляло труда — армия все покупала и за все платила. Упоенный свободой, крестьянин купил верхового коня, низкорослого, но доброго вороного, купил по дешевке: после восстания было много брошенных и отбившихся лошадей, которых барышники отдавали чуть ли не даром. Только вот сбруя на коне была деревенская — не кожаная, а пеньковая.

Однажды утром Симан с особым тщанием вычистил коня и, высокий, длинноногий, взгромоздился на него, заломив шапку и привязав к задней луке седла флягу с

ракией. Проехав весь сараевский базар, он направил вороного к лавке Ибраги. Ага сидел, скрестив ноги и согнувшись, и сверлил дырки на новой подпруге из светлой кожи.

Играет вороной, только что передние ноги на низкий прилавок не закидывает. Ибрага хмурится, но глаз от работы не поднимает. А Симан громогласно требует продать ему наборную уздечку.

Ибрага тихо отвечает, что нет у него такой уздечки и сделать ее он не берется: нужный товар весь вышел.

— Что ж, или деньги у меня поганые? — гневно спрашивает крестьянин.

— Боже упаси, только нет, добрый человек, подходящего товара.

Насилу отделался Ибрага от своего расфранченного кмета, послав его искать уздечку где-нибудь в другом месте.

Не раз проезжал Симан перед лавкой шорника, довольно ухмыляясь и гарцуя на своем вороном.

Понятно, Ибрагу возмущало это и злило: он жаловался соседям, дрожал от страха и мучился. Однако в городе становилось спокойнее да и взбесившемуся кмету надоело, видно, гарцевать перед лавкой. Постепенно и Ибрага начал успокаиваться. Затоскует, загрустит, вспомнив прежние доходы, но как посмотрит, сколько людей вокруг больше него пострадало, — и чувствует себя счастливым: как-никак и восстание пережил, и по-прежнему работает в своей лавке. А в праве своем он уверен и согласен подождать до лучших времен, тем более что голод его дому не угрожает. Да и ждать пришлось совсем недолго.

Зиму Симан провел словно в чадуге. Ракии наварил столько, сколько никогда не варил, и пил с приятелями, закусывая пшеничным хлебом, а хлеб, как все говорили, был такой вкусный, точно его для аги пекли. Подкормились домашние в ту зиму, а Симан так даже опух от ракии. В конце концов съели и долю аги. Отсеялся Симан своими семенами, но уже с Юрьева дня начал покупать хлеб. В это время он и получил первый вызов из уездного суда — «В связи с жалобой Ибраги Колоша».

Симан не очень удивился: он и раньше слышал о том, что крестьян, не выплативших хак, вызывают в суд, и еще меньше испугался: съеденное и выпитое добро Иб-

раги бурлило и переливалось в его жилах нерастраченной силой. Он даже радовался, что встретится с агой перед лицом христианского суда, и отправился в город, как на Косово поле.

Суд закончился для Симана плохо, вернее, не закончился, а был прерван. Симан пришел в бешенство, увидев рядом с судейскими чиновниками двух присяжных: мусульманина со стороны аги и христианина со стороны кмета, и во всеуслышание выразил свое возмущение. Чиновник призвал его к порядку. Тогда Симан рассказал про то, как отец Ибраги, Салих Колош, получил права на кметов, и про то, что, по его мнению, не могут кметы и при турецкой, и при христианской власти принадлежать аге! Когда же закон будет на нашей стороне?

Чиновник прочитал выдержки и из «султанского предписания» от 28 июля 1878 года, и из «военного указа 1859 года», из «рамазанского закона от 7 дня рамазана месяца 1858 года». А Симан от души хохотал над турецкими законами и отозвался о них так грубо и непристойно, что чиновник выставил его за дверь и привлек к судебной ответственности за оскорбление властей. Симан восемь дней отсидел в тюрьме. А суд тем временем вынес постановление, по которому Симан должен был возместить прошлогодний хак и впредь регулярно вносить его, потому что, пока нет новых законов, остаются в силе старые.

Симан был потрясен. Ненавистен стал ему дом, чужими казались поле и сад. Он решил подать жалобу. Для этого пришлось обратиться к учителю Алексе, доморощенному писарю и стряпчему.

В свое время Алекса служил учителем в сербской школе. Когда восемь лет назад сараевской сербской школе понадобился младший учитель, из Земуна прислали Алексу. Новый учитель был неглуп и не сторонился людей, а, напротив, отличался остроумием и общительностью, пожалуй, даже сверх меры. Члены церковно-школьного совета говорили про него, что он умен, да не разумен и нрава слишком веселого — недаром его все время тянет в кабаки, где поют да гуляют.

Невысокий блондин, краснощекий и улыбчивый, с синими глазами, в которых всегда блестели слезы умиления, новый учитель был всегда в центре трактирных забав, пикников и веселящихся компаний.

Члены сараевского муниципалитета наперед знали, что из Австрии порядочного учителя не пришлют, зачем иначе ему бросать хорошее место и ехать в этот турецкий город, где жизнь тяжела и непривычна. Поэтому они готовы были на все смотреть сквозь пальцы, но господин Алекса быстро и неудержимо превращался в горького пьяницу. «Тоскливая страна, брат...» — говорил учитель, опрокидывая очередную стопку ракии и жалуясь на среду, в которой ему приходится жить.

Но кто от тоски лечится ракией, тот не избавляется от тоски, а умирает от ракии! А что всего горше, пьянство дурно сказывалось на темпераменте и характере нового учителя: он быстро опускался, пренебрегал своими обязанностями, стал обидчив и раздражителен с господами, и через два года совет его уволил. Он заявил, что не согласен с увольнением, пригрозил подать в суд и... перейти в ислам.

Последняя угроза поразила членов муниципалитета, и они пытались отговорить его от этого нелепого шага, но безуспешно. Солидные торговцы-мусульмане несколько не обрадовались новообращенному, однако среди сабутыльников учителя и фанатичных ходжей нашлись такие, которые усмотрели в Ариф-эфенди (так теперь звали учителя) ценное приобретение для своей веры и серьезную потерю для христианства. Они обрядили учителя в шитые по всем правилам мусульманские одежды и женили на богатой вдове, в доме которой он и поселился. Только вот тратил он больше, чем давала жена, поэтому пришлось заняться ему писарским делом. В таком положении встретил он оккупацию Боснии.

Как только в город вступили австрийские войска, Ариф-эфенди исчез и появился лишь два месяца спустя, когда все успокоилось. На нем был прежний костюм à la frансе и причудливый старомодный цилиндр. Он вернул себе христианское имя и опять принялся писать крестьянам прошения, однако теперь исполнял еще одну работу, которая получила новое название «шпицл»¹, работу полицейского осведомителя. Народ называл его фискалом. Его презирали и мусульмане и христиане, но он пил все больше и дошел уже до такого состояния, когда совесть и человеческое достоинство вконец затуманиваются вин-

¹ Шпик (искажен. нем.).

ными парами и пропадают. Его в любое время можно было застать в Бесарином трактире, где он, сидя в стороне от других посетителей (вернее, те садились в стороне от него), писал или переводил с немецкого и венгерского жалобы и письма. Перед ним стоял металлический письменный прибор — чернильница, песочница и несколько перьев, а рядом — чекушка ракии, всегда наполовину пустая.

Говорил учитель с Симаном так же, как со всеми клиентами. Сначала они коротко и неприязненно справились о здоровье друг друга, а затем, не ожидая ответа, Симан спросил, сколько стоит написать жалобу.

— На сербском — сексер, на немецком — два.

— А на каком вернее? — осведомился Симан.

— Верно-то будет на обоих, но на немецком все же надежнее.

У Симана было в кармане всего три сексера, но он помнил о своей недавней неудаче. Кто знает, какой язык правда лучше понимает?

— Пиши на немецком, — сказал он решительно.

Учитель развернул бумаги и открыл чернильницу, причем делал все торжественно, с наигранным достоинством пьяницы. Писал он быстро и уверенно, аккуратным почерком, прописные буквы выводил с особым шиком — с изгибами и завитушками. Закончив, посыпал еще сырые ровные строчки золотистым песком из металлической песочницы, так что с нажимом выведенные линии отливали золотым и синим. Затем негромко, с пафосом прочитал прошение, выделяя голосом отдельные слова и непривычные выражения, каждое из которых, по его словам, бьет словно молот.

Теперь Симан и вовсе не сомневался в успехе. Выпили они с учителем по маленькой, и Симан громко хохотал над первым судебным решением.

А когда высшие инстанции отклонили апелляцию как необоснованную, Симан напился в трактире у Крешталицы, засучил рукава, ударил кулаком по столу и запел что есть мочи:

Бьет ружье из подземелья —
Не получит ага трети.

За песню он отсидел в тюрьме три дня, а за то, как отозвался об императорской власти, — еще семь дней.

С той поры Симан Васкович неудержимо покатился вниз, и чем дальше, тем стремительнее, пока совсем не спился и не бросил семью и землю.

Симан всегда слыл человеком горячего и неумного нрава, упрямства в нем было больше, чем силы, довольно значительной, а воображение было сильнее ума, тоже немало. Он был мальчишкой, когда отец говорил о нем:

«Симан мой ни в меня, ни в покойницу-мать: добрая была, прости ее, господи, кроткая, как говорится — тише воды, ниже травы. А Симан в дядьев пошел. Шурины у меня такие: быстрые на ногу, ершистые, беспокойные, все бы им бунтовать. И он такой с пеленок! Сердце у него доброе, отходчивое, парень он послушный, работающий, да разум — в облаках. Не глядит на то, что под ногами. Все его к несбыточному тянет».

Теперь Симан окончательно сбился с пути. Напрасно увещевали его соседи и кумовья, осмотрительные, трезвые люди, говоря, что умные давно поняли, а сейчас и дуракам ясно, что австрийское ружье — не то ружье, выстрела которого они ждали из подземелья, и что в новом, христианском королевстве кмет остается кметом, а ага — агой. Поэтому его поведение бессмысленно и упорство только врагов веселит. Он не соглашался с ними, не хотел признаться в своей ошибке, даже, если случалось, сознавал ее, страсть увлекала его все дальше, и он уже рисковал потерять кров над головой. Остановить его было невозможно. (Бывает так, что зреющее в массах стремление освободиться от общественного зла преждевременно вспыхивает пламенем в одном человеке и уничтожает его.) У Симана вошло в привычку, «требуя свое право», обивать пороги канцелярий, протирать штаны в сараевских кофейнях, торчать в лавках. Тяжба была для него лишь поводом. А когда наш крестьянин без нужды бросает работу и слоняется среди торгового люда — это верный признак его скорой гибели.

В следующую зиму обоих его сыновей в одну неделю унес дифтерит. И без того слабая и хворая жена высохла от горя. Симан норовил уйти из дому при малейшей возможности, находя для этого сотни причин и поводов.

На третий год Симану снова пришлось предстать перед судом. Ага обвинял его на основе восьмого параграфа того же «военного указа от 1859 года», над которым

Симан когда-то смеялся. Чиновник был новый, присяжные тоже, а закон и ага остались прежними. Уверенный в своем праве, ага был спокоен и сдержан.

Чиновник огласил восьмой параграф:

— «Если кмет плохо заботится об угодьях и без законного основания прекратит их обработку, отчего владелец будет ущемлен в своих доходах, или если каким-либо иным способом нанесет ущерб законному владельцу, или если без веской причины откажется от передачи владельцу принадлежащей ему доли, короче, если кмет нарушит договор, заключенный между ними, и владелец подаст на него жалобу, то власти, расследовав дело и убедившись на основании неопровержимых доказательств в справедливости жалобы, при отсутствии уверенности в исправлении кмета, удаляют последнего с вышеупомянутых угодий».

Вот это законы, вот это постановления! Можешь над ними смеяться, но все равно рано или поздно они по тебе ударят точно и неотвратно.

Сошлись на том, что параграф соответствует делу Симана Васковича. Кмет громко вздыхал и твердил, что нет такого закона, чтобы он, Симан, остался без крова и пошел по миру, а ага при любой власти получал треть урожая. Хотя про себя признал, что есть, ибо то, что читал чиновник, подходило к нему, как рукавица на руку. И потом, пьяный, продолжал удивляться:

— Турецкий закон! И написан, чтоб ему пусто было, давным-давно, а будто только вчера для меня сочинили.

И он с ужасом представил себе страшную сеть всемогущих законов, которая покрывает и опутывает всех и вся; вырваться из нее невозможно, распутать — нет умения, и единственное, что остается, — забыться на миг за стопкой ракии. Но ведь ракия тоже не всегда есть.

Решение властей было выполнено: у Симана отняли землю. Жена его ушла к родичам, а он превратился в бездомного бродягу.

Ни крестьянин, ни горожанин, ни батрак, ни работник — Симан слонялся по городу, спал где придется, ел что придется, работал от случая к случаю — разносил молоко и овощи. Даст ему какой-нибудь огородник корзину картошки или бидон молока на продажу и заплатит крейцер-другой за труды. Но случалось, Симан напивался, забывал обо всем и терял товар, а то и выручку про-

пивал, прежде чем хозяин успевал забрать ее. Потом стыдно людям в глаза смотреть, да поздно: готов кровь свою отдать, да хозяину нужны не кровь, а деньги. Постепенно и эту работу стали доверять ему все реже.

Симан всегда хорошо пел и играл на гуслях — и теперь начал петь по кабакам за деньги или чекушку ракии.

Сидит в кабаке и ждет, пока кто-нибудь в порыве пьяного великодушия не поднесет ему стопку ракии и не предложит разделить с ним баранью ногу да кусок пирога. Лицо его потемнело и отекло, тело высохло, его мучил кашель с мокротой, но стоило ему выпить — и он начинал горячо и страстно говорить о земле и своем праве, как говорил в тот осенний день в сливняке Ибраге.

Земля уже давно не та, реальная земля, и право не то конкретное право, за которое он боролся, а нечто гораздо более значительное и важное, только что именно — он и сам до конца не понимает. Зато реальны уездные власти, реальна тюрьма, в которой он частенько отсиживал то три, то шесть дней за неосторожное слово или за прещенную песню, реальна чахотка, медленно его подтачивающая.

Так прошло еще несколько лет, Симан Васкович по-прежнему защищал землю, которой у него не было, и боролся за свое право, которого никто за ним не признавал. Кабак, тюрьма, пьянство и болезнь — такой стала жизнь бывшего кмета Симана, нынче — бродяги и гусляра.

Все чаще выпадали дни, когда он совсем терял силы и падал духом. Но однажды в нем вновь пробудилась надежда. На самом-то деле она была беспочвенна, однако для людей, живущих надеждой и ракией, любой повод для надежды хорош.

В те дни глашатай объявил «господам и народу» о прибытии в Сараево старого эрцгерцога, «члена пресветлого императорского дома» и «царева дяди». В городе готовились к встрече высокопоставленного лица. А Симан, одурманенный ракией, увидел в приезде царева дяди «перст божий». Одна мысль о царях и царских родичах обнадеживала и пьянила сильнее ракии. Чего же проще — рассказать все дяде царя, его правой руке, человеку, который все может, и получить от него свое «пра-

во», а то, что тот должен заняться делом и решить по справедливости,— это тоже естественно. Для того и ходят царские люди по земле! Симан узнал от церковного певчего, что эрцгерцог посетит старую городскую церковь наряду с храмами других исповеданий, и решил спрятаться где-нибудь в низкой полутемной церкви, хоть под аналоем владыки, и в подходящую минуту выйти к «цареву человеку» и вручить ему прошение, а представится случай — на словах изложить свое дело. В жизни всякое бывает. И он уже видит в воображении, как эрцгерцог поворачивается к свите и приказывает без промедления исправить явную несправедливость. И вот он отправляется к Ибраге. Нет! Зачем ему идти к нему в лавку? Лучше он пойдет в свой старый дом и прикажет, чтобы его бывшего агу дальше ворот не пускали.

Размечтавшись, он едва не забыл отыскать человека, который написал бы ему прошение. Но вовремя спохватился и побежал в Бесарин трактир. Бывший учитель сидел на своем обычном месте.

На сей раз они не справлялись о здоровье друг друга и не торговались. Симан объяснил, какое ему надо прошение, учитель согласился: сексер — на сербском, два — на немецком. Симан предпочел сербский.

Для этого у него было много причин. (Он вообще никогда ничего не предпринимал без серьезных, хотя часто и противоречивых оснований.) Во-первых, в кармане у него не было полных двух сексеров; во-вторых, с тех пор как он услышал о приезде царева дяди и в голове у него не без помощи ракии затеплилась надежда, он исполнился такого оптимизма, что на сей раз даже не задавался вопросом, какой язык правда лучше понимает, не допуская мысли, что его может постигнуть неудача; в-третьих, зачем этому поганому потуреченцу давать хоть на грош больше, чем нужно?

— На сербском, за сексер, — решительно заявил Симан.

С обычными церемониями, полными важности и достоинства, посыпая золотистым песком жирно выведенные слова, каждое из которых «бьет словно молот», учитель написал прошение, начинавшееся словами: «Ваше царское величество! Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой...», негромко прочел его ошалевшему крестьянину, после чего стряхнул с бумаги песок, сложил ее и, принимая сексер, спросил:

— Выпьем по маленькой?

Зная, что учитель пьет на даровщину и лишь в редких случаях платит сам, Симан сказал, что ему некогда да и не хочется.

Тогда учитель, прищутив один глаз, поинтересовался, как думает Симан передать свое прошение. Крестьянин не был расположен откровенничать с человеком, в карман которого перекочевал его сексер, поэтому ответил, что это его забота. Учитель стал его убеждать, что все не так просто, но Симан не желал продолжать разговор.

— Птицей обернется Симан, а передаст.

И пошел вниз по круто спускающемуся длинному двору трактира. А учитель отправился в полицию сообщить кому следует об этом деле, как он сообщал обо всем, что видел и слышал.

Церковь была заперта, хотя изнутри слышались голоса женщин, там убирали и мыли полы. Чтобы не привлекать к себе внимание, Симан не стал стучать и пошел в Джуолагин трактир выпить кофе и подождать, когда можно будет незамеченным проскользнуть в церковь.

По дороге в трактир он живо представил себе, как, перехитрив служителя, спрячется куда-нибудь, хоть под аналой владыки, а когда царев дядя подойдет к иконостасу и перекрестится (ведь «они тоже крестятся»), он неожиданно выйдет и возопит, как в прошении написано:

— Ваше великое царство... с почтительной покорностью... — и протянет ему бумагу. А потом будь что будет: пусть в тюрьму сажают, ссылают... Главное, царев дядя узнает правду, которую от него, конечно, скрывают, а то, что он знает, не может не знать и сам царь. Пусть цари узнают о Симане и его правде!

Размышляя таким образом, он подошел к Джуолагину трактиру. Но не успел он сесть на скамью, такую засаленную и отполированную, что невозможно было определить, из какого она дерева сработана, как его перехватил Васо Генго по прозвищу Васо Полицай.

Был это высокий человек с необыкновенно длинными руками и ногами, весь какой-то разболтанный, с тонкими обвислыми усами на маленьком лице. Он уже давно служил «царским человеком». Сначала был привратником в прусском консульстве, затем служителем в турецком учумате, посыльным в христианских кварталах, страж-

ником. Австрийские власти оставили его на службе в полиции; несколько лет он только разносил повестки, а потом вдруг появился как заправский полицейский, в полной униформе, при сабле с медным эфесом в черных кожаных ножнах.

Симан с детских лет знал Васо Генго, а с тех пор, как затеял свою злосчастную тяжбу, тот постоянно вставал на его пути. Симан здоровался и проходил мимо, не желая признавать в нем законную власть и настоящего царского чиновника.

На этот раз Васо повел себя не как обычно.

— Ты что здесь делаешь, Симан?

— Да ничего.

— Как это ничего?

Симан открыл было рот, чтобы сказать, что это «ничего» не совсем ничего, он, мол, оставил здесь бидоны из-под молока и корзины, но Васо резко прервал его:

— Следуй за мной!

В этих словах было то неуважение и грубость, при помощи которых полиция будто невидимым ударом приводит в замешательство и обезоруживает арестантов.

Симан был не робкого десятка и умел за себя постоять, между тем, пока он пытался объяснить и сам потребовать объяснения, он с удивлением обнаружил, что шагает в ногу с полицейским и что слова тут бесильны. И чем дальше они шли, тем отношения между ними, неуклонно меняясь, становились все более определенными. Между ними появилось нечто новое, третье, что не было ни Симаном, ни Васо Генго: предписание и закон, преступление и наказание,— и все это в форме, не существовавшей в турецкие времена.

Они шли рядом, и каждый думал о своем. Васо, опасаясь, что у него недостаточно важный и суровый вид, морщился и пыжился, а Симан, замедляя шаг, стремился поймать взгляд полицейского и придать делу невинный характер.

— Эхма, дал бы ты мне работу закончить...

— Нельзя,— отвечал Васо странным, будто не своим голосом,— велено доставить к господину комиссару без промедления.

Симан, почувствовавший, что снова обрел смелость и красноречие, остановился и оскорбительно фамильярным тоном произнес:

— Знаешь, иди-ка ты своей дорогой, я и без тебя знаю, где найти господина комиссара. Ей-ей, знаю!

Васо от обиды даже побледнел. Сердитым, глухим голосом оборвал Симана:

— Не вилай, шагай куда велено... Это тебе не Турция, а Австрия, четвертый год Австрия! Забыл?

— Сам знаю. Нечего меня крестить, я и так крещеный! Австрия! Австрия! Ты, что ли, Австрия!

Тут Васо отбросил недавно усвоенные правила поведения на службе и совсем не по уставу и не «по-австрийски» надвинулся на Симана:

— Ну-ка, посмотри на меня! Так вот, для тебя я — Австрия! Понял?

— Ты — Австрия?

— Я. И знай, пикнешь — по всему городу связанным проведу. Довольно я тебя слушал, хватит!

Но тут, как бы спохватившись, что разговор очень уж смахивает на обычную боснийскую свару, Васо надулся, выпрямился, выпятил грудь так, что все складочки на мундире разгладились, вздернул усы, открыв рот с гнилыми зубами, и выпучил глаза — то есть принял выправку настоящего австрийца, какой Симан никогда не видывал у своих соотечественников. Преобразившись в мгновение ока, Васо громко и отчетливо, словно торжественное заклинание на незнакомом языке, произнес всего три слова:

— Именем закона вперед!

И Симан беспрекословно двинулся за ним.

Теперь они шагали иначе, чем раньше, — их связывал закон.

Между ними возникла неведомая им до сих пор зависимость. Казалось, они сбросили невинную и беспечную маску будничности, и из-под нее выглянуло нечто совершенно новое, с чем ни тот, ни другой в первые минуты не могли освоиться. Васо уже был не Васо Полицай, воспринимавшийся как часть городского инвентаря, а другой, незнакомый человек, строгий, суровый, опасный и неумолимый, как автомат; в каждом его движении чувствовались сила и неотвратимость стихии, от которой люди инстинктивно и тщетно стараются укрыться. И Симан был не Симан, всем известный говорун и бунтарь, предпочитающий пропивать разум по сараевским трактирам, чем мучиться с землей и хозяйством. Он стал

вдруг «именующимся Симо Васковичем», которого необходимо в кратчайший срок и кратчайшим путем доставить к шефу сараевской полиции.

Так и идут эти два человека рядом, скованные цепью закона, каждый со своими новыми мыслями и ощущениями, и исподлобья смотрят друг на друга новыми глазами.

Главная мысль Васо — достаточно ли важен и суров у него вид, как это пристало царскому полицейскому. Он надувался, хмурился, высоко вскидывал ноги, крутил саблей — словом, делал все, что мог, но ему казалось этого мало: а вдруг австрийская выправка не спасет и из-под полицейского мундира выглянет прежний Васо — нищий забитый босниец.

Симан думал сразу о многом. Он злился на закон, на власти, на весь мир и в то же время радовался, что опять вокруг него поднимается кутерьма, что снова у него будет случай поговорить о своем праве и о тяжбе с агой, но больше всего он поражался и изумлялся неожиданному превращению Васо. Если уж с Васо Генго произошло такое, что же говорить о других? Надо же, Васо Полицай — государство! Эх, видно, пришло время подыхать. Да и как жить, куда бежать и где укрыться, коли любой теперь может заявить, что он Австрия?

Но внезапно эти мысли отступили. Симан вспомнил про жалобу за поясом и вздрогнул. Начнут обыскивать, найдут эту несчастную бумагу, и тогда уж ему не отвертеться, что он хотел передать ее эрцгерцогу. Переходили как раз Латинский мост. Симан сделал вид, что поправляет пояс, а когда они сходили с моста, прислонился к ограде, будто для того, чтобы перепоясаться, и быстро, но неуклюже бросил бумагу в реку. (Деревенская неповоротливость — самое уязвимое место в постоянной, то явной, то скрытой борьбе крестьян с городом и горожанами.)

Бумага, развернувшись на лету, плавала в неподвижном мелководье. Васо обежал ограду и с невысокой стены прыгнул в воду, которая едва доходила ему до щиколоток. Симан бросился за ним, догнал его, и их руки сплелись над намочшей бумагой и разорвали ее пополам.

Когда, отряхиваясь и ворча, они вылезли на дорогу, Симан в сердцах бросил свой кусок прошения, Васо подобрал его, и они двинулись дальше, к Бистрику.

Васо не спускал глаз с крестьянина. А Симана была дрожь: остатки разума, слепая сила слились в нем в бешеное упрямство, в отчаянную решимость бороться и сопротивляться до конца. Он ничего не слышал, не видел, не чувствовал, казалось, он не ощутил бы боли, если бы его начали резать по живому. Симан шагал впереди и так быстро, словно не его вели, а он вел. Перед глазами сверкал огнями Бистрик; бесчисленные окна высокого дома Генда, где теперь помещался полицейский комиссариат, блестели и переливались, словно река, в которую ему предстояло прыгнуть и либо выплыть, либо потонуть.

Больше часа ждали они в длинном коридоре. Мимо пробегали чиновники в мундирах и в штатском с бумагами под мышкой; шнырял толстый служитель Пешо. И никто не только слова не сказал Симану, но даже не взглянул на него.

Ожидание в коридорах полиции способно сломить и подорвать волю и у более волевых и терпеливых людей, чем Симан.

По тому, сколько его заставляли ждать, Симан догадался, что его поведут к самому комиссару. Комиссара, всем известного господина Косту Хёрмана, он знал и лично, однажды его уже приводили к нему. Это случилось после первого решения суда, когда Симан был еще полон сил. Комиссар вызвал его и строго предупредил, чтобы он не трогал Ибрагу, так как это запрещено законом, а об их тяжбе «высшие власти скажут свое слово». Высшие власти сказали свое слово, и тогда Симан узнал, что господин Коста приятель аги.

Наконец Симана ввели к комиссару.

В тот раз он получал нагоняй где-то в прихожей, так сказать, на ходу. А теперь его провели прямо в кабинет комиссара, просторный, светлый, застланный коврами, уставленный мебелью, какой Симан никогда в жизни не видывал, с развешанными по стенам и стоящими на столе диковинными приспособлениями, назначения и происхождения которых он не мог понять. А кругом чистота и порядок, вселяющие в душу страх и смятение. Симан не знал, куда деть руки и ноги, он с изумлением смотрел на свои огромные заскорузлые опанки, лицо его горело; больше всего хотелось ему услышать, что его привели сюда по ошибке, его надо отвести в канцелярию попроще.

Из-за своей глупой привычки смешивать важное с неважным и неумения отличать главное от второстепенного Симан думал сейчас только об этой сказочной, неземной чистоте и изумительном порядке. «Рай на земле, барская жизнь!— размышлял Симан.— Вот это Австрия!» И он бросил быстрый презрительный взгляд на долговязого Васо Генго, застывшего у дверей по стойке «смирно».

За столом в темном мундире сидел Коста Хёрман. Он не кричал, даже пальцем не пошевелил. Лицо спокойное, белое, с легким румянцем на щеках, волосы густые, усы тоже густые и короткие. Сквозь пенсне светятся темно-синие глаза, но, когда комиссар задает вопрос, их цвет меняется, сливаясь с отблеском верхней грани стекол, и взгляд становится острым, непостижимо спокойным и пронзительным.

— Значит, ты не хочешь уgomониться?— строго спросил комиссар, окидывая его этим своим взглядом ожившего стекла и остекленевших глаз.

Оказывается, про Симана ему все было известно: и как тот потерял дом и землю, как пьянствовал и бродяжничал, продолжая тяжбу с агой, хотя дело решено окончательно и бесповоротно, и как вот теперь вознамерился даже высочайших лиц беспокоить своими неуместными и необоснованными просьбами. Словом, Симан, по его мнению, на плохом пути и если не одумается и не возьмется за какое-нибудь дело, то плохо кончит.

Как только комиссар упомянул о тяжбе, Симан забыл о своем смущении и заговорил горячо и страстно.

— Ну чего тебе надо, ведь все решено по закону,— корил его комиссар.

— Пока человек жив, все можно перерешить!

Комиссар положил руку на руку и с любопытством поглядел на кипятившегося мужика-великана, не замечавшего, что его дразнят и раззадоривают, словно подопытное животное.

— Ты знаешь, что есть царский указ...

— Честь и хвала царю и царскому указу,— с фальшивой напыщенностью перебил его Симан и чуть приподнял шапку, которую держал в руках.

— По этому указу тебя и судили...

— Нет, господин, меня судили по турецким законам. И кто судил? Джюлага Маглайлич, такой же турок, как и мой ага...

— А трое присяжных! Один из них Анте Перишич, человек...

— Да, Анте Перишич, только он не человек и никогда им не был.

— Ну хорошо, там был серб Коста Чук.

— И Вук Бранкович был серб, однако царя на Косове он предал.

Комиссар не смог сдержать улыбки, блеснувшей не на губах, а скорее в стеклах пенсне.

— Неужто так, Симан?

— Да уж лучше бы не так, да ничего не попишешь — так.

Симан входил в раж все больше, а комиссар все спокойнее и веселей подогревал его своими вопросами.

Допросив его хорошенько, хотя и обиняками, Хёрман должен был признать, что и в данном случае речь идет об одной из «фантазий» пьяницы, однако решил на время, пока не пройдут торжества и высокие гости не уедут, задержать Симана. Подозрение легко западает в голову австрийского полицейского. В сущности, оно даже не западает, оно постоянно там — почти всегда начеку, а если чуть задремлет, то только на одно ухо и на один глаз, чтобы даже самый незначительный шум, будь то шорох крыльев мотылька, заставил его встрепенуться, и даже если ничто не тревожит его покоя, оно время от времени само просыпается от тишины, которая кажется сомнительной. А потому австрийский чиновник всегда в своих действиях склоняется к тому, что проще и безопаснее для него и его служебных интересов, но хуже и тяжелее для человека, взятого под подозрение.

Правительственный комиссар встал и добродушно объявил Симану, что дня два-три ему придется провести в полиции.

Сначала Симан возмутился, а потом попросил отпустить его.

— Нельзя, Симан, ведь у тебя привычка выскакивать перед высокими особами, не дай бог, кони царские испугаются такого великана. Так и для тебя лучше будет.

Говорилось как будто в шутку, а Симан тем не менее три дня отсидел и только после отъезда высоких гостей был выпущен на свободу.

Так развеялась последняя иллюзия Симана, и жизнь его стала еще чернее, тягостнее и беспорядочней. Вскоре

он всем надоел со своими вечными разговорами о земле, о хаке, о турецких земельных законах и австрийских постановлениях, названия, номера и даты которых он знал на память. Люди считали его несчастным, пропащим человеком, помешавшимся на земле, и бежали от него, как только он вынимал из сумки потемневшие, истрепанные на сгибах судебные постановления и решения, жалобы и прошения.

А жить надо было, хотя бы и нищенски. И Симан с трудом и не скоро научился молчать о самом главном и дорогом для себя и петь под гусли то, чего требовали люди, за что они платили. Зарабатывая на хлеб пением, он все больше удалялся от центральных улиц и кофеен, куда теперь пришли новые люди, и предпочитал окраинные кварталы.

Недалеко от Сараева в узком и изогнутом каньоне Миляцки, на большаке, ведущем на восток, есть Козий мост, красивый длинный однопролетный каменный мост.

На правом берегу реки возле этого моста находится знаменитая придорожная корчма с террасой над рекой, конюшнями и кузницей, перед которыми всегда стоят повозки и лошади. А на другом берегу, немного в стороне от реки, приютилась белая кофейня с садом, спускающимся к воде.

Здесь сараевские ремесленники часто устраивали пикники. С апреля и по самый октябрь сюда приходили посидеть в холодке за стопкой ракии на лужайке у реки, послушать песни и игру на гусях сараевские пьяницы, причем самые горькие, которых неизвестно почему привлекало это место между крутыми берегами, где солнце рано заходит и поздно встает и откуда не открывается взору никаких красот.

В летние вечера на террасе кофейни всегда можно было видеть исхудалое смуглое лицо и крупную, согбенную фигуру Симо Васковича, бывшего кмета Ибраги и земледельца. Обычно он сидел у самой стены, надрывно кашлял и сплевывал в реку. «Этот дальше осени не протянет», — говорил корчмарь слуге, разгоняя перед собой дым от очага и кивая на чахоточного Симана. А Симан, ни на кого не глядя, ждет, когда ему закажут песню. Из сумки, лежащей рядом, выглядывают гусли. Песню обыч-

но заказывал тот, кого первым пронимала ракия, а заодно он требовал мяса и ракии для гусяра.

На террасе сидел еще один завсегдатай, некто Салих-бег Хасимбегович. Родом из Маглая, он с прошлого года жил у сестры, которая замужем за одним из бегов Бабичей, и от ее щедрот допивал свои последние стопки ракии. Это был конченный человек — без дома и хозяйства, горький пропойца, когда-то знаменитый игрок в кости, давно изгнанный из беговского общества. Половину своего состояния он промотал за двадцать пять лет до австрийской оккупации, а вторую, большую половину, — за пять-шесть лет после оккупации, принесшей с собой рестораны, танцовщиц и прочие развлечения и соблазны. Толстый, с короткой шеей, багровым лицом, гнилыми зубами и всегда влажными, налитыми кровью глазами, он доживал свои дни на Козьем мосту, часто оставаясь здесь по два-три дня кряду. «Каждый день жду, что его удар хватит и он скovyрнется», — говорил слуге корчмарь, склонный к мрачным и зловещим предсказаниям.

Порой в корчме у моста сидят только Салих-бег и Симан. Кто приходит сюда лишь по праздникам, кто по вечерам или в хорошую погоду, а эти двое — здесь почти безотлучно. Трезвые, они сторонятся друг друга и сидят в разных концах террасы. Симан беспокожно ерзает на стуле, перебирает какие-то бумаги в кожаной сумке или громко кашляет, а бег сидит неподвижно, никого не видит и не слышит, ни в ком не нуждается.

Завернет прохожий, опрокинет стопку и пойдет своей дорогой.

Трудно сказать, кто из них заговорил первый, как получилось, что между ними завязался разговор и Симан подсел к бегу. Все это сделала ракия.

Чуть оживившись, но по-прежнему сдержанный и невозмутимый, Салих-бег говорил:

— Давай-ка нашу, пограничную!

Симан шел за сумкой, будто по собственной охоте. Пел он негромко, подыгрывая себе на гусях, а кончив, долго молча смотрел на струны.

Бег обращался к корчмарю:

— Подай-ка мне стопку ракии!.. И ему тоже!

А осушив, велел подать еще и уже не отделял Симана от себя.

— Подай две!

Бег снова просит Симана спеть. Симан поет. Стопки перед ними пустые. После третьей Симан сам затягивает песню о Смаил-аге Ченгиче. Бег вспыхивает.

— Эх, вот это да, вот это хорошо! Но смотри, если со Смаил-агой беда какая приключится, не сносить тебе головы!

Бег любил угрожать, хотя, конечно, все его угрозы оставались только на словах, как это бывает с угрозами, клятвами и обещаниями горьких пьяниц.

Так они пили и пели. Давно опустилась темнота. В перерывах между песнями они вели путанные беседы — то громко, то приглушенным шепотом. Случалось, Салих-бег вспоминал, что он бег, резко обрывал крестьянина и переводил разговор на другое. Но чаще он так напивался, что ни век поднять не мог, ни пошевеливать отяжелевшим языком. Симан был крепче, на него ракия действовала иначе. Счастливый от сознания, что перед ним мертвецки пьяный человек, который не убежит и должен будет выслушать его, Симан тихо рассказывал ослепшему, онемевшему, одурманенному ракией собеседнику:

— Все считают меня дураком и пропащим человеком. Знаю. Но я знаю и другое. Помню, я еще мальчонкой был, кочет у нас жил, большущий, а по голосу не было ему равных в округе! Правда, был у него один изъян, оттого и сложил голову допрежь времени: кукарекал он на целый час раньше других петухов и криком своим будил всех домашних. Надоело это отцу, и в один прекрасный день он сказал: «Хоть и мил он мне, а покоя от него нет», — и велел зарезать петуха. Вот и я, слышь, вроде того кочета...

Бег, закрыв глаза, жевал беззубым ртом и издавал звуки, похожие не то на зубовой скрежет, не то на храп.

А Симан, подчиняясь неодолимой потребности высказать все, что накопилось на сердце, хоть кому-нибудь, пусть даже этой полумертвой колоде, продолжал:

— Все мне твердят: не надо было говорить и делать то, что я говорил и делал, не время, мол, лучше молчать, набрав в рот воды, да делать свое дело. Кто его знает, может, и так. Но вижу я, что выходит-то по моим словам: умерло право аги и родилось кметовское! Никто только этого еще не видит, а я вижу!

Крестьянин нагнулся к бегу и, как бы поверяя ему важную тайну и тем оказывая большую честь, мягко, с достоинством продолжал:

— Знаешь, Салих-бег, я тебя уважаю, как друга и товарища уважаю! Уважаю! И пусть меня бог накажет, ежели я тебя обижу чем или забуду твой хлеб-соль. Сохрани бог! Уважаю! А все же с кметовским правом и с хаком неладно у нас, несправедливо, и так долго не протянется. Сегодня Симан — бездомный бродяга, нет у него ни земли, ни дома, люди от него отворачиваются, всякая мразь над ним смеется. Васо Генго командует, плешивый Хусо гонит не только из канцелярии, но и из суда. Мешаю я ему, видишь ли. Запрещается, говорит. Эхма, «запрещается»! А я вот опять, Салих-бег, не в обиду тебе скажу: у Симана есть право, есть, только вот малость ошибся он, раньше срока прокукарекал. Обманул меня сукин сын шваб! А право у Симана есть! Есть!

Крестьянин отодвинулся от бега, скрипнул зубами, ударил ладонью по столу и, задыхаясь от тяжелого чахоточного кашля, низким голосом, словно пел под гусли, заговорил снова:

— Есть, Салих-бег, поверь, есть! Ладно, пускай я дурак и пропащий человек. Пускай! После меня придут люди лучше и умнее, и они-то уж сведут счеты с агами и судьями, так что и им не сладко придется. Мне не дожидаться этого, но я твердо знаю и вижу, вот как эту ракию несчастную, что стоит передо мной: придет день, когда аги и беги будут, как я, топтаться перед канцеляриями с прошениями и законами в суме, и никто не станет читать их бумажки и даже разговаривать с ними не захочет. Люди будут смеяться над ними, как сейчас надо мной смеются. Только этот смех будет громче и сильнее: от него вся Босния затрясется. От меня к тому времени останется горсть костей, меня не будет, но лучших поминок мне не надо, тогда я оживу, а сейчас я мертвый.

И Симан разглагольствовал о том, чего никогда не было и, как говорят люди, быть не может, но что все же должно быть. То были смелые, бунтарские мысли, днем они не приходят в голову и их не высказывают вслух; сейчас же в этом глухом углу, над обмелевшей рекой, чье журчание едва слышалось, в крестьянине словно не ракия говорила, а сама правда, красноречивая, прозорливая и бесстрашная правда глубокой ночной поры.

И Симану было приятно, что он не боится высказать ее в лицо самому бегу, пусть и полумертвому от ракии. Иногда бег бывал и не настолько пьян, как казалось, и сквозь пьяный шум и туман в голове до него доходило если не все, то по крайней мере главное. Мало-помалу в нем вскипало яростное негодование, однако язык не повиновался и ноги не слушались, он только шевелил справа налево указательным пальцем и этим едва заметным жестом как бы отвергал то, что слышал. На большее он был не способен, но хоть таким образом давал понять мужику, что не согласен с ним.

Наступала ночь. Все умолкало, гас свет, и только осколок словно стеклянной и умытой луны светил еще некоторое время над мрачной котловиной.

Хозяин закрывал ставни на окнах, запирал двери и укладывался спать; бега и Симана, получив с них за выпитое, он оставлял на террасе у реки, как людей без угла и крова, с которыми можно особенно не церемониться и которые скоро — один раньше, другой позже — кончат свой век где-нибудь на скамейке, прислонившись к стене трактира.



СТАЧКА НА КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ



стачка на государственной ковровой фабрике скорее напоминала репетицию; начатая без настоящего плана и должной подготовки, она и не могла закончиться удачей, однако даже своими ошибками принесла пользу забастовке, которая была позже организована на табачной фабрике.

У ковровщиц началось так.

Восемьдесят женщин с левого берега Миляцки, где и располагалась ткацкая фабрика, получали столь мало и мысль об увеличении заработка была для них столь заманчивой, что их и не понадобилось уговаривать добиваться надбавки.

Весело и откровенно высказали они свои требования, а когда их отказались принять, то вдохновенные и горячие, но неумелые руководители сразу же подняли ковровщиц на стачку, которая при отсутствии опыта и средств не могла окончиться победой. Работницы начали стачку, в большинстве своем ничего не зная о смысле и формах такого рода борьбы. В первый же день пятнадцать человек из них не вышли на работу.

На другой день власти приказали директору созвать работниц на переговоры. Собрались все. И тогда, вместо каких бы то ни было переговоров, у входа на фабрику появилась группа полицейских. Один из них вошел внутрь и по заранее составленному списку прочитал фамилии пятнадцати работниц, приказав этим женщинам следовать за ним в полицию, прочим же было сказано, что до них тоже дойдет черед, если они не встанут на работу. Воцарилось испуганное молчание. Даже директор был поражен. Работницы удивленно и беспомощно переглядывались. Казалось, дело закончится без шума, без единого слова протеста, но тут одна из пожилых женщин, имени которой не было в полицейском списке, выкрикнула:

— Вы нас позвали договариваться, а сами обманом арестовываете. Позор!

И вдруг ее поддержали все: названные и неназванные, даже кое-кто из тех, кто вчера работал, стали кричать и размахивать руками:

— Позор!

— Вы нас обманули!

— Отпустите наших товарок!

Маленькая женщина, с вздернутым носом и огромными веселыми глазами, в которых одновременно сверкали слезы, вышла из толпы, поднялась на первую ступеньку и, размахивая по-дирижерски руками, призывно воскликнула:

— Вон полицию!

За все время своего существования это здание не слышало такого оглушительного шума, какой потряс сейчас его стены.

Измощенные, побледневшие от волнения женщины не могли насладиться новым чудесным словом, которое они произносили впервые:

— Вон! Вон! Вон!

Казалось, будто перед каждой из них, когда она выкрикивала это слово, распаивалась дверь, за которой таилось самое заветное, и поэтому женщины стремились повторить его еще и еще, чтобы дверь подольше оставалась распахнутой, чтобы можно было подольше видеть страну своих грез.

Неожиданная смелость работниц, сила их протеста смутила полицейских. Однако им удалось вывести пятнадцать арестованных женщин и отправить их в полицейскую тюрьму под гневные возгласы остальных:

— Вон, вон, вон полицию!

На другой день на работу вышло всего четыре женщины. Директору пришлось отослать их домой.

Арестанток выпустили из тюрьмы через два дня и сразу же взяли пятнадцать других. Было сказано, что таким образом всех пересажают по очереди, пока они не приступят к работе.

В тюрьме женщины держались храбро. Они целыми днями пели. Окрестные улицы звенели от их голосов. Надзиратели ругались, дело доходило и до оплеух. Некоторых сажали в отдельную камеру без окошка с жест-

ким лежаком, носившую название «дункль»¹. Но и это не помогло, потому что остальные пели еще громче, чтобы песней утешить подруг, попавших в дункль.

На улице собирались люди послушать, как поют арестованные ковровщицы. Полиция разгоняла толпу, и тогда начинались новые аресты, но люди не расходились, скапливаясь в другом месте, чуть подальше.

В канцелярии полицейского управления напряжение росло. Его шеф Котас, огромный мужчина с черной, расчесанной надвое, как у императора Франца Иосифа, бородой, был вне себя от ярости. Он приказал любой ценой прекратить пение, долетавшее из тюрьмы невыносимым воплем, мешавшее ему работать и позорившее его перед посетителями.

А работницы пели. Короткие паузы не приносили отдохновения, потому что их заполняло нервное ожидание новой песни.

Не зная еще никаких боевых песен, ковровщицы пели самые обычные: про женскую долю, про любовь, которыми так богаты бедняцкие лачуги по всей Боснии. Главное — не молчать, не позволять себе умолкнуть.

Взбешенный Котас вызвал своего помощника Бараньского и потребовал перевести ему одну из песен, чтоб по крайней мере знать, о чем они поют, если уж нет возможности заставить их замолчать.

В канцеляриях поднялась суматоха. Чиновники перешептывались и совещались. Советовались с местными «уроженцами», вплоть до служителей. В конце концов кое-как удалось перевести две севдалинки на немецкий, тот немецкий язык, на котором говорили и писали в боснийских канцеляриях.

Дворянин Владимир Бараньский был до крайности огорчен, что ему выпало на долю объяснять шефу текст песен. Он принадлежал к высшим чиновничьим кругам Сараева, считался образцом элегантности и отменных манер. Отец его слыл известным мадьяроном и занимал высокий пост в Загребе во времена бана Куэна-Хедервари.

Высокий, худой, с моноклем в левом глазу, который сейчас непрерывно выскальзывал, Бараньский еще раз поправил галстук, нервно вынул монокль, прокашлялся

¹ Темная (нем.).

и, дважды постучав особо почтительным и подобострастным образом, вошел в кабинет шефа, держа в руках двойной лист голубой канцелярской бумаги.

— Ну что, перевели наконец эту премудрость? — резко спросил тот.

— Извольте, господин начальник, перевели, то есть насколько возможно такое... перевести, перевели...

— Дайте сюда!

Переломившись пополам, Бараньский склонился над шефом, утонувшим в глубоком кресле, и со смущением, граничившим со стыдом, начал читать перевод боснийской севдалинки.

В переводе, который он читал, четыре изуродованные строчки звучали жалко и убого. Это была сухая официальная проза, рожденная совместными усилиями полицейских чиновников, неловко, шиворот-навыворот переведенная на немецкий или, лучше сказать, бюрократический язык австрийских властей, и походила она бог знает на что, только не на песню.

Выслушав четвертую строчку, шеф вспыхнул и резким жестом прервал Бараньского:

— Глупости!

Он в сердцах вскочил с места и заорал, как орут офицеры перед строем. Он расхаживал по комнате и скандировал в такт каждому шагу:

— Это слишком глупо! Или вы не способны перевести эту глупую песню, и тогда я не знаю, зачем вы вообще здесь, или они в самом деле поют то, что здесь написано, и тогда... тогда... тогда я действительно не знаю, что думать.

Бараньский стоял как на эшафоте; его худое бледное лицо покрылось красными пятнами, он опустил глаза в землю, словно он отвечал за все и был виновен в том, что его земляки сочиняют и распевают подобные вещи. Впрочем, в глубине души он и впрямь испытывал стыд и чувствовал свое ничтожество перед этим сильным человеком с громким голосом, надменным взглядом, повелительными жестами, чье высокомерие казалось ему столь естественным и столь недостижимым.

Бараньский и сам не помнил, как он вышел из кабинета, исчез вместе со своей голубой бумагой и жалкими севдалинками, испарился, как испаряется на солнце влага. Ему требовалось время, чтоб собраться с мыслями —

таким он чувствовал себя мелким, измятым и несчастным. У себя в кабинете он протер руки и лицо одеколоном, прошелся щеткой по гладким блестящим волосам, подпер веко моноклем, выбрал сигарету и закурил. Отбросив широким непринужденным движением потухшую спичку и выпустив под потолок первые кольца дыма, он снова обрел манеры светского человека, которому завидовали сараевские богачи, многие чиновники и даже некоторые офицеры.

Когда кто-то из младших служащих вошел к нему, ступая осторожно и бесшумно, как он сам входил к шефу, Бараньский молча одним из своих смелых широких жестов вернул ему листок голубой бумаги. Учтиво улыбаясь, чиновник осмелился полюбопытствовать, что сказало начальство, и Бараньский небрежным тоном, не выпуская изо рта сигареты, ответил:

— Что можно на это сказать? Глупости! Слишком глупо!

Чиновник вышел, восхищаясь уверенностью, легкостью и элегантностью, которые сквозили в каждом жесте Бараньского, завидуя его столь естественному и столь недостижимому высокомерию.

А Котас продолжал шагать по своему кабинету. Он находился в том особом состоянии раздражения, в которое время от времени приводила его эта страна и контакты с ее обитателями. События, возмущавшие шефа, лишавшие его барственного спокойствия, были незначительны, но эти неразумные, детские поступки, это пение фабричных работниц, которых втянули в «глупую и бессмысленную историю, называемую стачкой», — все это он воспринимал как личное оскорбление. Сильный, гордый и тупой, как бык, бездумно опираясь на закон и мощь великого государства с его незыблемым порядком, он так или иначе находил выход из ситуаций, с которыми ему приходилось иметь дело как начальнику сараевской полиции: с бесчисленными драками, убийствами, мошенничеством, кражами, самыми тяжкими преступлениями. Однако легкомыслие, с каким боснийцы подчас обходили законы, предписания и нарушали основные принципы общественного порядка, словно их несла неведомая сила и они сами не ведали, что творят, мгновенное забвение всякого почтения и отсутствие всякого страха рождали в нем бессильную ярость. Что предпринять против

людей, ежели они не останавливаются ни перед чем, сами себя не щадят, не ищут и не ожидают от других ни пощады, ни снисхождения? Он называл это боснийским анархизмом. И где-то в глубине его суровой чиновничьей души возникало чувство какого-то особенного трепета, трепета, который до невероятия походил на страх, который, по существу, и был страхом, он только не смел его так называть, убежденный, что страха не ведает, ибо, согласно кодексу своего сословия, не смел его ведать. Тем более шумными были негодование и ярость, которыми он стремился перед самим собой прикрыть и запрятать поглубже это свое новое чувство.

Быстро и сердито шагал Котас по кабинету: поскрипывали башмаки, потрескивала кожа кавалерийских брюк, на выпяченной груди подрагивал крест за заслуги. А работницы в тюрьме после короткой передышки печальными альтами пели непонятные протяжные песни, подряд, одну за другой, одну за другой. Их двойной рефрен колотил его по мозгам, глубокий, протяжный, торжественный, как хорал.

Он шагал по кабинету как разъяренный бык, а из камеры через двор лилась песня и с нею то разрушающее, безумное и низкое, но вместе с тем опасное и непонятное, что он видел в этих людях и что вызывало у него бессильную злобу и бесконечное презрение. Он шагал, охваченный гневом, чувствуя, что в нем все кипит и клокочет, что чаша терпения вот-вот переполнится.

А в Сараеве прохожие звали друг друга:

— Пошли к полиции, послушаем, как ковровщицы поют.

Вот так безграмотные, бедно одетые и малокровные ковровщицы с Бистрика и Бабича-Башты бросили вызов своим сильным противникам, били их чем могли и как умели, боролись за улучшение своей жизни. Вот таким странным образом проходила первая стачка в Сараеве.



ПИСЬМО, ДАТИРОВАННОЕ 1920 ГОДОМ



арт 1920 года. Станция Славонски-Брод. После полуночи. Неизвестно откуда дует ветер, и невыспавшимся и усталым пассажирам он кажется холоднее и сильнее, чем на самом деле. В вышине, среди рваных облаков, проплывают звезды. Вдали то быстрее, то медленнее движутся по невидимым рельсам желтые и красные огни, сопровождаемые пронзительными свистками или протяжными паровозными гудками, которым измученные путешественники приписывают свою меланхолию и скуку бесконечного томительного ожидания.

Мы сидим на чемоданах перед зданием вокзала у первого пути и ждем поезда, не зная ни времени его прибытия, ни времени отправления; известно только, что он придет битком набитый людьми и багажом.

Рядом со мной сидит мой давнишний знакомый и друг, которого я последние пять-шесть лет почти не видел. Его зовут Макс Левенфельд, он врач и сын врача. Родился и вырос в Сараеве. Отец его совсем молодым человеком уехал из Вены и поселился в Сараеве, где приобрел большую практику. По происхождению он из евреев, давно принявших христианство. Мать моего приятеля родом из Триеста. Она была дочерью итальянской баронессы и офицера австрийского флота, потомка французских эмигрантов. Два поколения сараевских жителей до сих пор вспоминают ее манеру держаться, походку, умение одеваться. Она была из тех женщин, чья красота внушает невольное уважение даже самым примитивным или бесцеремонным людям.

Мы вместе учились в сараевской гимназии, только он был на три класса старше, что в школьные годы много значит.

Смутно припоминаю, что заметил я его сразу, как пришел в гимназию. Он тогда учился в четвертом классе, но одевали его еще по-детски. Крепкий, здоровый «немчик» в темно-синем матросском костюмчике с короткими штанишками, с вышитыми по углам широкого воротника якорями. На ногах — новенькие черные туфли и короткие белые носки. Голые икры, всегда розовые, были уже покрыты светлым пушком.

Тогда между нами не было, да и не могло быть близости. Нас разделяло все — возраст, внешний вид, привычки, общественное и имущественное положение родителей.

Гораздо лучше я помню то время, когда я был в пятом, а он в восьмом классе. Тогда это был сильно вытянувшийся подросток с голубыми глазами, выдававшими необычайную восприимчивость и живость ума, одетый хорошо, но небрежно, с растрепанными светлыми волосами, которые то и дело падали густыми прямыми прядями то на одну, то на другую щеку. Мы встретились и подружились во время одного из споров, затеянных в парке нашими товарищами из старших классов.

Наши гимназические споры не имели ни границ, ни авторитетов, мы посягали на все принципы, до основания сотрясали словесной взрывчаткой все философские системы. Все, разумеется, оставалось на своих местах, но нам самим наши страстные речи казались решающими для нас и нашего будущего, они предвещали наши великие подвиги и грядущие метания.

После одной оживленной дискуссии я, трепещущий от возбуждения и уверенный в своем триумфе (впрочем, точно так же, как и мой оппонент), направился домой. Макс присоединился ко мне. Впервые мы остались вдвоем. Мне это льстило, поднимало меня в собственных глазах и поддерживало мое упоение победой. Он расспрашивал меня о книгах, которые я читаю, и смотрел на меня внимательно, точно видел впервые в жизни. Я отвечал, сильно взволнованный. Вдруг он остановился, посмотрел мне прямо в глаза и совершенно спокойно сказал:

— Знаешь, я хотел тебе заметить, что ты неточно цитировал Эрнста Геккеля.

Я почувствовал, что краснею. Земля медленно уходила у меня из-под ног, потом вернулась на свое место.

Конечно, я цитировал неточно, я запомнил цитату по какой-то дешевой брошюре, да к тому же, наверное, в плохом переводе. Весь мой триумф перешел в чувство стыда и угрызение совести. Светлые голубые глаза Макса смотрели на меня без жалости, но и без малейшего злорадства или чувства превосходства. Макс повторил злосчастную цитату в ее подлинном виде. А когда мы дошли до красивого дома его родителей на берегу Миляцки, он крепко пожал мне руку и пригласил меня завтра после обеда зайти к нему, посмотреть книги.

Вечер следующего дня стал для меня событием. Впервые в жизни я увидел настоящую библиотеку, и мне словно открылась моя будущая судьба. У Макса было много книг на немецком языке, кое-какие французские и итальянские книги, принадлежавшие его матери. Он показывал их мне спокойно, и его невозмутимость вызывала у меня еще большую зависть, чем сами книги. Это даже была не зависть, а безграничная радость и желание в один прекрасный день вот так же свободно возвращаться в мире книг, от которых, как мне казалось, исходили свет и тепло. Макс и говорил точно читал, и чувствовал себя уверенно в мире славных имен и великих идей, а я дрожал от волнения, от ощущения своей ничтожности перед великанами, в чей мир я входил, опасаясь неминуемого возвращения в жизнь, которую я оставил за порогом.

Мои вечерние визиты к старшему товарищу становились все более частыми. Я быстро совершенствовался в немецком языке, начал читать по-итальянски. И домой, в свою бедную квартирку, я стал приносить эти книги в красивых переплетах. Школу я запустил. Все, что читал, казалось мне святой истиной, которую я воспринимал как свой высший обет, изменить которому, не потеряв уважения к себе и веру в себя, было невозможно. Я знал одно: все это надо читать и самому писать подобные же вещи. Ни о какой другой жизненной цели я и не помышлял.

Особенно мне запомнился один день. Это было в мае. Макс готовился к выпускным экзаменам без волнения и без сколько-нибудь заметного напряжения. Он подвел меня к маленькому, отдельно стоящему шкафу, на котором золотом было написано «Helios Klassiker-Ausgaben». Помню, он сказал мне, что шкаф куплен вместе с

книгами. Даже сам шкаф показался мне святыней, дерево его словно излучало свет. Макс достал томик Гете и начал читать «Прометей».

Он читал стихи каким-то новым, показавшимся мне незнакомым голосом, и видно было, что он читал их уже бесчисленное количество раз.

Закрой свое небо, Зевс,
Парами туч!
Мальчишествуй,
Сшибая, как репы,
Дубы и гребни гор!
О, только бы моя земля
Стояла крепко,
И хижина, что выстроил не ты,
И мой очаг,
Что я воспламенил —
Тебе на зависть.

В конце каждой строки он равномерно, но сильно ударял по ручке кресла, на котором сидел; волосы падали по обе стороны его раскрасневшегося лица.

Здесь я творю людей
По своему подобию —
Род, на меня похожий,
Пусть страждут, пусть плачут,
Пусть знают радость и наслажденье
И тебя презирают,
Как я¹.

Таким я его видел впервые. Я слушал его с удивлением и даже с некоторым страхом. Потом мы вышли на улицу и там, в теплом сумраке, продолжали разговор о прочитанном стихотворении. Макс проводил меня до моей поднимавшейся в гору улочки, потом я проводил его до берега, снова он меня, потом я его. Стемнело. Прохожие все реже попадались на улицах, а мы все шагали туда и обратно той же дорогой, рассуждая о смысле жизни, о происхождении богов и людей. Особенно мне запомнилось одно мгновение. Когда мы в первый раз дошли до моей неприглядной улицы и остановились подле какого-то покосившегося серого забора, Макс странным жестом вытянул перед собой левую руку и как-то тепло, доверительно произнес:

— А знаешь, я атеист.

¹ Перевод А. Кочеткова.

Над завалившимся забором цвела разросшаяся бузина, распространяя сильный, тяжелый аромат, казавшийся мне запахом самой жизни. Стояла торжественная тишина, и небесный свод, усыпанный звездами, виделся мне совсем иным, чем раньше. От волнения я не мог произнести ни слова. Я только чувствовал, что между мною и моим старшим товарищем произошло нечто очень важное и что мы не можем сейчас просто разойтись по домам. Так мы и пробродили до глубокой ночи.

Макс сдал выпускные экзамены, и мы расстались. Он уехал в Вену изучать медицину. Некоторое время мы переписывались, потом переписка оборвалась. На каникулах мы встречались, но прежней близости уже не было. Затем началась война, которая нас совсем разлучила.

И вот, через несколько лет, мы столкнулись на этой скучной обшарпанной станции. Оказывается, мы вместе ехали из Сараева, сами того не зная, а теперь вместе ждем белградского поезда.

В нескольких словах мы рассказали друг другу, как прожили военные годы. Макс в первый год войны закончил университет, а потом в качестве военного врача побывал чуть ли не на всех австрийских фронтах, и всегда в полках, где служили солдаты-боснийцы. Отец его во время войны умер от сыпного тифа, мать после этого уехала из Сараева и поселилась в Триесте у своих родственников. Последние несколько месяцев Макс провел в Сараеве, улаживая свои дела. С согласия матери он продал отцовский дом на берегу Миляцки и большую часть обстановки. Теперь он направлялся к матери в Триест, а оттуда собирался в Аргентину или, возможно, в Боливию. Это еще не совсем решено, но ясно одно — Европу он покидает навсегда.

От фронтовой жизни Макс огрубел, располнел, одет он, насколько я мог разглядеть, как солидный деловой человек. Напрягая зрение, я угадываю в темноте его большую голову с густой светлой шевелюрой, вслушиваюсь в его голос, с годами ставший ниже и мужественнее, в его типично сараевский выговор, смягчающий все согласные, а гласные растягивающий и произносящий нечетко. Хотя в языке его ощущается некоторая неуверенность.

Он по-прежнему говорил точно читал, употребляя множество непривычных, книжных, научных выражений.

Но это, пожалуй, было единственное, что осталось от прежнего Макса. Ни о поэзии, ни о литературе не упомянул ни разу. (О «Прометее» и речи не было.) Сначала он говорил о войне вообще, причем с большой горечью, скорее в самом тоне, чем в словах, с горечью человека, уже не ждущего понимания. (Для него в этой страшной войне не было, так сказать, противных сторон, они смешались, слились друг с другом, полностью потерялись одна в другой. Вообще страдания отняли у него способность видеть и понимать все остальное.) Помню, как он поразил меня, заявив, что рад за победивших, но в то же время ему их жалко, ибо побежденные яснее видят то, к чему они пришли и что им нужно делать, а победители даже и не подозревают, что их ожидает впереди. Он говорил горьким и безнадежным тоном человека, который многое потерял и теперь может говорить все, что угодно, прекрасно сознавая, что никто ему ничего за это не сделает и что ему самому от этого не станет легче. После первой мировой войны встречались среди интеллигентов такие «разгневанные» люди, разгневанные особым образом на жизнь вообще. Эти люди не находили в себе ни способности примириться и приспособиться, ни сил принять решение и пойти против течения. Макс мне показался одним из таких.

Наша беседа вскоре приостановилась, потому что ни ему, ни мне не хотелось затевать спор, увидевшись в столь необычном месте да еще после стольких лет разлуки. Поэтому мы заговорили о другом. Собственно, говорил он. Он и теперь употреблял изысканные выражения, тщательно строил фразы, как человек, привыкший общаться больше с книгами, чем с людьми; говорил он холодно и рассудочно, без прикрас и околичностей, точно открыв учебник медицины и читая симптомы своей болезни.

Я предложил ему сигареты, но он ответил, что не курит, причем ответил сразу, с отвращением и чуть ли не со страхом. Я все закуривал одну сигарету от другой, а он говорил с какой-то нарочитой беззаботностью, словно отгоняя другие, более тяжелые мысли:

— Ну вот, мы с тобой и выбрались на широкую дорогу, а это значит, что мы взяли за ручку двери, ведущей в большой мир. Мы покидаем Боснию. Я сюда никогда не вернусь, а ты вернешься.

— Как знать? — ответил я задумчиво, под влиянием свойственного молодости тщеславия, которое тянет видеть свою судьбу в дальних странах и на необычных дорогах.

— Нет, нет, ты наверняка возвратишься, — говорил мой спутник уверенно, точно ставя диагноз, — а я так и буду всю жизнь носить в себе память о Боснии как своего рода боснийскую болезнь, причина которой то ли в том, что я родился и вырос в Боснии, то ли в том, что больше не вернусь в нее. Впрочем, все равно.

В необычном месте, в необычное время и разговор приобретает необычный характер, точно во сне. Я смотрю на отяжелевшую, съезжившуюся от холода фигуру старого друга и думаю о том, как мало он похож теперь на юношу, взмахивавшего рукой и декламировавшего: «Закрой свое небо, Зевс...» Думаю о том, что же с нами будет, если жизнь будет продолжать изменять нас с такой быстротой и основательностью, и что перемены, которые я чувствую в себе, все же к лучшему. И вдруг замечаю, что мой приятель снова говорит. Я оторвался от своих мыслей и прислушался. Слушал я с таким вниманием, что мне показалось, будто вся вокзальная суэта вокруг меня улеглась, и только его голос рокотал в бурной ночи:

— Да, я и сам долгое время думал, что проживу всю свою жизнь в Сараеве, как мой отец, буду лечить детей и кости мои будут покоиться на сараевском кладбище. Однако уже то, что я видел и пережил в боснийских полках во время войны, поколебало мою уверенность. Когда же прошлым летом после демобилизации я провел в Сараеве всего три месяца, я окончательно понял, что не смогу остаться там на всю жизнь. Мысль же о том, чтобы поселиться в Вене, в Триесте или в любом другом австрийском городе, вызывает у меня тошноту. Потому я и стал подумывать о Южной Америке.

— Ну, хорошо, а позволительно ли спросить, что именно гонит тебя из Боснии? — спросил я весьма неосторожно, что, впрочем, было тогда свойственно людям моего возраста.

— О, разумеется, позволительно, только ведь этого не расскажешь вот так, на ходу, в двух словах. Если же постараться выразить в одном слове все, что гонит меня из Боснии, то я скажу: ненависть.

Макс быстро поднялся со своего места, точно внезапно натолкнулся в своей речи на невидимую стену. Я тоже вдруг осознал всю реальность холодной ночи на вокзале в Славонски-Броде. Ветер дул все сильнее и все более холодный, вдали мигали и переливались огни, пошвыстывали маневренные паровозы. Исчез из виду и крошечный кусочек неба, видневшийся над нами, только дым и туман покрывали теперь славонскую равнину, на которой человеку недолго и увязнуть по самые уши в жирном черноземе.

Во мне родилось и стремительно росло гневное и непреодолимое желание опровергнуть его слова, хотя я их не совсем понимал. Мы оба в смущении молчали. Нелегким было это молчание, оно камнем легло между нами в ночи, и трудно было предсказать, кто заговорит первым.

В эту минуту вдали послышался грохот скорого поезда, а затем его гудок, глухой, точно доносившийся из-под бетонного свода. Вокзал внезапно ожил. В темноте поднялись сотни до тех пор невидимых фигур, устремившихся к поезду. Вскочили и мы, но в начавшейся давке нас все больше оттесняли друг от друга. Я успел еще только крикнуть ему свой белградский адрес.

Дней через двадцать, будучи в Белграде, я получил толстый конверт, надписанный крупным почерком, который я не мог узнать. Это Макс писал мне из Триеста. Письмо было написано по-немецки.

«Дорогой мой старинный друг, наш разговор при случайной встрече в Славонски-Броде получился бессвязным и неприятным. Но будь у нас и больше времени, и более благоприятные обстоятельства, я не верю, что мы смогли бы понять друг друга и объясниться до конца. Неожиданность нашей встречи и быстрое расставание сделали это и вовсе невозможным. Я собираюсь уезжать из Триеста, где теперь живет моя мать. Еду в Париж, там есть кое-какая родня со стороны матери, и если мне разрешат практиковать, останусь в Париже; если нет, я действительно еду в Южную Америку.

Не уверен, что несколько наспех набросанных мною бессвязных абзацев смогут тебе что-то объяснить и оправдать в твоих глазах мой «побег» из Боснии. И все же я их посылаю, ибо меня не покидает ощущение, что я должен тебе его объяснить, и еще потому, что я храню

память о нашей гимназической дружбе и не хочу, чтобы ты видел во мне обычную «немчуру» и вообще перекаати-поле, человека, с легким сердцем оставляющего страну, где он родился, в тот момент, когда она начинает свободную жизнь и когда все рабочие руки на счету.

Но к делу. Босния — прекрасная страна, интересная, совершенно необычная и природой своей, и людьми, ее населяющими. И подобно тому, как в недрах Боснии скрываются рудные богатства, здешние люди, несомненно, таят в себе массу нравственных достоинств, не так уж часто встречающихся в других областях Югославии. Но, видишь ли, при этом в ней есть то, что выходцы из Боснии, по крайней мере люди вроде тебя, должны понимать и никогда не забывать: Босния — страна ненависти и страха. Оставим в стороне страх, который всегда сопутствует ненависти, являясь, так сказать, ее естественным следствием, и поговорим о ненависти. Да, да, о ненависти. Ты невольно вздрогнул и сразу же возмутился, услышав от меня это слово той ночью на вокзале, и все вы не желаете этого ни слышать, ни видеть, ни понимать. А дело как раз заключается в том, чтобы это обнаружить, установить, проанализировать. В том-то и беда, что никто этого не хочет и не может сделать. Ибо фатальная черта этой ненависти в том и состоит, что босниец не осознает живущей в нем разрушительной силы, шарахается в сторону, когда ему предлагают ее проанализировать, и проникается злобой по отношению к каждому, кто пытается этим заняться. И все же факт остается фактом: людей, готовых в приступе неосознанной ненависти убить или быть убитыми по любому поводу и под любым предлогом, в Боснии и Герцеговине больше, чем в других, куда более значительных по территории и населению странах, как славянских, так и неславянских.

Мне известно, что ненависть, так же как и гнев, несет определенную функцию в общественном развитии, ибо ненависть вливает силы, а гнев побуждает к действию. Немало есть застарелых, глубоко укоренившихся несправедливостей и злоупотреблений, которые могут быть уничтожены только гневом и ненавистью. Потоки гнева и ненависти, схлынув, очищают место свободе, строительству лучшей жизни. Современникам видятся в первую очередь гнев и ненависть, причиняющие им страдания, но зато потомки видят результаты сдвигов. Это

я хорошо знаю. Но в Боснии я наблюдал совсем иное. Тамошнюю ненависть нельзя назвать неминуемой частью и преходящим моментом процесса общественного развития. Это — ненависть, выступающая самостоятельной силой, находящая цель в самой себе. Эта ненависть поднимает человека против человека и затем приводит к нищете и страданиям или укладывает в могилу обоих врагов: ненависть, словно раковая опухоль, поражает вокруг себя все, с тем чтобы под конец и самой погибнуть, ибо такого рода ненависть, подобно пламени, не имеет ни постоянной формы, ни собственной жизни; она лишь орудие инстинкта уничтожения и самоуничтожения и лишь как таковая существует, причем до тех пор, пока не исполнит свою задачу абсолютного уничтожения.

Да, Босния — страна ненависти. Вот что такое Босния. И вот странный контраст (по сути дела, ничего странного тут нет, и возможно, пристальный анализ позволил бы все это объяснить), точно так же можно сказать, что мало стран, где в людях столько твердой веры, возвышенной стойкости характера, столько нежности и умения любить, где есть такая глубина переживаний, привязанностей и непоколебимой преданности, такая жажда справедливости! Но под всем этим где-то в глубине скрываются вулканы ненависти, целые лавины накопившихся ее запасов, зреющих в ожидании своего часа. Соотношение между вашей любовью и вашей ненавистью точно такое же, как между вашими высокими горами и в тысячу раз превосходящими их невидимыми геологическими наслоениями, на которых они покоятся. Так и вы все осуждены жить, опираясь на толстые слои взрывчатого вещества, время от времени возгорающиеся от искр вашей любви, ваших пламенных, безудержных страстей. И наверное, самое большое ваше горе в том, что вы и не догадываетесь, сколько ненависти вросло в вашу любовь, в ваши привязанности, в традиции и религиозные верования. И так же, как почва, по которой мы ступаем, оказывает под воздействием тепла и атмосферной влаги влияние на наши тела, определяя цвет нашей кожи и внешний облик, — точно так интенсивная, невидимая, подземная ненависть, которой пропитана вся жизнь боснийца, незаметно, окольными путями проникает во все его поступки, даже самые лучшие. Всюду в мире порок порождает ненависть, ибо порок растрчивает,

не возмещая, и разрушает, не создавая, но в странах, подобных Боснии, даже достоинства часто говорят языком порока, действуют его руками. У вас аскеты на основе своего аскетизма приходят не к любви, а к ненависти, к сладострастию; трезвенники питают ненависть к пьяницам, а в тех, кто пьет, рождается убийственная ненависть ко всему миру. Верующие и любящие смертельно ненавидят неверующих или тех, кто верует иначе или любит другому. И, к сожалению, часто расходуют на эту ненависть основной запас своей веры и любви. (Нигде не встретишь столько озлобленных, мрачных лиц, как на богомолье, у святых мест, в монастырях.) Угнетающие и эксплуатирующие бедных вкладывают в эксплуатацию еще и ненависть, и это делает ее в сто раз тяжелее и безобразнее, а те, кто терпит несправедливость, мечтают о справедливости и о мести как о взрыве такой силы, который вместе с гнусным угнетателем разнес бы и угнетенных. Большинство из вас имеет обыкновение прибегать к ненависти для того, что поближе. Ваши обожаемые святые, как правило, находятся за тридевять земель, а предмет вашего отвращения и ненависти — рядом, в том же городе, за стеной вашего дворика. Ваша любовь не требует действия, в то время как в ненависти вы весьма легко переходите к делу. И землю свою родную вы любите жаркой любовью, но только тремя-четырьмя различными способами, друг друга исключаящими, находящимися в смертельной вражде и без конца сталкивающимися между собой.

В одном рассказе Мопассана дионисийское описание весны заканчивается словами, что в такие дни следовало бы расклеивать на углах объявления с таким текстом: «Французский гражданин, весна идет, берегись любви!» Быть может, в Боснии следовало бы предупреждать людей, чтобы они на каждом шагу, в каждой своей мысли и в любом, самом возвышенном чувстве остерегались ненависти, врожденной, бессознательной, эндемической ненависти. Ибо этой отсталой и бедной стране, в которой, теснясь, живут четыре разных религии, нужно в четыре раза больше любви, взаимопонимания, терпимости, чем другим. В Боснии же, наоборот, непонимание, время от времени переходящее в открытую вражду, является чертой почти всех жителей. Пропасть между разными религиями столь глубока, что преодолеть ее удастся порой

лишь ненависти. Я знаю, мне на это ответят, и не без основания, что в этом отношении заметен все же определенный прогресс, что идеи девятнадцатого века и здесь сделали свое дело, а теперь, после освобождения и объединения страны, дело пойдет намного лучше и быстрее. Боюсь, что это не совсем так. (За последние несколько месяцев я достаточно наблюдал в Сараеве отношения людей разных религий и народностей!) Теперь на каждом шагу будут говорить и писать по любому поводу: «Брат есть брат, какой бы он ни был веры», «Важно не кто каким крестом крестится, а чья кровь стучит в его груди», «Уважай чужое, а своим гордись», «Национальное единство не знает ни религиозных, ни племенных различий». Но ведь в боснийских верхах издавна хватало лживой вежливости, привычки обманывать себя и других звучными словами и пышными церемониями. Это может прикрыть вражду, но не устраняет ее и не препятствует ее росту. Я опасаюсь, что под прикрытием современных лозунгов в этих кругах дремлют прежние инстинкты и кайновы замыслы, и так будет продолжаться до тех пор, пока не изменятся полностью основы материальной и духовной жизни в Боснии. А когда наступит это время, у кого хватит сил на это? Когда-нибудь и это свершится, я верю, но то, что я увидел в Боснии, не говорит о том, что она уже сейчас идет по упомянутому пути. Напротив.

Я много размышлял об этом, особенно в последние месяцы, пытаюсь побороть в себе решение навсегда оставить Боснию. Естественно, что у человека, обуреваемого подобными мыслями, плохой сон. Я лежал, не в силах сомкнуть глаз, у открытого окна, в комнате, в которой я родился, снаружи шумела река, ветер шелестел еще обильной листвой.

Тот, кто в Сараеве проводит ночи без сна, может услышать все ночные голоса. Тяжело, уверенно бьют часы на башне католического собора: два часа пополуночи. Проходит немногим более одной минуты (я считал, ровно семьдесят пять секунд), и тогда бьют немного тоньше, но пронзительно часы на православной церкви, отмечая свои два часа пополуночи. Вслед за ними глухо, словно издали, отбивают часы на башне мечети, причем отбивают одиннадцать часов — призрачные турецкие одиннадцать часов, согласно странному счету времени чужой.

далекой страны. У евреев нет своих часов с боем, и одному только богу немилостивому известно, который час у них и по какому счету времени — сефардов или ашкенази. Даже ночью, когда все спит, когда текут глухие ночные часы, не дремлет рознь, разделяя сонных людей, которые, проснувшись, радуются и печалются, постыются и говеют по четырем враждующим календарям и воссылают к небу молитвы на четырех разных языках. И эта рознь то явно и открыто, то незаметно и исподтишка сливается и отождествляется с ненавистью.

Эту специфическую боснийскую ненависть следовало бы изучать и искоренять, как опасную и глубоко укоренившуюся болезнь. И я верю, что, будь ненависть признанной и классифицированной болезнью, как, например, проказа, иностранные специалисты приезжали бы изучать ненависть именно в Боснию.

Я и сам думал было заняться этим и, анализируя ненависть и вынося ее на всеобщее обозрение, способствовать ее искоренению. Быть может, это даже мой долг, поскольку я, хоть и иностранец по происхождению, появился на свет в этой стране. Но после первых попыток и долгих размышлений я убедился, что у меня нет для этого ни способностей, ни сил. От меня, как и от всех прочих, требовали стать на определенную сторону, ненавидеть и быть ненавидимым. Я не захотел этого и не сумел. Быть может, если уж такова моя судьба, я согласился бы еще пасть жертвой ненависти, но жить окруженным ненавистью, да еще и участвовать в ней — это свыше моих сил. В стране же, подобной сегодняшней Боснии, тот, кто не умеет или, еще хуже, тот, кто не хочет ненавидеть, чужак и выродок, а чаще — мученик. Это относится и к вам, коренным боснийцам, а что уж говорить о людях иного происхождения!

Вот так, тихой осенней ночью, слушая удивительную переключку разноголосых сараевских часовых башен, я однажды пришел к заключению, что не могу остаться на своей второй родине, в Боснии, и не должен оставаться. Я не настолько наивен, чтобы по всему миру искать город, где нет ненависти. Мне просто нужно место, где я мог бы жить и работать. Здесь это невозможно.

Конечно, ты с насмешкой или даже с презрением повторишь свои слова о моем бегстве из Боснии. Вряд ли это письмо объяснит тебе мой поступок или оправдает

его в твоих глазах, но, видимо, в жизни бывают обстоятельства, когда надо обратиться к древнему латинскому изречению: «Non est salus nisi in fuga»¹. Прошу тебя, поверь мне только в одном: я бегу не от своего долга перед людьми, а для того, чтобы иметь возможность полностью и без помех его выполнить.

Желаю тебе, как и всей нашей Боснии, счастья в новой национальной и государственной жизни!

Твой М. Л.»

Прошло десять лет. Я редко вспоминал друга своего детства и, наверное, забыл бы его совсем, если бы мысли, высказанные в его письме, время от времени не напоминали мне о нем. Кажется, в 1930 году я случайно узнал, что доктор Макс Левенфельд остался в Париже, что он практикует в предместье Нёйи и что в югославской колонии и среди югославских рабочих-иммигрантов он известен как «наш доктор», который бесплатно лечит рабочих и студентов и, когда это необходимо, сам покупает для них лекарства.

Прошло еще семь или восемь лет, и однажды, опять случайно, я узнал о дальнейшей судьбе моего товарища. Когда началась гражданская война в Испании, он все бросил и пошел добровольцем в республиканскую армию. Он организовывал перевязочные пункты и госпитали и прославился своими знаниями и самоотверженной работой. В начале 1938 года он находился в маленьком арагонском городке, название которого никто у нас не умел выговорить правильно. Среди бела дня на его госпиталь был совершен воздушный налет, и он погиб, а вместе с ним почти все его раненые.

Так окончил свои дни человек, бежавший от ненависти.



¹ Только в бегстве — спасение (лат.).

ДРОВА



огнувшись в три погибели, Ибро Солак угрюмо толкал свою тележку и на все голоса выкрикивал:

— Дрова, дрова!

Странная тележка его представляла собой узкие и длинные дроги без рукоятки, с парой колес по середине, подобные повозки можно встретить теперь только у сараевских носильщиков. Такую тележку носильщик не тащит, а толкает впереди себя: упрется в задний ее борт, согнется больше или меньше, в зависимости от веса поклажи, и, если умеет ловко управлять своей тележкой, может перевозить на ней огромные тяжести, далеко превосходящие силы человека.

Тележку Ибро Солак арендует у вдовы одного носильщика и каждое утро отправляется с ней на дровяной склад Пашаги Зилджича. Здесь он получает десятка два вязанок мелких полешек, нагружает их на свою тележку и развозит по извилистым и крутым улицам северо-западной окраины города, выкрикивая по временам единственное слово: «Дрова!», по которому его тотчас же узнают местные жители и прохожие.

Обтрепанный, небритый и тощий, с красным лицом и налитыми кровью глазами, он продает дрова, не глядя ни на кого, не вступая в разговоры. Случается, что какой-либо из старых покупательниц он отнесет вязанку на дом, но чаще стоит нем и недвижим, выпятив посиневшую нижнюю губу, с вечно прилипшей к ней потухшей сигаркой, равнодушно смотрит на знакомые лица покупателей, словно видит их впервые, и небрежно засовывает в карман бумажные или металлические динары. Чем больше наполняется динарами карман, тем легче становится тележка.

К вечеру он возвращается и рассчитывается с хозяином. Он получает от Пашаги по полдинара с проданной

вязанки и по стольку же от покупателей. А это значит, от тридцати до сорока динаров в день, смотря по времени года, а также в зависимости от случая и глупого торгового счастья, но чаще, пожалуй, от собственного настроения. Настроение же Ибро никто не может предугадать, и уж сам он тем более. Выражается оно главным образом в том, каким голосом повторяет Ибро свое постоянное: «Дрова!» И не сыщешь, наверно, на всем свете такого тонкого уха или такого точного аппарата, которые могли бы уловить все оттенки тонов и чувств, с какими Ибро выкрикивает это простое, прозаическое слово: «Дрова!»

Отправляясь утром со своей тележкой, Ибро кричит громко, во весь голос, так как перед работой обязательно завернет в кабачок и пропустит одну-две чарки ракии, первые в этот день, — заплатит он за них вечером, из дневной выручки. Кричит, а мысли заняты другим. Да, по сути дела, это и не мысли, а туманные, не связанные между собой ощущения, непрерывные внутренние счета со своим прошлым, с самим собой и с окружающим миром, каким он представляет его себе.

Когда пятьдесят два года назад в большом зажиточном доме старого Солака, на Белавах, родился мальчик, никому и в голову не могло прийти, что этому ребенку суждено будет развозить по Сараеву чужие дрова на чужой тележке.

Отцу тогда было под шестьдесят, детей в доме много, да все девочки: две от первой жены и четыре от второй. И тогда-то родился он, сын и наследник. Его появление на свет было ознаменовано веселым праздником, который долго помнила вся слобода. Только что из пушек не палили в крепости. Да, можно сказать, все детство и отрочество его были похожи на сплошной праздник. Отец даже отдал его в реальное училище. Но если говорить по правде, голова Ибро не особенно подходила для этого. И не то, чтобы он был хуже или непослушнее своих сверстников, а просто никак не мог думать о том, что полагалось учить по книге. Мысли Ибро блуждали и влекли его куда-то. Школу он бросил; рано возмужал, превратившись в крупного, видного парня, и рано узнал жизнь, но лишь поверхностно — с ее легкой и приятной стороны. Время он проводил или в усадьбе отца на Сараевском Поле, или в тех занятиях и развлечениях,

которые в начале нашего века щедро предоставляло Сараево юношам, не имевшим, по тогдашним понятиям, нужды учиться в школе или обременять себя определенным делом. Отец его был мягок как воск, и не нашлось возле Ибро Солака человека, который остановил бы его и повел другим путем. А жизнь казалась такой счастливой, словно нарочно созданной для него и его приятелей, и все-то было им доступно — протяни только руку.

— Дрова! Дрова!

Обо всем этом Ибро вспоминает как о райской жизни. Но блаженству быстро наступил конец. Весной 1914 года его призвали в армию, а летом того же года вспыхнула первая мировая война. Ибро побывал на русском, затем на итальянском фронтах, где его тяжело ранили, потом долгое время служил капралом и фельдфебелем в Пилишчабе, в Венгрии. Это была тяжелая и непривычная жизнь, но по-своему опять-таки беззаботная. И тоже прошла она в каком-то гуле, в тумане: попойки, карты, веселье бесшабашной военной жизни. Пришло и прошло, а он, по правде говоря, не имел ясного представления даже о том, кто с кем воюет, для чего сам он, Ибро Солак, марширует, пьет, поет, проливает кровь и заставляет это делать других. А в 1918 году он возвратился домой гол как сокол, бледный, ослабевший от ран (много крови оставил он в окопах под Толмином), а больше от невоздержанной жизни. Отцу шел восьмидесятый год, и он совсем одряхлел. Мать умерла. Сестры повыходили замуж. Дом быстро рушился. Деньги текли меж пальцев, а хозяйство — прочное и нерушимое хозяйство — рассыпалось на глазах и таяло как дым. И только когда выпьешь с приятелями лишнего, все снова оказывается на своих местах. Но стоит протрезвиться — и сразу понимаешь: нет, все вокруг меняется, тает и исчезает. Еще во время войны продали дом в Сагрджихах. Теперь продали и другой, большой, на Белавах, а для себя сняли совсем маленький. По аграрной реформе у них отрезали землю на Сараевском Поле. Так открылся перед Ибро новый мир, полный неприятностей и непонятных неожиданностей.

— Дрова! Дрова!

Отец умер. Ибро начал торговать, или, как говорили, «работать». Он договорился с одним садовником и занялся продажей цветов. Вот тогда-то он понял, что у цве-

точков не такой уж приятный запах, если с ними «работаешь». Напрасно старался он защитить себя от этого запаха ракией и табаком. Товар нежный, покупатель случайный и к тому же привередливый. Всякое дело требует труда, даже продажа цветов. Да еще непрестанно обо что-то спотыкаешься; неизвестно, кто тебе подставляет ножку, только видишь, что спотыкаешься на каждом шагу, а на каждом третьем — падаешь. И правда, жизнь все больше теряла свою лучезарность и приятность. А Ибро судорожно рвался к счастью в каком-то отчаянии, как утопающий за глотком воздуха. В поисках счастья он и женился. Девушка из хорошей семьи, честная и милая, но приданое небольшое, а тут пошли дети, один за другим рождались и умирали. Торговля не ладилась. Цветочное предприятие обанкротилось. У садовника остался сад, а у Ибро Солака — долг. Пришлось поступить на службу в городскую управу.

По правде говоря, он никогда не знал, что представляет собой в действительности эта городская управа, да и не думал об этом; но теперь, когда она стала для него единственным источником существования, он увидел, сколько человеческих мук и бед скрывается под этим названием.

Дело само по себе и не тяжелое, не такое уж трудное, но есть в нем что-то непорядочное, оскорбительное. Необъяснимое унижение исходит от каждого слова, от всякого движения, какой-то особенный стыд, который человек ощущает только в том случае, если он таков, как Ибро Солак. От этого чувства можно избавиться разве что с помощью ракии, да и то ненадолго.

Годы проходят, а лучше не становится. Хорошего даже во сне не увидишь. И пошли в продажу домашние вещи; питаются скудно, одеты плохо, и уже никак не скроешь нищеты. Из четырех детей, родившихся за эти годы, осталась в живых только одна девочка. Выросла красавица, скромная и умная, учится хорошо и все что-то читает. Восемнадцати лет вышла замуж за хорошего, грамотного парня, почти своего ровесника, который работал на табачной фабрике и был не богаче ее отца.

Умерла жена. Ибро остался один. Опустился, а потом и запил. Да, так все говорят, но не говорят, как это случилось и почему. Легко сказать! Из управы его уволили. Готов был, кажется, умереть со стыда. На ракию денег

нет, и, по правде говоря, тут он действительно спился и именно тогда начал толкать эту тележку и продавать Пашагины дрова.

— Дрова-а-а!

И тогда же он стал всех сторониться. Да, именно так говорили об этом другие, но он чувствовал и ясно сознавал, что это неправда. Нет и нет! Не он сторонился людей и дел, боже сохрани! Наоборот, все, что есть в этом мире,— мертвые вещи и живые люди,— все, что они придумывают, делают или о чем говорят, все это с каждым днем бежит куда-то от него, а он остается один, в тоске и мраке, среди которого может засветиться лишь тонкая струйка ракии — она может пожалеть, погладить, словно ласковая рука, или заблагоухать, как цветок. Все остальное бежало прочь от него, постепенно, но стремительно и неумолимо, и ракия заменяла все.

А теперь он сам словно ненужная вещь — люди отбросили его прочь. И он опускался все больше. Только дочка Шемса регулярно приходила к нему, помогала понемногу, хотя сама жила на другом краю Сараева и еле сводила концы с концами. Красивая, тихая, всегда с улыбкой, она являлась ему как существо иного мира. Одно время Шемса старалась урезонить его и уж так просида, чтобы он бросил пить и взял себя в руки. Но и когда увидела, что уговоры бесполезны, продолжала ходить к нему и помогала без слов и укоров. Таков же был и зять. И вечером в кабачке, когда каждый старался чем-нибудь похвастаться, Ибро, у которого не осталось более ничего светлого в жизни, хвалился своей дочкой и зятем.

— И что у меня за дочка! А зять-то какой! Люди добрые! Это... Это... эх, и не расскажешь! — рыдал он в окружении пьяниц, своих друзей.

И, все сильнее заливая ракией похвальбу, он тотчас же забывал и дочь, и зятя, да и себя самого. В пьяном угаре Ибро не замечал, что делают те, которые не пьют, и куда идет весь трезвый мир. Он был очень удивлен, когда в один прекрасный день узнал, что началась новая мировая война.

— Дрова! Дрова!

«Это, должно быть, вроде новой Галиции, новых Пьяве и Пилишчабы», — думал Ибро. Конечно, для других, более молодых, чем он. Нет, тут что-то иное, что-то совсем иное. Это ощутил даже он.

По-прежнему толкал Ибро тележку и механически, так же, как пил или дышал, выкрикивал неизменное слово: «Дрова». Может быть, всеми забытый и одинокий, он и толкал бы так свою тележку всю войну, без больших перемен и потрясений. Но случилось что-то неожиданное и тяжелое, непонятное, что никак не увязывалось с войной, какую он представлял ее себе и знал по прежним временам. Арестовали зятя. И когда он хотел дознаться, с чего это вдруг арестовали такого тихого, честного человека, ему ответили: «Политика». И только.

А тот, кто ему сказал это, пожал плечами, закрыл глаза и приложил палец к губам. То же самое сделал и Солак, хотя абсолютно ничего не понял. Молодого человека продержали в тюрьме три недели и отпустили. А через два дня он сбежал в лес. Тут уж арестовали Шемсу. Услышав об этом, Ибро бросил тележку и пошел разузнать, что с дочерью. Один из стражников, мусульманин, под большим секретом сказал ему, что Шемсу убили два дня назад при допросе. Убили, кажется, случайно, а не намеренно. Упала после первой пощечины усташа и больше не вставала. Или удар пришелся неудачно, или она уж так была нежна и тонко устроена? (Ах, да, да! Уж отец-то хорошо ее знал, она была такая тоненькая, хрупкая, такая чувствительная, вся в мать, а не в Солаков — живучих, грубых. Да, да, как цветочек была!)

— Дро-о-ова! Дро-о-ова-а!

Много потребовалось ракии, чтобы промолчать об этом и как-то забыться. Но Ибро сдержал слово. Даже пьяный он не нарушил клятвы. А пил он все больше и ел все меньше. По временам в нем просыпалась отцовская боль, какая-то уже забытая гордость Солаков и жажда мести, но все это превращалось в вопль, который растворялся в его неизменном возгласе на пустых улицах, и в конце концов вместе с другими ужасами войны тонуло в ракии и мутном беспамятстве.

У него теперь не осталось никого из близких, никого, кто бы мог позаботиться о нем. Он совсем опустился, ходил босой и полуголый — все, все шло на ракию.

Наконец кончилась и эта война, и опять словно в каком-то тумане. Пришла новая армия, партизаны, — «хорошая армия», как говорили соседские женщины. К одной из них вернулся сын-партизан. От него Ибро узнал,

что его зять погиб, что был он знаменитый герой и что портрет его напечатан в газете. На следующий день ему показали портрет. Глаза Ибро были полны слез, но все же он узнал зятя. Да, это он, только как-то крупнее, выше, красивее, совсем настоящий офицер. И орден у него. Ибро почувствовал, как что-то засосало у него под ложечкой. А молодой партизан, соседский сын, стоит рядом, смотрит на него, улыбаясь, такой ласковый и все же какой-то далекий, и рассказывает о зяте-герое, говорит о жизни, о работе и о том, что вредно пить ракию. Зачем он это говорит? При чем тут ракия?

А потом люди в кабачке сообщили: в газетах пишут о его Шемсе. И этого он не понимает как следует, но все-таки плачет, плачет тихо, незаметно и, скривив губы, глотает слезы вместе с ракией. И опять все забывает и снова толкает тележку. Нужно зарабатывать на ракию, на табак, на хлеб... Да, и на хлеб.

С этими мыслями Ибро Солак остановился возле старого особняка, что зовется Мариин Двор. Тут обычно он переходил через главную улицу и сворачивал в лабиринт узких, крутых улочек, которые все еще носят старые названия: Магрибия, Одобашина и другие. По главной улице с песней идут солдаты. Ибро остановился, захотелось послушать: его зять был тоже военный, офицер. И орден у него, и портрет напечатан. Навстречу им в боевом порядке идет молодежь. И тоже поет. Не знает он ни их песен, ни того, куда и зачем они спешат, но ведь и его Шемса была среди такой же молодежи. Это в газетах написано. Люди читали. И что героически погибла, и что была подругой героя. И еще пишут — было у нее замечательное сердце, и она делала какое-то великое дело. Э, что касается сердца, это правда! Всего, что нужно, и не написали, наверно. А как собой хороша была, об этом и не говорят. Султанша — не то что другие! А какое у нее сердце, уж это ему лучше знать... Взглядом своим ласкала не только отца несчастного, а все живое. Вот какая она была!

— Дрова-а-а!

Колонна молодежи прошла. Издалека доносится только песня. Идет новый отряд солдат. Песни догоняют друг друга. Слова их смешиваются, а мелодии сливаются. Все вокруг поет, весело спешит, и всем этим кто-то руководит, управляет, и все исчезает, уходит куда-то далеко от

него. Поди узнай, куда и зачем? Он ничего не понимает, ничего не чувствует. Только тупая боль в паху. Когда вот такая оттепель, всегда ноет толминская рана. Но боль эта не напоминает больше ни о чем, просто болит себе — и все. А одно он все же знает наверняка: и его дочка, и зять были среди этих. И, въезжая со своей тележкой в первую улочку, он еле сдерживается, чтобы не закричать: «Какие у меня были дети! Люди! Это... это невозможно рассказать!»

И толкает быстрее свою тележку, и поднимает голову, и хрипло кричит:

— Дрова-а-а!

Молодая женщина высунулась из окна на втором этаже и велит ему принести ей две вязанки. Не задумываясь, Ибро отказывается — гордо, с каким-то раздражением.

— Принеси, дорогой, сюда, динар дам.

— Никому я не разношу. Не то что за твой динар, за тысячу не понесу. Понятно? Если нужно, спустись да возьми!

Женщина кричит ему вслед что-то злое и оскорбительное. Он уже не слышит, навалясь грудью, изо всех сил толкает тележку и громко кричит:

— Дрова! Дрова-а-а!



ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ



кого жена из Шандановичей, у того наверняка куча родственников», — думал инженер Милан Шепаревич на вокзале в Сталаче, ожидая, пока кондуктор откроет ему купе второго класса.

Он стоял в коридоре, у выхода из вагона. Следом шел вагон третьего класса, старого образца, с просторной открытой площадкой в конце. Сквозь стеклянную дверь своего вагона Шепаревич мог видеть, что там происходило, а когда голоса звучали громче, то и слышать, о чем говорили между собой семь-восемь пассажиров; тесно сбившись в кучу, они стояли или сидели, видимо, на своих чемоданах. Пестрая группа, оказавшаяся на площадке переполненного поезда, уже составляла, как это часто случается в наших поездах, дружную компанию, где угощали друг друга дорожными припасами и выпивкой, сыпали остротами и шутками, обсуждали всех и вся, что обычно бывает лишь между близкими и хорошо знакомыми людьми.

В центре группы спиной к инженеру стоял высокий молодой человек в кургузом и мятом пиджаке и такой же кургузой и смешной круглой шляпе на голове. Разглядеть его как следует инженер не мог, но ему казалось, что он узнал Предрага, родственника своей жены. Парень шутливо препирался с пожилым человеком, который сидел на чемодане в углу, так что было видно только его черную шляпу, кончик крупного носа и длинный седой ус.

По отдельным словам и обрывкам фраз, тонувшим в стук колес, инженер понял, что дядька сетовал на «смут-

ное время», а высокий парень и две румяные девушки старались обратить все в шутку. Иногда гомон голосов и смех усиливались и заглушали остальные звуки.

Инженер задумчиво наблюдал за этими людьми, находившими в себе силы шутить и смеяться даже в той атмосфере всеобщего страха, тревоги и подавленности, которыми был отмечен конец августа 1941 года.

Кондуктор наконец открыл купе, но инженер остался в коридоре, продолжая наблюдать за пассажирами на площадке. На одном из поворотов искры и дым от паровоза обрушились на компанию, старик закашлялся, девушки взвизгнули, а высокий парень на мгновение снял темные очки и повернулся, чтобы протереть глаза. Это в самом деле был Предраг, и, убедившись, что не ошибся, инженер быстро прошел в свое купе.

Он сидел, прикрыв веки, и думал. Нет, он не ошибся. Это Предраг, пасынок его свояченицы Елены. Старшая сестра его жены, красивая, молодая и образованная женщина, лет десять назад неожиданно вышла замуж за торговца, богатого, но пожилого и простоватого вдовца. От первого брака у него был сын-гимназист, смекалистый и остроумный паренек, с которым инженер любил разговаривать. Звали его Предраг. Пóзже, в университете, Предраг активно участвовал в движении передовой молодежи, и однажды его даже арестовали. Перед самой войной он окончил юридический факультет. Последнее время с родственниками он встречался редко, а еще реже с ними разговаривал. В апреле этого года его мобилизовали, и с тех пор он дома не показывался. Елена говорила, что до них дошел слух, будто он попал в плен.

Юноша очень изменился. Он отпустил усы, носил темные очки, на нем была тесная, с чужого плеча, одежда, но все же это, несомненно, был Предраг. «Куда он едет? — спрашивал себя инженер. — Зачем? И что ему нужно в этой пестрой компании на площадке вагона третьего класса? Надо бы окликнуть его. Да, но, может быть, за ним следит полиция и скорей всего ему самому будет не очень приятно, если его узнают. Лучше уж так!» — думал инженер, но в глубине души чувствовал,

что это совсем не лучше, а наоборот — очень дурно и некрасиво.

Его все сильнее охватывало недовольство собой и вообще всем в этой несчастной порабожденной стране, но и недовольство не в силах было стронуть его с места.

«Может быть, мне только показалось? Голос его, но манеры незнакомые. Вероятно, это все-таки не он, — беспомощно твердил он себе. — Скорее всего, я ошибся. Жене не стоит говорить...» И, крепко закрыв глаза, он старался думать только о жене, о ее родственниках, о своей женитьбе.

«Да, я ошибся». Это относилось уже не к юноше в темных очках, а к его собственной женитьбе. История довольно банальная. Бедный молодой инженер (семья все время, пока он учился, не вылезала из нужды и долгов), с незаурядными способностями, честолюбивый, жаждущий всех жизненных благ, которые тем, кто к ним страстно стремится, всегда представляются большими, чем они есть на самом деле, — он, как и многие его сверстники, в двадцать семь лет оказался перед дилеммой: строить жизнь своими руками или «хорошо» жениться и тем облегчить себе путь к успеху. Девушка, с которой он познакомился в яхт-клубе на Саве, здоровая и неглупая, без всякой необходимости и особого влечения училась в университете. Отец ее был предпринимателем и рантье. Молчаливый коротышка, он за сорок лет торговли домами и земельными участками из простого каменщика превратился мало сказать в имущего человека, — он стал одним из скромных и незаметных, но весьма солидных дельцов. Двум сыновьям своим он дал образование, трех дочерей, за каждой из которых «шел» большой дом и надежное приданое наличными, удачно выдал замуж. Осталась самая младшая с приданным ничуть не меньшим, но с позволением выбрать мужа по склонности и соответственно приданому. Она выбрала Шепаревича и добилась того, чтобы он выбрал ее.

Он не сразу и не легко решился на женитьбу. Советовался с двумя самыми близкими своими друзьями.

Первый — коллега по министерству путей сообщения, меломан и эстет — сказал ему:

— Не раздумывай. В этом городе человек твоих лет и твоего положения должен продать свою шкуру как можно дороже. Женись! Ты возьмешь такой старт, какого службой и при иной женитьбе тебе в лучшем случае удастся добиться лет через десять — двенадцать.

Второй приятель — ассистент технического факультета, человек со странностями, — советовал обратное. Шепаревич нарочно заманил его на прогулку в Кошутняк, чтобы попросить совета.

— Ты поступишь по-своему, — ответил тот, немного подумав, — но коль скоро ты спрашиваешь, я скажу: этот путь не для тебя. Он только выглядит легким, но для таких людей, как ты, на деле и накладнее и тяжелей. Ты продашь себя за малые деньги и приобретешь то, что никуда не годится и нисколько тебе не нужно.

Указав рукой на прекрасный, голубоватый город внизу, он добавил:

— Если бы семейное счастье с такими, как Шандановичи, на самом деле давало то, что они сулят до свадьбы, тогда вот это, внизу, называлось бы земным раем; но город внизу по-прежнему называется лишь Белградом.

Он послушался первого, женился, а через год все чаще стал вспоминать второго.

За неполных четыре года появилось двое детей. Дети были огромной радостью, хотя и приносили много забот, а жена и все, с ней связанное, — бременем, которое невозможно ни нести, ни сбросить; об этом бремени он никому не говорил, не находя для него даже в душе названия, но стоило ему вот так очутиться одному и закрыть глаза, как оно предстало перед ним и с каждым днем казалось мучительней.

Возвратившись в Белград, он ничего не сказал жене о встрече в поезде.

Прошло три недели, а может, и четыре. Это было время, когда на белградских улицах даже незнакомые

люди ловили взгляды друг друга, пытаясь и в них найти объяснение происходящему вокруг.

В тот вечер он задержался в городе и пришел домой минут за десять до восьми, то есть до полицейского часа. Жена была напугана и раздражена. Она укоряла его за то, что он приходит в последнюю минуту и заставляет ее беспокоиться. Жаловалась на усталость — два дня назад от них ушла прислуга, а привратница помогает только до обеда. В тишине оккупированного города и унылого сентябрьского вечера зловеще прозвучал гудок паровоза.

Инженер помыл руки, заглянул к детям и только собрался сесть ужинать, как в дверях зазвенел звонок.

— Ой, немцы! — приглушенно простонала жена, заломив руки.

Инженер успокаивающе поднял руку и, стараясь держаться естественно и спокойно, открыл дверь.

Это были не немцы. Это был Предраг. Хорошо, почти элегантно одетый, без темных очков, но с усиками. Не говоря лишних слов, он извинился за вторжение и сказал, что вынужден просить пристанища на одну ночь. Жена встрепенулась, сверкнула глазами в сторону мужа, собираясь что-то возразить, но молодой человек взял инженера под руку и повел его к широкой нише в глубине столовой.

Он говорил негромко и был краток. Там, где ему предстояло ночевать, это оказалось неудобным. Неудобно, конечно, и вторгаться вот так в дом к родственникам, но иного выхода у него нет...

Голос Предрага был спокойным, почти деловитым. Бояться нечего. Полиции о нем ничего не известно, но идти сейчас, после полицейского часа, искать другой ночлег без «аусвайса» невозможно. Домá, не находящиеся под подозрением, полиция навещает редко, а если и приходит, то не обыскивает. Он еще подумает, как сделать, чтобы риск для них был минимальным, а самое позднее в пять часов утра уйдет. Предраг еще не кончил, как жена, не выдержав, стремительно подошла к ним. Она дрожала и, разводя руками, лихорадочно говорила:

— Понимаешь, Пего, у нас очень нехороший хозяин,

очень! А здесь, наверху, еще какие-то подозрительные студенты. Из-за них весь дом под наблюдением. И мы не имеем права никого принимать, не сообщив куда следует. Ты ведь знаешь, у меня дети. Пожалуйста...

— Позволь, Дана, мы без тебя все уладим,— оборвал муж, устыдившись ее слов.

Но жена не умолкла. Наоборот, она заговорила громче и уже не стеснялась в выражениях. Она прямо сказала, что нехорошо и непорядочно ставить их в такое положение, что каждый заботится о себе и отвечает за себя, что она не имеет права рисковать жизнью своих детей и, наконец, пусть он идет куда хочет, здесь ему ночевать нельзя.

Муж безуспешно пытался остановить ее. А когда они замолчали, парень просто сказал:

— Понимаете, я вынужден остаться. Мне сейчас некуда идти, я не могу уйти и не уйду.

Наступило тягостное молчание. Женщина была потрясена. Пустив в ход ласковые слова, муж сумел увести ее в детскую.

Он вернулся минут через десять и продолжил разговор с молодым человеком. Тот расспрашивал о жильцах дома, о хозяине (который был не так уж плох), о черной лестнице, куда выходила дверь кухни, о ключах. Они сели к столу. Предраг ел мало, но быстро, инженер жевал словно омертвевшим ртом.

Потом они пошли посмотреть кухню и комнату для прислуги, где Предрагу предстояло провести ночь. А вернувшись, некоторое время молча постояли в столовой. Скоро юноша сказал, что устал и хочет лечь. Уходя, он говорил, что все будет хорошо и никаких неприятностей не произойдет.

На прощание инженер хотел было что-то сказать. Он уже раскрыл рот и сделал невольное движение рукой, но внезапно повернулся и вышел.

Было всего девять часов, когда он вошел в спальню к жене.

— Ну как? Что ты думаешь?— взволнованно встретила она его.

— Раздевайся и ложись.

Женщина начала было раздеваться, но вдруг остановилась.

— Слушай, Миле! Это так...

— Дай мне подумать!

Она надела длинную шелковую ночную рубашку, но не легла, а, возбужденно шагая от окна к двери и ломая руки, так и сыпала отрывистыми возгласами и восклицаниями.

Инженеру хотелось как-то прийти в себя, все обдумать.

— погоди, успокойся! Подожди немного!

— Не могу я ждать, не могу быть спокойной!

И в самом деле, она безостановочно бегала по комнате и без умолку говорила, то умоляюще, то зло и иступленно. Вместе с ней все в комнате словно двигалось и мешало ему собраться с мыслями. Они погасили свет, окна были открыты, деревянные жалюзи спущены; сквозь щели проникал и воздух и свет. От жалюзи падала длинная причудливая тень — словно ковер из светлых и темных полосок покрывал широкую двуспальную кровать, противоположную стену, двустворчатый шкаф и часть потолка. А когда слабый ночной ветерок шевелил фонарь на другой стороне улицы, этот пестрый полосатый ковер плавно колыхался. Инженеру казалось, будто комната и весь дом качаются, как корабль на волнах.

Все вокруг было словно проклято, поднято с места, вздыблено. Он попытался сосредоточиться, разобраться, продумать возможные осложнения. Скажем, придет патруль. Немцы или спецполиция. Кто здесь живет? Он отве...

— Миле...

— Пожалуйста, ложись и оставь меня хоть на минуту в покое.

— Нет, не оставляю. Это ужасно. Это скандал.

— Ты сама и устраиваешь скандал.

— Я? Ты просто бессердечен. Ты хочешь погубить

и детей и меня...— Женщина задохнулась от слез и возмущения:—...и себя и...

— Не говори глупостей, Дана!

Уговоры мужа только распяляли ее. Она металась по комнате и каким-то новым, свистящим голосом роняла слова — слова без масок, обнаженные, слова-факты, слова-удары. Он никогда не слышал от нее таких слов и никогда бы не подумал, что она знает их. Видимо, она таила их как наследственное, семейное оружие, к которому прибегают лишь в крайних случаях.

В конце концов она все-таки легла. Сломали ее скорее слезы и усталость, чем просьбы мужа. Но спокойствие не наступило. Инженер ощущал бурное биение крови в запястьях и висках, в том же бешеном ритме, казалось, танцевало под ним сиденье кресла. Огромная полосатая тень жалюзи на стене не останавливалась ни на мгновенье. Как тут сосредоточиться и что-либо придумать? Он чувствовал, что жена не спит, что каждую минуту она может встать и вновь приняться за свои причитания. Это тоже мешало хладнокровно думать. Откуда-то выплыл вопрос: а как бы поступил в аналогичной ситуации приятель с технического факультета, с которым после женитьбы он виделся очень редко? Он отбросил этот вопрос и продолжал думать о своем.

Скажем, придет патруль. Спросят, кто живет в квартире. Он спокойно ответит: я и моя семья. Они проверят документы и...

— Миле, Миле!

Она крикнула не громко, но резко. Он видел, как она, точно зверек из капкана, быстрыми и неестественными движениями высвободилась из своей длинной ночной рубашки, а в следующее мгновение уже стояла подле него.

— Миле!

Голос ее звучал глухо, плаксиво, но уже твердо — таким голосом люди произносят веские, хорошо продуманные слова.

— Миле, если ты не скажешь ему, чтоб он уходил, я позвоню в полицию и сообщу, что у нас находится такой-то и такой-то... И все!.. Я своих детей...

Инженер испуганно вскочил и невольно оттолкнул ее — не сильно, но враждебно. Не прикасаясь к ней и не произнося ни слова, он стремительно пошел на жену. Она пятилась, словно подгоняемая ветром. Так они дошли до дверей детской; она открыла их локтем, муж втолкнул ее в комнату, взялся за ключ, точно минуту назад оставил его в дверях, и дважды повернул его.

Мгновение он еще оставался возле двери, из-за которой жена шепотом звала его. Потом, шатаясь, вышел в прихожую, зажег свет, оглядел телефон на низеньком столике, будто впервые его увидел. Дверь в столовую была закрыта, так же как и дверь в коридор, который вел в кухню. Некоторое время он стоял посреди прихожей в полном оцепенении, страшась света. Ему хотелось увидеть живого человека, хотелось войти к юноше, спавшему в комнате для прислуги, поговорить с ним, попросить у него помощи и совета, но он сознавал, что будить человека в таком положении неуместно и бессмысленно.

~~Опустив голову~~, но твердо ступая, он вернулся в спальню. В темноте, испещренной тенями, его охватил ледяной ужас, и он повалился поперек низкой широкой двуспальной кровати.

Так он и лежал, уткнув лицо в ладони, озябший и неподвижный, словно разучившийся спать. Белую постель ковром покрывала полосатая тень.

Из-за запертой двери детской не доносилось ни единого звука.



ДВАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ В БЕЛГРАДЕ



то день, о котором часто думаешь и с которыми связаны самые разные воспоминания.

С начала октября уже назревали эти события. Передвижения войск, рев самолетов, костры, отдаленная пушечная канонада, взволнованные голоса. Страх и ожидание. Все слилось воедино. Как будто там, где Сава впадает в Дунай, где-то в вышине, развеивается, чуть слышно потрескивая на ветру, стяг, невидимый, но огромный, как небо. Его едва слышно, но в высоте над головой различаешь его таинственное биение, непрерывное и постоянное,— и во время работы, и во время разговоров, и даже во сне. Пока в один прекрасный день то, что было предчувствием где-то в вышине, не спустилось в город и не стало явью.

В субботу 14 октября немцы вытащили на улицу тяжелые орудия и установили пулеметы на крышах высоких зданий. Началось.

Шесть дней и ночей мужчины в запертых домах, а женщины и дети в подвалах слушали, как громяют орудия, как рушатся кровли и фасады домов, как, точно тонкий слой льда, разламываются асфальт и булыжная мостовая. Тревожась за себя, за своих близких, за все то, что они любили, люди следили за этими звуками, тщетно стараясь разгадать в них свою судьбу. А грохот, рев и треск снаружи росли, меняли место и направление, но росли непрерывно.

Германский фашизм, подобно игроку, теряющему ставку и терпение, громко и злобно бросал свои последние карты в уже проигранной битве против свободы. Он поднимал в воздух дома вместе с их обитателями, сжигал школы и музеи, сеял смерть и разрушение всюду, где только мог, вносил угрозу смерти в каждый дом и в душу каждого человека.

А на рассвете шестого дня на улицах города воцарилась какая-то целительная тишина. Однако и она была непродолжительной. Немного поколебавшись, тишина превратилась в неопишемую музыку смеха, песен и радостных слез.

В этот миг туманного рассвета все окна в домах стали распахиваться, в них появлялись фигуры мужчин и женщин с поднятыми руками и озаренными лицами. Все что-то кричали, смеялись и указывали в глубину улицы. Различались только слова: «Русские! Наши! Русские!» И эти два слова взмывали вверх, ширились, сливались, словно навсегда должны были остаться связанными воедино. И уже не только головы торчат из окон, люди вылезают по пояс, каким-то чудом, вопреки всем законам физики, удерживаясь на карнизах. Появились и флаги. Ворота, до сих пор запертые на засовы смертельного страха, лопнули, точно почки весной, из них повалил измученный и униженный, но бессмертный народ Белграда. Народ, выдержавший то, что казалось невозможным выдержать, народ, победивший противника, который казался непобедимым, народ, с которым происходило сейчас одно из величайших исторических чудес.

После неполных четырех лет того, что называлось словом «оккупация», того, что было серым, и холодным, и скользким, и тяжелым, и позорным, и несущим смерть, что имело привкус крови, и желчи, и пепла, что было смертью прежде смерти, жизнью без тени человечности, того, что являлось совершенным отражением будущего существования, которое готовил фашизм не только восторженному Белграду, Сербии и Югославии, но и всей Европе,— после всего этого внезапное пробуждение от жуткого кошмара, ослепительное сияние, слезы, которые невозможно удержать, слова, которые застревают в гортани, выход из мрака, который казался вечным, во вселенную неугасимого духа. Освобождение!

Огонек надежды, который человек сберег в душе ценой самых больших усилий и жертв, превратился вдруг в солнце и теперь согревал, и светил в вышине, и говорил, что ничто не потеряно, если этот огонек сохранился, что есть надежда для всех, что еще будет жизнь, радость, и труд, и созидание в мире красоты и достоинства.

А мимо нас проходят бойцы, точно пришельцы из другого мира: светловолосые и спокойные парни в касках,

в серых советских шинелях, проходят попеременно с нашими партизанами, юными, загорелыми и рано созревшими бойцами из Боснии, Шумадии и Далмации. Люди подбегают к ним, хотят прикоснуться, увидеть их поближе, одарить. Они рассеянно улыбаются, но продолжают неудержимо двигаться вперед с винтовками наперевес, устремив взгляд на противоположный берег Савы, где время от времени еще стучит тяжелый пулемет и шипит мина.

Улицы усыпаны разбитым стеклом, которое хрустит и скрипит под ногами, точно снег в ясный зимний день. Зияют разбитые окна и пробоины от мин и снарядов на фасадах домов. Всюду, цепляясь за ноги, свисают оборванные провода. Мертвыми тушами стоят разбитые танки и обгоревшие грузовики. В воздухе — запах гари. Огромное октябрьское солнце поднимается над Белградом. Проходят все новые и новые толпы людей, окликают друг друга, обнимаются. А на клочке пустой земли, откуда открывается вид на Земун, советский солдат, совсем мальчишка, кричит своим товарищам, которые волокут в глубину улицы противотанковое орудие:

— Коля! Коля, давай пушку сюда!

Все выглядит волшебным и смятенным, как во сне, но мы понимаем, даже не понимаем, а чувствуем всем своим существом, что после всего, что было, и вопреки тому, что было, возвращается жизнь — жизнь и свобода.



ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Ага — господин, уважительное обращение к состоятельным людям.

Айян — старейшина, предводитель, чиновник городской управы.

Акшам — вечерняя, четвертая из пяти предписанных мусульманских молитв.

Ангерия — род верхней длинной одежды, мужской и женской.

Байрам — мусульманский праздник по окончании рамазана, продолжающийся три дня.

Баклава — слоеный пирог с орехами, пропитанный сахарным сиропом.

Бег — турецкий землевладелец, господин.

Берат — грамота султана.

Бинекташ — специальный камень, с которого садятся на коня.

Бостанджи-баша — один из чинов гвардии султана или визиря.

Вакуф — земли, недвижимое имущество, принадлежащее мусульманскому духовенству; собственность, завещанная на благотворительные цели.

Вила — мифическое существо, лесная или горная фея.

Газда — уважительное обращение к богатым торговцам и ремесленникам, букв.: хозяин.

Девлет-мусафир — гость государства.

Демирлия — противень-поднос.

Джезва — медный сосуд для варки кофе по-турецки.

Джемадан — мужская одежда без рукавов, расшитая тесьмой.

Джубе — верхняя зимняя одежда.

Ифтар — вечерняя трапеза во время поста, совершаемая после захода солнца.

Ичоалан — придворный визиря.

Кабаница — верхняя одежда типа плаща.

Кадия — судья.

Каймакам — лицо, замещающее визиря во время его отсутствия.

Капиджи-баша — управляющий дворцом визиря.

Капудан-паша — адмирал в турецкой армии.

Кмет — подневольный крестьянин, работающий на землях бега.

Коло — южнославянский танец.

Кулук — трудовая повинность.

Конак — здесь: резиденция визиря, административное здание.

Маджария — венгерская золотая монета, употреблявшаяся и как женское украшение.

Мерхаба — мусульманское приветствие.

Минтан — род верхней одежды с длинными узкими рукавами.

Мубашир — посланец, чиновник.

Мудерис — учитель в медресе, мусульманском духовном училище.

Муктар — староста городского квартала.

Мулазим — начальник полиции.

Мутевелий — управляющий вакуфом.

Мутеселим — чиновник визиря.

Муфтий — мусульманский священник высокого ранга.

Мухурдар — хранитель государственной печати.

Окка — мера веса, равная 1283 г.

Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

Пашалык — область, находящаяся в подчинении одного паши.

Плета — мелкая австрийская монета.

Райя — презрительное наименование христианских подданных Турецкой империи.

Ракия — сливовая водка.

Рамазан — девятый месяц по мусульманскому календарю; месяц поста, обязывающего воздерживаться от пищи с восхода до захода солнца.

Рейс — высший сан в мусульманской религии.

Салеп — сладкий горячий напиток, настоящий на ятрышнике.

Сердар — военачальник.

Серджада — коврик, на котором мусульмане совершают моление.

Сэфарды — евреи, выходцы из Испании.

Силахдар — хранитель оружия.

Слава — праздник святого покровителя семьи у православных сербов.

Софта — ученик медресе.

Спахия — турецкий землевладелец.

Субаша — помощник паши.

Сура — глава Корана.

Табут — открытый гроб, в котором хоронят мусульман.

Тарих — дата, число, хроника.

Тамбура — струнный инструмент типа мандолины.

Тефтедар — министр финансов.

Тефтер-чехайя — хранитель архивов.

Улема — мусульманские вероучители, знатоки и толкователи Корана.

Урмашица — сладкий пирог с финиками.

Филджан — чашечка для черного кофе.

Фирман — указ султана.

Хаджи — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

Хазнадар — казначей, эконом.

Хафиз — человек, знающий наизусть Коран.

Хечим — врач.

Ходжа — мулла.

Цицвара — национальное боснийское блюдо из муки, масла и сыра

Чаршия — торговый квартал города, базар; в переносном смысле — молва, суждения и мнения горожан.

Чевап — молотое мясо, жаренное в виде котлет на мангале и сильно сдобренное перцем.

Чехайя — заместитель визиря.

Чифчия — безземельный крестьянин, обрабатывающий землю помещика.

Чохадар — чиновник, ведающий гардеробом визиря.

Эфенди — господин, уважительное обращение к образованным людям.

Эмин — финансовый чиновник.

Ямак — рекрут в янычарских войсках.

Яция — пятая, ночная, молитва, совершаемая мусульманами через два часа после захода солнца.



О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ИВО АНДРИЧА

В этой книге исторической хроникой-романом «Мост на Дрине», избранными повестями и рассказами представлено творчество крупнейшего писателя и выдающегося общественного деятеля современной Югославии, классика ее многонациональной литературы, Героя Социалистического Труда СФРЮ и лауреата Нобелевской премии Иво Андрича (1892—1975). Замечательный художник-реалист, мастер психологической прозы и своеобразный мыслитель Иво Андрич ныне известен своими книгами во многих странах мира, где они выходили и продолжают выходить после его смерти на десятках языков миллионными тиражами. Популярность его, судя по неиссякаемому числу переводов, по количеству посвященных его творчеству работ, продолжает возрастать. И не может не изумлять тот непосредственный и страстный читательский отклик, который сейчас, на исходе XX века, вызывают его книги, написанные в 30-е и 40-е годы и посвященные сравнительно небольшому уголку земли и событиям, которые, казалось бы, уже могли стать исключительным достоянием исторической науки и узкого круга историков.

Иво Андрич принадлежал к тому ныне ушедшему поколению европейской интеллигенции, на долю которого выпало быть участником и свидетелем грандиозных социальных и эстетических переворотов нашего века, к тому поколению художественной интеллигенции мира, которое решительно и недвусмысленно своим творчеством выступило против всего реакционного, античеловеческого и варварского, что принес с собою все тот же XX век.

Среди его сверстников и современников — со многими из них он впоследствии был связан тесными духовными и личными узами — были Бехер и Маяковский, Чапек и Поль Вайян-Кутюрье, Грос и Мазерель, Чаплин и Пискатор. Следом шли Арагон и Элюар, Брехт и Хемингуэй, Зегерс и Лакснесс, Шолохов и Моравиа. Конечно, Андрич не был среди тех, кто определял движение и раз-

витие духовного и идейного климата в Европе или непосредственно влиял на его формирование. Однако его творчество складывалось в тех же исключительно напряженных, трагически противоречивых условиях, которыми отмечен наш век. Кровопролитные мировые войны, величайшие социальные революции, полное банкротство и кризис многих казавшихся незыблемыми философских и эстетических систем, чрезвычайная стремительная смена литературных вкусов, настроений, «мод» и потребностей, особенно характерная и болезненная для молодых многонациональных государственных образований, одним из которых стала после своего возникновения в 1918 году Югославия, не могли не отразиться в его творчестве. Равно как и борьба против фашистской идеологии, а затем и военной агрессии гитлеризма, потребовавшая полной определенности и единства политики с этикой и эстетикой. В сложный, решающий момент в жизни своего народа Иво Андрич твердо занял позицию в бою против фашистского варварства, позицию, которая начала складываться у него еще в начале 20-х годов, с появлением фашизма на мировой арене, и оставалась неизменной до конца жизни.

Всем своим творчеством он прокладывал путь к утверждению новой, социалистической югославской культуры и стал одним из выдающихся ее творцов.

«Повествователь и его творение не служат ничему, если тем или иным способом не служат человеку и человечеству»,— говорил Андрич при вручении ему Нобелевской премии в 1961 году, и эти слова неизменно оставались наполненными для него глубоким внутренним смыслом. О значении писательского слова в жизни любой страны и ее народа, о великом долге каждого писателя перед культурой, и общечеловеческой, и национальной, он размышлял на протяжении своей более чем полувековой деятельности в литературе. Он истинно служил людям, рассматривая и себя как автора, и свои книги лишь как очередное звено в долгой истории культуры своей страны, а тем самым в истории Человека, и стремясь лишь к тому, чтобы этот Человек в конце концов стал свободнее, счастливее...

Отсюда его неразрывная связь как художника со сложным и трагическим миром Боснии, страны, где он родился и которую любил всем сердцем, с которой был связан тысячами зримых и незримых нитей...

Иво Андрич прожил долгую, исполненную напряженного и постоянного труда жизнь. Он родился 9 октября 1892 года в небольшом боснийском городке Травник, с которым в сравнительно недалеком прошлом были связаны знаменательные страницы истории Боснии. В течение почти трех столетий этот город был столицей боснийского пашалыка-провинции Османской империи, и традиции, привычки и нравы, характерные для этого своеобразного уголка славянской земли, нашли позже в Андриче своего талантливоего певца. Корни родословного древа Андрича глубоко уходили и в землю Сараева, где его дед, а затем и отец были мелкими ремесленниками-мастерами по знаменитым боснийским мельничкам для кофе. Андрич рано потерял отца и воспитывался у тетки, жившей с мужем в малоизвестном по тем временам городке Вышеград, куда и в турецкие и в австро-венгерские времена отправляли на службу, как в изгнание, многих чиновников разных рангов с неудавшейся карьерой.

Вышеград, однако, славился своим редкостным по красоте многоарочным мостом через зеленую стремительную Дрину, воздвигнутым в 1571 году повелением и заботам знаменитого османского сановника великого визиря Мехмед-паши Соколовича. По этому мосту поддерживалась связь Боснии с Сербией, Македонией, Грецией, через него шли пути в Царьград. Мост на Дрине как бы соединял два мира, разделенных глубокими, непреодолимыми противоречиями. Образ моста на Дрине, воссоединяющего два берега, две культуры, две цивилизации, две ветви одного народа, стал своеобразным фокусом, символом всего дальнейшего творчества Иво Андрича. Благодаря ему он сумел дать замечательную яркую и живую картину жизни своего народа в течение столетий. Вышеград, Травник, Сараево, как и позже Белград, стали главными вехами на всем творческом пути Андрича...

Андрич окончил сараевскую гимназию в самый канун событий, ставших переломными для многих народов Европы, в канун первой мировой войны, и его родине, Боснии, суждено было как бы стать эпицентром многих из этих событий. Он был товарищем Гаврило Принципа, осуществившего покушение на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Вместе с ним он входил в известную национально-патриотическую организацию «Молодая Босния», члены которой стремились к единению сербской и хорватской молодежи на пути к национальному освобождению.

«Многие мои ровесники,— вспоминал Андрич много лет спустя,— очень одаренные молодые люди, рано поумирали; я — своей заслугой — случайно выжил! ... В моей памяти эти времена светлые и далекие. Словно какая-то всепоглощающая страсть, словно лучшая часть жизни».

Годы первой мировой войны стали для Андрича, как и для многих его земляков и сверстников, годами тяжелых испытаний. Он был арестован австро-венгерскими властями, прошел через тюрьмы и ссылку в самых отдаленных местах империи. Однако, несмотря на все испытания, на тяжелую, усилившуюся в казематах болезнь, он много и плодотворно работал. Уже в 1918 году вышел его первый поэтический сборник «Ех ponto», встретивший единодушное признание и публики и критики. По словам крупнейшего хорватского писателя Мирослава Крлежи, эти стихи стали «документом мук и страданий целого поколения». На эту книгу появилось свыше двадцати рецензий и откликов, больше чем на какое-либо другое издание тех лет.

В 1920 году он выпустил вторую книгу стихов «Смятение», спустя четыре года появилась первая книга рассказов, содержащая девять новелл на сюжеты из истории Боснии. Сербская королевская академия отметила эту книгу своей премией, а еще через год Андрича избрали членом-корреспондентом академии. Уже находясь на дипломатической службе, куда он поступил в начале 20-х годов, Андрич защитил в университете австрийского города Грац докторскую диссертацию на немецком языке «Развитие духовной жизни в Боснии в условиях турецкого владычества». Вне всякого сомнения, литературные замыслы писателя были глубокими и значительными, по-видимому, уже тогда у него возникла мысль о создании триптиха: «Травницкая хроника», «Сараевская хроника», «Белградская хроника». Как известно, полностью завершить он сумел лишь первую.

Дипломатическая работа, а Андрич служил в югославских миссиях в Италии, Румынии, Австрии, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, занимал высокие должности в аппарате МИД и завершил свою карьеру в апреле 1941 года посланником в Берлине, не позволяла целиком отдаться литературному труду и не оставляла для него много времени. До второй мировой войны он сумел выпустить еще лишь две книги рассказов (1931, 1936), в каждую из которых вошло по шести новелл. Но появление этих книг

современники считали событием в литературной жизни страны, они вызвали положительные отклики в нескольких европейских странах. Андрича начали переводить за рубежом, и уже в 1927 году о нем и о его рассказах с восторгом рассказывал в Берлине Максиму Горькому один из сербских литераторов.

О межвоенном периоде творчества Андрича современник критик Марко Ристич писал: «В то время как возникали и сталкивались разные течения и тенденции, вспыхивали, перекрещивались и затухали разные лучи и звезды, пока против многих из них велись памфлетные бои, творчество Андрича в своей спокойной, но отнюдь не холодной и не мертвой красоте, повинувшись таинственным закономерностям своей автономной жизни, росло и разветвлялось подобно коралловому рифу, который противостоит бурям и вихрям погоды».

С началом гитлеровской оккупации Югославии Андрич со всем составом своей дипломатической миссии покинул Берлин (об их отъезде сообщила московская «Правда» 8 апреля 1941 года). В Белград он попал лишь 1 июня, «застав город в развалинах, а народ в тяжком смятении и всяческих страданиях», как напишет он позже в одном из своих рассказов.

Андрич отверг какое бы то ни было сотрудничество с оккупантами и их сербскими пособниками. Он не принял назначенной ему профашистским правительством пенсии, решительно запретил издавать и переиздавать свои книги, отказался поставить подпись под призывом сербских квислингов поддержать оккупантов и осудить любое вооруженное выступление против них. В течение трех с половиной лет оккупации он жил в маленькой квартире на одной из привокзальных улиц, где и перенес все бомбардировки Белграда, которые были особенно интенсивны возле железнодорожного узла.

Вспоминая о событиях военных лет, Андрич в 1955 году писал французскому литератору Клоду Авлину: «Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград «самым несчастным городом в Европе». Не знаю, соответствовало ли это истине, но несчастным он был. И я рад, что провел это время со своим народом. Для меня оно было переломным во многих отношениях. Я прошел трудную и великую школу. Я спасался трудом».

Результатом этого труда стали три романа, хотя сам Андрич избегал этого слова в разговоре о своих книгах,— «Травницкая

хроника», «Мост на Дрине» и «Барышня», которые принесли ему мировую известность. Они были изданы сразу же после освобождения страны от фашизма и в числе первых произведений новой литературы югославских народов отмечены высшими премиями социалистического государства.

О жизни Белграда в условиях гитлеровской оккупации, об освобождении его 20 октября 1944 года частями Народно-освободительной армии Югославии и Красной Армии Андрич рассказал в нескольких своих новеллах (некоторые из них вошли в эту книгу), в многочисленных набросках и записях, как бы подводящих своеобразный итог его историческим полотнам. Начинаясь новая эпоха в истории его страны, и писатель посвятил свои силы утверждению и развитию социалистической Югославии, ее культуры, просвещения и образования. Он был председателем Союза писателей Югославии, депутатом парламента от своей родной Боснии, членом многих Академий. Он участвовал в работе различных государственных и общественных организаций, выезжал на форумы писателей и сторонников мира, ученых и деятелей культуры. Он дважды побывал и в нашей стране, посетив, в частности, Ленинград, Сталинград, Киев, Тбилиси, Баку. Об этих своих поездках он рассказал в нескольких сердечных и теплых очерках («На Невском проспекте», «Впечатления о Сталинграде», «Поездка в Азербайджан»).

Правительством своей страны Андрич был награжден высшими орденами, ему присуждались высшие литературные и общественные премии Югославии. В день своего восьмидесятилетия ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда СФРЮ. В октябре 1961 года Шведская Академия присудила роману «Мост на Дрине» Нобелевскую премию.

Иво Андрич умер 13 марта 1975 года. В последний путь его проводило более десяти тысяч человек, представлявших все республики и края, все национальные литературы его родины, социалистической Югославии...

В эту нашу книгу вошли лишь некоторые из сочинений Андрича, в основном посвященные историческим темам. Перед нами проходят личности и события бурной и тяжелой истории югославских народов, раскрываются страницы их героической многовековой борьбы за свободу. Многие из его рассказов могут служить непо-

средственной иллюстрацией к тому или иному зафиксированному историческими источниками событию или факту. Однако внимание писателя полностью обращено к людям, к их душевным движениям, к их сложному и неповторимому внутреннему миру. Когда-то давно Андрич писал: «Имена людей и цены на пшеницу где-то записаны, а все остальное, что волновало и мучило жителей городка, его тесный мирок, не нашло своего отражения ни в каких записях, а в памяти постепенно бледнеет». Поэтому история политическая, история факта, история, как мы теперь сказали бы, общепринятой повседневной науки, у Андрича, оставаясь ею, становится также историей души и мысли конкретного живого человека в его тяжелой борьбе за существование, за свое личностное и национальное достоинство, историей борьбы настроений и чувств, иллюзий и разочарований, столь свойственных людям.

«Мост на Дрине» — это песнь о родине, песнь о земле, на которой ты родился и на которой ты умрешь, песнь о жизни твоей и твоих соотечественников, далеких и близких. Это — одно из самых глубоких и своеобразных произведений мировой литературы XX века, где легенды и предания народа причудливо переплетаются с действительными, реальными событиями, а герои народных сказаний выступают в одном ряду с живыми, конкретно существовавшими людьми, увиденными своим современником.

Творчество Иво Андрича давно и хорошо известно в Советском Союзе, где он нашел многомиллионную и многоязыковую читательскую аудиторию. Его повести и рассказы, очерки и статьи, его исторические хроники переведены и изданы у нас не только на русском, но и на украинском, белорусском, эстонском, латышском, литовском, грузинском, азербайджанском и других языках нашей страны. Сочинения Иво Андрича выходили у нас отдельными книгами, печатались в газетах и журналах, у нас выпущено собрание его сочинений в трех томах. И каждая новая встреча с этим талантливым художником и мудрым собеседником — радостное, оставляющее глубокий след событие.

Александр Романенко

ПРИМЕЧАНИЯ

МОСТ НА ДРИНЕ

Эта историческая хроника-роман была написана в 1942—1943 гг. и вышла в свет после освобождения Югославии в 1945 году. В 1946 г. правительство ФНРЮ отметило книгу первой премией по литературе Комитета по культуре и науке.

Стр. 9. *Мехмед-паша Соколович* (ок. 1505—1579), выдающийся государственный деятель Османской Турции, великий визирь при нескольких султанах. Родился в христианской семье в одном из сел возле Вышеграда, в детстве был взят в янычары и обращен в ислам. Строительство моста на Дрине, как и некоторых других сооружений в окрестностях Вышеграда, связано с его именем. Вообще многие османские высокие чиновники, уроженцы Боснии, добившись успеха и поднявшись по чиновной лестнице, помогали своим землякам и близким, строя в память о себе «на доброе дело» т. н. задужбины — общественно-полезные сооружения: мосты, школы, водоемы, крытые базары.

Стр. 11. *Королевич Марко*, популярный герой эпических югославянских песен, сражавшийся за справедливость. *Шарац* — его волшебный конь.

Джерзелез Алия, легендарный герой мусульманского фольклора в Боснии, обладавший данной ему волшебницами-вилами необычайной физической силой. Это собирательный образ, прототипами которого послужили несколько реально существовавших удальцов, в частности, живший в середине XV века мелкий феодал некий Герз Эялс. Триптих «Путь Али Джерзелеза» стал первым прозаическим произведением И. Андрича (1918—1920).

Стр. 12. *Шейх Турхания*, один из героев турецкого эпоса.

Стр. 13. Босния была завоевана османами в 1463 году и находилась под турецким управлением формально до 1908 года, хотя в 1878 году ее оккупировали австро-венгерские войска.

Стр. 15. *Старина Новак* и *Дитя Груица*, герои сербских эпических песен, храбрые и благородные разбойники-гайдуки.

Стр. 17. *Павловичи*, в XIV—XV веках знатный боснийский род, впоследствии вымерший.

Стр. 70. Османское вторжение в Венгрию началось в 20-е годы XVI века и продолжалось до конца XVII века, когда страна вошла в состав империи Габсбургов.

Стр. 81. Имеется в виду Первое сербское восстание против османского управления 1804—1813 гг., во главе которого стоял *Каригеоргий* (настоящее имя и фамилия Георгий Пётрович, 1768—1817), родоначальник княжеской, затем королевской династии Карагеоргиевичей.

Стр. 95. *Милош Обрénович* (1780—1860), один из руководителей сербских восстаний против турок начала XIX века, первый князь Сербии (1815—1839, 1858—1860) после достижения ею автономии.

Стр. 115. В июне 1876 года князь Милан Обрénович, стремясь окончательно освободить Сербию от османской власти и объединить оставшиеся земли, в союзе с Черногорией начал войну против Турции, в которой сербы оказались на грани поражения. Эти события предшествовали русско-турецкой войне 1877—1878 гг., закончившейся Сан-Стефанским и затем Берлинским договорами.

Стр. 213. Австрийская императрица Елизавета была убита в Женеве в сентябре 1898 года итальянским анархистом Луккени.

Стр. 230. 5 октября 1908 года Босния и Герцеговина манифестом императора Франца Иосифа были присоединены к Австро-Венгрии, что явилось началом открытой экспансии австро-германского блока на юго-восток Европы.

Стр. 231. Имеются в виду дворцовый переворот в Сербии в ночь на 29 мая 1903 года, когда были убиты король Александр Обренович и его жена Драга, а на престол возведен Петр Карагеоргиевич, и «младотурецкая революция» 1908 года.

Стр. 240. *Аннексионный кризис...* Речь идет о событиях марта 1909 года, когда Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, стала концентрировать свои войска на сербской границе, угрожая войной Сербии и России. Эти государства к войне не были готовы, и им пришлось отступить.

Стр. 243. *Энвер-бег*, позже Энвер-паша (1881—1922), турецкий политический и военный деятель, один из лидеров «младотурок». *Чуприличи*, знатный турецкий род албанского происхождения, многие члены которого занимали в Турции высокие должности.

Стр. 244. В начале Первой Балканской войны в октябре 1912 года сербские войска нанесли поражение турецкой армии у Куманова, в Македонии. В сражении на реке Брегалница, которым в июне 1913 года началась Вторая Балканская война, сербы наголову разгромили болгарскую армию.

Стр. 256. Имеются в виду выдающиеся общественные деятели Сербии и Хорватии Йован Цвиич (1865—1927) и Йосип Юрай Штроссмайер (1815—1905), выступавшие за объединение югославянских народов.

Стр. 257. См. ком. к стр. 244.

Стр. 265. Идея объединения югославянских земель вокруг Сербии, подобно тому как центром объединения Италии был Пьемонт, пропагандировалась определенными кругами великосербской буржуазии.

Стр. 292. Эмай-Йованович Йован (1833—1904), крупнейший сербский поэт, чьи патриотические стихотворения пользовались большой популярностью среди передовой молодежи.

Стр. 303. В Видов день, 15(28) июня 1389 года, сербские и боснийские отряды потерпели сокрушительное поражение в битве на Косовом поле, после которой сербское государство утратило свою независимость и было включено в состав Османской империи, а нападения османов на Боснию участились. Этот день из поколения в поколение отмечался сербами как день национального траура. Битва на Косовом поле, как и ее герой Милош Обилич, убивший султана Мурада I (1362—1389), воспеты во многих эпических произведениях югославян. 28 июня 1914 года, в очередной Видов день, в Сараево произошло покушение на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.

Стр. 306. Убийство престолонаследника было использовано милитаристскими кругами Австро-Венгрии для развязывания войны против Сербии, переросшей, как известно, в первую мировую войну. Военные действия на сербском фронте начались 12 августа переходом австро-венгерских войск через пограничные реки Дрину и Саву.

ВЕЛЕТОВЦЫ

Рассказ опубликован в 1928 году.

Стр. 344. См. ком. к стр. 81.

РАССКАЗ О СЛОНЕ ВИЗИРЯ

Повесть опубликована в 1947 году.

Стр. 355. Боснийский визирь *Сеид Али Джелалутдин-паша* (1817—1822), дервиш связанного с янычарами ордена бекташей, жестоко боролся против оппозиции боснийских феодалов. Однажды, например, он уничтожил триста человек высшей местной знати. Покончил с собою в Травнике, приняв яд, после того как султан Махмуд II в Стамбуле расправился с янычарами и их сторонниками.

РАССКАЗ О КМЕТЕ СИМАНЕ

Повесть опубликована в 1948 году.

Стр. 394. *Кметами* в Боснии называли безземельных крестьян, православных или католиков, обрабатывавших землю владельца ее, мусульманина, и отдававших за это «хак» — треть урожая и половину укоса. Помимо этого, кметы платили большие подати и налоги государству. После оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1878 году кметы надеялись на полную ликвидацию прежних экономических отношений, однако новая власть прежние их обязательства по отношению к землевладельцам подтвердила. Симан стал одной из жертв распространенной иллюзии. Во 2-й половине XIX — начале XX века кметы почти повсеместно превращались в наемных сезонных рабочих.

Стр. 412. *Хёрман Константин-Коста* (1850—1921), влиятельный австро-венгерский чиновник в Боснии. Один из первых собирателей и издателей народных песен боснийских мусульман (тт. 1—2, Сараево, 1888—1889), основатель и первый директор краевого музея в Сараево (1888), редактор музейного «Гласника». Своеобразное внимание, проявленное им к Симану, является отражением его общего интереса к культуре Боснии и Герцеговины.

Стр. 417. *Ченгич Смаил-ага* (1778—1840), герцеговинский феодал, потомок родовитого семейства из Малой Азии, насильник и грабитель, убитый во время одного из своих нападений черногорцами. О гибели Смаил-аги Ченгича сложено много народных песен. Одним из выдающихся творений поэзии югославских народов является эпическая поэма хорвата Ивана Мажуранича (1814—1890) «Смерть Смаил-аги Ченгича» (1846).

СТАЧКА НА КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ

Рассказ опубликован в 1950 году. Описываемые в нем события происходили в Сараево летом 1905 года, в канун массовых выступлений трудящихся против предпринимателей. 10 августа на государственной ковровой фабрике (открытой в 1888 году), где во время учебы Андрича в гимназии работала ковровщицей его мать, началось собрание. Работницы предъявили свои требования к администрации (в частности десятичасовой рабочий день и повышение расценок). Выступил один из тогдашних руководителей профсоюзного движения, Еротие Плавшич (1876—1905). Не сумев договориться с бастующими, директор фабрики через несколько дней вызвал полицию, однако и с ее помощью забастовщиц сломить не удалось; стачка продолжалась в течение шести недель и закончилась капитуляцией дирекции. Ковровая фабрика, одно из немногих государственных предприятий в Сараево, видимо, считалась образцовой — 28 июня 1914 года, в день своей гибели, ее должны были в соответствии с предварительно составленной программой посетить престолонаследник Франц Фердинанд с супругой.

В архиве Андрича сохранилось несколько незавершенных фрагментов о классовых выступлениях боснийских трудящихся в начале XX века, которые, по-видимому, являются «заготовками» для задуманной, но не осуществленной «Сараевской хроники».

Стр. 422. *Севдалинки* (от арабск. «севдах» — «любовь»), популярные в Боснии и Герцеговине народные лирические песни о любви.

Мадьяронами называли в Хорватии в XIX веке сторонников провенгерской политики.

Куэн-Хедервари Кароль (1849—1918), граф, правитель Хорватии (1883—1903), проводивший политику насильственной мадьяризации.

ПИСЬМО, ДАТИРОВАННОЕ 1920 ГОДОМ

Рассказ опубликован в 1946 году.

Стр. 427. *Геккель Эрнст* (1834—1919), немецкий биолог, сторонник и пропагандист дарвинизма. Автор многих известных сочинений.

Стр. 428. «*Helios Klassiker-Ausgaben*», популярное издание классиков мировой литературы, выпускавшееся в 1898—1901 годах в Лейпциге издательством «Минерва», вышло 274 книги.

ДРОВА

Рассказ опубликован в 1948 году.

Стр. 442. Под городом *Толмин* (Словения) в долине реки *Со-ча* (итальянское название *Изонцо*) с мая 1915 до октября 1917 года шли кровопролитные бои между войсками Антанты и австро-венгерскими армиями.

Стр. 445. *Сбежал в лес...*— т. е. ушел к партизанам.

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Рассказ опубликован в 1951 году.

Стр. 450. *Кошутняк*, лесопарк под Белградом.

ДВАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ В БЕЛГРАДЕ

Рассказ опубликован после смерти *И. Андрича* в 1976 году.

20 октября 1944 года части Красной Армии и войска Народно-освободительной армии Югославии после шестидневных боев освободили столицу страны. Андрич был свидетелем ожесточенных сражений на белградских улицах и, видимо, тогда же сделал ряд записей и набросков, которые, вполне вероятно, могли служить заготовками для «Белградской хроники», о создании которой долгие годы думал Андрич. На русском языке они напечатаны журналом «Иностранная литература», 1984, № 10.

Стр. 458. «*Коля! Коля, давай пушку сюда!*», эти слова написаны Андричем по-русски.

Александр Романенко



СОДЕРЖАНИЕ

МОСТ НА ДРИНЕ. (Роман). Перевод Т. Вирты 6

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Велетовцы. Перевод Т. Поповой	344
Рассказ о слоне визиря. Перевод Н. Вагаповой	353
Рассказ о кмете Симане. Перевод О. Кутасовой	394
Стачка на ковровой фабрике. Перевод А. Романенко	420
Письмо, датированное 1920 годом. Перевод Н. Вагаповой	426
Дрова. Перевод Т. Поповой	440
Запертая дверь. Перевод А. Романенко	448
Двадцатое октября в Белграде. Перевод А. Романенко	457
Объяснительный словарь	460
А. Романенко. О жизни и творчестве Иво Андрича	464
А. Романенко. Примечания	471

Андрич И.

- А 65 Мост на Дрине: Пер. с сербскохорв./Сост., послесл., прим. А. Д. Романенко. — М.: Правда, 1985.— 480 с.

В сборник избранных произведений выдающегося югославского писателя, Героя Социалистического Труда СФРЮ, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича (1892—1975) включены историческая хроника «Мост на Дрине», повести и рассказы разных лет.

А $\frac{4703000000-1034}{080(02)-85}$ 1034—85

84. 4 Ю

Иво АНДРИЧ
МОСТ НА ДРИНЕ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Составитель
Александр Данилович Романенко

Редактор
Н. Н. Ермолаева

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Художественный редактор
Л. И. Королева

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1034

Сдано в набор 15.02.85. Подписано к печати 04.06.85.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Академическая». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25.20. Усл. кр.-отт. 25.41. Уч.-изд. л. 25.98.
Тираж 500 000 экз. (3-й завод: 200 001—300 000 экз.).
Заказ № 1330. Цена 2 р. 70 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства Куйбышевского обкома КПСС.
443086, г. Куйбышев, проспект Карла Маркса, 201.

Цена 2 р. 70 к.

